Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

1

Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

1



Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том первый

✦

БОЛЬШАЯ РУДА

Повесть

РАССКАЗЫ

ВЕРНЫЙ РУСЛАН

Повесть

ШЕСТОЙ СОЛДАТ

Комедия

✦

Москва
«NFQ/2Print»
1998

УДК 882 Владимов 2 + [882-31/-32 + 882-2] Владимов
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В 57

Вступительная статья
Л. АННИНСКОГО

Оформление художника
Т. САФАЕВА

ISBN 5-900041-02-6 (Т.1)
ISBN 5-900041-01-8

Рок, судьба и участь Георгия Владимова

> Нам повезло вступить в литературу, когда слово ценилось так, что за него назначались в зависимости от его качества тюремные сроки, когда встречалось со вниманием каждое новое имя и едва ли могло удержаться надолго имя случайное.
>
> *Г. Владимов*

Он трижды говорит: «Повезло», оглядывая на седьмом десятке свою жизнь — пятьдесят два года в СССР, последующие — в ФРГ, в изгнании.

Повезло: родился в начале 30-х в деспотическом государстве, пережил войну, рано повзрослел... Потерял отца. Но не потерялся и не пропал. Выучился в Ленинградском университете на юриста, а до того получил кадетское воспитание в Суворовском военном училище. В 1946 году, прочтя ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», отправился, не сняв погон, к Михаилу Зощенко выражать сочувствие. Попал под «наблюдение». В конце концов власти нашли ответчицу, и мать (в том же Суворовском преподававшая) была арестована. Вышла на свободу, когда умер Сталин.

Повезло: когда пришла пора ему нести куда-то свою первую прозу, далеко нести не пришлось — уже был в числе сотрудников лучшего журнала 50—60-х годов — «Нового мира». Первая же повесть, «Большая руда», подхваченная ста двадцатью статьями и рецензиями, принесла всесоюзную славу... Добавлю: продолжением славы стало то, что роман «Три минуты молчания», чудом проскочивший в советскую печать на последнем всплеске Оттепельной волны, был встречен в официальной прессе бурей негодования. Вторая повесть — «Верный Руслан» — пущена была по рукам ещё до опубликования, обросла легендами и в конце концов уплыла за границу.

Повезло (продолжу эту цепь): отъезд за границу и утеря прямых связей с русской публикой не пресекли этих связей вовсе. Русская публика привыкла к тому, что каждое новое слово Владимова надо ждать годами, но становится слово — событием.

Событием стал роман «Генерал и его армия»: донесённый до России уже на волне Гласности, он вызвал такой всплеск

эмоций, что одни отечественные критики объявили Владимова чуть не адвокатом предателей-власовцев и апологетом немецко-фашистских захватчиков, а другие отечественные критики присудили ему престижнейшую международную литературную премию.

Повезло... Огромной мощи писатель, чья мировая слава остаётся незыблемой со времён первых публикаций в Тамиздате, один из лидеров поколения «оттепели», всю жизнь — словно бы в тяжбе... только не вдруг поймёшь, с кем и с чем. С «ополоумевшим веком», ему доставшимся? С «режимом», его отторгшим? Или с «народом», который надо всё время отделять в мыслях от «режима»; народ кричит в спину отщепенцу: «Нечего бунтовать!» — и он же, народ, вглядывается в лицо отщепенца полными любопытства глазами.

Судьба Владимова-писателя таит в себе тяжёлую драму, смысл которой выходит за пределы того или иного эпизода литературной жизни, будь то издание запрещённой повести за рубежом, «кошачий концерт» вокруг романа или прощальное письмо генсеку, выдержанное в стиле безукоризненной ледяной корректности.

Понять драму можно — вчитавшись в тексты.

Руда или кровь?

> — На сколько заводили? — спросил он, не оборачиваясь.
>
> — Метра на два,— ответили двое других.
>
> — А точнее?
>
> ...Вытащили замусоленные блокнотики:
>
> — На два метра,— сказали почти одновременно.
>
> *Г. Владимов. «Большая руда», 1961*

Вроде бы и не связан мимолетный диалог взрывников на дне карьера ни с судьбой шофера Пронякина, который вскоре сломает себе шею, полетев в этот карьер, ни с главной темой повести, собранной вокруг вопроса: стоит ли ломать себе шею за здорово живёшь, то есть за кусок руды, то есть за лишний червонец («А впрочем, чёрт его знает...»). А сцена-то с взрывниками интересная и зацепила меня когда-то при первом уже чтении непонятно чем, каким-то неуловимым соответствием тону повести: и владимовской прозе вообще, и той ускользаю-

щей неотступной правде, которая сделала его одним из самых труднообъяснимых и магнетически притягательных русских прозаиков второй половины XX века.

Вчитайтесь: может, так, а может, эдак. Прикидывают, «не оборачиваясь»,— спиной видят. А если точнее? А если точнее, то сойдётся до микрона. Можете свериться с «замусоленными блокнотиками».

Зачем «сверяться»?

Да он же только и ждет, чтоб сверились: может, так, может, эдак, «впрочем, чёрт его знает». Может, это Виктор Пронякин, нанимаясь шоферить на рудник, берёт судьбу за рога. А может, это судьба берёт его самого за шкирку. А он — «не знает». Он приезжих электриков не любит — «сам не зная почему». Это ж надо: в филигранной, до винтика выверенной владимовской прозе — они всё время чего-то «не знают». С первого пейзажа, где все мотивы уже заложены: и «пропасть» под ногами, и глыбы «цвета запёкшейся крови»,— уже внушено, что шофера не сами едут, а «дорога, извиваясь, тащит их на себе», и так до самой развязки, когда Пронякин, раздавленный в машине, слышит странный капающий звук и «не знает», что это вытекает из него кровь. Руки работают отдельно, мозг отдельно, и это не «приём» прирожденного писателя (хотя и «приём» тоже), это тот таинственный, не всегда ясно осознаваемый, но всегда интуитивно чуемый принцип, который не подделать и не подхватить подражателям, и который только и сообщает тексту бытийную значимость.

Всё, что связано с «руками», то есть вся фактурная реальность,— описана у Владимова с фирменной, ревнивой точностью. Поначалу это кажется рискованным, ибо именно вещи (поверхности жизни) устаревают вместе с эпохой. «Вельветовая куртка на “молниях”» (массовый пошив 50-х годов), тележка «газводы» с двумя колбами (герою — «два с сиропом», а остальным — «шесть стаканов чистой»). Или — на стене барака, рядом с зеркальцем, в симметричном наклоне тогдашние кинодивы Элина Быстрицкая и Брижит Бардо, за фотографии которых предусмотрительно насыпано порошку от клопов. Постарели те дивы, повывелись те клопы, однако протокольно точные детали, которые должны резать ухо анахронизмом, читаются и теперь с интересом, как точные приметы эпохи.

А вот ещё один изваянный памятник: свеженький шестидесятник, молодой долговязый очкарик в баскетбольных кедах, севший после института, как на раскалённую сковороду, в кресло начальника карьера.

И ещё одна ушедшая натура — та девушка в его конторе, что выучила в институте всё про «сеноман-альбу» и «апт-неокому» и подалась искать руду и счастье. Она еще возникнет в прозе Владимова, эта «окрылённая» идеалистка-интеллектуалка, но из жизни — навсегда исчезнет вместе с советской эпохой.

Мечена временем фактура — мечена психология. Все эти «почины», «доски почёта», «праздники первого ковша» и прочие ритуалы, висящие в воздухе «Большой руды», как если бы геройский дух, в приверженности которому сразу заподозрили Владимова тогдашние либеральные критики, действительно был бы для него реальностью. И авторской программой. Уж в этом-то случае советская героика труда должна была бы к нашему времени устареть начисто. И соответствующая программа тоже.

Героика в «Большой руде» есть и как памятник уже не устареет. Программа же не устареет по другой причине: потому что программы героической там нет.

Однако сразу после публикации «Большую руду» как раз попытались вписать в большие «программы». Мы все мыслили штампами и штампами же пытались их преодолеть. Проще всего было со «сменой действующих лиц»: на место старомодных дуболомов и исполнительных трудяг шли герои новые — молодые интеллигентные острословы, вольнодумцы с гитарами, пересмешники и балагуры — аксёновские «коллеги».

В этот новый, ликующе-модный контекст «Большая руда» никак не вписывалась. А вот в старые сюжетно-психологические схемы вписывалась подозрительно просто. И в схему, обозначавшую «приезд молодого специалиста». И в «конфликт новатора и консерваторов». В этом контексте Пронякин мог бы сойти за «носителя частнособственнических пережитков» с таким же успехом, как за «самоотверженного героя, преодолевающего косность массы». Если Пронякин — летун, выскочка и захребетник (а перед коллективом-де всё равно не удаётся словчить), то Владимов — вполне понятный мифолог коллективизма. Если же Пронякин — передовик, подающий пример косной массе (а дура-масса с запозданием прозревает), то Владимов — элементарный мифолог героики. При любой такой «программе» — ничего особенного в повести нет. Так мы тогда мыслили.

Одна только и нашлась среди критиков умница — Ирина Роднянская,— почуяла женским сердцем, что трагедии тут не избежать при *любой* «программе». А может, филологическим подсознанием «вспомнила» одно их древних значений слова

«руда»? И, на первых же страницах уловив мотив запёкшейся крови, восприняла разворачивающийся конфликт именно в этом ключе? Глуша, наверное, собственную читательскую боль, увещевала нас и себя, что гибель героя — наименее страшный выход из завязавшегося конфликта.

Герой или жлоб?

Так как же всё-таки: подвиг свершает или за четвертной перед начальством выпендривается? Другой аспект — как жить: «как все» или «не как все»?

Господи, да каждое мгновенье — и то и другое! «Хочется своё иметь, чтоб никакая собака не гавкала». И хочется — со всеми быть, «чтобы всё как у людей». Мужики в бригаде прекрасно понимают это без объяснений, потому что при объяснениях, в словах, в формулировках всё исказишь или упустишь. Тут — невыразимость личностной энергии, ищущей русла и попадающей «не туда», а «куда» — никто не скажет, а если скажет...

Сказать, например, что Пронякин жлоб,— такая же натяжка, как сказать, что он предтеча героев рыночной России 90-х годов (кстати, таких героев русская литература по сей момент так и не выдвинула). Пронякин, по позднейшему определению Владимова,— «человек на все времена», только попал он на смену времен. И тот бес, или чёрт, который гонит вперёд Пронякина, сидит в каждом, Пронякина он только оседлал получше.

Что же за чёрт?

А тот самый, который подначивает «обдирать» других, а в момент обгона подсказывает причину: да ты же жлоб, Витя! Когда же и сам Пронякин соглашается: «Может, так оно и есть»,— чёрт (или бог?) подсказывает ему опять-таки как бы со стороны:

— Э, Витька, что я, слепой, что ли? Не вижу, какой ты шофёр? Ты — как бог! Всю дорогу — как бог!

Бог и чёрт спорят за человеческую душу. Голоса нашёптывают ему. Если один издевательски провоцирует: «Ты — герой!», то другой издевательски утешает: «Ты — крохобор». Человек же, измученный неразрешимостью, орёт на других людей, что они ему враги (хотя какие там враги — нормальные тёплые ребята), что они куркули (хотя какие уж они там куркули — такая же голь барачная),— а всё потому, что стесняется чело-

век назвать себя «богом» (хотя ездит и впрямь как бог) и на всякий случай делает вид, что отдаётся чёрту («А впрочем, чёрт его знает...»).

Это мучительное колебание души с кинематографической скоростью перенял и с виртуозной лёгкостью воспроизвёл вскоре Шукшин. Владимов перехват учуял, он искал свои следы в «Калине красной», но ошибся адресом: не в Егоре Прокудине воспроизведена драма Виктора Пронякина, а в Пашке Колокольникове (помните? «Живёт такой парень», крутит баранку, а тут беда — бензовоз задымил; он его с дороги сгоняет, выпрыгивает на ходу, ломает кости, людей спасает; люди ему говорят: «Что вас побудило совершить подвиг?», а он отвечает: «Дурость»).

Однако то, что у Шукшина исполнено простонародного шутоломства, у Владимова запекается кровью.

Найдено в «Большой руде» всё, все лейтмотивы, вплоть до «случайной буфетчицы», которая должна пригреть шалую душу. И оглушающий душу постор внезапной воли. И невозможность определить, что это такое — воля: то ли пропасть под ногами и бесконечная пустота вокруг, то ли горячая, собирающая душу в кулак сила? То ли это руда, то ли кровь. Ждут большую руду — дождутся большой крови.

В философском смысле Владимов смоделировал шестидесятников, окрылённых идеалистов, угодивших на смену эпох, когда всё святое встало под вопрос, но по тяжко-пристальной зоркости «матёрого реалиста» он в шестидесятники не сгодился. И место среди них ему отвели странное. Поначалу вовсе не приняли, потом «стерпели».

Одно дело прорифмовать пространство между городом «Нет» и городом «Да», прокричать: «Во мне семь я», пропеть о равной любви к «тёмным» и «светлым» водам (поэты 60-х годов оставили на этот счёт поразительные признания), и другое дело — влезть с таким эквилибром в жизнь, пропитанную мазутом.

А может, тут прирождённый реализм (качество глаза и пера) даже и выручает Владимова-моралиста? Он ищет в тяжести спасения от ложной лёгкости. Человек у него в безвыходной нравственной ситуации стремится «осесть», спрятаться в материальность. Может, это глубинная компенсация за мучительные изломы «переходной эпохи»: беря душу на неотвратимом изломе, Владимов залечивает бытие фактурой. Отсюда все эти рустованные шины, сателлиты заднего моста, рабочие поверхности цилиндров, накипи в рубашке охлаждения, баббитовая заливка трещин, щековая дробилка, висячие

фермы и наклонные галереи фабрики, и карьер, описанный с такой точностью, что читатель, попади он туда, свободно сориентировался бы на местности.

И так же скрупулёзно-технологично будут описаны тонкости кинологии в «Истории караульной собаки», и детали рыбного лова в «Трёх минутах молчания», и броневая оснастка танков в «Генерале и его армии».

Дух, залетевший в невесомость, каждый раз осаживает себя в фактуру. В новую фактуру. «Тему», которой больна реальность, он чует, «не оборачиваясь».

1962 год. Солженицын прорывает заслон, ограждающий тему лагерную. Зэк становится ключевым (неофициальным) героем литературы. Его просто невозможно обойти. Владимов избирает героя там же: это лагерный караульный пес.

Так что же нам делать с его честностью?

Итак, история караульного пса. Драматизм ситуации даже не в лагерном «распорядке» как таковом. Да, Владимов видит все эти «поверки», «разводы», «шмоны» и «конвои» глазами собаки, что позволяет ему убрать верхний, ложный слой смысла, оставив один ритуал (толстовский прием!),– и всё-таки не лагерная реальность держит в напряжении, когда читаешь «Верного Руслана». Лагерная реальность уже известна: по Солженицыну, по Шаламову, по Евгении Гинзбург; Владимов уже мало что добавляет к этому знанию – он держит другим.

Суть его повествования – именно в постоянном вывороте жизненной ткани с «добра» на «зло» и обратно. На «молекулярном уровне» – на уровне приёма, дрессировки, команды, честного исполнения данного упражнения. И чем честнее верный Руслан отрабатывает свой долг и свою похлебку, тем яснее бытийный ужас, который за всем этим встает. Непрерывное терзание и есть то, что знает Владимов, это он и вписывает в первоначальный «каркас» повести, этим и кровавит себе и нам душу; как повернуть обратно к «добру» жизнь, прожитую навыворот, каким покаянием отмолить всё то, что наделал казённый пёс, как вынести остатки честности на дне бесовства, когда бесовство и есть жизнь?

Не вынести. Нет выхода из ловушки. Легче отомстить, чем понять. Как сказал когда-то Твардовский, легче пса «разыграть» на этом месте, чем примирить честного бойца с подлостью его армии. В собачьем сердце – это можно. Но в человеческом...

Можно разрушить лагерь, можно реабилитировать мнимых преступников и осудить преступников настоящих. Можно освободить от проклятой службы казённого честного пса. Но как вынести мысль о том, что всё это *оказалось возможно?* О, если бы выстроился тотальный лагерь только на обмане и лжи! Так нет же — ещё и на честности и правде! Ещё и на положительном Руслане, на верном.

И потому — правы были авторы инструкции по ликвидации лагеря: верного Руслана следовало *отстрелить.*

В тот момент, когда этого не произошло, началось мучение не только владимовского героя, но и самого автора: где выход?

Где выход, если отрезан для Владимова Трезоркин путь: нырнуть быстро обратно в «курятник», в нашу бучу, боевую, кипучую, в шофёрскую бригаду, в рыбацкую команду, в «серёдку»,— слиться, влиться, вместе со всеми оттаять, и застыть, и перестроиться — спастись «всем миром». Нет, у Владимова такое не получится. Он после «Большой руды» примерялся к такому и в «Трёх минутах молчания», он на все 60-е годы эти три минуты растянул, когда писал свой роман параллельно повести о Руслане — всё пытался своего честного героя вписать в команду, в массу, опереть на почву.

Не оказалось почвы. Герой хотел — «как все», а оказался — один против всех. Хотел быть честным, а оказался врагом Системы.

«Хочу быть честным» — пересмеивает эту ситуацию Войнович и смехом из ситуации выходит с Чонкиным под ручку. Владимов так не может.

Владимовские правила игры — отрицание «игры», верность однозначно понятому долгу. Никакого выигрыша, никогда, нигде!

Суть душевного состояния — безысходность долга. Другой опоры нет. И потому — вообще опоры нет. Пустота. Тоска. Что можно противопоставить тоске? Бунт. Бессмысленный бунт.

Владимовский герой не играет, тут всё строится на другом. Внутренний смысл не вывернут, напротив, он номинально прям, точен. Есть чувство чести. Есть долг. Есть Служба. *Главные слова* в ткани владимовской повести? Разум, сообразительность, понятливость.

Но где *источник* бессмыслицы? Откуда берётся в этом точном и честном мире скверна, если здесь, в клеточке, в «вольере», на предметном стекле, изначально обитает столь чистая и честная, верная долгу Русланова душа? Что её искажает? *Кто* искажает?

Собачье сердце?

Господа, вы убили человека!

М. Горький. «Варвары»

«Э, нет...— мысленно завыл пёс,— извините, не дамся!»

М. Булгаков. «Собачье сердце»

Драма чести, составляющая для Владимова суть всего, заложена в основу души, это для Владимова в природе вещей, и если драма смертельна, то не потому, что «господа» что-то наделали или «хозяева» нехороши, а потому что каждый человек *сам выбрал* свой путь и *сам расплачивается.*

Ах, он не выбирал? Не было выбора? «Мобилизовали»? Значит, это рок, удел, жребий. Значит, надо честно идти до конца. То есть до гибели. Честь выше жизни. Вот — истинный Владимов.

Я подхожу к главной и, как мне кажется, потаённой загадке владимовской повести. Читая, вы всё время помните: это о лагере, это о зоне, это о зэках, это о людях. Но параллельно копится в читательском сознании наивное ощущение... и в конце концов странным, «детским», отчаянным рывком это ощущение вырастает в догадку: да ведь есть же, помимо всех этих человеческих проблем,— боль *вот этого* живого существа, гибель вот этой собаки, и у Владимова хватает сердца — вместить именно драму живого существа, безотносительно к тому «долгу», который «мы им подсунули». Вот просто понять собаку как другое существо... Парадокс: путь к человеку лежит здесь через понимание собаки. Не аллегорической, а реальной. Живой. Живой должен понять живого.

Как Твардовский сказал по поводу первого варианта повести: «...Вы же вашего пса не разыграли. Вы из него делаете полицейское дерьмо, а у пса — своя трагедия...» Владимов пса «разыграл» и встал в ряд таких классиков анималистского жанра, как Джек Лондон и Сетон-Томпсон. Он подхватил традицию, освящённую в русской литературе авторами «Холстомера» и «Каштанки», традицию, продолженную и в советские времена — Казаковым в «Арктуре» или тем же Меттером (с «Мухтаром» которого «Руслан», между прочим, был переиздан в СССР под одной обложкой).

То есть перед нами повесть «на все времена».

Но это не решает человеческой проблемы, которая остаётся за пределами конуры. Остаётся вопрос — о человеческой

реальности, исказившей честного пса. Вопрос о том, как справиться с «системой» честному шестидесятнику, наделённому идеальными представлениями о достоинстве. Как найти в этом герое силу, которая подкрепила бы его чистоту? Ибо сила концентрируется отнюдь не из чистого материала, она собирается из материала грязного, из житейской грубости, из металла, мазута, пота и крови. Шоферюга Пронякин в известном смысле «заслонил собой» мелькнувшего в первых опытах Владимова студента, студент тот и сам пытался «заслониться» — спортом: лыжами, баскетболом, боксом. Это он, «достойный большего», двинулся на стройку в бывшую зону, разозлив пса Руслана, а потом двинулся на траулер: проверить себя на тяжелой мужичьей работе. И это он вновь замаячил в пьесе «Шестой солдат», вызвав полупрезрительную сентенцию: «Лобастенькие-очкастенькие... им чтоб всё полегче... А жизнь — она... сволочная».

Это в 1981 году написано, на краешке, когда разрыв со сволочной жизнью обретает «горизонтальные очертания». Что означает бессилие совладать с этой реальностью изнутри. Как Добролюбов сказал: сидя в ящике, ящика не перевернуть — надо выскакивать.

Когда «Верный Руслан» выскочил — сначала из человеческой реальности в собачью, а потом — за пределы отечественной печати,— вопрос, в сущности, решился. Но путь к решению оказался мучителен. Что делать, если корабль под угрозой: чинить посудину или выскакивать в лодку и отгребаться? А может, ничего не делать: подать сигнал SOS и ждать. На то же и существуют в эфире «три минуты молчания»... Так назвал Владимов свой первый роман.

На кренящейся палубе

— Обрати внимание, как они ходят по палубе. Она для них горизонт. На истинный горизонт не смотрят, а только на палубу. С ней накреняются, с ней же и выпрямляются.

Г. Владимов. «Три минуты молчания», 1969

Накренилось — весной 1963 года: Главный Штурман, он же Первый Секретарь, он же Аграрий номер один, оставив кукурузу и прочую Большую химию, поплыл в Манеж на выстав-

ку живописи, чтобы вправить мозги отечественным модернистам. И заштормило: посыпались книги из издательских планов, рукописи из журнальных портфелей.

Владимов как раз был на гребне — автор «Большой руды». Машина (шофёрская) вынесла его вперед — в машину он опять и нырнул, но не в грузовик, а — в машинную шахту, к корабельному «деду»: не колесами по дороге километры наматывать, а винтом по воде: «Мы капитаны, братья капитаны...»

То, что Владимов нанялся матросом на рыболовный траулер и сходил «под селёдку» за три моря, показалось бы экзотикой, если бы не «Большая руда»; после «Большой руды» такого рода контакт с реальностью был не удивителен.

Мы, следившие за литературой, ждали события.

И тут Хрущёв — в Манеж, отечественные модернисты всех родов и жанров — в запрет, в отказ. Владимов — в молчание. Хотя писал, работал над сценариями фильмов, но ощущение было — что рот заткнули.

Не на три минуты замолчал — лет на семь. На все оставшиеся 60-е годы. Захрипела полузадушенная молодая проза, кончилось искромсанное «кино Оттепели», вспыхнула праведным огнем проза «деревенская» и съёжилась от официального ледяного душа, обдавшего её уже с другого боку (как тогда сказали бы: «справа»). Надвинулись 70-е годы — время отложенных истин, ушедших на дно литературных течений,— там, на дне, уже вызревало поколение «задавленное», «обойдённое», «бессловесное».

Владимов продолжал работать в стол. Он расширял и углублял «Верного Руслана» — всё менее надеясь на публикацию. И писал роман о рыбаках — «Три минуты молчания».

Роман появился — покорёженный, ободранный — в 1969 году в «Новом мире»,— журнал уже был накануне разгона. Можно сказать, что роман чудом успел проскочить у Твардовского («Руслан» — не успел). Можно также сказать, что первый роман Владимова — последняя его попытка удержаться в советской литературе и последний её шанс удержать писателя. (Он держался ещё лет пять, пока публикация «Руслана» за рубежом не отбросила его окончательно в диссиденты, после чего он ещё и диссидентом продержался около десятка лет — до отъезда). Так что появление «Трёх минут...» в подцензурной советской печати и обсуждение романа в «официальной» советской критике обозначило как бы мёртвую точку, точку поворота (или точку разноса, распада, разрыва) той целостной советской культуры, которую шестидесятники, последнее верующее в коммунизм поколение, ещё готовы были спасать.

Не этот ли вопрос — об исчезающем смысле бесконечных усилий — всю жизнь мучает Владимова? Не висит ли и над его героями призрак бессмыслицы всех подвигов? «Три минуты молчания» — это же не просто трёхминутный сектор для приема радиосигналов SOS. Это ещё и те три минуты, когда человек может вспомнить (или не вспомнить), кто он в мирозданье.

Путь к трём минутам молчания пролегает у Владимова сквозь долгие часы работы, штормов, громов и молний. Это чисто читательское ощущение: погружаясь в рыбацкие будни, в тонкости технологии лова, в грубость быта, в нескончаемое богатство типов, типажей, живописных фигур и острых положений, во всю эту энциклопедию рыбацкого профессионального дела, попадаешь в какой-то удивительный плен. Владимов рассказывает блестяще, материал у него блистает, блещет и блестит — подробностями, деталями, частностями и прежде всего огромным, слепящим количеством рыбы. Невозможно освободиться от гипноза материала, хотя чувствуешь: ведь не в этом же дело!

А в чём?

Варианты спасения

Постепенно в сверкающем потоке начинает прорисовываться моральная ситуация. Суть в том, что человек зол. Злее злого! «Тут не детский сад!» Тут слабых не надо. Деньги — бешеные. И работа соответственная, «наша, рыбацкая работа. И в ней ничего святого нет. Запомни это, салага. Чем скорей ты это усвоишь, тем легче жить». Владимовские рыбаки живут по жестокому закону силы. Никакой жалости! Чтобы столкнуть с ними главного героя, Владимову достаточно наградить того — жалостливостью.

В «Большой руде» бригада шоферов тоже жила по своим законам. Там был, однако, Пронякин — человек, тронутый гордостью. Он погибал в столкновении с бригадой. Но он был. И погибал, не сдавшись.

В «Трёх минутах...» вы угадываете эту пронякинскую неуступчивость, эту жёсткую силу сопротивления человека. Но что-то случилось. Он расслоился, раздвоился, этот дух. Пронякинская жёсткость, крутая верность себе как бы отделилась, дала отдельную фигуру «деда», стармеха Бабилова. Этот действительно поступает по совести, и только по совести, ни перед кем не гнётся, не ломает шапки. Но... он здесь — скорее символический идеал, нежели участник,— старый, полуслепой,

стоящий на пороге пенсии механик, и к нему относятся скорее как к старому чудаку, «ископаемому» староверу, чем как к реальному противнику.

Что же остаётся от пронякинской упрямой честности, когда из неё вынимают костяк? Остаётся Сеня Шалай, шалый парень, от имени которого ведётся повествование. Шалость – жалость; жалость – как ось характера. Жалеет людей, наделён совершенно непонятной в его положении жаждой добра. Спьяну проговаривается: «Вот я такой. Я добрый, и всё тут». Его хватает на получудаческое сопротивление «хору» – за что его считают чокнутым, ругают «гуманистом», но, в общем, терпят и даже симпатизируют ему, а некоторые – и любят, потому что нет в нём пронякинской тяжёлой серьёзности, и ненавидеть вроде бы его не за что. Это не характер даже, это скорее симбиоз характера (живой, хваткий малый, с чутьём на людей, не без хитринки) и авторской воли, нагрузившей нормального парня великой жаждой добра, справедливости и настоящего товарищества. Так что можно понять того критика, который спрашивает: скажите же мне наконец, кто он, этот Сеня! Одно из двух: если это личность, то чего он такой шалавый, а если он «как все», так чего я должен его слушать?

Такой же вопрос задавал я по наивности Владимову после «Большой руды»: всё-таки определимся – прав, в конце концов, твой Пронякин или не прав? Может, сама невозможность ответить на этот вопрос и есть то главное, что почувствовал и передал нам Владимов и в «Большой руде», и в «Трёх минутах молчания»? Но невозможно было примириться с невозможностью, и я допытывался у автора «Трёх минут...», как и у автора «Большой руды»: как жить, если и «все» правы, и ты «против всех» прав?

И писал в 1970 году – в полном смятении от сознания того, что герой романа в сравнении с героем повести *ослабел:* как же, ведь именно личностное достоинство сделало когда-то «Большую руду» книгой-событием (хотя по части разговоров о достоинстве Пронякин весьма уступал аксёновским интеллектуалам),– ведь это закон: человек, в котором проснулось достоинство, не может отбуксовать обратно – он или ломается, погибает как личность, или ломает шею. Пронякин погибал, неся свой крест до конца. А Сеня?

Но чтобы понять его вариант, надо вникнуть в другие варианты. Всего их в романе пять. Пять героев: Лиля, Сеня Шалай, Граков, «дед» и Клавка.

Самый простой вариант – Граков. Шишка промыслового масштаба, «сельдяной бог». Типичный совначальник, очерчен-

ный у Владимова с таким ледяным отчуждением, какое потом он испытает разве что к гебешникам в рассказе «Не обращайте вниманья, маэстро» и к особистам в романе «Генерал и его армия». Граков сразу ясен, интерес только в деталях: орёт о трудовом энтузиазме, машет лопатой, подавая пример, провоцирует команду на безумные действия, а когда в пробоины хлещет вода, напивается в усмерть и прячется от всех. Спасённый же — громче всех орёт: толкает речугу о героизме.

И что? «Вот уж про кого мне меньше всего хочется думать»,— роняет рассказчик. Мне, читателю, тоже. Не потому, что Граков описан тускло или невнятно,— нет, он описан резко и ясно. Но он всё-таки не ввязан во внутреннее действие. Во внешнее — ввязан, но в то моральное терзание, которое составляет смысл усилий главных героев,— нет, не вписывается. Он — вне их проблемы.

«Ничего делать не умеет. Всю жизнь — ничего, только вот глупости говорить. Прогони его завтра — под забором мослы сложит. Разве что пенсия персональная...»

Вот «дед» — совсем другое дело. Единственный, можно сказать, полноценно положительный герой. Он — как «истинный горизонт» для качающихся героев. О «смысле» не спрашивает, просто поступает так, как надо по смыслу. Не мучается вопросом: «как все» он или «не как все»,— просто делает то, что считает правильным. В критическую минуту — других спасает, не себя. А так — сидит где-то возле своей машины: машина не обманет!

Но когда машина всё-таки обманывает и потерявшую ход посудину несёт на скалы, истина обнажается: «дед» велит ставить парус...

Вот он, апофеоз и обрыв, последний рубеж и последний упор. Вчитайтесь:

«"Дед" послюнил палец — хотя зачем было слюнить? — поднял кверху, сказал:

— Полный бакштаг левого галса!

Я увидел его лицо под капюшоном — все в морщинах и молодое».

Вся литературная родословная Владимова на мгновенье высвечивается в этом эпизоде. «Моби Дик». «Водители фрегатов». «Алые паруса». Сказать, что он «романтик»,— ничего не сказать. Он — романтик, возненавидевший романтику за её бессилие, романтик, попавший в эпоху «вонючих машин», в сволочную реальность, которую не переломить. Вот и герой его

любимый нырнул к машинам, чтобы глаз не пялили. А как парус увидел — вспомнил…

«Тридцать лет около машины провёл, а как посмотрел на парус — вдруг понял: кончился».

Кончился «дед» — потому что кончилась романтика. И не вернуть её. И не спасти. И не очиститься от пошлости, которой она, эта самая «романтика», оборачивается в век граковских «речуг».

Но почему так?

«Отчего мы все чужие друг другу?.. Кому-то же это, наверно, выгодно — а мы просто слепые все, не видим, куда катимся...»

Кому выгодно — Владимов определил: Гракову. Но мы-то почему катимся? Этот вопрос остаётся в романе без ясного ответа. Оттого и вопль этот авторский в финале: что же, мы сами себе враги?!

«Какие бедствия нам нужны, чтоб мы опомнились, свои своих узнали?»

Кто же эти *свои*, которых невозможно узнать?

Дети тревоги

Тут мы подходим к Лиле и к тем романтикам, которые вокруг неё кучкуются. В сволочной реальности, то есть на рыбной палубе, эти ребята — в роли салаг.

Лиля — это «специалистка», насмешливо говорит о ней Клавка. Два излюбленных владимовских женских типа стоят справа и слева от героя. И раньше стояли. Лиля — прямое продолжение той «специалистки» из «Большой руды», что выучила в институте про «сеноман-альбу» и «апт-неокому» и подалась в карьер изучать жизнь, а Пронякин никак не мог представить её себе в детстве. Поэтому у него с ней фатально ничего не могло быть. И у Сени Шалая с Лилей ничего не может быть. Хотя он вроде бы влюблен и она как бы готова ответить. Ничего не получится. Фатально. Соскользнёт чувство с интеллигентки. Отделена невидимой стеной. И «алики» вместе с нею: Дима и Алик — отделены.

Стеной от всех отделены — почему? Потому что не жизнь это для них, а — «школа жизни». Потому что они — хорошими остаться хотят, а жизнь — вещь сволочная. В сущности они — те же «очкарики», только прикрывшиеся баскетболомбоксом. Очкарик, впрочем, в романе тоже имеется, неприкрытый: в институте около Лили крутится. А эти — хоть и при-

крыты — всё равно чужие этой жизни. Тут — нерв владимовской трагедии. Сквозной, через все его книги.

Он правильно заметил, что в «Трёх минутах...» лишь продолжил то, что было заявлено в «Большой руде». Заявлено было ещё и раньше, в первом же рассказе, где герой мазал лыжи, чтобы убежать от сволочной реальности.

Не убежал. Мы это поняли, когда на СРТ «сети грузили». Дима понюхал и сказал Алику: *«Лыжной мазью пахнут»*.

Это и есть *свои*, в которых не хочется узнавать «своих».

Потаённую, родственную привязанность к ним Владимов от греха подальше перепоручает — «деду». Тот — ничего не боится:

«— Книжек начитались? Смысл жизни ищут? Так это же и прекрасно! Начитались — и пошли. Другой и начитается, а не пойдёт. Сейчас хорошая молодёжь должна пойти, я на неё сильно надеюсь. Моё-то поколение — страшно подумать: кто голову сложил, кто руки-ноги на поле оставил... Кого и не тронуло — тоже... в глаза посмотришь — ну чистый инвалид. А тут что-то упрямое, всё пощупать хотят».

«Алики», романтики, в рейс идут, чтобы смысл жизни нащупать — это на них «дед» надеется, потому что «мы» (то есть они, старики) — поколение конченое. А они — молодцы, умники, интеллектуалы. Смысл ищут.

На аксёновском рубеже бой ведётся. Только нащупан ли упор для боя? «Дед»-то на молодых романтиков надеется, да только сами они на себя у Владимова не надеются:

— Мы, наверное, все серьёзно больны. Я и о себе, и об Алике говорю. Все милые порядочные люди. Не гадят в своём кругу. Не делают карьеры один за счёт другого. Но на самом деле положиться на нас нельзя. Потому что — никакие. Наверное, когда людям говорят одно, а потом другое, это не проходит безнаказанно. В конце концов рождается поколение, которое уже не знает, что такое хорошо и что такое плохо.

Неслабая характеристика шестидесятников. Нам-де сначала говорили, что Сталин гений, потом — что изверг, исказивший Ленина. Дождёмся и про Ленина... да словно бы предчувствует это Владимов, и отсюда — этот сиротский вопль, исторгнутый из самой глубины шестидесятнического сердца:

— Мы все — дети тревоги, что-то в нас всё время мечется, стонет, меняется. Но больше всего нам хочется успокоиться, на чем-то остановиться душой, и мы не знаем, что, как только мы этого достигнем, прибьёмся к какому-нибудь берегу, нас уже не будет, а будут довольно-таки твердолобые обыватели...

«Мы не знаем» — это Лиля говорит. Владимов — знает. И тревога его — абсолютно осознанная. И берега, между которыми мечется не находящая опоры душа, ему отлично ведомы. Надо же вспомнить, что такое в кодексе шестидесятников означает стать «твердолобыми обывателями», чтобы почувствовать немыслимость такого якоря.

Но тогда — скитанье. Скитанье души. И полная невозможность понять, где право, где лево, кто праведник, кто сволочь, и вообще — что такое хорошо и что такое плохо.

А Владимов именно вот и хочет упорно узнать: кто хороший человек, а кто сволочь.

А сволочная реальность не даёт узнать.

«Романтик» — хорошо или плохо? Да хорошо же! — На парус взглянуть! Но поскольку Владимова в ярость приводит *бессилие* романтики, и именно этого он ей и не может простить, именно это мучительное колебание непоколебимой души и составляет потаённую драму самого Владимова, сжигает его скрупулёзную прозу гамлетовским жаром. Быть или не быть, если быть не дают и не быть нельзя?

С чисто литературной точки зрения, лучшие страницы романа — описание шторма; я, во всяком случае, не знаю в современной прозе более впечатляющей картины того, что происходит на судне и в душах моряков, когда разбитый корабль вот-вот станет тонуть. Страшные минуты членятся на мгновенья, растягиваясь в вечность, поток сознания распадается на «корпускулы» отчаянных действий, и обнажается — тщета, и каждая душа предстаёт перед... перед... как бы атеисту получше выразиться... перед Тем, Которого Нет.

Так что же делать, если тонем и шлюпок не хватает?

Братва лезет в чемоданчики.

«Алики», сощурясь, комментируют:

— *Пардон, кажется, сейчас состоится обряд надевания белых рубах?*

И, срываясь с иронии:

— *Всё-таки вы — подонки. Я думал, что вы хоть побарахтаетесь до конца, а вы уже на лопатках лежите.*

Иные кореша действительно лежат в смертных рубахах, иные же режутся в карты на шелобаны, и невозможно понять, что такое эта полная равнодушия к смерти игра в карты на кренящейся посудине — акт трусости или смелости. Скорее — фатализм. Скорее — тут толстовский капитан Тушин проглядывает. И та «китайская» способность влиться в «рой», которую усматривали у Толстого.

— Ничего, друг мой Алик... Всё естественно. Когда есть личность — ей и должно быть страшно. У ней есть что терять. Вот китайцам, наверное, не страшно. Они — хоть пачками, и ни слова упрёка...

Ну да: детям тревоги страшно, потому что они — личности. А Сеня Шалай — «китаец», и он их поддразнивает: «Чему быть, то и будет». «Алики» ему: «Эту философию мы тоже знаем: лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. А всё само собой образуется?» А Сеня: «Конечно, само собой». Они ему про гордость морских волков, про последний обломок мачты, на котором надо спасаться. А он: «Авось пронесёт».

Дойдя с подначками до Айвазовского («Девятый вал», помним, введён как картинка на стене в общаге), «алики» серьёзный разговор прекращают. Это для них край, дальше — «твердолобость обывателя», и разговаривать не о чем.

Но для Владимова, который в этих салагах видит по-своему вывернутую твердолобость, Сеня не так-то однозначен. Он думает о смысле: зачем всё это?

«За что? В чем мы таком провинились? А разве не за что? Разве уж совсем не за что? А может быть, так и следует нам? Потому что мы и есть подонки, салага правду сказал. Мы — шваль, сброд, сарынь, труха на ветру. Мы — звери друг другу — да хуже, чем они, те — если стаей живут — своим не грызут глотки...»

Кто спасёт?

В одиночку не спастись, а в стае спасёшь не то, что хочешь спасти. Дилемма, решения не имеющая. В ту же пору, перерабатывая «Верного Руслана», Владимов взвешивает варианты: уйти в Трезоркину конуру, слиться со сбродом, пригнуться до швали, притвориться трухой на ветру? Или — погибнуть, подобно одинокому волку, да не просто погибнуть, нет, врагам перегрызть глотки!

А потом скажут: понаделали палачей из честных романтиков...

Выходит, невозможно взять ни ту, ни другую сторону?

Однако Владимов по складу характера не выносит ни половинчатости, ни раздвоенности, он требует в любой ситуации твёрдого ответа: да или нет! — и вот он вынужден на кренящейся палубе СРТ-815 сказать: кто хочет удержаться — не лезь за горизонт, держись палубы...

А Лиля?

А Лиля – своей палубы и держится. Она из породы «аликов»: за неё с детства мама решала. Потом – «в школу два квартала туда, два обратно. Потом – одной и той же дорожкой в институт. Потом в другой». А палуба качается: «сначала одно, потом совсем другое, потом опять то же самое». Ни да, ни нет, то есть и да, и нет. «Нравишься ты ей? Данет». «Такая же данетистка, что все мы».

Это «алики» говорят Сене.

А он: «Ничего, переживём».

Пережить-то переживёт, только без неё. Без Лили. Без «аликов»-шестидесятников с их бессильной романтикой. Они Сеню не спасут. Сеню Клавка спасёт.

Клавка – предельно яркий вариант всех владимовских буфетчиц,– всё, что было и в пронякинской «женульке», и в Стюре, приютившей зэка в «Верном Руслане». Интеллектуалка проваливается – буфетчица выручает. И собой хороша, и собой пожертвует, и хватка есть, и доброта. Для того чтобы соединились в Клавке эти не всегда соединимые стороны души, то есть: врождённая верность и умение вертеться в сволочной реальности, Владимов наделяет свою героиню недюжинной силой (в том числе и физической, иначе как же над кастрюлями да над корытами сохранит она необходимую женственность?).

В общем, на Клавку – вся надежда: спасти мятущегося героя. Владимов ему эту самую Клавку и отдаёт. Под самый занавес и словно бы стесняясь «счастливого финала», отдаёт условно, в качестве чужой жены (обнаружив неожиданно свёкра), а дальше – лучше не рассказывать, там «совсем другая история».

Ну, вот: «Все романы обычно на свадьбах кончают, потому что не знают, что делать с героем потом».

«Потом» – и Клавка станет «другая», и герой – «другой». Так что лучше остаться тут – с полуоткрытым финалом. То есть с неразрешимостью.

Ибо если, в отличие от Лили-интеллигентки, Клавка-буфетчица – спасёт, то вот вопрос: *кого* же она спасёт? «Алика», интеллектуала? Никогда. Этому нет спасения. Бича какого-нибудь спасёт? Это неинтересно.

И вот оказывается в центре романа нечто третье: тот, кого она спасёт. Странный герой: и с «аликами» спор ведёт на равных, и с бичами свой.

Арсений Алексеевич Шалай, по паспортно-судовой роли. А так-то просто Сеня Шалай. Или – Шаляй, как его разок опознали. У Владимова тонкое чутье на имена и клички.

Странный герой принимает на себя его тревогу.

По внешности, по типологии, по социальной привязке — сама обыкновенность. Семь классов, ФЗО, призыв, флот. Мог попасть в шофера, попал в рыбаки. Тут даже не нужна и *куртка,* чтобы почувствовать, что перед нами родной брат Пронякина,— куртка описана на первой странице «Большой руды» и куртка же опознавательным буем болтается по всем страницам «Трёх минут молчания». Разумеется, с тем отличием, что у Пронякина куртка — как у всех, а у Шалая — не как у всех, но ведь этот аспект, как мы выяснили с помощью «деда», бессмыслен до абсурда; это Лиля всю жизнь рефлектирует над тем, как ей жить: как все или не как все...

А Сеня?

Странный парень. Тончайший ретранслятор авторских идей и оценок, спрятанный в самую середину швали и трухи. И потому — трудноуловимый.

«Ты знаешь, ты — кто?»

Итак, опознавательная краска — готовность всех понять. И пожалеть. Сене жалко бича бездомного, вахтёршу, жалко «аликов». Жалко даже того бондаря, который Сене противен и который, между прочим, «аликов» презирает. Монотонность этой жалости не должна нас убаюкивать, потому что объектами жалости становятся невообразимо разные, несовместимые и непримиримые явления сволочной реальности. Собственно, Владимов нагружает жалостью героя, вовсе на то не напрашивающегося. Собственно, он *свою* жалость ему передоверяет. Собственно, он, писатель Владимов, перегружает на нормального парня по фамилии Шалай ту самую интеллигентность-романтичность-совестливость, которую шестидесятники-салаги заведомо не снесут.

А чтобы мы не пропустили нравственных результатов этого опыта, бичи палубные время от времени подсказывают нам, кто такой Сеня, ругая того «гуманистом». Окончательный же приговор выносит бондарь. Апелляции не будет, для чего и взят тут случай той самой «необъяснимой вражды», изначальной «биологической несовместимости», каковая описывается в учебниках психологии. Владимову этот случай нужен именно затем, чтобы вынести вердикт за скобки всякой логики, упереть его в какое-то запредельно прочное основание, ибо только так, «биологически неотвратимо», сволочная реальность должна разделаться с «гуманистом»:

— *Я бы таких добрячков на мачте подвешивал!*

Сеня — с фирменной своей улыбочкой:

— *Феликс! За что ты меня ненавидишь, сволочь?*

Вот чутьё на имена! Феликс! Счастливчик! Всё понимает, а всосался всё-таки в труху, влез в кучу. Потому и сволочь. «Сволочь» в данном случае — пароль-слово.

— *А добрый ты. Умненький. Вот за это*,— отвечает Феликс.

— *Понятно. А салаг ты всё же не так ненавидишь, как меня.* (То есть «аликов», интеллигентов, «детей тревоги»).

— *Салаги мне что? Они отплавали да уехали. А ты свой, падло. Всё время перед глазами будешь.*

Конец опыта. Остается «убрать трупы». И трапы.

Понятно, что Сеня «перед глазами» лично не останется. Уйдет с корабля. Куда? На другой корабль. Или на сушу. Россия велика...

Никуда он не уйдёт — от самого своего скитанья. Будет искать пристанища, Агасферов дух, вселившийся то ли в бича, то ли в бомжа, то ли в бродячего проповедника.

Нигде не причалит. А причалит — так и сделается «другим», неузнаваемым и, может быть, Владимову неинтересным.

Смутное ощущение непонятной вины, то есть вины, которой его наградили без его ведома,— отсюда же. И «чистосердечное признание», принесённое добровольно: «Я сам это себе выбрал». И — одиночество.

Горькое, тайное, неизбывное, тёмное одиночество — с первой до последней страницы. Буквально с первой: «Я был один на пирсе...» — и до последней: «Ты знаешь, ты — кто? Одинокая душа!» — Это Клавка ему в страхе-предчувствии, что жизнь всё «испоганит».

Одинокий волк. Нет, не морской волк, не викинг в доспехах на кренящейся палубе в воображении «аликов»,— а волк добрый, волк домовитый, крепкий в стае, готовый нести добычу в логово верному семейству,— сознающий своё одиночество в сволочном мире,— вот автопортрет человеческого сознания, когда оно у Владимова замирает на три минуты — «три минуты молчания»,— чтобы найти истинный горизонт, а потом вновь вцепиться в пляшущую палубу корабля, получившего пробоину в штормящем море.

Так на что же надеяться? На корабль? На лодку? Или на Аллаха, который, как известно, не придёт к голодному иначе, как в образе куска хлеба?

При чтении всякой настоящей книги бывает момент читательского озноба, иногда необъяснимого, а иногда и не нуждающегося в объяснении.

Перечитывая «Три минуты молчания», я ожидал этого. Но не подозревал, в какой именно миг меня «пробьёт». То, как я читал роман двадцать лет назад,– другое. Я про теперешнее.

Посреди штормового рёва – Глас с неба. Женский картавый голос, с акцентом:

– *Всем, всем, всем! Береговая радиостанция Ютландского полуострова просит слушать море. Всем судам, плавающим в Северной Атлантике... Вертолётам береговой охраны и патрульной службы спасения. Двое просят о помощи – русский и шотландец. Их несёт течением и ветром на фарерские скалы. Примите их координаты...*

Я остановился переждать подступившие слёзы. Тут кто-то около Сени сказал:

– Правильный бабец. Эмигрантка, наверное.

Ему ответили:

– Всё б тебе про бабцов.

Я опомнился: старый дурак, за сорок лет занятий литературной критикой не изжил читательской наивности. И подумал трезво и умудрённо: как же нас должно было укачать, чтобы Тот, Которого Нет, сказал единственные понятные нам слова в стиле радиоприказа.

Оглазье панорамы

«Понятные слова» по-своему искала в ту пору и критика, устроившая вокруг «Трёх минут молчания», как выразился Владимов, «кошачий концерт». Длился этот концерт до тех пор, пока «Верный Руслан» не вынырнул на Западе, после чего воцарились вокруг Владимова две пятилетки молчания, что было, возможно, ещё хуже, чем концерт.

Последний раз автора «Трёх минут...» вытащил в «Литературную газету» на диалог Феликс Кузнецов в 1976 году, и до 1989 года, когда тот же «Руслан», вернувшись в родную зону, то есть в советскую печать, легализовал здесь имя своего автора, о Владимове официально «не было ничего известно». За эти годы Владимов вышел из Союза советских писателей и вошёл в международную организацию «Эмнисти Интернэшнл», в рамках которой повёл правозащитную деятельность, помогая «узникам совести». Затем он отбыл в Германию. Там он некоторое время редактировал журнал «Грани», потом с «Гранями» порвал и сосредоточился на работе над новым романом, о котором лишь смутные слухи доходили до советских читателей. Известно было, что роман называется «Генерал и

его армия» и что как-то касается судьбы «генерал-предателя» Власова. Само по себе это было, по тем временам, рискованно, однако риск угадывался не только в предмете, но и в обстоятельствах.

Риск был в отрыве от почвы, в отрыве от ситуации, которая в России менялась непредсказуемо. Всё-таки когда опора ползёт из-под ног литературы куда-то вбок, писатель теряет смысл работы. Всё-таки он рискует оказаться в положении оратора, выброшенного кораблекрушением на необитаемый остров. Поневоле вспоминаешь притчу о фанатике-стилисте: на необитаемом острове он продолжает писать, отделывая фразы... для кого? Ни «для кого». Для себя. Просто потому, что мастер. Потому что – такой.

Тут Владимов и доказал, что он – такой. От него и следовало ожидать чего-то такого. То есть: классического романа, выношенного десятилетиями, отточенного до блеска. И о чем? О событиях полувековой давности! О войне – и это после Гроссмана, не говоря уже о Толстом и вообще обо всей двухвековой русской батальной литературной традиции, в створ которой Владимов встал открыто и осознанно.

Как всё это могло вписаться в панораму советской, впрочем, уже «российской» литературы, в которой громко закричали молодые, что они выбирают пепси? Запахи владимовской прозы далеки от этих новых онёров. У Владимова пахнет гарью, танковым выхлопом, ружейным маслом, порохом, кровью. Достоверна фактура, выверена форма: всё врезано жёстко, всё пригнано, взвешено, прокатано, впаяно.

Эта проза как бы отделена от расхожей ясности, отделена – именно этой вот щеголеватой военной терминологией. И так – до самого финала, до последних слов о командире гаубичной батареи, когда он выстраивает «параллельный веер», и наводчик по его команде крутит «маховики» и приникает к «оглазью панорамы»... Вы видите это оглазье и эту панораму и даже как бы видите веер траекторий, но страшный смысл этой наглядности не сразу доходит до вас: то ли по немцам бьет наша гаубица, то ли по власовцам, и кто там *чужой*, а кто *свой*, разбирать некогда, а когда наступает ясность, вы понимаете, что лучше б её не было, этой ясности, потому что во мгле кровавой военной реальности высвечивает Владимов такое, что не укладывается ни в военную, ни просто в человеческую логику: смертоносный советский снаряд летит в машину советского же генерала, главного героя романа «Генерал и его армия»...

Это – финал. Но долог путь к нему, и вымощен...

Количество жертв — уже не вопрос

Речь вроде бы только о солдатской работе, о спокойной решимости русских умереть за клочок земли, о котором они никогда слыхом не слыхивали, за Москву, которую они никогда и близко не видели,— речь о спасении России, которая никого не жалеет и за которую идут умирать те самые люди, которых она не жалеет,— эта громада, твердыня, держава величественно вздымается над кровью. Но... зовёт в лесок поговорить особист Светлооков, и, поигрывая прутиком, предлагает посотрудничать... И — ничего больше нет: ни громады, ни твердыни, ни державы, а только невозможность защититься и тошнотный страх.

А может, это вот так изначально и связано одно с другим: «размазанность» отдельного человека и непобедимость державы? И Владимов с этим смиряется? Вот капитулирует у него шофёр Сиротин, за ним — адъютант Донской, и вы ждёте, что ординарец Шестериков тоже сдастся, и это будет третья вершина треугольника, и подтвердится «правило трёх точек», и завершится охват и штурм с трёх сторон. Погибнут все трое, как бы аннулировав сексотские поползновения майора Светлоокова и оставив нам первый капитальный вопрос о жизни, как её понимает Владимов (и нас заставляет мучиться этим вопросом): почему всякому нашему человеку, будь то офицер-адъютант, сержант-ординарец или ефрейтор-шофёр,— непременно нужен тайный дублёр-соглядатай из особистов, тихий проверяльщик, из тех же офицеров-сержантов-рядовых выделившийся,— чтобы следить за каждым проявлением бытия, действительно ли оно бытие? Что это за реальность такая, что она ежемгновенно выделяет из себя другую, параллельную реальность, особую, тайную, чтобы она, эта секретная реальность, удостоверяла ту, явную, что та не врёт самой себе?

Гибнут светлооковские осведомители, гибнет Шестериков, оставляя на этом свете генерала, покалеченного телом, а ещё больше — душой: доживать до старости, мучительно думая о цене Победы и о смысле подвига, который совершили они все — и генерал, и адъютант, и ординарец, и шофёр, и еще миллионы людей, «кучей полёгших» в войну... так чего же в ней больше, в войне: святости или подлости?

Количество жертв — это уже не вопрос, это ответ. Он уже получен. За Россию расплатились Россией. И, похоже, не в последний раз.

Но я хочу знать, откуда в нас фундаментальная склонность к такому принципу расплаты? Почему с такой готовностью рус-

ские люди (и «заодно казахи, грузины... летчик-эстонец... танкист-белорус... и те же евреи») согласны умирать за любой клочок земли, даже и не имеющий никакого оперативного значения. Согласны возлюбить палача, всенародного, верховного, генерального. Ведь это же всё осталось. Этот вопрос у Владимова заложен. Он-то и висит в воздухе. Или, ещё точнее: танком наползает...

Знают истину танки?

«...А танки он гонит, понимаешь, гонит, а танки у него — ох, злые! И все куда-то в сторонку побежали. Ну, а мне что — больше всех надо? Тоже и я в сторонку. Не так что драпаю, ню — в темпе. Я вам скажу... где лучше всего бежать. Лучше всего — в серёдке... Не спеши... Не дай бог, политрук с пистолетом навстречу выскочит: «Стой, трусы-предатели!» — или же заградотряд из пулемётов чесанёт — первые пули твои будут. А всех вперёд пропустить — тоже плохо, немец-то догоняет... Так что лучше в серёдке... Но если «мессер» налетит, именно он в серёдку весь боезапас всодит... Лучше — в сторонку...»

«Не понимаю,— думает генерал, слушая эту исповедь (и сам Владимов именно в этот вопрос в конце концов упирается).— Кто ж тогда победы одерживал, если такие были защитники отечества, то в серёдку норовили, то в сторонку?»

«И с удивлением признаёт, что именно они».

С удивлением и мы признаём это откровение, вроде бы неожиданное у Владимова. «Всегда окружённый людьми храбрыми», и он раньше думал, что побеждает тот, кто рискует. А если вглядывался Владимов в людей «кучи», то исчужа. Вспомним, как рядом с верным Русланом пёхает у него какой-нибудь Тобик-Шарик-Трезорка, и Потёртый подваливается под тёплый бок к Стюре... И вот теперь, как последний рекрут на пути особиста-смершевца, уже преодолевшего сопротивление Сиротина и Донского, встаёт этот шустрый, работящий, хитрый, практичный, насквозь «народный» Шестериков. Ну? Выдержит?

Диспозиция:

«Если для шофёра Сиротина смерщевец... был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полёте, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы непостижимые, то для Шестерикова он был — лоботряс».

Отлично сказано. Точно ли? Кто он в реальности, всесильный смершевец? Исчадье подлости, тайный совратитель, которого Владимов с тончайшим ядом нарекает Светлооковым? Нет, нам не преодолеть мистического ужаса перед этим инквизитором, пока мы не воткнём его в какой-нибудь «жизненный пласт». Владимов хоть и скуп на живопись, однако штрихом-другим умеет же очертить типаж и обозначить корни.

Так когда-то в «Верном Руслане» было скупо, но точно обозначено происхождение лагерного вертухая: с голодавшей Украины. Всякому злу должно быть объяснение. Фарфорово-фаянсовая сексотка Зоечка делается понятнее, когда в перспективе лет видишь её в облике «дебелой партийной бабёнки, успевшей переспать со всеми инструкторами обкома», а потом — в облике «опустившейся бабищи, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отёчными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле».

Точно так же мы ищем «типический ракурс» в инфернальной фигуре Светлоокова. И вроде бы двумя-тремя штрихами Владимов нас отсылает к чему-то знакомому. Льняные волосы, заброшенные за крутой выпуклый лоб... что-то великорусское, может быть, провинциальное... шустрый мальчик, лучший ученик сельской школы, быстрый, сообразительный, с чётким счётом. Попадает в артиллерию. Корректировщик, батарейный командир... И вдруг всё это ползет вбок, в какую-то новую плоскость. Светлооков — поэт. И видать, неплохой — сам Илья Эренбург шлёт ему добрый отзыв, после чего в армейской газете заводят для начинающего творца персональную рубрику. Это уже что-то достоевское, шато-кирилловское, неуловимо-неохватное: никакого «дебелого зада», никаких бытовых контуров — то ли ангел, падший до дьявола, то ли дьявол, испытующий в человеке ангела...

Так возникает посреди реалистичных декораций ощущение безвоздушного пространства, вакуума, «полигона», «театра военных действий», в пределах которого (в беспредельности которого) войсковой смершевец потому и кажется «всемогущим провидцем», проводником «непостижимых сил», что лучше всех отвечает общей скрытой готовности принять всё это.

Владимов пытается преодолеть морок. Шестериков, трудяга, травленый заяц, пензенский мужик, «готовый поливать эту землю пóтом»,— уж он-то имеет основания без всякой мистики считать Светлоокова бездельником, наевшим мурло на писании пустых бумажек?

Нет. Не имеет. Ни опоры, ни почвы, ни права. Земля под ним, Шестриковым, урезана, почва отнята, паспорт отобран,

сам он — «беспачпортный крепостной, не могущий никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку... но и ту из его рук выдирают...»

Выдирает — Светлооков. Соломинка — в его руках. Все концы и все начала — в его руках. Огромная страна как бы не чует себя, не видит себя, не верит себе; она выделяет из себя особую фракцию всё чующих, всё видящих и всё знающих опричников, которые и выстраивают из этой гигантской массы — воюющую машину.

Они все: и «вооруженные мужчины», и «лоботрясы», посылающие их на смерть, они все на дне своего существования бессильны, безопорны и потому потенциально бесчестны. Это их бессилие компенсируется «особым» существованием: особыми отделами, особыми сотрудниками, особыми органами. Рок России: особое, параллельное, «подлинное» (т.е. когда бьют линями?) существование. Так разменивается жизнь на жизнь. Спасение покупается ценою гибели. Вольность — ценою рабства. Россия — ценой России. Страшен глубинный смысл владимовской метафоры, рождённой «в масштабах плацдарма». Жизнь равна смерти. На смысл существования не остается сил.

Генералы спорят о том, как двинуть клинья, автор рассуждает о том, какой вариант операции достоин войти в военные учебники, а вы с тревогой следите за тем подспудным тектоническим зарядом, который оставлен и ждет момента.

Иногда это магнетическое поле подступает к самой поверхности текста, раскаляя эпизод до «прозрачности». Как в страшной сцене опознания трупов во дворе орловской тюрьмы — сильнейшие страницы романа!

«Наша боль, не ваша»

Эпизод этот достаточно известен историкам: при подходе немцев к Орлу в сорок первом году были уничтожены чекистами заключённые местной тюрьмы. Постреляли всех без суда и следствия. Зачем?

Задавая этой ополоумевшей реальности логичные вопросы, Владимов именно и испытывает её — логикой, то есть тем, чего она изначально лишена. И потому он чувствует, что должен вынести точку отсчёта — вовне. Далее следует чисто толстовский ход — переброс действия «от Кутузова к Наполеону»... то есть к Гудериану.

Вполне по-толстовски немецкий генерал увиден с партикулярной стороны. «Старина Гейнц». Простой, ясный, благородный. Только в противовес Толстому, Владимов рисует завоевателя без всякого желания разоблачить и выставить насмех. Генерал лишь в одном отношении выпадает из общей ситуации, к которой душой прикипел Владимов,— именно в том отношении, что Гудериан из неё — *выпадает*. Начисто. Он — пришелец. Соглядатай. Чужак. Причём не злонамеренный чужак. Интонация «должного уважения», с какой описан германский танковый генерал, опять-таки идёт вразрез со всей той брезгливой ненавистью, которой обычно окружены в русском сознании чужаки и пришельцы. Стальные конкистадоры всегда входили в Россию, как в пустое пространство. Гейнц Гудериан, в отличие от них, учитывает, что в «пространстве» живут люди. Их существование его не интересует, но он мыслит логично, то есть подходит к людям с тою логикой, какую знает сам.

И вот он приказывает выложить на тюремном дворе сотни трупов, обнаруженных в подвалах тюрьмы, и приглашает родственников для опознания. По его логике, люди, увидевшие своих родных мёртвыми, должны возненавидеть палачей, которые всё это сотворили. Он не может понять, почему ненависть людей обращается не на чекистов, а на него, честного немца. Почему люди смотрят с такой злобой? «*Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?*»

«Это»... Да разве же можно понять, что значит «это» в стране, где всё смешивается и сама реальность под вопросом? Границы мирозданья начинают ползти в сознании честного Гейнца. Его танк, оставивший следы на дорогах всей Европы, начинает скользить куда-то вбок по склону русского оврага, покрытого грязью и снегом. Европейский интеллектуал, расположившийся в Ясной Поляне, читает по ночам «Войну и мир», постигая русскую загадку. Он думает, что мистический смысл ускользает от него из-за чрезмерной энергичности немецкого перевода, меж тем как мистический смысл события состоит в том, что он, немецкий пришелец, сидит в своих «каменных сапогах» за столом Толстого, и всякая логика (если логика вообще появится) начнется *после* того, как эти безумные русские выгонят благородного генерала из Яснополянской усадьбы, а танки его размажут по склонам оврагов.

Но ведь чекисты убивали!

«А это наша боль, не ваша».

...И генерал Кобрисов, спаситель России, на которого у Владимова вся надежда, в свое время и продотрядами командовал, и раскулачивал, и бунты крестьянские замирял, и целые сёла переселял в места отдалённые!

Знаем. Но это нас касается, не вас.

И Шестериков, от раскулачиванья по миру пошедший, ему же, карателю, служит?!

Ему, не ему — со стороны не понять.

Именно в этом духе (дрогнувшим голосом и со слезами) отвечает Шестериков особисту:

— А вам-то какое до этого дело?

После чего они мирно идут по тропинке из лесочка, где состоялся их конспиративный разговор. И, в отличие от немецкого завоевателя, который искренне верит в логику и искренне же изумляется русской невменяемости,— наш советский особист своего собеседника логикой только «испытывает», то есть провоцирует, то есть запутывает, а сам преотличнейше знает, что почём.

Старина Гейнц, отвалив с тюремного двора в свой танк, думает о невменяемой массе, братающейся со своими большевистскими палачами, как о безрассудной силе, о слепой природе, об урагане, землетрясении.

Наш майор, из массы вышедший, думает иначе: общее всех сплотило. Эта светлая, стоокая, светлоокая, прозрачная, безжалостная сила — почти «механическое следствие» той тёмной, рыхлой, непробиваемой, жалостной, природной массы, в которой всё у нас и вязнет и спасается. Ей в противовес нужно что-то сухо-беспощадное, неистребимое. Исчезает Светлооков — выныривает Опрядкин, лубянский следователь: «светло-ледяной взгляд, аккуратный пробор в прилизанных жёлтых волосах...» — за считанные часы до начала войны ставит арестованного генерала Кобрисова на колени, выбивает показания...

С началом войны мизансцена мгновенно меняется: следователь протягивает подследственному руку, и генерал, поднимаясь с колен, спрашивает:

— *Стало быть, гражданин следователь, вместе будем теперь отечество спасать?*

Ну да, спасать Россию — ценой России...

Генерал Кобрисов — «негромкий командарм», из тех, чьё имя может затеряться среди громких маршальских биографий,— для Владимова именно тот человек, который способен опереться на эту зыбкую землю. Владимов его и находит — как

своеобразный гравитационный центр воюющей державы. Пониже тех, кто стрелами на карте посылает других на смерть, но повыше тех, кто безропотно умирает. «Восемь пудов скорби» – Фотий Кобрисов, здоровенный донской казак – «почва» наша, «опора» наша!

Отбывает генерал в Москву. За назначением и отдохнуть. Не доезжает! Садится у обочины выпить-закусить. Вместе с шофёром, адъютантом и ординарцем, которые в изначальной композиции вокруг него треугольником и были дислоцированы. Так что сюжетно всё замыкается равновесно. Только срывает их всех с места... нет, не вихрь, а словечко, вылетевшее из репродуктора. В очередном приказе поминает генерала Кобрисова Верховный Главнокомандующий, он же Генсек, он же – главный палач, начальник всех лубянок, инициатор всех расстрелов, лагерей и ссылок. Он роняет имя Кобрисова в длинном списке отличившихся генералов, и седой казак, «восемь пудов скорби», пускается в пляс прямо на дороге, пьет на радостях с первыми встречными и, плюнув на всё, разворачивает машину – обратно. На фронт!

Этот перышком летящий, шутом пляшущий грузный генерал – символ той реальности, которую «звериным чувством» чует Владимов.

Чуемая эта реальность и составляет для меня главную ценность его романа. Хотя ползёт реальность куда-то вбок от маршрута.

Вот так когда-то скользкой дорогой ползла она, реальность, куда-то вбок из-под колёс взбунтовавшегося шоферюги Пронякина, который не согласен был за гарантированный рублик трюхать в серёдке. Потом она, эта реальность, вывернулась в голове честного пса-рыцаря, который не жалел себя, следя, чтобы все трюхали в серёдке и никто не выходил ни вправо, ни влево. Потом эта невменяемая реальность ходуном заходила под ногами храбрецов, как палуба траулера в шторм, и они спасались, сбившись вместе: в «серёдке».

И наконец эта пляшущая, не узнающая себя реальность совпала и совместилась – с обликом и масштабом России.

Вскочить на подножку

Начало драмы: взбунтовавшаяся уголовщина вырывается на волю и начинает напоминать шторм, в котором тонет всё. Вот как это откладывается в памяти молоденького юнкера Кобрисова, который осенью 1917 года решает, ехать ли ему в

Петроград охранять Временное правительство или остаться в Петергофе в школе:

«В те дни на улицах Петергофа много появилось революционной матросни, братишек из Кронштадта и Ораниенбаума, с пулемётными лентами крест-накрест и маузерами, свисавшими только что не до земли, они задирали офицеров и юнкеров, приставали с вопросами: за кого ты,— и если ты говорил, что ни за кого и не против кого бы то ни было, то они решали, что ты против того, за кого они, и затевали драку...»

Так ехать в Питер или не ехать?

«...И те, кто уезжал, и те, кто оставался, и сами эти полосатые братишки — все были сплошь революционеры. И все люто враждовали с революционерами, которые были также и контрреволюционерами...»

Через весь роман пропущена ниточка абсурда: логика бессильна. Но неотступна, как дурной сон. К революции призывает Ленин, но революцию спасает и генерал Корнилов, а также Керенский, который спасает революцию от них обоих. Из такой круговерти выход почти случаен: успеешь или не успеешь вскочить на подножку поезда Петергоф — Петроград, дальше — само понесёт. И уже через год несёт Кобрисова красный конь в атаку, а навстречу ему несутся на белых конях его давешние друзья-однокашники (те, что вскочили на подножку и уехали охранять Керенского) и так же, как Кобрисов, орут: «Даёшь!»

Донеслись: Бела Кун вероломно перестрелял сдавшихся ему в Крыму белых офицеров. Тухачевский потопил в Кронштадте полосатых братишек. И мужиков-тамбовцев потравил. Потом Сталин пустил в расход Белу Куна и Тухачевского.

Значит, Сталин прав и все получили по справедливости?

По какой справедливости? По той самой, по какой матросам охота была задирать юнкеров? Какую логику можно извлечь из этой каши?

Можно и никакую не извлекать. Есть романисты, для которых всё это — бесовское наваждение, и народ страдает от комиссаров в красных галифе так же, как когда-то страдал от белоподкладочников. Проклясть и убить тех и этих, потому что понять их невозможно.

Владимов же именно хочет понять. Он выстраивает задачу загодя абсурдную, решения не имеющую, но упрямо атакует её логикой. Вся система «спутников» Кобрисова в романе — испытание абсурда логикой и логики абсурдом.

«Некто, обидно маленький»

Первым сдаётся «комиссар с пистолетом». Самый логичный — тот самый комиссар, что вместе с Кобрисовым выводил летом 41-го года армию из окружения. Точнее, Кобрисов выводил, а комиссар в сумке нёс партбилеты. Уж этот-то верил — и в коммунизм, и в мировую революцию, и в «Критику Готской программы». И — застрелился сразу же, едва увидел лица особистов.

Кобрисов не застрелился. «Критику Готской программы» он не читал и читать не будет. Он без всяких программ видит: между тем, чтобы тогда, в 1917-м, успеть ему вскочить на подножку поезда, и тем, чтобы остаться, расстояние тоньше волоса. И, значит...

И значит, любой безумный вариант не безумен. Комиссар тот, пока шли, говорил ему, что такой человек, как он, Кобрисов, мог бы взять на себя «всё руководство». И Кобрисов не спорил, выслушивал это молча. По законам сталинского времени — разговор, достаточный для «вышки». Это если эмпирически. А по художественной логике — просто логическое развитие той главной, рискованной, отчаянной мысли романа, что в полосатом братстве, называемом жизнью, «взять на себя всё» может, в принципе, любой.

Именно это делает другой исторический «спутник» Кобрисова — «генерал-предатель» Власов. Он что, «за немцев»? Нет. Он Россию хочет спасти, в том числе и от немцев. Но для этого надо свалить Сталина, который уже успел вскочить на подножку. А Сталина можно свалить, *к сожалению*, только при помощи немцев.

Сожаление неслучайно и непритворно. Потому что смертельна логика в мире абсурда. Опоздал Власов со своей логикой: не учёл, что в 1943 году уже нельзя вставать с немцами рядом ни на мгновенье. Потому что немцев «уже увидел народ палачами и мучителями». И уже неостановимо склонилось в сторону Сталина то неохватное, неуловимое и неотступное, что Владимов, как верный ученик Толстого, называет «духом войска», «духом народа» и чему он, как писатель XX века, хочет найти определение.

Жуткий облик Сталина не становится от этого ни приятнее, ни величественнее. Ни Симонов, ни Гроссман, ни даже Солженицын не изображали Сталина с таким брезгливым ужасом, как Владимов — в той единственной сцене, когда «некто, обидно маленький, рыжеватый», с грубым рябым лицом, выкрикивает что-то по-грузински, злобно глядя на шеренгу толь-

ко что выпущенных из тюрьмы, покалеченных офицеров и генералов. По-грузински он кричит от страха: как насмерть испуганный ребенок припадает к матери, так и этот «изнасиловавший чужую ему» Россию монстр убегает «туда, к своему горийскому детству». Однако по интонации понимает Кобрисов, что именно говорит Сталин:

— Трусы, предатели... никому верить нельзя...

Это справедливо? Это правда — что нельзя верить и что боятся генералы именно того, что монстр об этом догадается? А если бы мог услышать рябой-усатый, как обсуждали Кобрисов с комиссаром вопрос о том, не принять ли Кобрисову «всё руководство»? И как единственно будет Кобрисов ставить в упрёк изменнику Власову, что тот со своей РОА просто «опоздал»? А если бы следователь Опрядкин, всё выискивавший, нет ли в Кобрисове потенциального предательства,— если бы опричник мог бы что-то подобное *доказать* и подвёл бы его под «вышку» — это было бы справедливо?

Теперь представьте себе, что Кобрисов, который всё это носит в себе, слушает речь Сталина 3 июля — и различает у вождя и дрожь в голосе, и сдержанные слёзы, и сердечность порыва. Было ли это на самом деле? — спрашивает Владимов. И отвечает: на самом деле ничего такого не было в голосе Сталина, а было «одно сухое бубненье с акцентом». На самом деле «это у него, Кобрисова, дрожало в ушах, это в нём клокотали слёзы». А Сталин просто угадал и вовремя вскочил на подножку.

Так! Но тогда угадать мог бы и Власов. И сам Кобрисов. И вообще кто угодно.

Вот именно. Кто угодно. Тот, кто оказался «в серёдке». Тот, кто совпал с несчастной, изнасилованной страной. Тот, кого угадала и приняла она — в своём несчастье.

Жива ли страна?

Огромное, фатально-неохватное человеческое бытие, которое никак не мог Владимов совместить или хотя бы сопрячь с достоинством своего волевого героя ни в «Руде», ни в «Руслане», ни в «Молчании», впервые сопрягается с этим Левиафаном: с непреклонной волей «мясника», монстра, слившегося с народом,— в «Генерале». Фатальная неохватность и невменяемость совпадают с образом изнасилованной страны... и традиционный герой Владимова — обычно подобранный и внутренне сжатый, как пружина (потому что задаёт «сфинксу» дерз-

кие вопросы и знает, что́ за это бывает),— впервые этот владимовский герой раздвигается в восьмипудового казака-генерала, который должен вместить всю русскую невместимость.

Интересная подробность. Среди идейных упрёков, которые посыпались на Владимова после опубликования глав романа на родине, один упрёк был не идейный, а, так сказать, фактический, и вроде бы резонный: как это снёс в своём чреве Кобрисов восемь пуль и не помер? Ну что стоило Владимову при доработке выправить числительное ради медицинского правдоподобия: заменить восемь пуль двумя-тремя?

Не стал.

И психологически я его понимаю. Кобрисов – это образ, в котором впервые нащупал Владимов соразмерность человеческих сил и того сверхчеловеческого, неправдоподобного, что на человека наваливается.

Образ России становится – впервые у Владимова – средоточием смысла, где преодолевается – ценой потери! – неразрешимость человеческого существования.

Власов у него – «русский, разучившийся понимать Россию». И Кобрисов всё время ловит себя на том, что он её не понимает. «Раньше не знал» и теперь ещё больше не знает. «Жива ли Россия или уже нет её?» Комиссару с пистолетом проще: тот понял, что всё проиграно, и – пустил себе пулю в лоб. Кобрисов проиграть не может. И потому он носит во чреве все восемь... нет, десять (ещё две – с окружения), а лучше сказать – сколько угодно пуль: все переварит его плоть. Только тоска будет глодать душу генерала.

Сталин – изверг. Но – родной. Докажем родному извергу, что мы не враги ему.

Жуков – людей не жалеет. Берлин взять – к празднику!

«Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю и за то навсегда поселит Железного маршала в своём любящем сердце!»

Как вырваться из этого кольца? Иногда кажется, что страна спасается, когда перестаёт слушаться «верхов» и живёт своей жизнью. «Толпа, наконец, приобретает право распоряжаться собою». То есть полосатые братишки начинают шататься по улицам, мордуя всех, кто им не нравится, а не нравятся им все. Революционеры разоблачают псевдореволюционеров (патриоты – лжепатриотов). Наконец, та же полосатая толпа изрыгает из своего чрева избранников: чахоточных комиссаров, железных наркомов, безжалостных маршалов и стальных вождей. В принципе, героем становится любой, лишь бы не «опоздал» вскочить на подножку.

О нет, Владимов не был бы самим собой, если бы не испытывал абсурд логикой. Сила там — вовсе не тупая, не случайная, не механическая, а «очень даже направленная сволочная сила, которая специально заботится, чтобы людям стало хуже».

Ну, а раз так, то надо только угадать сволочные правила игры.

«...Генерал, вы на верном пути... Дьявольская сила!.. Бог эту страну оставил, вся надежда — на Дьявола».

Вся надежда?

Дьявол, как известно, происходит из ангелов; главное — знать плацдарм, на котором происходит переформирование. Россия в этом смысле — замечательное место: «страна величайших возможностей, где возможно всё».

Последнее, что шепчет Кобрисов, умирая от рака через пятнадцать лет после того, как его должен был разнести снаряд (пули, как мы знаем, его не брали):

«С нашей родиной ничего не поделаешь, ни хорошего, ни плохого...»

При такой дислокации — что же, только замереть, отползти в сторону, а если бежать, то — в серёдке?

Никогда! Рок героев Владимова — во все времена — никакой «серёдки»! Это они *знают* — про «серёдку». А сами — карабкаются, дерутся, лезут на рожон.

Откуда в них эта решимость победить во что бы то ни стало? Любой ценой! Ценой потери...

А оттуда же — из этой фатальной бездны. Владимов — сын своей земли, своей страны, своей эпохи. Бешеное чувство достоинства, изначально заложенное в его героях, так же безмерно, как и то унижение, которое им изначально предложено.

Вызов судьбы смертелен — ответ тоже. Это единственно достойный путь для владимовского человека.

Владимов даёт картину Великой Отечественной войны в перекрестье воинской логики и философской невыносимости, столкнув то, что люди о себе «знают», и то, чего они о себе знать не могут и не должны.

Тут — его художественный секрет. Самые сильные, самые проникновенные, самые пронзительные мгновенья его романа — именно те, когда сквозь мастерски переданную музыку войны проступает мелодия победы, предвещающая гибель.

Подмосковный «рывок» Власова, совершенно авантюрный с точки зрения военной логики, приносит успех именно пото-

му, что он — «немыслим». Немец встречного удара не ждёт, *значит*, нужно именно это: дать ему «кулаком в рыло»; километра два пройти — уже оправдано... Прошёл двести — спас столицу — так именно в эту столицу будет привезён для суда и казни! Он этого знать не может, мы — не можем не знать.

Подсвет из двух бездн разом: из «верхней», героической, и из «нижней», дьявольской, создаёт во владимовской прозе тот неповторимый объём, который делает уникальной его картину жизни... или смерти.

Такова ночь, проведённая генералом Кобрисовым и его походно-полевой женой, молоденькой медсестрой, накануне боя за плацдарм. Он её любит, изменяя жене, которую тоже любит. Смысл в том, что та и эта любовь равно святы. Потому что существуют не в обыденной мути, а на грани жизни и смерти, и в тот момент, когда, прощаясь, генерал говорит сестричке: «Береги себя»,— вы осознаёте, что вот теперь она погибнет.

Что даёт людям силы идти на верную гибель?

То, что они этого «не знают»? Нет, *это* они знают. Они «не знают» другого. А начнут узнавать, так и выяснят, что Сталин — изверг.

Люди просто берут оружие и идут.

Как те немцы, которые похватали автоматы и бросились на плацдарме отбивать «фердинанды» от солдат Кобрисова. Судя по петличкам — технари: обслуга, механики, слесаря-оружейники. «Они не обязаны были идти в бой, у немцев это строго расписано». Однако пошли же защищать свои «коробочки» и «керосинки».

Зачем они оказались тут, в России? «Не знают»... Потому что это уже вопрос — Дьяволу. Если тот возьмётся спасать Германию.

А эти — просто погибнут. Что русские, что немцы, что власовцы: не русские, не немцы...

Когда главы романа «Генерал и его армия» появились в российской печати, реакция — если брать крайние траектории «параллельного веера» — была такая:

— Владимов так и не сумел подняться до высот христианской любви, не преодолел ненависти к врагам, не смог простить ни немцев, ни власовцев;

— Владимов воспел власовцев, восславил гитлеровский вермахт, стал на сторону врагов.

На упрёки первого рода Владимов, насколько я знаю, не отвечал.

На обвинения второго рода отвечал яростно — в статьях, которые стали как бы приложением к роману. В них он ярко

высказался и как историк, обнаживший фактологический фундамент своего художественного детища, и как публицист, обнаживший свою гражданскую позицию, и, наконец, как критик, осмысливший свою «творческую лабораторию».

Но это уже особая тема: Владимов-публицист, Владимов-критик. Не только в силу профессиональной принадлежности я имею к этой теме особое пристрастие — в статьях Владимова история души, преодолевающей «сволочную» реальность, высвечена с особенной ясностью.

Судьба критика

Собственно, судьба критика укладывается в шесть ранних лет: с декабря 1954-го, когда в журнале «Театр» появилась статья «К спору о Ведерникове», до декабря 1960-го, когда в журнале «Новый мир» вылёживалась повесть «Большая руда» и Владимов, чтобы скрасить «томительное ожидание», написал рецензию на Сэлинджера (герой Сэлинджера по имени Холден на какой-то момент стал тогда светом в окошке для пробуждающихся шестидесятников).

Появилась «Большая руда», и Владимов-критик замолчал.

Странное возникло чувство. С одной стороны, всё естественно. Бешеный успех повести круто переменил статус автора, разом переведя его в ранг прозаиков, притом первейших. Странно было бы ему продолжать писать текущие рецензии, оценивая литературные успехи других, когда его собственное детище лежало на весах... Но, с другой стороны, возникало ощущение как бы прерванной траектории: пресеклась работа прирождённого критика, человека, одарённого именно для этой работы.

Вроде бы не так уж много и успел критик за те шесть лет: полдюжины откликов. Однако помнилась именно та первая статья об арбузовском Ведерникове — прорезавший литературу первый «крик души» двадцатитрёхлетнего дебютанта.

Перечитываешь её теперь, почти полвека спустя,— господи, да это же манифест! И какая свежесть взгляда, какая внутренняя подкреплённость интонации, и независимость, и достоинство в каждом слове-жесте — ничего не постарело!

Последующие работы, может, и изощрённее по мастерству, но по внутреннему посылу — слабее: теперь иные из тех отрецензированных книжек забыты; не исключено, что именно клеймо владимовского интереса несколько продлит их жизнь. Так или иначе, тогда, на рубеже 60-х, не хотелось при-

мириться с тем, что критик, начавшийся во Владимове, на этом и кончился: на рецензии про Холдена, написанной, чтобы скоротать время.

Но когда в конце 80-х годов изгнанник, сидящий в маленьком немецком Нидернхаузене, стал вникать в тексты, которые повезли ему «на волах» из оглашенной России,— критик в нём проснулся. Помню, как меня поразила в этих откликах Владимова-критика снайперская точность конкретных оценок, как задела глубина стратегического анализа общей ситуации, увиденной из немецкой «глубинки» (хотя беглые ответы на анкету журнала «Иностранная литература» вроде бы того и не требовали). И затем — высший класс! — отклики на рассказы Солоухина, на повесть Кабакова — хотя Владимов и избегал «рецензионного жанра», оформляя свои тексты то как письмо в редакцию журнала «Континент», то как отклик на текущие политические события,— но это работал именно литературный критик, пусть и ангажировался он как политический обозреватель газеты «Русская мысль» и радио «Свобода».

Я возвращаюсь к первой половине далеких 50-х годов, когда вызревала душа будущего шестидесятника, к его ранним текстам, в которых начиналась его драма.

Она начинается в статье, посвящённой спору о Ведерникове.

«Добивается тот, кто добивается»

Анализ арбузовской пьесы дан сквозь сетку попутных мнений («споров о Ведерникове»), где критики образца 1954 года обвиняют героя (и тем самым автора) в уклонении от устоев коллективизма, от долга перед страной и от законов нашей жизни.

И сквозь всё это — с писаревским напором! — такая независимость личности проповедуется, какая, наверное, ни Ведерникову, ни его автору не снилась. Это действительно манифест: человек сам себя строит, он мучительно ищет ответы на свои вопросы, в книгах так в книгах, в жизни так в жизни; ему не должно быть важно, считают ли его эгоистом, бездельником, приспособленцем, бахвалом-тщеславцем или ещё кем-то, он отвечает только перед собой, и ни к какому «общему знаменателю» его привести не удастся. Он сам себе делает роль и сам её играет, он сам себе судья, и нечего подступать к нему с азбучными истинами,— он, может, именно к азбучным истинам и придёт, но — без вас! Если будет счастлив, то сам вы-

строит своё счастье, а если несчастен — значит, таков его жребий, ему не нужно чужое счастье.

«Добивается тот, кто добивается» — эта поразительная финальная фраза перекликается с учением русских философов о том, что идеал личности непостижим, и тем не менее постигается уже в то самое мгновенье, когда индивид впервые пытается постичь себя,— учения этого Владимов в 1954 году скорее всего не знает, но — умеет же слушать свою душу!

Вряд ли он знает в ту пору и о нашумевшем когда-то споре Лескова с Достоевским по поводу словесных «эссенций» — спор тот, затиснутый в старые газетные подшивки, в полузапрещённый «Дневник писателя», помнили тогда разве что специалисты,— но наткнулся же на проблему и решил её интуитивно безошибочно: художественную правду нельзя ни выдумать, ни «подсмотреть в жизни» — правду можно только воссоздать силой ума и воли.

В соответствии с интуитивной догадкой упор делается — на «характер». Сама эта категория особенно уместна и удобна в журнале, посвящённом вопросам драматургии и театра, но дело в том, что Владимов вкладывает в понятие «характер» смысл, куда более ёмкий и глубокий, чем полагается по ритуалу. Скажем (залетая вперёд на сорок лет сравнительно с 1954 годом) «типический» генерал должен быть носителем черт, свойственных девяноста девяти генералам из ста, но если из этих ста один попрётся к соседям за бутылкой коньяку или станет, подвыпив, плясать посреди шоссе,— так Владимову будет интересен именно этот «нетипичный» генерал. Потому что это — «характер». И ещё (залетая во времена, когда Владимов сотрудничал и рвал с деятелями «Посева») вот вам рассуждение: если бы Пётр Великий делал только то, что необходимо, мы не имели бы Северной Пальмиры, а имели бы в устье Невы «что-нибудь вроде Мурманска», но у Петра был «характер»...

И значит (возвращаясь ко временам Первой Оттепели), никакая «среда» человека не «заест», если он не хлюпик, никакие «обстоятельства» ему не указ, если он опирается на самого себя.

На самого себя? И только?!

И только. Это — главное. И это начало драмы. Откуда является такой человек? Непонятно. Что у него за плечами? «Ничего». Ни о детстве, ни о корнях — ни слова в сочинениях Владимова. Кроме одного случая. Защищаясь в 1996 году от обвинений в симпатиях к Гудериану, скажет: «Как я могу симпатизировать немецкому генералу, изгнавшему меня своими танками из родного Харькова?» (ему было тогда десять лет).

Единственное место в статье, заставившее меня внутренне улыбнуться. Что же, Владимов только поэтому не симпатизировал немцам? Нет, знаете, Харьков не довод: он и без всякого немецкого генерала всё равно рванул бы из родного Харькова — в Питер, в Москву учиться. И никаким харьковчанином потом себя не выказывал, ни украинцем (разве что иронически), ни русским. Владимов по закваске вообще — настоящий советский интеллигент, «человек мира», и когда неизбежно развернулся он против советской власти, то вычеркнул её из души — по-большевистски жёстко и тотально-глобально. Так что пришлось в конце концов скрупулёзно отделять советскую тотальность («режим») от плоти (от «народа»), от того, что наполняет (а может, и порождает) режим. Отделял он плоть от системы с помощью такого скальпеля, как КГБ, и «разыграл» для начала не виноватого в своей жестокости пса. Это, собственно, и составило драму его души: мучительное вглядывание в «обстоятельства» жизни — те самые, от гнёта которых он изначально вроде бы чувствовал такую поразительную независимость.

Поразительно именно это изначальное пренебрежение к обстоятельствам: в статье о Ведерникове нет ни одного, даже чисто ритуального упоминания ни о «советском образе жизни», ни о «нашей действительности», ни о каких бы то ни было непременных в тогдашней словесности «устоях»; а если упоминания есть, то исключительно в цитатах из других критиков. А от себя — *ни разу*. Для 1954 года — просто рекорд.

Потом-то Владимов эти вещи упоминал, и уже от себя, с тою неуловимой издёвкой, которая входила в правила игры патентованной новомирской критики. Но это не смазало изначальную установку и не заслонило экспозицию драмы: перед нами личность, которая «сама себя делает»: ни на что не опирается, кроме самой себя. Принципиально. Внешней опоры изначально нет, и потому вопроса о ней нет. А просто появляется, как сказано в последней, Сэлинджером вдохновлённой рецензии: появляется же, чёрт возьми, «вот такой парень» — из обыденной мерзости, из хлюпающей мути, которую мы называем «нашей жизнью».

Вопрос о том, что́ его породило и ради чего он появляется, возникает позже.

Отчётливо помню этот момент: в статьях Владимова-критика впервые проступает из этой окружающей мути то, что мутью не является. Тогда же, в 1960 году, в рецензии на роман К. Симонова — словосочетание, приковавшее меня:

«Спасённая Россия»

Где же она была, эта Россия («моя Россия», как ещё раз определено при расставании)? Или дремала треть века в сознании, чтобы натрое расколоться в 1993 году? Именно в 1993 году Владимов вернулся к этому феномену. Мы привыкли думать, заметил он, что есть две России: та, что сажала, и та, что сидела. Однако что-то переменилось — не в России, нет, но в сознании писателя:

«Весь расклад смешала третья Россия, которая и сидела, и сама сажала, побывавшая и в жертвах, и в палачах».

В этой-то России и вязнут «расклады». Диссиденты едут из Москвы в Калугу протестовать против суда над Гинзбургом. Толпа на их пути выкрикивает оскорбления.

«Вот эти гогочущие, глумливые, неподдельной злобой исковерканные лица — это он и есть, лик моего народа? Это за него — бороться нужно, внушать ему начатки правосознания, человечности?»

Насчёт «неподдельной злобы» отвечено двумя абзацами ниже: спустя полчаса после гогота и злобы «*я сталкиваюсь с одним из них, мы узнаём друг друга, я спрашиваю насчёт ближайшей бензоколонки, он мне охотно показывает, как проехать, и я вижу два глаза, глядящие на меня с неподдельным любопытством*».

Вот такой калужский парень вдруг появляется из мути повседневности.

Так где кончается «режим» и начинается «народ»?

«На какое слово отзовётся скорее русское сердце — на слово «родина» или на слово «свобода»? Не знаю. Скорее всего... и на то, и на другое в равной степени».

В принципе, может, и так. Но в реальности ежемгновенно приходится решать: что важнее?

Владимов решает так: важнее «демократия». С тою оговоркой (мелькнувшей в радиоочерке «Свободы» в 1992 году), что «демократию» нельзя отождествлять с «демократами»; это явления «не совпадающие, подчас далёкие друг от друга».

Опять-таки, в принципе правильно. Однако почему бы в этом случае не очистить от плохих «фашистов» и сам «фашизм», вызывающий у Владимова святое отторжение (как и у меня, естественно)? Дело ведь не в том, на какое слово опереться, а в том, что́ открывается за словом. Демократия — это, разумеется, элементарно: «*Прежде, чем говорить о России, прежде, чем выражать ту или иную идею или концепцию, нужно*

получить элементарное право слова — для того, чтобы иметь возможность эту концепцию высказать».

Элементарно. Есть вещи, которые за скобками. Демократия сама по себе не ценность, это именно элементарность, *возможность* вырабатывать ценности. И что там надо делать «прежде», а что «потом»,— тоже от ума не рассчитаешь, это решается ходом вещей. Владимовский герой впервые осознал себя в ситуации, в которой необходимо было отвоёвывать себе элементарные права,— он их и отвоёвывал, с первого шага; это начало драмы и это лишь «начатки» правосознания.

Но потом, отвоевав себе эти «начатки», он встречается глазами с тем калужанином, которому и в голову не приходит за эти «начатки» бороться, и они с любопытством смотрят друг другу в глаза. Ну? И что же? Что ему, калужанину, нужнее? Свобода? Или то, чем она наполнится?

Кто отстаивал Москву и Сталинград, взламывал Курскую дугу и брал Берлин? Не такие ли, как этот калужанин? Но ведь они были «обмануты пропагандой»?

А если «пропаганда» вела их туда же, куда и инстинкт самосохранения,— спасти Россию?

А власовцы, поднявшие оружие против наших отцов и братьев,— тоже ведь не только свою шкуру, они и Россию спасали — от сталинского террора...

Ах, если бы оставался Владимов в пределах писаревского юного протеста: вырваться из этой «мути», отстоять себя, не обращая внимания ни на что!

Так нет, тянет же его «обращать внимание», и именно на то, что не втиснешь ни в какие «идеи» или «концепции». Рок, судьба. Великая неразрешимость. Та самая, что рождает великую драму.

На уровне политического репортажа, который Владимов ведёт в микрофоны «Свободы» с начала 90-х годов, эта драма часто принимает форму каверзного вопроса: а что какой-нибудь бузотёр от оппозиции станет делать «на второй день своей власти»? Обещал же один из них омыть сапоги в южном море, да заодно и вернуть кое-что на севере. «Жирик, так где ж твоя Аляска?» — иронически спрашивает Владимов. Ответить бы ему: «Жорик, так как же твоя демократия?»

Отвечено честно и без ссылки на то, что путь к демократии — долог и непрям: «*Та Россия, которую мы приобрели в результате общих наших усилий, наших действий или бездействий, не снилась самым безжалостным преобразователям*». Для характеристики этих новых, пришедших к власти преобразо-

вателей у Владимова даже и слов привычных не хватает, и он их называет «*ситуанты*».

Ну, а предвидеть в августе 1991 года, когда Ельцин стоит на танке, а восторженная толпа празднует независимость России (от самой себя?),– предвидеть, кто придёт к власти на такой волне,– это так уж невозможно? Или дальше «возможности высказаться» воображение не идёт?

В этот момент Владимов-публицист включается в текущую политику. В ответ на вопрос «Московских новостей» («дозвонились ко мне в Нидернхаузен») перечисляет ошибки заговорщиков-путчистов. Год спустя опять перечисляет, но уже не политические ошибки, а технические: путчисты были просто неграмотны в военном отношении, они не поняли назначения танков, ведь из опыта Великой Отечественной войны известно, что пускать танки на улицы города – «гибельно для них»; не удивительно, что танки у Белого дома люди остановили «невооружёнными руками».

Помню, меня тогда потрясла простота этого объяснения. Знают же истину танки! И ещё поразило, что вместо всяких там политических мерихлюндий (недооценили Горбачёва, недооценили Ельцина, недооценили народ) выставлена в конце концов эта убийственная конкретность: танки. Долго потом вспоминались мне эти владимовские «танки на улицах». Год спустя, когда вокруг того же Белого дома встали они, чтобы грамотно палить по окнам, не повреждая стен, и не нашлось же «беззащитных, невооружённых рук» эти танки остановить. И ещё год спустя, когда такие же танки были пущены на улицы Грозного,– и были-таки остановлены... чем? Беззащитными руками? Поначалу именно так и показалось: танкисты, как и в 1991 году, повылезали из машин для природной надобности и сигарет купить... Что было потом, известно.

Я, впрочем, не ищу у Владимова-публициста непротиворечивой концепции. Её и быть не может – непротиворечивой. Я ищу другого – смысла той внутренней драмы, которая тут кровоточит. Я, читатель, слежу за терзаниями вольной души, пытающейся бороться за свободу в мире, который соткан из бессмыслицы.

Рок, судьба, участь

Так бессмысленно – «бороться за свободу»?

Человек, написавший статью о Ведерникове, не мог не бороться.

Человек, написавший «Генерала и его армию», не может не понимать, с кем и за что он борется.

Вот она, перед ним: «третья Россия».

Что делать с ней, что делать в ней писателю, одержимому кодексом чести?

«Россия — это рок, это судьба, это участь».

Счастлив человек, сознающий свою участь, понимающий свою судьбу, отстаивающий своё достоинство даже и в роковой ситуации. А что же народ, который, как известно, имеет то, чего он достоин?

Народ имеет — «ситуантов» у власти. Народ имеет — полководцев, которым «генеральская дурь» помогает уйти от неразрешимых вопросов. И народ имеет — писателей, которые должны этими проблемами мучиться и мучить других.

Вот Георгий Владимов и делает своё дело: отстаивает достоинство человека в ополоумевшей, сволочной реальности. Эта реальность для него — что-то вроде рока. Житейская участь писателя, ведущего такую борьбу, тяжела. Судьба — прекрасна.

Лев Аннинский

✦

БОЛЬШАЯ РУДА

Повесть

✦

1

Он стоял на поверхности земли, над гигантской овальной чашей карьера. На нём была рыжая вельветовая куртка на «молниях» и штаны из белёсой парусины, с застиранными пятнами извести и мазута. Рукой он придерживал кепку, низко надвинув её на лоб, чтоб не сорвал ветер.

Тень облака скользнула вниз, упала на пёстрое движущееся скопище машин и людей, погасив блеск металла и сверкание стёкол. Тень проползла по холмистому дну карьера, подёрнутому дымкой,— через россыпи жёлтого песка, голубовато-свинцовой глины и обломки расколотых глыб цвета запёкшейся крови — и стала выбираться наверх, обгоняя взлёт деревянных лестниц. И умчалась в зелёную степь, к перелескам и хуторам, затерявшимся на горизонте.

Тени шли косяком, и ни одна не могла накрыть сразу весь карьер, но парень, стоявший наверху, видел не это. Он видел пыльную дорогу, петляющую по дну и по склонам, и бесконечную вереницу грузовиков, проделывающих в дыму и рёве этот замысловатый путь, чтоб вывезти наверх щепотку глины или песка. Грузовики двигались медленно, с одинаковыми интервалами; казалось, дорога сама, извиваясь, тащит их вверх на себе, а хвост её всё отрастает в тёмных глубинах.

— Тут работы — мама ро́дная! — громко сказал парень. И, выругавшись витиевато просто так, от избытка чувств, пришёл к выводу: — Не может быть, чтоб я тут не окопался!

Он пошёл краем пропасти, топча траву, сошвыривая вниз комья сухой глины. Карьер медленно поворачивал-

ся под ним, открывая свои закоулки, подёрнутые дымом и пылью. Затем парень оглянулся на него из зарослей молодого дубняка, увидел тонкую ребристую стрелу экскаватора, чиркнувшую по облакам, и пошёл напролом, раздвигая ветви локтями. Листья хлестали его по лицу. Он вышел на просеку и перепрыгнул глинистый ров. И снова увидел карьер, от которого никак не мог уйти, но не весь, а лишь другой его берег, с белыми и жёлтыми пластами, едва различимыми вдали,— так широка была чаша и так густо она курилась.

В ров из длинной ржавой трубы, висевшей на подпорках, падала вода. Он наклонился и захватил ртом струю, от которой заломило зубы. Вода была чистая и прозрачная, она вовсе не пахла никакой «химией», как думал он раньше, хотя её откачивали из железистых недр. Её называли здесь «врагом номер один», но парень, напившись, зарычал от удовольствия и, сдёрнув кепку, смочил и пригладил пятернёй свои прямые, светлые, мягко распадавшиеся пряди.

Он шёл, посвистывая, помахивая кепкой, не отряхнув с куртки тяжёлых брызг, и всё, что он видел и слышал, нравилось ему: и эта широкая просека с отпечатками рустованных шин на песчаной дороге и с шелестом листвы, который мягко глушил звяканье и скрежет карьера; и разбросанные в редком лесу, выкрашенные в жёлтое и синее дощатые строения парикмахерской, столовой, ларьков, и самое большое из них, с вывеской, начертанной малиновыми буквами по тёмно-зелёному полю: «Контора Лозненского карьера»; и кусты смородины под окнами, распахнутыми настежь, откуда неслись звонки телефонов, треск пишущих машинок и голоса и выстилался табачный дым.

Когда-то на месте рудника был сад, потом молодые деревья перенесли, а старые просто вырубили, только две молоденькие яблони возле конторы никому не мешали, их оставили расти. Но никто не ухаживал за ними, и за три года, что здесь велись вскрышные работы, яблоньки успели одичать. Он подобрал в траве несколько мелких опадышей, но есть не стал, на них и смотреть было кисло, только подержал на ладони.

Отсюда он видел всю выездную траншею, наклонно убегавшую между крутыми глинистыми откосами, осле-

нительно блещущую под солнцем. В конце её появлялись нагруженные самосвалы — сначала будто картонные, плоско темневшие в дымно-солнечной синеве, а потом постепенно обретавшие плоть, и мощь, и грозную величину, когда они, взрёвывая, набирали ход и проплывали мимо, попирая землю упругой тяжестью могучего колеса.

«Не может быть, чтоб я тут не окопался! — опять подумал парень.— Врёшь, никто меня отсюда не повернёт».

2

Начальник карьера был молод, очкаст, долговяз и давно не брит. Под столом было тесно его ногам, обутым в баскетбольные кеды, и он сидел откинувшись, в застёгнутом парусиновом пиджаке и мятом соломенном бryле. На столе перед ним был телефон с рукояткой зуммера и ничего больше. Из одного угла рта в другой ходила огромная самокрутка.

— Тоже на работу? — сурово спросил начальник.

Парень, который только что вошёл к нему, молча выложил перед ним старое удостоверение шофёра, выданное в сапёрной автороте. Он имел и другие права, но армейские действовали вернее.

Начальник придвинулся и кивнул.

— Дальше.

Но парень не склонен был спешить. Он подождал, чтоб начальник мог разглядеть талон предупреждений, ни разу не проколотый, затем появилась трудовая книжка, раскрытая там, где можно было прочесть, что предъявитель сего возил кирпич на Урале и взрывчатку на строительстве Иркутской ГЭС. Ту страничку, где говорилось о его работе в таксомоторном парке города Орла и на санаторном автобусе в Ялте, он предпочёл не показывать, покуда не спросят.

— Послушайте, Пронякин,— сказал начальник,— зачем вы со мной хитрите? Я же вас помню, вы были у меня вчера. На что вы надеетесь? Что я близорукий? Но фамилии, как видите, я запоминаю. Или вы думаете, я у вас что-нибудь другое спрошу? Представьте себе, тот же вопрос: какая у вас специальность?

— Шофёр,— убеждённо сказал Пронякин.

— Вижу, что не парикмахер. Но кто по профилю? Карбюраторщик. На дизельных самосвалах ведь не работали?

Пронякин решил сесть. Это значило, что разговор будет по душам. Но начальник не склонен был говорить по душам, он хмурился, он ждал ответа.

— Не приходилось,— сказал Пронякин. Это было всё-таки лучше, чем «нет»: просто случая не представилось.

— Разговора у нас не будет,— твёрдо сказал начальник и отодвинул документы. Он говорил рыкающим баском, срывающимся, однако, на дискант, хотя, конечно, давно прошло время, когда голос у него ломался.— Я знаю, вы приехали по объявлению, какой-то кретин в «Известиях» раззвонил на весь Союз: «Приезжайте! КМА, КМА*! Милости просим!» А нам вот расхлёбывать, поворачивать народ от ворот. Что прикажете делать? Мы уже шесть объявлений давали: «Требуются только дизелисты», да кто там фитюльки наши заметит?..

«Я-то заметил,— подумал Пронякин, понимающе кивая ему,— только от ворот ты меня не повернёшь».

— Вот так, Пронякин,— сказал начальник, вздыхая.— Бортовых машин, карбюраторных, у меня нет, а на самосвалах ты не работал.

— Это верно...

— Ну вот, я рад, что ты наконец понял...

— ...однако же и девять лет за баранкой — тоже не псу под хвост.

— А я ничего и не говорю. И вообще, это не от меня зависит. Отдел кадров всё равно не оформит.

— Ну, это не скажите! Начкарьера — тоже фигура не последняя.

— В данном случае, к сожалению, последняя,— просто сказал начальник. Он прикрыл глаза красными веками.— Пока нет руды, дорогой мой Пронякин, последняя... Зато первая, кого можно драить с песком и трепать за хохол, потому что крыть-то ей, собственно, нечем. Будет руда — будет власть. А покамест мы только смиренно просим. Можешь поверить, я с тобой по-человечески говорю. Вот — месяца два назад по нашей заявке оформили нескольких шоферов из колхозов, бравые ребята,

---

* Курская магнитная аномалия.— *Здесь и далее примечания автора.*

но в дизелях — ни бельмеса, запороли движки, пережгли, пришлось в капремонт сдавать. Так что теперь вопрос ребром: знаешь самосвал — садись, не знаешь — будь ласков, поучись где-нибудь, тогда и приезжай.

— Да уж, видал я, как тут ездиют,— вставил Пронякин не совсем кстати.

— Вот так,— сказал начальник.— Понял теперь?

— Когда же она будет, руда? Может, её и ждать недолго, а я уеду...

— Сказать по секрету, Пронякин, я тоже очень, очень хотел бы знать, когда же будет руда. Но я не знаю. И, как видишь, говорю об этом прямо. Этим я, наверно, отличаюсь от других начальников. Ожидаем со дня на день, и этот день уже тянется второй месяц. Ждали на семьдесят пятом метре. Чёрта с два! Ждали на восьмидесятом... Потом обещали нам на восемьдесят третьем, божились — это-то уж наверняка. Ну, выбрали несколько глыб, для рапорта хватило, но ведь большой руды — нет! Это же не промышленный уровень. Понимаешь ли ты всё это?

— Дошло уже.

— Ну и чудесно. Я ведь чего хочу? Чтоб ты на меня не обижался.

Он помолчал, побарабанил по столу длинными обкуренными пальцами. Потом улыбнулся неожиданно мягкой улыбкой, сразу сказавшей об его возрасте и о том, каково ему сейчас на его месте.

— Что, невесёлые вещи я тебе говорю, Пронякин? А мне, ты думаешь, весело? Иной раз сидишь вот так, и какая только бредятина не полезет в голову. Думаешь — а есть она там, большая руда? Может, её и нету?..

— Как это нету? — тоже улыбаясь, сказал Пронякин.— Раз божились — значит, должна быть. Куда ж ей деться?

— Вот именно,— сказал начальник.— Деваться ей некуда...

Улыбка ушла из его глаз. Он сильно затянулся самокруткой, поплевал на неё и, бросив на пол, придавил резиновым каблуком. Потом задумался, глядя куда-то поверх и мимо Пронякина и рассеянно похрустывая суставами пальцев.

— А знаете, что я скажу вам, начальник? — сказал Пронякин.— А никуда я от вас не уеду.

— Ну что ты, Пронякин. Это ты брось.

— Брошу, так сами же и подберёте. Я завтра опять приду. И послезавтра приду. И послепослезавтра. Выгоните — вернусь. А не вернусь — так через неделю сами же меня позовёте!

— Очень может быть. Когда будет руда. А пока — пойми, нет базы для разговора. И учти — за дверью другие ждут.

Они в самом деле ждали там своей очереди, парни в пиджаках и куртках, съехавшиеся по объявлению и слегка обалдевшие от всего, что они увидели здесь. Они подпирали из коридора фанерную стенку и разговаривали нарочито весело и небрежно, скрепляя распадающуюся речь беззлобной матерщиной.

— Такие же бедолаги, как я,— сказал Пронякин.— Нас, шоферов, что нерезаных собак развелось. Ну кто теперь не водитель! И разве же вы им что другое скажете? То же самое, что и мне.

— К сожалению, так.

— Только не знаю, как они, а я от вас никуда не уйду. Некуда мне уходить. Намотался, намыкался, поверх головы уже. Да и поистратился я на дорогу, и здесь на проживание, обратно — веришь ли? — ехать не на что. Вот как хочешь...

— Ты что, в заключении был? — спросил начальник.

— Покамест бог миловал. Я к делу, к месту хочу определиться. Я работать могу, как мало кто. Я как услышал по радио про ваши дела, так и сказал: «Стоп, Витька! Это как раз, значит, для тебя. Никуда ты не денешься, окромя Курской аномалии. Тебе руду эту самую добывать!»

— Что вы все заладили про добычу? Ведь руды-то — нет!

— Не говори таких слов, товарищ начальник! — сказал Пронякин торжественно.— Не нынче, так завтра, а будет руда. Такое, понимаешь, вот у меня лично впечатление.

Начальник поглядел на него с любопытством и полез в карман за табаком, но вытащил только пыльную крошку и расстроенно заморгал. Пронякин молча положил на стол пачку «Беломора».

— Ты знаешь, Пронякин,— сказал начальник, вытяги-

вая машинально папиросу,— у меня тоже такое впечатление, что вот-вот должна быть большая руда...

«Так,— подумал Пронякин.— Ты уже спёкся».

— А как же! — сказал он непререкаемо.— Куда ж ей, заразе, деться?

— Вот что, Пронякин,— сказал начальник. Он чуть повеселел и ёрзал на своём скрипучем стуле.— Отдел кадров тебя действительно так не оформит. Но я тебе советую: сходи в автоколонну, разыщи там Мацуева, бригадира. Смена у них сегодня ночная, но он-то наверняка в гараже. Не знаю, может, какой заваляшенький «мазик» он для тебя подберёт. А потом будем сочинять ультиматум в рудоуправление. Но если там откажут...

— Понимаю.

— Нет,— начальник помотал головой,— не понимаешь. Ты ещё намучаешься с этим «МАЗом», заранее тебе говорю. Это у нас, как бы сказать, отживающая тягловая единица.

— Что же, на них совсем ездить нельзя?

— Почему нельзя? Машина-то прекрасная, добрая. Только норма на неё по-уродски составлена. Пока только начинали рыть, не жаловались «мазисты», а теперь мы уже на восемьдесят пять метров зарылись, километраж вон как увеличился, и крутизну дорог надо учесть, а нормы остались прежние. Вот и ездят у нас пятеро великомучеников. Ты, если оформишься, шестой будешь. Только они с верхних горизонтов возят, а тебе придётся — с нижнего. Так что ты эти «ножницы» почувствуешь. Понял теперь? Устраивает?

Пронякин пожал плечами.

— Где наша не пропадала. И долго мне хуже всех будет?

— Не знаю,— сказал начальник.— Одно из двух: либо руду достанем — тогда уже и нормы пересмотрят,— либо раньше все «МАЗы» изведём. Я лично на руду уповаю. Я уже сказал тебе: будет руда — будет власть.

— Ну что ж... Меня это тоже устраивает.

— Заявление у тебя готово? Давай подпишу... Эхе-хе... Напишу: «Не возражаю». Большего, к сожалению, не могу.

Тут зазвонил телефон, и начальник, подняв трубку, зажал её между щекой и плечом. Должно быть, ему со-

общали что-то тревожное, потому что он начал густо темнеть, и рука его всё не решалась поставить подпись.

— Так,— говорил начальник.— Так... Так...

Пронякин двумя пальцами пододвинул бумажку. Выцветшие глаза начальника взглянули на него коротко и бестолково, но рука быстро и размашисто расписалась. Пронякин осторожно вытянул из-под неё заявление.

— Скажи там, чтоб не ждали! — крикнул начальник вдогонку.— Больше принимать не буду.

Пронякин этого уже не воспринял. Выйдя на крыльцо конторы, он увидел те же медлительные тяжёлые облака, те же яблоньки, пригнувшиеся под ветром, и стенды с портретами передовиков и цитатами из их обязательств, прислонённые к низкой оградке. Те же — и всё-таки уже не те. Он двинулся не спеша к киоску с газированной водой и бросил мятую рублёвку* на мокрый алюминиевый поднос.

— Два с сиропом.

Облокотясь на прилавок, он смотрел на продавщицу. Она мыла стаканы с деревенской тщательностью и без той хлёсткой ловкости, которая отличает городских продавщиц. И сироп она наливала аккуратно.

«Дура,— спокойно подумал он.— Счастья своего не знаешь. Эх, сюда бы женульку определить, она б тебе показала. У неё бы потекла копеечка».

— Не надоело ещё? — спросил он, принимаясь за второй стакан.

Она взглянула быстро, с диковатой застенчивостью, широко взмахивая выгоревшими ресницами.

— Чего?

— Сидеть тут, говорю, не надоело ещё? Такая молодая, тебе бы в самый раз на экскаватор пойти или на кран.

— Не берут.

«Всё ясно,— подумал он.— Держаться за место не станешь».

— Возьмут,— сказал он убеждённо.— Посопротивляются немножко, а после возьмут.

Она вдруг улыбнулась, так же застенчиво и диковато.

— Ну да?

---

* Имеется в виду масштаб денег до 1961 года.

— Научный фактор. Книжки читай.

— А я и читаю. Как никто не подходит, так я и читаю. То так и целый день, бывает, читаю.

— По ночам тоже читай. Не посмеют не взять.

Он вышел на дорогу. Был пересменок, и самосвалы на своей слоновьей скорости двигались порожняком по бетонке, огибавшей лес. Он дождался бортовой машины с людьми и, ещё не дав ей притормозить, рывком подскочил в кузов. Кто-то потянул его за куртку, и, опираясь привычно на чьи-то плечи и головы, он пробрался к борту и растолкал для себя местечко. Люди в кузове сидели на корточках, и он тоже присел — дорога уже была освоена мотоциклистами ОРУДа.

За лесом возникли гаражи автоколонны, а за ними — наклонные галереи и висячие фермы дробильной фабрики.

— Постучите-кось, кто поближе,— попросил он.

Кто-то забарабанил по крыше кабины. Пронякин спрыгнул и тотчас свернул под арку серых кирпичных ворот. Вдоль гаражей двумя длинными шеренгами, друг против друга, стояли самосвалы с поднятыми кузовами. Они напоминали готовые к залпу «катюши». Несколько шоферов чистили кузовы лопатами. Пронякин спросил у них, как найти Мацуева. Провожаемый их взглядами — они, конечно, оставили работу и обсуждали его появление,— он шёл мимо высоких радиаторов, достигавших его макушки, мимо литых алюминиевых медведей, задиравших на него лапу как по команде, и чувствовал себя уже наполовину причастным к этим свирепым машинам.

Мацуев вышел к нему из тёмной глубины гаража. Он был не выше Пронякина, но очень широк в кости и весьма внушителен со своей тяжёлой квадратной головой и лохматыми насупленными бровями. Пронякин молча протянул ему своё заявление. Мацуев коротко покосился на бумажку и стал неторопливо разглядывать самого Пронякина, обтирая ветошью голые до локтей, волосатые руки. Наконец он спросил хрипло:

— Взял тебя Хомяков?

— Не знаю,— осторожно ответил Пронякин.— К вам послал. Вы, мол, решите, брать или не брать.

— Ишь ты,— сказал Мацуев, не усмехаясь, и надолго занялся своими обмасленными руками. Пронякин тоже

внимательно смотрел на эту ветошь, как будто немало зависело и от неё.

— Такое дело,— сказал наконец Мацуев.— «Мазик»-то у меня действительно есть незанятый. Только его, понимаешь, чинить надо. Сильно надо чинить. В общем, тут механик требуется.

— Вот он и стоит,— улыбнулся Пронякин.— Перед вами.

— Ну? И диплом есть?

— Диплома нету. Руки есть.

— Так, значит? — сказал Мацуев.— Ну что же. Починишь — мне покажешь, тогда и будем решать.— И, предупреждая вопрос, добавил: — Ремонт, само собою, оплатим.

— Само собою,— сказал Пронякин.— А где он, «мазик»-то? Хочу на него поглядеть.

— А чего на него глядеть-то? Его чинить надо. Глядели уж многие, не помогает. Ты подумай, а завтра приходи.

Он двинулся было обратно в тёмную глубину гаража, но Пронякин неуловимым движением загородил ему путь.

— А всё ж поглядеть-то можно? Не развалится. Я бы сразу и чинить начал.

— Прямо сразу?

— А чего тянуть?

— Ишь ты,— опять сказал Мацуев. Он швырнул ветошь в ящик с песком и улыбнулся наконец Пронякину.— Ну, пошли. Глаза только зажмурь, ежели из робких.

«МАЗ-200» — двухосная широкорылая машина — был и на самом деле устрашающ. Нужна была старательная, воистину мастерская работа, чтобы так растрясти и помять кузов, избить ободья колёс. Нагнувшись и поглядев на карданный вал, Пронякин только присвистнул:

— Кто же это такое допустил?

— Ездил на нём один сукин дьявол,— пояснил Мацуев и сплюнул.— Ну, опять же, дороги у нас, видел уже, какие. И груз деликатный.

— Тут не в дороге дело. И не в грузе. Бить надо по мордам за такую езду.

— Кто ж говорит... Конечно, надо. Только за всеми дураками не уследишь. В общем, гляди сам. Не возьмешься — обижаться не стану.

— Возьмусь,— сказал Пронякин.— Такая моя планида.

— Подумай,— посоветовал Мацуев, уходя.— Я не тороплю.

И как только он ушёл, Пронякин быстро открыл кабину и влез на широкое раздавленное сиденье. Это было просто необходимо ему — подержать в руках огромную баранку, ощутить её шершавость и теплоту и чувство уверенности в себе, точно это и есть те самые рога, за которые берёшь судьбу. Он сразу увидел и непомерный люфт руля, и что оборвана тяга педали и не работает спидометр, закончивший счёт километров задолго до того дня, как машина испустила последний вздох. «Э, да не в том суть,— сказал он себе,— зато уж никакая собака не гавкнет: приполз на готовенькое. Оно конечно, против «ЯАЗа» трёхосного я бы ничего не имел... Да кто ж тебе его даст, Пронякин?»

Оставив в кабине куртку и кепку, он обошёл машину со всех сторон, попинал носком увядшие баллоны, затем подошёл к радиатору и поднял капот.

— Мама ро́дная! — сказал он почти весело.

Эта состарившаяся телега начинала ему нравиться. Он вытащил из кабины сиденье и, положив его под машину, полез за ним на четвереньках. Заглянув сюда через полчаса, Мацуев услышал его весёлое посвистывание.

— Ну как? — спросил Мацуев, присаживаясь на корточки.

— Страх и ужас. Катафалк моей бабушки.

— Откажешься, значит?

— Даже наоборот. Беру.

— Думаешь, пойдёт машина?

— У меня пойдёт. Зверь будет, а не машина.

Пронякин выбрался из-под машины ногами вперёд и сел, прислонясь спиной к высокому колесу. Он улыбался, на щеках и на лбу блестели иссиня-жёлтые пятна смазки. Старенькую майку он тоже успел запачкать.

— Понимаешь, чем она больна? — спросил Мацуев.

— Двигатель, честно говорю, не смотрел, не дизелист; вижу только, что грязи богато. Но рулевые тяги, гляди-кось, как покорежены — обухом, что ли, он их подправ-

лял? Теперь — у карданвала, у заднего, шлицы поистёрлись, а погнутость — в полпальца, не меньше; биение, видать, страшенное. В коробке передач трещина внизу, масло течёт. Ну, а про задний мост и говорить нечего, вал — так просто рукой проворачивается. Сателлиты, что ли, повыкрошились?

— Понимаешь...— Мацуев смущённо покряхтел.— Может, их там и нету, сателлитов.

— Куда ж они делись?

— Понимаешь, его одно время списать хотели. Ну, каждый и тащил, чего хотел. В общем... недоглядел я. Это уж я маленечко обратно его подсобрал, чтоб хоть вид имел божеский. Теперь-то мы его и на день запираем.

Пронякин усмехнулся и махнул рукой.

— Ты чему улыбаешься? — спросил Мацуев.— Тут плакать нужно.

— Привычки нету. В армии кой-что и похуже приходилось чинить. Дефектная ведомость на него составлена?

Мацуев опять покряхтел.

— Дефектная ведомость, понимаешь, есть. А запчастей — нету. В армии-то, наверно, были?

— Это верно.

— Вот то-то. Так что не зря я тебе говорил — подумай.

— А на свалках? — спросил Пронякин.

— Как везде. Что ты, на новых стройках не бывал? Поищешь — найдёшь. Чего не найдёшь — наменяешь, «мазисты» и в других бригадах есть. Чем-нито поделятся. Ну и мы, конечно, от своих «язов» поделимся. Ну, что ещё? Мастерская у нас хоть и слабенькая, а своя. Ты возьмись только.

— Взялся уже,— сказал Пронякин.— Я от своего не отступлю.

Они помолчали. Мацуев смотрел на него, почему-то виновато помаргивая. Пронякин выволок из-под машины сиденье и уложил в кабину.

— Ты где устроился? — спросил Мацуев.— В гостинице?

— В коттедже, едят его клопы!

— Тебе в общежитие надо.

— Да ведь не примут, пока на работу не поступлю.

— Поступишь.

Пронякин вежливо промолчал. Он надел куртку и, сощёлкивая ногтем приставшие ворсинки ветоши, ожидал, что ещё скажет Мацуев.

— Не знаю ещё, какой ты механик,— сказал Мацуев.— А машину, видать, уважаешь.

— Как не уважать, если кормит? Для меня машина — тот же человек, только железный и говорить не может.

— А как же! — сказал Мацуев.— Тот же человек... Ну, а как с дизелем обращаться, это я тебе на своём «язе» покажу. Освоишь. Книжки у меня возьмёшь.

— Книжки есть у меня. С собою вожу.

— Ишь ты. Ну валяй, я тут ещё покручусь. Может, какие запчастишки всё же подберу для *твоего*. Завтра приходи к восьми. А коменданту в общежитии скажешь: Мацуев, мол, просил устроить пока. Не откажет.— Он помолчал, пошевелил мохнатыми толстыми бровями.— Жинка есть у тебя?

— Имеется. В одном экземпляре.

— Это хорошо. Жинку со временем вызовешь. Покамест в общаге поживёте, есть там комнатки для семейных, а там, может, и своя наклюнется... Ты, часом, не из летунов?

— Был. Надоело.

— Ну, это самое верное. Это я и вижу.

Он протянул толстую растопыренную ладонь, в которой совсем спряталась сухая и жилистая рука Пронякина.

3

Тем же вечером он забрал свой чемодан и котомку из коттеджа — так называлась бревенчатая двухэтажная изба для приезжих — и перешёл в общежитие — так назывался длиннейший дощатый барак с террасой и скамейками у крылечка, стоявший в длинном ряду таких же бараков.

В общежитии он пощупал простыни, покачался на пружинах койки и посыпал трещины в обоях порошком от клопов. Над изголовьем он приколотил полочку для мыла и бритвы, повесил круглое автомобильное зеркальце и по обеим сторонам его, с симметричным наклоном,

фото Элины Быстрицкой и Брижит Бардо. За фотографии он тоже насыпал порошка от клопов.

Комната была на шестерых, но застал он лишь одного из соседей, который лежал поверх одеяла в комбинезоне, положив ноги в сапогах на табурет. Так спят обычно перед сменой. Сапоги распространяли жирный запах тавота и глины, и Пронякин распахнул окно. Ему не нравилось, когда в комнате пахло работой.

Он решил написать жене, пока не вернулись соседи. Он вырвал листок из школьной тетради и, присев к столу, освещённому тусклой, засиженной мухами лампочкой, отодвинул обрывок газеты с огрызками кукурузы и мятой картофельной шелухой.

«*Дорогая моя женулька!* — выводил он с сильным наклоном влево и аккуратными закорючками.— *Можешь считать, что уже устроился. Дали пока что старый «МАЗ» двухосный, но я же с головой и руками, так что будет как новый и прилично заработаю. Есть такая надежда, что и комнатёшку дадут, хотя и здесь многие есть нуждающие. А я бы лично, если помнишь наш разговор на эту тему, своей бы хаты начал добиваться. Хватит, намыкались мы у твоих родичей, и они над нами поизгилялись, хотя их тоже понять можно, так что хочется своё иметь, чтобы никакая собака не гавкала...*»

Сосед пошевелился на койке и замычал. Должно быть, ему снилось плохое. Пронякин взглянул на часы и принялся его тормошить. Сосед открыл один глаз и уставился на Пронякина младенческим взором.

— Ты кто?

— Я-то? Ангел божий. Сосед твой. Гляди-кось, смену проспал.

Сосед посопел немного и меланхолично заметил:

— Ну и брешешь.

Он открыл второй глаз и, почмокав пухлыми со сна губами, приподнял наконец лохматую голову.

— Пошарь-ка в тумбочке, опохмелиться ребятишки не оставили?

— Сами выпили да ушли.

— Такого не может быть,— объявил сосед после некоторого раздумья.

— Значит, может, если так оно и было. А ты и без опохмела хорош. Ветер нынче свежий, мигом развеет.

Сосед встал наконец на подкашивавшиеся ноги и покачался из стороны в сторону, разгоняя сон.

— Тебя как звать-то? — спросил Пронякин.

— А тебя?

— Виктором.

— А меня Антоном. Будишь, а не знаешь, кто я и что я.

— Ты на чём работаешь? — спросил Пронякин. Он твёрдо знал, что сосед не шофер, хотя и не мог бы объяснить, почему он это знает.

— На «экеге» машинистом,— сказал Антон. «ЭКГ-4» был экскаватор.— А ты у Мацуева?

— У него как будто. Если не прогонят.

— Ну, вместе будем,— сказал Антон.— Тебе сегодня не идти?

— Сегодня нет.

— Ну и гуляй. А чего тебе делать?

— Я и гуляю.

Антон засунул в карман полотенце и пошёл в кухню, шаркая подкованными сапогами. Пронякин подождал, пока заплескалась вода в кухне, и быстро открыл тумбочку. Рядом со скатанным грязным свитером стояла початая четвертинка. Он стиснул зубы. Вот чего он боялся и что ненавидел, как может бояться и ненавидеть человек, уже однажды опускавшийся до последней степени, сумевший подняться неимоверным усилием и который по-прежнему себе не доверяет. «Нет уж,— сказал он себе,— старое не случится, последний мужик будешь, если случится». Но он знал, что это может случиться, если кто-нибудь рядом, в одной с ним комнате, пьёт. Он вынес четвертинку к окну и, перевернув её горлышком вниз, злорадно слушал, как булькает внизу, в темноте.

Поставив бутылку на место, он принялся вновь за своё письмо:

«...А перспективы, как я узнавал, тут большие, со временем завод металлургический построят, поскольку руды, говорят, тут на тысячу лет хватит, а может, и больше, она тут до самого центра земли всё тянется. И мес-

та хорошие. Конечно, с уральскими или сибирскими не сравнишь, но жить можно, и речка есть, рыбку помаленьку ловят...»

Антон вернулся посвежевший и причёсанный помодному. Он выглядел очень юно со своими сахарными зубами, волнистыми прядями и мальчишеской нетронутостью лица. Он подошёл к тумбочке и, подумав, открыл её.

– Гляди-ка, и в самом деле ни хрена не оставили. А?

Он посмотрел на Пронякина вдумчиво и подозрительно.

– Могу дыхнуть,– сказал Пронякин.

– Дыши на здоровье,– сказал Антон.– Комендант у нас любитель водку забирать, если найдёт. Только он с бутылками забирает. Придётся за печку прятать, что ли...

– Придётся за печку.

– А не сгорит?

– Думаю, не сгорит,– сказал Пронякин.– Ну, может, так, немножко испаряться будет.

– А ты в шахматы играешь? – спросил Антон.

Он обладал счастливой способностью быстро забывать свои огорчения.

– Нет, не играю.

– Давай сыграем,– сказал Антон. Он уже вытряхивал фигуры на стол.

– Опоздаешь ведь.

– Давай работай, больше проговоришь.

– Сказал же – не умею.

– А я, думаешь, умею?

Пронякин накрыл письмо тетрадью. Он уже понял, что так ему не отделаться. Фигуры были огромные, точно играли не люди, а самосвалы. Одной пешки не хватало, и Антон её заменил куском бурого камня, синеватого на изломе.

– Это что? – спросил Пронякин.

– Руда,– ответил Антон. И первый пошёл конём, хотя у него были чёрные.

Почему он начинал конём, трудно было понять. Должно быть, он ему нравился реальным сходством с лошадью.

Через минуту Пронякин взял у него этого коня и кусок руды, а ещё через пятнадцать ходов, очень хит-

рых и достаточно примитивных, загнал короля в угол и принялся вновь за своё письмо:

«...*Ты шифоньер продай, чего за него держаться, а кровать никелированную мы и в Белгороде купим, себе же дороже везти. Но денег особенно не жалей, до Рудногорска лучше таксишника найми, а если компания подберётся, то выйдет совсем не дорого. И приезжай, не медли, а то я уже по тебе, честно, соскучился...*»

Антон мучительно думал. Он ещё не догадался, что получил мат.

— А вот так? — спросил он, с торжеством двигая ладью.

— Иди к богу в рай,— сказал Пронякин.— Припух ты давным-давно.

— Брешешь.

— Ну сиди, думай.

Но Антон не стал думать. Он поверил Пронякину на слово.

— А говорил — не умеешь. Чудак! Но ты мне всё-таки нравишься.

— Ты мне тоже.

— А по новой? — спросил Антон.

— К богу в рай.

Пронякин терпеливо ждал, когда он уйдёт. Но он вернулся и просунул голову в дверь.

— На танцы пойдёшь?

— Пойду,— нехотя отозвался Пронякин.

— В тумбочке у меня галстучек — девки прямо стонут. Только гляди, чтоб они его помадой не заляпали.

И ушёл наконец, грохая сапожищами в коридоре.

«...*Может, здесь-то и заживём, как мы с тобой мечтали,*— выводил Пронякин.— *И всё у нас будет как у людей. Но и прошлую нашу жизнь забывать не будем. Жду тебя скоро и остаюсь уверенный в твоей любви любящий муж твой Пронякин Виктор*».

Он заклеил письмо и, выйдя, опустил в ящик на фонарном столбе. Потом распаковал чемодан и оделся в тёмно-синий костюм, купленный проездом в Москве. Костюм сидел на нём неважно, но была сильная надежда на Антонов галстук, который и впрямь оказался выше

всех ожиданий. Он зачесал свои длинные пряди, побрызгался «Шипром» и положил в кармашек, уголком вверх, надушенный платок. В зеркальце он увидел свой глаз, разрезанный несколько косо, смуглую твёрдую скулу и трудную складку возле широкого коричневого рта. Он никогда не задумывался, красив ли он, он хотел знать, выглядит ли он прилично.

Таким появился Пронякин на танцплощадке Рудногорска — на круглом пятачке асфальта, шагов двадцати в диаметре, посреди огромного холмистого пустыря. Пустырь имел большое будущее, он находился в центре посёлка и мог рассчитывать на звание главной площади города. Но пока он был завален грудами щебня и дранки, заставлен штабелями кирпича и фанерными симметричными строениями известкового цвета, с необходимыми индексами «Ж» и «М». Проходя этим пустырём в полдень, когда по пятачку асфальта расхаживали гуси и козы и девочки играли в классы, Пронякин мог бы подумать, что здесь едва хватило бы места для двадцати пяти или тридцати танцующих пар. Но вечером, к его приходу, их было восемьдесят или сто, а парни и девчата всё подходили из темноты с непреклонным намерением взять своё.

Он побродил вокруг да около и выбрал себе девицу, которую никто не приглашал. Это, впрочем, вполне сходилось с его правилами. Самых ярких следовало остерегаться, если ты вызвал к себе жену. В отъездах он позволял себе кое-что и помимо танцев, но там он и не боялся чужих языков.

— Протиснемся или с краешку? — спросил он свою даму.

— Мне всё равно.

Но ей было не всё равно. Ей хотелось протиснуться. Ей хотелось быть поближе к свету, чтоб её видели с ним.

— Тогда протиснемся.— Он взял её за руку, и они протиснулись и заняли случайно освободившийся вершок.— Так — хорошо?

— Так хорошо.

Радиола сыграла бразильскую самбу и начала несравненную «Тишину». Пары пошли медленно и по кругу, и он тоже повёл свою даму по кругу, крепко держа её руку

у запястья. Он не был уверен, что это нравится ей, но так, он видел, танцевали в Белгороде.

— И давно вы здесь? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить.— Имею в виду — в Рудногорске.

— Как вам сказать... Мне кажется, очень давно. А на самом деле всего лишь пятый месяц. Как видите, не с первого гвоздя, как любят здесь говорить.

— Понятно,— сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— И ещё здесь любят говорить: «практически неисчерпаемо». Это — о руде. У вас ещё будут какие-нибудь вопросы?

Ему не нравилось, что она всё время щурится, улыбаясь. Как будто тусклый свет фонаря мог резать ей глаза. И лоб у неё был слишком высокий и выпуклый.

— Пока что не имею,— сказал он.

«Тишина» кончилась. Но пары не расходились. На «пятачке» становилось всё теснее.

— Ничего не поделаешь,— сказала она,— вам придётся весь вечер танцевать со мною. Нам уже не выбраться отсюда.

— Тогда уж познакомимся. Виктор.

— Маргарита. Но лучше зовите меня просто Ритой... Если вам это интересно, я немножко стесняюсь своего имени. Мне хотелось бы какое-нибудь простое-простое... Ну, не обязательно Глафира или Прасковья, но хотя бы Маша или Ольга.

— И так сойдёт,— сказал он слегка насмешливо.

Радиола завела какой-то мексиканский фокстрот. Ребята — в клетчатых пиджаках, ковбойках и просто в майках — танцевали, энергично оттопыривая зад и притоптывая одной ногой; лица у них были страдальчески-вдохновенные. Девчата посмеивались и переговаривались друг с другом. Они не принимали танец так близко к сердцу.

— Нравится вам здесь? — спросила она.

— Есть, пожалуй, где и повеселее.

— Не знаю. Я жила целую жизнь в Ленинграде. А до этого в Москве. Но это — совсем в детстве, когда мама называла меня Марго.

Со всех сторон на них напирали, толкали, и невольно она прижималась к нему низкой и мягкой грудью. Это было не очень приятно, потому что он совсем ни-

чего к ней не чувствовал. И потом, ему как-то трудно было представить себе её в детстве.

— Девчонки наши воют, нет того, нет другого, безумно скучают по своим городам. Но в конце концов для чего мы сюда приехали? Разве не для того, чтобы почувствовать себя участниками большого, настоящего дела? Разве не радостно? Я им это каждый день пытаюсь внушить.

— А они что?

— А они? «Чувствуем, радостно, только в театр хочется». Или — «на каток». Но это у них, конечно, пройдёт со временем. У меня это уже почти прошло. И мне здесь живётся как-то окрыленно. Приятно ведь написать маме: «Мы уже прошли пласты сеноман-альба, апт-неокома, пробились к самому келловею!..»

— Что вы говорите! — вежливо изумился он.— Неужели к самому келловею?

— Что значит «неужели»? Уже давно штурмуем. А вы разве недавно здесь?

— Второй день.

— Вы, наверно, экскаваторщик? Или взрывник?

— Водитель. На самосвале.

— Ну, всё равно. Вам тоже предстоит штурмовать келловейский пласт, пробивать окно в руду. Если б вы знали, как я вам завидую!

— А у вас, извиняюсь, какая специальность?

— Горнячка. Этой весной окончила институт. Но я работаю не на карьере. В рудоуправлении. Готовлю документацию к чертежам, всевозможные исходящие, если запрашивают Москва или Белгород. А они запрашивают чуть не каждый день. Не знаю, может быть, вам это покажется скучным. Но, наверное, моя работа нужна, если меня сюда поставили?

— Наверно, нужна. Даром же не поставят.

Радиола опять завела «Тишину».

— Нужно уметь во всём находить что-то хорошее,— сказала она.— Вот посмотрите, кто-то повесил радио выше фонаря, и его в темноте не видно. Можно подумать, что музыка льётся откуда-то с неба, правда?

Он посмотрел вверх. В конусе фонарного света бились ночные мотыльки. Ночь была темна, ни одна звезда не пробилась сквозь облака, и едва достигал сюда свет дальних домов и бараков. Больше он ничего не увидел

и посмотрел на неё. Она вся была захвачена танцем и раскачивалась, сощурясь и напевая тихонько. В нём шевельнулось что-то вроде восхищения, он хотел бы так чувствовать и уметь говорить, как она.

— Ничего пластиночка,— сказал он, кивая вверх.— Берёт. Держит.

— К сожалению, это последняя. Уже одиннадцать, а наш радист очень пунктуальный юноша.

«Тишина» кончилась, и в динамике послышался щелчок. Но шарканье ног по асфальту ещё продолжалось. Пары не расходились. Они танцевали без всякой музыки.

— Собака он, ваш радист, больше никто,— сказал Пронякин.— Меня б туда посадили, так я б до утра заводил. А почему нет, ежели народу хочется?

Она мягко улыбнулась, округляя губы.

— Мало ли чего нам хочется. Может быть, его ждёт жена. Или он думает о тех, кому рано вставать на работу. Всё ведь можно объяснить по-хорошему, правда?

— Что же он, лучше меня знает, чего мне надо? Инструкция у него, вот и закрывает лавочку.

Она опять улыбнулась ему.

— Боже, как вы мне напоминаете моих девчонок! Даже слова те же: «инструкция», «лавочка». И «вот я бы!.. вот мы бы!» Но можно ли жаловаться, скулить, когда живёшь среди таких людей?

— Каких же это?

— Ну, которые живут настоящим делом, вершат его своими руками. Они иногда бывают грубы, я вижу, как они пьют, участвуют в драках, сквернословят. Но это же всё наносное, это всё потому, что им не приходит в голову посмотреть на себя: сколько в них настоящего благородства! И в вас оно есть. Разве нет?

— Чёрт его знает,— сказал он.— Не замечал.

Но ему было приятно думать, что в нём есть благородство. Ему это и впрямь не приходило в голову.

— Есть,— сказала она убеждённо.— И давайте потанцуем, как все. Без музыки. Ведь и в этом есть своя прелесть, правда?

Шарканье ног по асфальту всё продолжалось. Шарканье и дробный разноголосый говор, в котором каждый не слышал соседа. Но вот где-то близко, в темноте, пиликнула и заскрежетала гармошка.

Кто-то из парней, неподалёку от них, закричал:

— Миша пришёл!.. Давай, Миш, подваливай, наяривай!

И все закричали тоже:

— Сыпь, Миша, не жалей!

— Миша, лучший друг, поработай, чего тебе стоит!

— Мишенька, иди, милый, мы тебе конфетку дадим!..

Пронякин увидел Мишу. Он продвигался между парами ходом шахматного коня, раздвигая их костлявым плечом,— в чёрной бархатной курточке и необъятных брезентовых галифе, вправленных в кирзовые сапожищи. На голове у него блином прилепилась замасленная артиллерийская фуражка. Он растягивал и сжимал маленькую писклявую гармошку, как машина, заведённая на тысячу оборотов, и ухмылялся зловеще и блаженно. Из-под Мишиных пальцев, корявых и заскорузлых, выходило что-то среднее между танцем лебедят и саратовской «матаней».

— Что за хмырь? — спросил Пронякин.

— Это Миша,— сказала она.— Володя Хомяков за что-то прогнал его с карьера, и он теперь при бане. А мне жалко его. Просто не находит места в жизни.

Пронякин пожал плечами.

— Ну, положим, Володя Хомяков знает, кого выгнать, а кого принять.

Миша остановился как раз против них и смотрел в упор, улыбаясь слюнявой улыбкой. Двух передних зубов у него не хватало. Он раздирал гармошку, не останавливаясь ни на секунду.

— Что ты всё пилишь? — спросил Пронякин.— Ты играй по-людски, понял?

— Гы! — сказал Миша.

— Ты ещё чего-нибудь умеешь играть?

— Могу,— сказал Миша. И заиграл то же самое, только громче.

Вдруг он заорал:

— Кралечку нашу затралили! Увести хочут!

Вокруг засмеялись. Должно быть, в здешних кругах Миша считался острословом. Но Пронякину вдруг очень захотелось украсить Мишин рот ещё одной щербиной. Он двинулся к Мише, мгновенно рассвирепев, но Рита удержала его, с неожиданной силой вцепясь в рукав.

— Не надо, не злитесь на него, мы лучше уйдём. Уже ведь поздно.

— И то правда,— сказал Пронякин, так же быстро остывая. Он почувствовал благодарность к ней. Хорош бы он был, если б связался с дурачком!

Не переставая наяривать, Миша орал им вслед:

— Кралечку, увели кралечку, я ж говорил! Держи вора-босяка!

Впрочем, на него недолго обращали внимание. Танцующие пары двигались, шаркая, плотной массой по кругу. Пыль поднималась над ними и сверкала в конусе фонарного света.

— Провожу, что ли,— сказал Пронякин.

— Не нужно меня провожать,— сказала она быстро и как бы испуганно.— Я не хочу, чтоб вы думали, что мне это нужно. Ведь вы из приличия, правда?

Он не нашёл что ответить. Он смотрел ей вслед и, когда она заслоняла тускло-оранжевый свет подъезда, видел, как она странно изгибается всем телом и как высоко держит голову. «И не споткнётся,— подумал он, усмехаясь. Но в усмешке его было что-то вроде восхищения.— Наверно, и правда Бог таких бережёт?»

Она прошла весь грязный неровный пустырь, заваленный битым кирпичом и железным ломом, и, не оглянувшись, исчезла в подъезде.

Соседи Пронякина уже спали мертвецки. Он постоял на пороге, морщась от их разноголосого храпа и от запахов — нефти, глины, сыромятной кожи и пота,— бивших в нос наповал. Натыкаясь на табуреты, путаясь в голенищах сапог, разбросанных по всей комнате, он пробрался к окну и распахнул форточку. Затем он разделся, аккуратно уложил костюм в бумажный чехол и вывесил на спинку кровати брезентовую робу.

Где-то близко прошли по улице гурьбой, хрустя по щебню, и голосами, оловянными и старательными — парней, звонкими и смешливыми — девчат, пропели:

Забота у нас простая-а-а...
Забота наша такая...
Пошла бы руда большая —
И нету других забо-о-от!..

И снег, и вете-е-ер...

Но «ветра» не вытянули и рассмеялись и пошли дальше, галдя.

Пронякин лежал и курил, медленно передумывая все события этих последних дней, с тех пор как он попрощался с женой на вокзале в Горьком, где она работала буфетчицей, и уехал, оставив её у родственников, чтобы оказаться здесь, в этой комнате, среди чужих. Папироса его выжигала зигзаги в темноте и возвращалась к его губам.

«Это всё уже ненадолго,– думал Пронякин. "Это всё" была комната с рассохшимися обоями, запахами и храпами и его собственная неустроенность, которую он всегда чувствовал сильнее в разлуке с женой.– Это всё уже ненадолго. Домик здесь заимеем: может, ссудой какой помогут. И чтоб всё было в доме – холодильничек, телевизор, мебель всякая. А со временем-то, может, и машинку свою заведём. Но это, впрочем, уже идиллия.– Этим словом он называл всё несбыточное.– Это уже идиллия, известно же: сапожник всегда без сапог. А вот пацанов своих пора бы действительно заводить: ведь уж тридцать скоро, а женульке и того больше. Ей-то ребёнка надо, скоро все года выйдут... Ничего, всё будет. Только бы не споткнуться где. Не споткнуться бы. А там уж я сам себе свой. Лиха беда начало. А споткнуться можно очень даже просто, и тогда снова – езжай, ищи, жди...»

Он лежал, опустив руку с папиросой к полу, и слушал, как ветер гремит чем-то железным на крыше. Он заснул, и папироса погасла и выпала из его руки.

4

Мацуев действительно подобрал для него запчасти и положил их в кабину «МАЗа». И каждую из этих прекрасных вещей Пронякин подержал в руках, неторопливо прикидывая, много ли это или мало и не свалял ли он дурака, взявшись за этот ремонт. Это был бы, конечно, неплохой комплект для всякой годной машины, но не для «МАЗа», в котором, наверное, живого места не было. По-настоящему Пронякин ещё не видел его, на то нужна была полная разборка, и от неё-то всё зависело, потому что в конце концов не стыдно было и отказать-

ся и поехать в другое место, где, может быть, повезёт и дадут новую машину. Но это он только обманывал себя.

В тот же день «МАЗ» отбуксировали к смотровому люку, лебёдка сняла с него платформу кузова, кабину и двигатель, приподняла раму, из-под которой слесари выкатили передний и задний мосты, и Пронякин, вооружась отвёртками и ключами, принялся разбирать. К исходу второго дня он увидел свой «МАЗ» по-настоящему, когда уже и «МАЗа»-то не было, а была только груда частей, узлов и деталей, едва уместившаяся на стендах. Тут он увидел все его раны, болячки и язвы, все сколы, забоины и трещины, все погнутости и вмятины и его святая святых — рабочие поверхности цилиндров, бывшие когда-то зеркальными, а теперь покрытые нагаром и сыпью. Тогда он понял, что никуда не уйдёт.

Он сел на бетонный пол в мастерской и горестно помотал головой.

— Ах, сука...

Ни черта он не понимал, тот, кто ездил на этой машине, а другие, кто понимал, пришли потом, и, конечно, им было уже не совестно «раздевать», растаскивать по кускам искалеченное существо, которому вряд ли воротишь жизнь и прежнюю силу. Пронякин не стал распутывать концы, он просто пошёл к тем, на кого намекнул Мацуев, и попросил их вернуть детали, снятые с его «МАЗа». Одни вернули их, стыдливо и молча. Другие потребовали доказательств и хорошо, с большим чувством, посмеялись над ним. Впрочем, они легко соглашались на обмен.

Но ему пока нечем было меняться, и он присмотрел и обшарил несколько автомобильных и экскаваторных свалок, где можно было кое-что разыскать, если не брезгать и ковыряться часами, разгребая щепкой мусор и гниль, и если потом отмыть детали в бензине, опилить заусеницы или сделать наплавку и отшлифовать на станке. Он оставлял себе то, что садилось впритирку, остальное шло в оборот и понемногу, по крохам, заполняло пробелы в дефектной ведомости.

Понемногу и все эти шесть тонн металла, пластмасс и резины приобретали рабочий облик и благородный рассеянный блеск *деталей* — когда Пронякин и слесари убирали с них чёрную маслянистую грязь и нагар, когда

смывали накипь в рубашке охлаждения едкой каустической содой и прочищали миллионы отверстий, каналов и трубочек щетинным ершом или ветошью, намотанной на проволоку, когда заваривали крупные трещины сталью, а мелкие протравливали кислотой, а потом зашлифовывали абразивом и наждачной тёркой, когда заливали изношенные втулки баббитом и вулканизировали мясистую резину камер.

И постепенно у него отлегло от сердца. «МАЗ», конечно, не был такой машиной, которую под силу доконать самому ледащему портачу, и при всех его ранах и ссадинах в нём далеко ещё не было той глубокой *усталости металла,* которую и не заметишь снаружи и от которой единственное лекарство — переплавка.

Слесари в мастерской, наверное, чувствовали это. Наверное, это было у них в пальцах — умение видеть металл на ощупь и знать, что ты не работаешь зря и возвратишь ему прежнюю крепость. Они были чуточку склочные и в меру ленивые ребята, с большой склонностью к философии, которая размагничивает руки, потому что приходится ими махать. Но они всё-таки что-то умели и не задавались этим; они очень быстро поняли, что он бы, пожалуй, мог обойтись и без них, а они без него — едва ли. И, пожалуй, они не провернули бы всю эту адову работёнку за две недели, если б он не торчал у них над душой и не подменял их во время затяжных перекуров.

Он приходил в автоколонну с первой сменой и вертелся до поздней ночи, убегая только на час — пообедать и пройти с Мацуевым очередной урок обращения с дизелем. Но наконец настал день, когда они прикатили оба моста, и лебёдка опустила на место кабину и собранный двигатель. Пронякин подвёл к нему патрубок топливопровода и подсоединил электропроводку. Он хотел всё сделать сам. Но руки у него неприлично дрожали, потому что этот момент был исполнен для него таинственности, и теперь уже слесаря торчали у него над душой, рассуждая на тему «Пойдёт или не пойдёт?»

Двигатель провернулся с поцелуйными звуками, потом заворчал и чихнул.

— Будь здоров! — сказал Пронякин.— Сейчас я тебя подкормлю.

Тогда он взревел, мгновенно окутавшись синим выхлопом, и Пронякин сел на пол, чтобы немного успокоиться.

— Куда торопишься, чудак? — спросил он и рассмеялся счастливым смехом.— Ты ж ещё не родился.

Но «МАЗ» уже родился. Он ревел, содрогаясь нетерпеливо, хотя ещё был ободран и «не одет» и стоял всеми четырьмя ногами на домкратах и опорах. Ему хотелось на волю, и слесаря, наверное, тоже поняли это; они пошли и открыли ворота пошире, и солнечный свет стеною встал на пороге, не в силах двинуться дальше, в тёмную и сырую глубину гаража. И всё-таки «МАЗ» откликнулся — вспыхнувшим блеском стали, меди и смазки, матовым сиянием белого чугуна.

Они оставили двигатель обкатываться и ушли в мастерскую, но время от времени Пронякин, срываясь с места, прибегал сюда и без конца что-нибудь регулировал. Он никак не мог сказать себе «хватит», он не мог наглядеться и наслушаться, хотя слесари уже посмеивались над ним. Теперь в сравнении с тем, что было сделано, оставались сущие пустяки. Оставалось собрать и поставить скаты, починить платформу и залатать листовой сталью пробоины и ржавлины в кузове. Потом ещё раздобыть дерматина и дратвы и цыганской иглой залатать сиденье. А напоследок он решил поставить новый спидометр, со счётчиком на нуле, чтобы он отсчитывал километры с первой его, Пронякина, ходки. И, конечно, он должен был сделать его трёхцветным, не как у всех, потому что, ей-богу же, «мазик» имел на это право — за все свои страдания.

Он купил несколько банок краски — серой, тёмно-зелёной и чёрной — и выкрасил машину с великими трудами, сам заляпавшись с головы до ног. Рама у него была чёрная, а кузов серый,— подумав, он нанёс ещё широкую зелёную полосу, похожую на ватерлинию корабля,— крылья тоже серые, и такие же ободья колёс, только ещё с зелёной каймою, а капот и кабина, наоборот, зелёные, с чёрными и серыми стремительными зигзагами. Высунув язык, он разглядывал свою работу. Теперь он узнал бы свой «мазик» среди тысячи других.

А всё-таки чего-то ещё недоставало. Он подумал, почесал в затылке и понял, чего недоставало. «МАЗу» не-

доставало теперь оловянных зубров на капоте, великолепных барельефных зубров, напруживших немыслимо могучие загривки. Кто-то безжалостно сорвал их, бог весть для чего, и Пронякин, конечно, не в силах был примириться, что зубров этих не будет. Это было бы чертовски обидно — когда у других они есть. Этого никак нельзя было себе представить. Поэтому Пронякин отправился к «мазистам» и перерисовал контуры зубров на промасленную бумагу, а потом вырезал их из листового дюраля и прикрепил к боковинам капота.

За этим занятием и застал его Мацуев, когда пришёл принимать работу. Молча он обошёл машину со всех сторон, осмотрел силовую передачу и механизм подъёма кузова. Потом запустил двигатель и поднял капот. Он слушал, наклонив голову и помаргивая, как покупатель в магазине прослушивает пластинку. Пронякин смиренно стоял поодаль, чумазый и похудевший, но весь его вид говорил о том, что ездить на этой машине должен только он и никто другой.

— Н-да,— сказал Мацуев.— В третьем цилиндре вроде как бы шумок у тебя лишний. Подрегулировать бы маленечко форсунку, а?

«Шумок, говоришь? — подумал Пронякин.— Вот был бы тебе шумок, и не лишний, если б дурака не нашёл, как я. "Мазик"-то на твоей совести».

Но бригадир был бригадиром, поэтому Пронякин наложил ключ на винт регулятора и повернул его чуть влево, а потом — заслонив рукавом — чуть вправо.

— Теперь хорош?

— Теперь другое дело.

— Может, на ходу попробуем? Хоть и не просох ещё...

— Попробуем,— сказал Мацуев, закрывая капот.— Садись за руль.

Пронякин вывел «МАЗ» за ворота. Он вывел его прекрасно, если учесть, что двери гаража были узковаты, а двор заставлен самосвалами, и он ни разу не ездил на таких тяжёлых машинах, где ты сидишь непривычно высоко, точно на троне. Потом они повернули к дробильной фабрике, проехали мимо её висячих галерей и ферм, мимо кассетного заводика, который делал бетонные панели для строительства посёлка, и Пронякин попробовал «МАЗ» на всех его пяти передачах, покуда не

упёрся в закрытый шлагбаум железнодорожной ветки. На обратном пути они поменялись местами, и теперь уже Мацуев попробовал машину на всех пяти передачах, благо бетонка была пуста в этот час. Мацуев был добрый водитель, но не фейерверк, совсем не фейерверк. Он не родился шофёром, он просто стал им, а мог бы стать и машинистом на паровозе и слесарем в мастерской.

— Педали у тебя легковаты,— сказал Мацуев, когда они въехали во двор.— Чуть тронешь, и уже слушается. Может, потуже бы сделал? А то как бы он тебя по случайности не послушался.

«Ну, это уж ты блажишь, папаша»,— подумал Пронякин и ответил коротко:

— Я так люблю.

— Ну, гляди сам,— охотно согласился Мацуев.— Тебе же ездить, не мне.

— Значит, ездить всё-таки?

— А то как же! Твой «МАЗ», что и говорить. Теперь и отдел кадров препятствовать не посмеет. Да мы уж и так его уломали. Ты вот что, ступай-ка оформись до шести. А завтра медосмотр пройдёшь и технику безопасности. А с понедельника, в первую смену, можешь и в карьер. Как раз и подсохнет машина. Ну, и за ремонт я тебя не обидел. Вали, получай.

Но Пронякин ещё не сделал последнего жеста.

— Ну что ж, бригадир.— Он щёлкнул себя по шее пониже уха.— Ты меня не обидел, я тебя уважу. Обмыть надо «мазика», а?

— Ни-ни,— сказал Мацуев.— У нас это, понимаешь, не заведёно, чтоб подносить бригадиру с получки.

— Какая ж это получка? Это ж за ремонт. Можно сказать, с неба вместе с «мазиком» свалились.

— Всё равно,— вздохнул Мацуев.— Прознают, понимаешь, а бригада пока что без срывов. Ни на работе, ни в личном быту. Вот какая история.

— Понимаю,— сказал Пронякин.— Третья заповедь: «Не пей сам, пои ближнего».

У Мацуева затряслись плечи и заколыхалась грудь. Толстые лохматые брови поползли вверх, открывая острые слезящиеся глазки. Так Мацуев смеялся.

— А пивка? — спросил Пронякин.— Всё же культурно.

Мацуев перестал смеяться.

— Пивка — это культурно. Это можно, пивка. Только один я не пойду, ты уж всю бригаду приглашай.

— А я и приглашаю. В лице бригадира. Пиво, закусь, то, сё. Только где?

— В «зверинце», где же ещё.

— Принято.

«Зверинцем» именовался в Рудногорске стандартный торговый павильон типа «Фрукты—овощи», отделанный дюралевыми панелями и железной кроватной сеткой. Задняя дверь его, куда положено ходить продавцу и вносить товар, была, наоборот, парадной, и вся полезная площадь принадлежала посетителям — не считая угла, где стояли фанерный ларёк и бочки. Здесь пили подолгу и говорили «за жизнь», роняя пивную пену на земляной пол, который в дождливые дни превращался в тягучее, смачно чавкающее месиво. Здесь сводились счёты — очень немудрящие счёты, стоимостью в два-три добрых удара по скуле, которые, однако, выполнялись в замедленном темпе и в несколько приёмов, с беззубыми угрозами и маханием кулаками — до и после драки, иногда и вместо неё. Впрочем, особенно резвиться здесь никому не давали и разводили обычно на второй минуте.

В один из солнечных дней поздней осени сюда приползёт гусеничный кран и, вздев эту клетку на высоту в два человеческих роста, перенесёт её на рыночную площадь для использования по прямому назначению. Зрелище будет весёлое и чуть печальное, как всегда, когда кончается одна эпоха и наступает другая; и сам крановщик пропустит по этому случаю две последние кружки. Но в то холодное воскресенье «зверинец» ещё стоял на прежнем месте, между столовой и строящейся трёхэтажной гостиницей, и деятельно служил страждущим в роли стоячей забегаловки.

Пронякин пришёл сюда королём, помахивая сотенными, в окружении всей бригады. На пустыре подле «зверинца» паслись бульдозеры и самосвалы, в самом павильоне было тесно и полутемно, и у ларька плотно группировались комбинезоны и ватники. Но Федька Маковозов, юноша как раз под потолок «зверинца», немедленно заработал мощными локтями, а Прохор Меняйло, Косичкин и Гена Выхристюк — «Гена Выхристюк

из Мелитополя», как отрекомендовался он Пронякину,– тут же начали собирать порожние кружки. Антон завладел бочкой и вызвался помогать продавщице. Это было куда реальнее, чем занимать очередь.

Завсегдатаи «зверинца» не преминули заметить:

– Мацуевцы гулять собрались. Что-то вас давно не видать было.

Мацуев выставил вперёд растопыренную ладонь.

– Мы и выпиваем,– сказал Мацуев,– и дело знаем.

– А жинка про то знает? – спросил парень в чёрном беретике и с полосами тельняшки в отвороте комбинезона.

– А ты поди доложи. Она хоть и женщина, а понимает: раз человек уважение хочет сделать бригаде, тут не откажешься.

– Так бы и говорил,– согласился парень в беретике, и остальные посторонились.

По живому коридору Пронякин прошёл к ларьку и упёрся в широкую спину Федьки. Федька развернулся к нему. На румяном губастом лице его было разочарование.

– «Столичной», говорит, нема. И «Особой» тоже нема.

– А что ма?

– Пиво и шампанское. Пошли к гастроному? Что же ты, «мазика» шампанским будешь обмывать?

– Шампанское – это культурно,– сказал Пронякин. Он сунул голову в окошко и увидел пухлую зачуханную девицу в нестираной диадеме.– Девушка, нас тут семеро, сделайте нам на все.

– Чего «на все»? – Она тупо смотрела на сотенные.– Не понимаю, чего вы хотите.

«Конечно, не понимаешь,– согласился он про себя.– Женулька б, та мигом поняла. И всем было б хорошо, и ей было б хорошо, и комар бы носа не подточил. Это же сколько народу не на своём месте сидит!»

– По бутылке шампанского на персону. Закусь, я думаю, сообразишь сама. Сдачи чтоб не было, ясно?

Она сообразила наконец и выдала им гору солёных баранок и синевато-малиновой колбасы с ломтями серого хлеба. Пивные кружки переходили по конвейеру.

И на том его миссия кончилась, теперь ему самое верное было скромно помалкивать и слушать и смотреть, как они пьют шампанское из пивных кружек. Кажется, они

остались довольны. Один лишь Федька подошёл к нему и, разглядывая вино на свет, глубокомысленно заметил:

— Ты знаешь, Витя, мы совершили большую ошибку. Взяли шампанское, а оно — тёплое. И какой нужно быть необразованной халявой, чтобы торговать тёплым шампанским!

Пронякин молча кивнул. Он умел понимать тонкости этикета. Если тебя упрекнули в том, в чём ты не виноват, значит, ты безупречен.

Он стоял, потягивая не спеша из кружки, и думал о том, что первый его шаг удался и притом обошёлся ему сравнительно дёшево. Покажи себя сразу — это он твёрдо усвоил за свою жизнь, которая казалась ему достаточно долгой,— это легче и проще, чем показывать потом, когда мнение о тебе сложилось и, чтоб изменить его, ты должен будешь прыгнуть выше головы.

На другое утро он шёл с ними в автоколонну, как свой, неторопливо и молча. А молчали они потому, что знали друг друга давно и хорошо.

Он сел в кабину и попробовал двигатель на малых оборотах. Двигатель завёлся сразу, и стук был ровный и мягкий, одинаковый во всех четырёх цилиндрах. Один за другим взрёвывали «ЯАЗы». Они выезжали по одному справа и выстраивались на бетонке в кильватер. Ветер завивал пыль на обочине, и Пронякин поднял стёкла кабины.

Подошёл Мацуев и приложился лицом к стеклу. Он улыбался слегка заговорщицки.

— Как жив? — спросил он.

— Порядочек! — ответил Пронякин.

— Ну валяй,— сказал Мацуев.

— Ага,— сказал Пронякин.

Он ехал последним в своей бригаде и на закруглениях видел всю колонну. Самосвалы двигались, как танки, в свирепом рычании и в чёрном дыму, не ходко, но непреклонно. Казалось, ничто не в силах остановить их. Но то один, то другой из них останавливались, если человек на обочине поднимал руку. В это время другие самосвалы обгоняли приставшего, и перестроиться на узкой бетонке уже не удавалось. «Впредь буду сажать у базы,— приметил для себя Пронякин,— чтобы уж ехать с полной кабиной». Он был из тех шоферов, которые и

мысли не допускают, чтоб отказать голосующему, но не хотел, чтобы его из-за этого обгоняли.

Лес остался позади, за ним промелькнула контора, яблоньки, и, не сбавляя хода, колонна вошла в карьер. Он стремительно раздвигался в прорези выездной траншеи и вдруг хлынул весь в глаза и в уши, чуть затуманенный и плоский, как горы на горизонте, и скрежещущий, лязгающий, ревущий. Колонна распалась на отдельные группы машин, которые поползли, петляя, к своим экскаваторам, стоявшим на разных уровнях. Пронякин спускался шестым к своему, стоявшему в самом низу, в свинцово-голубоватом забое, и чувствовал странное волнение, хотя он знал и не такие дороги. И всё же это не помешало ему заметить, как невыгодно подъезжать шестым. Он должен был дожидаться своей очереди, не выключая двигателя и не выходя из кабины, чтобы размяться, и время от времени подтягивать машину к экскаватору на один интервал.

Антон в своей остеклённой кабине был весь на виду и безостановочно двигал рычагами.

— А, новенький! — приветствовал он Пронякина, сверкая сахарными зубами. Сбившаяся светлая прядь падала ему на лоб, уже вспотевший и розовый.

— Новенький,— сказал Пронякин, вылезая из кабины.— Только машина у меня старенькая. Так что гляди, сосед, сыпь по-божески. Понял? Чтобы и тебе было, и мне.

— Сколько надо, столько и насыплю,— сказал Антон.— Не бойсь, не обижу. Подставляйся!

Пронякин «подставился» и снова вылез — так полагалось по инструкции, на тот случай, если машинист промахнётся и заденет ковшом по кабине,— и стал наблюдать, как тяжёлый ковш, опускаясь, качается над его машиной, готовой закряхтеть и грузно осесть на рессоры. Ковш покачался и замер на мгновение. Его нижняя челюсть вдруг отвалилась бессильно, и грунт посыпался с грохотом. Машина слегка осела. Но Антон не сразу отвёл стрелу, он задрал её выше, чтобы высыпать ещё несколько пудов глины, приставшей к закраинам стенок.

— Есть у тебя совесть, Антон? — закричал Пронякин, впрочем, только так, для порядка.

— А то нет,— сказал Антон и дал длинный гудок.— Не вякай под руку, отъезжай.

Пронякин сел и, не закрывая дверцу, чтобы смотреть назад и под колёса, повёл машину к выезду из карьера. Так он начал свой первый рейс.

К выезду вели метров семьдесят ухабистой дороги, проложенной по камню, по глине и песку, и затем песчаная разноцветная лента, извивавшаяся по крутостям склона. Где-то на верхних горизонтах она переходила в бетонку. Перед глазами Пронякина маячил тёмно-зелёный «ЯАЗ» Федьки Маковозова. И по тому, что он слышал Федькин двигатель сквозь рёв своего, Пронякин понял, что его «МАЗ» идёт несравненно легче и что есть шанс немедленно «ободрать» Федьку. Сантиметр за сантиметром он подбирался к Федьке и наконец поравнялся. Федька что-то напевал с набитым ртом, откусывая от чёрной краюхи, и, увидев рядом лицо Пронякина, весело ему подмигнул. Затем на его лице — всегда полусонном, с вывернутыми губами и помидорным румянцем — отразилось беспокойство. Федькина рука незаметно упала с баранки вниз, машина взревела и окуталась дымом, но это уже не помогло ей догнать уходящего Пронякина.

Пронякин оглянулся и сделал Федьке ручкой. Федька сердито шевелил губами за ветровым стеклом и сверлил пальцем висок.

— Мне же двадцать две ходки...— так же беззвучно объяснил Пронякин и показал на пальцах.

Федька хлопнул по лбу ладонью и показал вниз, на обрыв. Тогда Пронякин всё понял. Он обгонял на таком участке дороги, где Федькина машина оказывалась с краю. Он сделал извиняющееся лицо и сбавил обороты, пропуская Федьку вперёд. Но тут Федька и вовсе рассвирепел и, высунясь чуть не до пояса, заорал:

— Куда ты пятишься, дура?! Куда? Уж ободрал, так не осаживай! Пшёл вперёд, душа с тебя вон!..

Пронякин усмехнулся и легко оставил его позади.

Теперь перед ним покачивался и прыгал номер «БЕА 13-48». Но он ещё не запомнил всех номеров бригады и, лишь зайдя сбоку, узнал по сварному шву на кузове машину Косичкина. Он был самым опытным в бригаде, морщинистый и желтолицый, как старый японец, Косичкин. За глаза его и называли «японцем». И всегда он был чем-нибудь недоволен. Здесь, на руднике, ему не нравилось. Не нравилось — и всё. Собственный «ЯАЗ» ему не

нравился. И шампанское ему тоже не понравилось, хоть он и выпил всё до капли. А нравилось ему вспоминать, как он служил на пожарной машине в маленьком городишке под Харьковом, и как его знал весь городишко, и что это была за работа. Раз в сутки он мчался как угорелый и показывал свой первый класс, а в остальное время лежал под машиной, приладив руки верёвочной петлёй к подмоторной раме, и спал. Или предавался размышлениям. Все проходившие мимо думали, что он там что-нибудь чинит, и изумлялись его трудолюбию. И ещё, как он похвалился в «зверинце», за всю жизнь он не задавил даже курицы. Но вот однажды нелёгкая вытащила его из-под машины и привела на этот карьер, и держит здесь, где ему всё не нравится.

Пронякин подобрался к нему вплотную и стал обходить, повторяя свой манёвр. Он увидел недовольно сморщенный лоб Косичкина, точно у него болел живот, и, сделав виноватое лицо, слегка осадил назад.

— Но-но-но! — закричал Косичкин и погрозил согнутым пальцем.— Ишь, закаруселил, циркач! Не на бульваре гарцуешь. С дамочкой. Шагом марш, если тебе нравится!..

— Слушаюсь,— сказал Пронякин.

— А будешь гарцевать, молодой человек...— начал Косичкин наставительно, но так Пронякин и не узнал, что станет с ним, если он будет гарцевать.

На втором витке дороги он достал Прохора Меняйло. Тот сидел, откинувшись, возложив на баранку худые ширококостные руки и вперив вдаль озабоченный взгляд. У него были нестерпимо голубые глаза курянина. А за ухом торчала папироса. Неизвестно было, когда он её выкуривает, но она всегда торчала у него за ухом. И всегда он был молчалив и сумрачен, и вертикальная складка резала его лоб с глубокими залысинами. Пронякин его понимал. Когда у тебя трое ребятишек и беременная жена, это располагает к глубокомыслию.

Пронякин стал обгонять, оглядываясь, спрашивая глазами, и Меняйло так же молча кивнул.

Чем выше, тем ровней и положе становилась дорога, и Пронякин, уверенно прибавив скорости, стал догонять Гену Выхристюка. Гена из Мелитополя почему-то нервничал. Он вихлял кормой и то и дело высовывался, от-

чаянно вертя стриженой головой на тонкой шее. Пронякин не знал, с какого бока подступиться к нему. Он посигналил Гене, тот посмеялся в ответ и выпустил из-под кормы шлейф дыма. Иссиня-чёрные клубы окутали кабину «МАЗа». Пронякин тоже рассмеялся, но осаживать не стал. На его счастье, по деревянной лестнице с третьего горизонта на второй спускалась женщина в синей стёганке, с малиновой папкой под мышкой. Должно быть, она принесла её из конторы кому-нибудь из инженеров. Она остановилась, пропуская машины, и её загорелые колени оказались как раз на уровне Выхристюковых глаз. Гена моментально исчез в кабине, и тотчас заскрежетали тормоза. Пронякин чудом на него не налетел.

— Эй, куряночка! — закричал Выхристюк, высовываясь до пояса. Он оставил пиджак в кабине, и на нём поверх свитера зеленели подтяжки.— Садись, подвезу! Тебе вниз надо? Могу вниз!

Он смотрел на неё с обожанием. Она тоже смотрела на него, кусая губы, чтобы не рассмеяться, и прихлопывала раздуваемую ветром юбку.

— Садись, а то ножки заболят! — говорил Гена заботливо и хрипло.— Ай-ай-ай, такие ножки — и заболят!

Остального Пронякин уже не слышал. Опомнившись, Гена кричал ему вслед:

— Ты чо это? Ты куда это? Ты почему?

«И чего шумят, спрашивается? — удивился Пронякин.— Знают же, что мне никак нельзя без обгонов, и — шумят. Хотя, конечно, их тоже понять можно. Неприятно, когда на круче обгоняют. Я бы и сам, наверно, пошумел».

Дальше пошла бетонка. Пронякин ещё прибавил скорости, и наконец его латаный-чиненый «МАЗ» подкрался к первому самосвалу в бригаде. Первым шёл Мацуев, и покуда Пронякин решил его не обгонять. Он шёл чуть сзади и сбоку, стараясь всё время видеть тяжёлый подбородок и скулу водителя, но тут сам Мацуев, обернувшись, заулыбался и сделал приглашающий жест — проходи!

Несколько секунд Пронякин делал вид, что не понимает его, и всё так же почтительно шёл на треть корпуса позади. Тогда Мацуев высунулся и крикнул:

— Чего топчешься? Проходи, тебе же больше всех надо!

Он ничего такого не имел в виду, он просто хотел сказать, что Пронякин на своей лёгкой машине, бравшей один ковш грунта, должен сделать на семь ходок больше, чем они на своих тяжёлых, бравших по два ковша. Пронякин же понял его по-своему и усмехнулся.

— Не будем спорить, папаша,— пробормотал он громко в своей кабине,— кому больше надо, тебе или мне. А вот как я их сделаю, лишних-то семь ходок? Что бы ты мне насчёт этого посоветовал, а?

Он увеличил подачу топлива до предела и на полной скорости прошёл выездную траншею и участок перед конторой, обогнав ещё три или четыре машины, которые возили грунт с верхних горизонтов. Затем дорога круто сворачивала к отвалу. Это была настоящая бетонка, с частыми температурными швами, которые увеличивали сцепление, и достаточно широкая для трёх машин в ряд. Люди этой дорогой не ходили, а машины двигались с большими интервалами, и он мог маневрировать, резко забирая влево, а при случае рискнуть и на двойной обгон.

Его руки и ступни делали своё дело, а мозг работал отдельно от них, спокойно и чётко. Здесь, решил он, будет главный его козырь, на этих трёх километрах он сможет обгонять по десять, а потом, быть может, и по пятнадцать машин в рейс. Если он выиграл гонку с трёхосными «ЯАЗами» на дороге вверх, тогда ему и карты в руки на ровной прямой, где два ковша говорят своё веское слово, а лишняя ось уже не имеет значения. Теперь следовало подумать, что можно выгадать на отвале.

Вскрышную породу сбрасывали в глубокий овраг с крутыми склонами, поросшими блеклой травой. На дне оврага росли невырубленные берёзы и старый орешник; верхушки их едва достигали края помоста, на который задним ходом въезжали машины, и, когда сыпался грунт, слышны были треск ветвей и шорох сминаемой листвы. Он видел, как туго приходится этим деревьям, которым уже не суждено было пробиться сквозь толщу грунта. Но думал он не об этом.

Короткий кузов его машины поднимался ничуть не быстрее, чем у «ЯАЗов», и, кроме того, он не имел скоса

на заднем борту, поэтому его приходилось поднимать выше. Правда, задний борт у него откидывался, но для этого нужно было дважды выходить из кабины — сначала открыть щеколду борта, затем вернуться в кабину, чтобы поднять и опустить кузов, затем снова идти закрывать щеколду и только тогда трогаться в путь. «МАЗ» был из первых выпусков, когда ещё не придумали шарнирный запор с продольной тягой и с рукояткой возле кабины, и Пронякин терял на этом три минуты — почти столько же, сколько выигрывал в гонке. Он хотел наверстать эти минуты на обратном пути, но порожний он уже не имел преимущества перед порожними «ЯАЗами».

И всё же в очереди у экскаватора он был уже не шестым, а третьим. Чтобы скоротать время, которое томило его и казалось совсем пустым, он занялся расчётами. Итак, он выигрывает по три машины в рейс. Большего он, пожалуй, сегодня не добьется. И это значит, что он едва вытянет норму. А больше обгонять негде — на спуске в карьер это запрещалось строго-настрого. Во всём виновата была дурацкая щеколда.

Делая вторую, третью, четвёртую ходки, он старался не думать о щеколде. Он хотел добиться пока самого главного, что необходимо любому водителю, если он делает один и тот же рейс,— приладиться к дороге. Так, чтобы чувствовать по малейшему наклону кабины, не заглядывая под колесо, как меняется профиль дороги и где выгоднее сбросить скорость, или перейти на другую передачу, или выжать из машины всё, на что она способна.

Он мог бы довериться глазомеру и контролировать себя по цвету горизонтов: сначала серо-голубой, испачканный бурой пылью слой келловейских песков и глин, затем слои обычной коричневой глины, белый пласт известняка, жёлтая толща песков и, наконец, серый слой, понемногу темнеющий ближе к чернозёму поверхности.

Можно было, конечно, и так, но на третьей ходке у него зарябило в глазах. Глаза уставали прежде всего, лучше было положиться на память мускулов, и он избрал для себя только один зрительный ориентир — те две яблоньки, что росли у конторы. Они обозначали конец этой дьявольской дороги вверх над обрывом. Сворачи-

вая в выездную траншею, он видел их острые верхушки, которые понемногу сливались в одну густую крону и наконец вновь раздваивались тонкими стройными стволами.

— А вот и мы,— говорил он этим яблонькам, и его глаза отдыхали на них. Затем он переключал скорость.— Ну, теперь пошёл главный козырь!

И всё же проклятая щеколда не давала ему покоя. Только из-за неё он недобрал до нормы трёх ходок, хотя он не давал себе ни минуты отдыха и пот катил градом по его лицу. Напряжение, с которым идёт машина, всегда передаётся водителю, и чем лучше он её знает, тем сильнее передаются ему её усталость и боль.

Он страдал оттого, что в очереди у экскаватора нельзя выключить двигатель и дать отдохнуть ему и себе. Каждые полторы минуты он должен был подтягивать машину на один интервал. Он никак не мог научиться делать это автоматически. К тому же водители «ЯАЗов» могли не вылезать из кабин, хотя инструкция и предписывала это. Помимо инструкции, у них ещё был прочный козырёк кузова над головой, который защитил бы их, если бы машинист промахнулся и ударил ковшом по кабине. В конце концов и Пронякин плюнул бы и не стал вылезать, но раза два Антон насыпал ему грунт не по центру кузова. «ЯАЗы» не так боялись перекоса, который к тому же можно было исправить вторым ковшом,— Пронякину приходилось вываливать грунт и становиться опять в хвост очереди. Подниматься же с перекошенным кузовом было и мучительно, и опасно. Бешено выругавшись, он погрозил Антону, но тот лишь ухмыльнулся и заглушил его речи длинным гудком.

Он хотел наверстать недобор за счёт перерыва — еда у него была с собой,— но в этот час карьером завладели взрывники, и сирена выгнала всех наверх.

Он возвращался в гараж усталый, разбитый и злой. И, въехав во двор, долго сидел в кабине, хотя ему нужно было осмотреть и помыть машину, подкачать баллоны, заправиться маслом и соляркой и слить в ведро чёрный вязкий отстой из топливных фильтров.

— Ты чего сумной такой? — спросил Мацуев.— Солярки надышался? Стёкла опускай. И вылазь почаще.

Пронякин едва ли слышал его. Он ступил наземь и зашатался. Он думал о проклятой щеколде.

5

Утром он подобрал на стройке тонкостенную водопроводную трубу и подвесил её на проволочных кольцах вдоль борта, соединив с левой щеколдой. Правой он решил пренебречь, пока ещё что-нибудь не придумает. Штанга была укреплена так, что он мог открывать и закрывать задний борт, вылезая лишь на подножку. Это уже было достижением.

В тот же день он попробовал своё изобретение. Подъезжая к отвалу, он лихо разворачивался и ехал накатом к оврагу, одновременно поднимая кузов. Затем он вылезал на подножку. Вся штука была в том, чтобы грунт посыпался в тот момент, когда задние колёса упрутся в ограждающее бревно на краю помоста, и к этому времени уже отстегнуть щеколду и сидеть в кабине и не прозевать едва ощутимый толчок и вовремя выжать тормоз. В первый раз он едва не свалился в овраг, во второй — затормозил слишком рано, и только в четвёртый или пятый его нервы и мускулы не проспали толчка и стали понемногу привыкать. Теперь он мог закрывать щеколду и, на ходу опуская кузов, трогаться в путь. На всём этом он уже выигрывал полторы минуты.

Затем ему пришло в голову, что он может отправляться в путь и закрывать щеколду одновременно. Он даже рассмеялся и обозвал себя трижды дураком, что эта мысль не пришла к нему сразу. И вот он давал короткую прогазовку и включал скорость, а потом вылезал на подножку орудовать штангой. Он висел, держась одной рукой за борт, спиной к движению, а другой рукой яростно дёргая и проворачивая штангу, а в это время машина набирала ход. Если бы он свалился случайно, машина пошла бы дальше и, пожалуй, наделала бы делов. Но он об этом не думал. И не слишком обращал внимание, когда встречные шофёры, полным ходом подъезжавшие к отвалу, бледнели и чертыхались, быстренько сворачивая в сторону. В конце концов, им же не приходилось вылезать на подножку. Им же не приходилось делать лишние семь ходок. И к тому же он был уверен, что страшного ничего не случится: эти восемьдесят или сто метров машина шла по широкой площадке, укатанной и расчищенной для разворотов. Когда машина выходила на дорогу, он уже сидел за рулём.

Несколько раз это сходило Пронякину даром. Но ближе к концу смены, когда водители уже начинали уставать, один из них резко застопорил, став ему поперёк пути, и принялся обкладывать Пронякина последними словами. Он ругался равнодушно и сипло, устало закрывая глаза, не обращая внимания на пробку, которая понемногу нарастала, и на отчаянные сигналы у него за спиной.

Он сразу кончил ругаться, как только подъехал по обочине Мацуев.

— Это твой, что ли, такой шустрый? — спросил нервный водитель, указывая на Пронякина согнутым заскорузлым пальцем.

— Ну, из моей бригады. А ты чего разошёлся?

— Чистый циркач! — сказал нервный водитель с некоторым восхищением.— Что они у тебя, все такие? С глазами на затылке.

— Ты езжай,— нахмурился Мацуев.— Сами разберёмся, где у кого глаза.

— Вот я и говорю — сразу и не разберёшься.— Он успокоился и отъехал, и за ним отъехали остальные.

— Ты поосторожнее всё-таки, Виктор,— посоветовал Мацуев.— Он психанул, конечно, но и ты тоже... Не дразни людей понапрасну.

— Я на него наехал? — спросил Пронякин запальчиво.

— Не наехал, а мог бы.

— Вот когда наеду, тогда пускай и психует.

Мацуев не ответил и спрятал глазки под насупленными бровями. Двигатель у него взревел.

— Хотел бы я знать,— крикнул Пронякин,— как бы я иначе сделал лишних семь ходок? Виноват я, что у вас такие дурацкие нормы?

— Нормы не я устанавливаю,— сказал Мацуев и отъехал.

Пронякин сплюнул на обочину и поехал тоже, круто набирая скорость. Он не мог и не хотел думать о том, чтобы смириться и отдать то, чего уже достиг.

В этот день он всё-таки вытянул норму и даже сделал две ходки сверх неё.

Это было ещё не то, о чём он мечтал, но он знал, что остальное решат другие минуты, которые он непре-

менно выиграет тоже, если приучит Антона не валять дурака и насыпать ему груз по центру кузова и если всё-таки рискнёт раз-другой обогнать кого-нибудь на спуске.

— А ты, как я погляжу, лихой! — сказал ему Мацуев, когда они помыли свои машины и поставили их в гараж. Он сказал это не то осуждающе, не то восхищённо.— Ездишь, как бог, всех обдираешь.

— Тем и живём,— ответил Пронякин, медленно возвращаясь от своих мыслей.— Не возражаешь?

— Ишь ты,— сказал Мацуев, не улыбаясь.

Остальные промолчали, искоса поглядев на Пронякина. Они медленно брели в посёлок по бетонке, на которую уже легли оранжевые пятна заката.

Посёлок лежал на холме, за мостком, брошенным через крохотную, заблудившуюся в камышах речушку. Он был точно кем-то аккуратно впечатан, вместе с разноцветной коростой крыш, в обширную бугристую лысину посреди молодого леса. Над крышами летали голуби, где-то, ровняя новую улицу, стрекотал бульдозер, и предвечерними голосами перекликались женщины, звавшие детей.

— Я жить никому не мешаю,— сказал Пронякин полушутя, полусерьёзно.— Каждый может, как я. Разве нет? А не может, кто ж ему, бедному, виноват?

Что-то исчезло из тех, первых минут знакомства с ними. Он не любил, когда это исчезает слишком быстро.

— Оно так,— неопределённо ответил Мацуев.— А всётаки ежели кой-кто невзлюбит, не опасаешься?

Пронякин вдруг ясно увидел себя, как он круто сворачивает у них перед носом, а вслед ему несутся гудки и ругань. Конечно, он заставлял их нервничать. Особенно когда висел на подножке, повернувшись лицом назад.

— Ничего, прилажусь,— сказал он устало и примирительно.— Никто в обиде не будет.

— Поскорей бы,— усмехнулся Мацуев.— А то ненароком сшибёшь кого или сам в овраг угодишь.

— Мне же хуже.

— А отвечать? — спросил Мацуев.— Папа римский? Мацуев будет отвечать.

Они перепрыгнули канаву и пошли лесной тропинкой, срезая поворот. По этой тропинке, широкой и вы-

топтанной до твёрдости асфальта, ходили на рудник и летом, и зимой. Она уже забыла, когда на ней росла трава, но ветки кустов были целы, хотя люди постоянно задевали их.

– Вот когда я в пожарной команде служил...– начал вдруг Косичкин.

– Слыхали,– сказал Федька.– Руки привязывал?

– И совсем про другое. Был, значит, начальник у нас... Михал Денисыч. Взял, идиот, и выиграл «Москвича». Про него даже в газете написали: «Гр. Эм Дэ Семёнов, обладатель крупного выигрыша, явился в наш магазин». Слава, конечно. Но, между прочим, на следующей неделе я его в больницу отвозил. Раз это у него на спидометре сто сорок написано, значит, он тебе должен такую скорость всему городу продемонстрировать. Иначе зачем же ему «Москвич»? И в газете зачем писали? Ну и, понятное дело, на столб налетел. Мне-то, конечно, нетрудно в больницу свезти. Пожалуйста, с дорогой душой! Но почему же обязательно на столб? Разве нельзя так, чтобы, например, столб у тебя справа стоит, а ты его объезжаешь слева? Или наоборот.

– Что ты плетёшь? – спросил Федька.

– Я не плету,– обиделся Косичкин. Жёлтое лицо его потемнело от возмущения.– Ты шкет против меня, понял? Как ты смеешь мне грубить?

– Да при чём тут столб?

– Сам ты столб. Я не про столб, я про жизнь. Столбов много, а жизнь – одна. Я в войну генерала возил – очень храбрый такой был у меня генерал. Героя получил за Днепр. И сам я тоже был малый шухерной, не то что теперь, мне тогда и двадцати не было. А всё же, как налёт или так, что-нибудь побрякивает, так мы с ним, понимаешь ли, в щельку спрячемся и – дышим. «Петя, говорит, очень я жизнь люблю и тебе советую». Н-да, но под Веной всё-таки убило его... Вот, вот, гляди, ящерка побегла. Ать, стервоза, как извивается! Думаешь, она жить не хочет? Хочешь, а? – спросил он ящерицу.

Маленькая зелёная ящерица взлезла ветвистыми лапками на сучок и замерла. Едва заметно пульсировала её чешуйчатая салатная шейка. Косичкин выпрямился и шагнул к ней. Она тотчас юркнула в сухие листья.

— Нервная,— сказал Косичкин.— Но, между прочим, хвост она тебе спокойненько отдаст. Ей красоты не жалко. Второй-то у ней похуже будет. Н-да, ловко это природа придумала, а? А вот и не очень. Второй хвост она ей придумала, а вторую жизнь — нет... Вот оно как, дорогой мой Витя.

— А он-то при чём? — спросил Выхристюк.

— Он знает,— сказал Косичкин.— Он водитель добрый, а что ни дальше, то всё лучше будет. А вот сегодня я его чуть не обругал, даже самому противно стало. Ну, ладно бы я ещё пешего дуралея ругал, а то ведь своего же брата, шофёра. Это уже драма. Тут, Витя, есть о чём подумать. Ты хочешь работать физицки напряжённо? Я тебя понимаю, сам был молодой. Ну и работай физицки напряжённо, только на крыле не виси, когда тебе самое время в кабинке сидеть да глядеть в оба. Себе же спокойнее будет и другим. Потому — что такое шофёр? Целый день — сплошные нервы.

Солнце спускалось всё ниже и вдруг сошло за деревья. Лес наполнился длинными тенями и солнечным туманом, за которым не видно стало посёлка. Но выше были удивительно ясно видны порозовевшие облака и узкая фиолетовая полоска неба. Лес как-то сразу притих, и стал слышен шорох шагов.

— Красотища какая! — вздохнул Выхристюк. Он искренне страдал и морщил лоб в продолжение всего разговора, который был ему явно в тягость.— И дышится легко-легко. Так бы всю жизнь дышал, аж до самой смерти!

— Нравится? — спросил Косичкин.— А зачем же тогда с ума-то сходить? «Руда! Руда!» Ну, что же — руда? Оно конечно, всякому приятно железо возить, а не пустую породу. Вот и в человеке оно есть, железо, уж не помню, сколько-то процентов. А всё-таки зачем же нервничать? Если, скажем, предназначено ей, рудишке-то, в пятницу появиться, так она же всё равно в понедельник тебе не покажется. Ну и ради бога! Неужели же из-за этого жизнь себе портить? Вот врачи говорят: один день нервности целый месяц жизни у человека отнимает.

— Это ты всё глупости говоришь,— вдруг сказал Меняйло.— А для чего же мы тут живём? Для чего город строится? Чтобы мы в песочке копались? Вся страна,

можно сказать, руду эту ожидает. Вот и Хомяков говорит, мы покамест без отдачи живём. Потому и артисты к нам не ездиют. И кино самые вшивые привозят. И правильно. Государство деньги вкладывает, а мы ему покамест шиш даём.

— Это ты к чему, Проша? — унылым голосом спросил Выхристюк.

— А к тому, что всем легче будет, когда руда пойдёт. Мне вот дружок из-под Курска, с Михайловского карьера, пишет: сразу легче стало, как пошла руда. И кино, и артисты, и масло в магазине, и мануфактуры всякой навезли. Потому что с отдачей стали жить. А Витьке, понимаешь, на это наплевать. Ему бы побольше ходок сделать, заработать.

— А ты почему знаешь? — спросил Пронякин.

Меняйло угрюмо смотрел себе под ноги. Он уже сказал, вероятно, самую длинную тираду в своей жизни, и теперь ему трудно было что-нибудь из себя выдавить. Но он всё-таки выдавил:

— Ты бы о других думал. И не мешал.

Лес кончился, и тропа опять вывела их на бетонку.

— Торопишься ты, Виктор,— сказал Мацуев.— Я вот тут с первого гвоздя, в палатке с женой и дочками жил. Да и другие, кого я знаю, не сразу к ним всё приходило. А ты хочешь, чтоб сразу всё. Нет уж, погоди, присмотрятся к тебе, соли пудика три съедят с тобой, а тогда уж и претендуй.

Дальше они шли молча. Федька, посвистывая толстыми губами, хлестал веткой по перилам мостка. Выхристюк сбегал вниз умыться и вернулся с примоченным чубчиком и обрызганной грудью. И опять страдальчески сморщился.

Молча они поднялись на взгорок и пошли широкой, давно обжитой улицей, мимо огородов и палисадников, где росли подсолнухи, помидоры и розовые кусты.

У дома Мацуева они остановились. На улице пахло пылью, привядшей картофельной ботвой и гусиным помётом. Дом Мацуева стоял за реденьким голубым забором, в глубине палисадника, весь в зарослях граммофончиков и плюща. На красной крыше вертелся флюгер и высилась Т-образная антенна, по которой бродила парочка турманов.

— Эх, хлопцы,— сказал мечтательно Выхристюк.— Жить бы нам всем на одной улице. Пришёл домой — душа радуется. Часик порадовался — пошёл, например, к Меняйло пешком через забор — козла забить. Или, скажем, к Федьке — магнитофончик послушать. Музыка самая модерн. И чтоб девочки были красивые.

Мацуев молча усмехнулся и стал протягивать всем толстую растопыренную ладонь.

— Так-то вот,— сказал он Пронякину, который засмотрелся на его дом.

— Ладно, бригадир,— нехотя протянул Федька.— Кончай нотацию. Витька всё это учтёт. Верно?

— Давно учёл,— сдерживаясь, ответил Пронякин.

— Ну, а раз так, самое бы время сейчас в «зверинчик» сползать. И чтобы больше ни слова.

— В честь чего бы это? — спросил Мацуев.

— А в честь чего бы и не пойти? — спросил Федька.

На крыльцо вышла жена Мацуева, очень смуглая и дородная и, как многие здешние женщины, в платочке, низко надвинутом на лоб, хотя солнце уже зашло. Похоже, она только что спала.

— Подышать, гляжу, вышли, Татьяна Никитишна? — спросил Федька, галантно приподнимая кепку.— Вечер добрый!

— Добрый,— сказала жена Мацуева.— Ты и сам-то, гляжу, не злой. Куда это уговариваешь сползать?

— Заседаньице б надо провести. По обмену опытом.

— А! — сказала жена Мацуева.— А то у меня наливочка есть, на смороде. Зашли бы да обменялись в приличном помещении, чем в «зверинце» этом срамиться.

— Вот это женщина! — восхитился Федька.— Вас бы, Татьяна Никитишна, на руках бы носить!

Федька первый открыл калитку и двинулся, пританцовывая, по высокой бетонированной дорожке, между кустами чёрной смородины и крыжовника.

— Торопись, хлопцы, пока Татьяна Никитишна не передумала!

Вышло так, что Пронякина никто не пригласил. А он был новенький, он ни разу не был в этом доме, где все они побывали не раз, и ему полагалось особое приглашение — это он знал твёрдо. К тому же они видели, как он помедлил за калиткой, и ни один не позвал его, не спросил: «А ты чего?»

С нелепой, приклеившейся к лицу улыбкой он повернулся и пошёл дальше, к своему общежитию, по улице, странно опустевшей в этот час.

Он ждал, что они спохватятся и позовут его, и приготовился отнекиваться для порядка. Но они не спохватились.

«Так,— подумал он,— наступил, значит, на мозоль. Думали, его тащить надо, растить кадр, а он — вон он, уже воспитанный и всем носы готов поутирать. Перепугались!»

В глубине души он допускал, что это не совсем так, но обида была сильнее его, потому что он не знал толком, кого же, в сущности, винить. Кого винить, если слишком рано обнаруживается твоё желание вырваться вперёд и при этом почему-то никто не подозревает за тобой высоких материй. Про других говорят: «Этот работяга что надо!», а про тебя: «Этот из кожи лезет за деньгой», хотя и ты и другие делаете, в сущности, одно и то же! На лице, что ли, у тебя это написано: рвач? Но чем твоё лицо хуже, чем у других? У Меняйло? У Выхристюка? Какой секрет они знают, которого не дано знать тебе?

Весь вечер он слонялся, не зная, куда себя деть. Он поплёлся было на «пятачок», но как-то не смог найти себе партнёршу по вкусу и вернулся в комнату, где проиграл подряд три партии торжествующему Антону и, спрятав костюм, рано улёгся спать.

«Может быть,— медленно думал он и курил,— надо было б собраться вместе да сказать им: «Вот, хлопцы, тут у меня, чувствую, узкое место, да и у вас тоже, а ведь можно кое-что и придумать, баки другим бригадам забить». Да, можно и так, только им от меня почина не хочется. Вон они как взвились — из-за двух-то лишних ходок!.. Не нравится, сами-то насилу до нормы дотягивают. А я-то при чём?»

Он долго ворочался ночью, не в силах уснуть. Он слушал, как поёт ветер и где-то далеко гремит гроза, и думал о том, что, если суждено его жизни измениться, пусть это будет быстрее и больнее, если так нужно.

«Пусть думают, чего хотят. Я им не нанялся в подмастерьях ходить, в учениках. Я в армии на вездеходах ездил, в Крыму на Ай-Петри экскурсантов возил, а там

не такие дороги, и то с ветерком, бывало... Мне заработать нужно, жизнь обстроить, обставить, как у людей. Тогда пожалуйста, тогда я тебе и десять норм бесплатно отработаю. А то вот ты понервничал,— это относилось и к Мацуеву, и к Федьке, и, вероятно, ко всей бригаде целиком,— а потом домой пришёл, жена тебя встречает, не жена, а сдоба калорийная, и дом у тебя — гастроном с универмагом, и мотоцикл, наверно, в сарайчике стоит. А мне — почему валяться по чужим углам, слушать чужую храпотню?.. Не-ет, я себе жилы вытяну и на кулак намотаю, а выбьюсь! А потом я тоже добренький буду, не хуже тебя. Понял?»

Последнее слово вырвалось вслух, невольно для него. На соседней койке приподнялась лохматая голова Антона, и хриплый сырой голос спросил:

— Ты чего, партию, что ли, переигрываешь? Ходи ферзёй, не ошибёшься.

— Спи давай.

— Чокнулся человек,— сказала голова замирающим голосом и опустилась на подушку.— Доигрался...

Пронякин, стиснув зубы, повернулся к стене. И решил сразу и бесповоротно: «По-своему жить буду. Так-то лучше. Наряд закроют, тогда посчитаемся, кто кого лучше».

С тем он и заснул, со злорадной усмешкой на жёстком, обтянутом смуглой кожей лице.

6

Небо нависло над гаражами, плоское и беспросветно серое. Задранные кузова машин, казалось, на метр не достают до него. На стенках кабин, на ручках и оловянных медведях, потерявших свой блеск, выпала бисерная роса.

Пронякин, с ватником на одном плече, прошёл к своей машине. Он сбросил ватник на сиденье и запустил двигатель. Затем вышел и, открыв капот, протянул ладони над двигателем. Ему было приятно стоять на сыром холоде и греть руки и знать, что в кабине тепло. Рядом, сумрачный и, должно быть, не проспавшийся после вчерашнего, возился Федька.

– Утро доброе,– сказал Пронякин.– Ну как, хмельно было вчера?

Федька ухмыльнулся полусонно и посмотрел на него, точно впервые увидел.

– А ты чего удрал-то?

– А что, заметно было? – спросил Пронякин и пожал плечом. Ему хотелось показать, что он ничуть не обижен и что они всё же обидели его.

– Чудак ты,– сказал Федька.

– Честное слово?

Федька помолчал и спросил:

– Фигурную отвёртку дашь?

– Чего спрашиваешь? Бери.

– Хотя не надо,– сказал Федька.– Простая возьмёт... А ты всё-таки чудак.

Гена Выхристюк, почёсывая за ухом, прислушивался к своему двигателю. Цилиндры работали с неравномерным металлическим стуком, и выхлоп был густой и чёрный, как бывает, когда засоряются отверстия в распылителях форсунок. Гена страдальчески морщил лоб. Косичкин, с блуждающей на лице тревогой, тоже вслушивался в его двигатель. Меняйло суровым и неподвижным взором уставился на медведя, отирая руки промасленными концами. Мацуев искоса поглядел на Пронякина и сунул голову под задранный капот.

От гаража Пронякин ехал последним. Он мог обойти их перед карьером, но не хотел пока что мозолить им глаза. Всё равно он возьмёт своё с первой же ходки. «И чёрта с два меня тогда прижмёшь...– подумал он спокойно и беззлобно.– Руки будут коротки. Главное-то было прилепиться, а уж не отлепиться я как-нибудь сумею».

Он сделал три ходки и стал делать четвёртую, когда вдруг начало моросить. Он увидел дрожащие извилистые потёки на запотевшем стекле, и у него упало сердце. «Теперь всё,– сказал он себе.– Теперь они тебя на трёхосных обдерут запросто». Но, подъехав к карьеру, он с удивлением разглядел всех своих на пустыре у выездной траншеи. Они как будто и не собирались возвращаться в карьер. Самосвалы выстраивались в шеренгу, сминая траву облепленными глиной скатами.

Пронякин остановился и высунулся под мелкий дождик.

— Неужто опять взрывать собрались?

— Дождик, не видишь? — сказал Федька. Он вытащил из-под кабины лопату и стал соскрёбывать рыжую глину с покрышек.

— Ну и что — дождик?

Мацуев, не глядя на него, вытянул руку вперёд и пошевелил толстыми пальцами.

— А то, что не потянет машина по мокрому. Вылазь, загорать будем.

— И долго?

— Про это в небесной канцелярии спроси.

— Ну, а посы́пать чем-нибудь нельзя? Гравием, щебнем? Пёс его знает чем, хоть солью!

— Посыпа́ли. Не помогает. Сам же глины с нижних горизонтов навезёшь.

— Так,— сказал Пронякин.— Так. Значит, актировать будем день? Как бы вроде по бюллетеню?

— Значит, актировать. Пятьдесят процентов гарантированных — твои.

— Выходит, двадцать один рублик...

— Выходит, так.

Пронякин поставил свой «МАЗ» последним в ряду и надел ватник. Он стоял у дороги и тупо смотрел, как подходят самосвалы других бригад. Молчаливые, угрюмые водители ставили машины во второй, в третий, в четвёртый ряд и вылезали, заглушив двигатель. С этой минуты дождь переставал для них существовать. Он был страшен только машинам, грозным, свирепым машинам, этот мелкий, как стая мошки, дождик.

Пронякин медленно побрёл к конторе. Последние самосвалы поднимались из карьера, тяжело урча и буксуя, и виляли задом, как гарцующие жеребцы. А на крыльце конторы одни уже забивали козла, а другие молча жевали, расправив газеты с кусками хлеба и колбасы или с крутыми голубоватыми яйцами и помидорами, уставясь в грязь перед собою пустым, неподвижным взглядом.

— Присаживайся,— сказал Мацуев.— Ничего, привыкай.

— Я привыкаю,— ответил Пронякин.

Он сидел, сгорбившись, сунув руки под ватник, на лбу у него пролегла напряжённая складка. Мацуев под-

нялся и отсел к игрокам. Они стучали костяшками по мокрым доскам крыльца и негромко покрикивали:

— Братцы, я мимо.

— Ну и балда. Ты тоже мимо?

— Наш заход. Дуплюсь с обоих концов.

— Тюря, гляди, с чего идёшь. Ты чувствуешь, с чем я остался?

«И что меня сюда занесло? — думал Пронякин.— Сколько ни ездил, по каким дорогам, по глине, и на диффер садился, и в студёной степи с заглохшим мотором сидел. И никогда я не думал, что такой паскудный дождишко может меня остановить. Пропащее место ты себе выбрал, Пронякин. Чувствуешь, с чем ты остался?»

Дверь конторы открылась, вышел начальник карьера. Соломенный брыль сидел на нём набекрень, и синий заношенный плащ был короток; из рукавов едва не по локоть торчали худые руки с тяжёлыми кистями. Щёки и горло начальника с острым кадыком заросли тёмной щетиной.

«Должно, обещался не бриться, пока руда не пойдёт»,— решил Пронякин.

Начальник смотрел на дождь, помаргивая и зябко ёжась.

— Ну что, товарищи козлы,— спросил он,— стучим помаленьку?

Игроки взглянули на него снизу, и кто-то откликнулся:

— Чего ж ещё остаётся?

— Да, конечно,— вздохнул Хомяков.— Больше нечего.

— Последние деньки достукиваем. Как достанем руду, там уж не постучишь.

— Как же, достанешь с вами. Чуть что, вы уже и размокаете.

— А это уж вы зазря, Владимир Сергеич,— сказал Мацуев, повернув к себе обе ладони с костяшками. Они совсем спрятались в его ладонях, и он разглядывал их, оттопырив губу.— Разве ж мы одни размокаем? В Лебедях-то, наверно, тоже булькали. Да и на Михайловском руднике.

— Что верно, то верно,— сказал Хомяков.— В Лебедях я сам на часах засекал: пять минут дождик — и размокает.

— Ну так чего ж? — спросил Мацуев. Он говорил с неуловимым превосходством старшего, который, однако, подчиняется мальчишке.— У нас-то всё-таки глыбже. И глина не та. И карьер узковат, дороги покруче. Ещё хорошо, ежели эта история на неделю. А ну как на весь октябрь зарядит?

— Не зарядит,— убеждённо сказал Хомяков.— Метеорологи обещают чудесный месяц. А там и до заморозков рукой подать.

— Подать, да не очень. А метеролухам верь! Они всегда чудеса обещают. В сентябре вон тоже погоду обещали.

Хомяков помолчал и сошёл с крыльца.

— Белгород звонит,— сказал он.— Спрашивают: «У вас хоть одна бригада работает?»

— Рыба! — сказал Мацуев игрокам.— Считайте.

Костяшки торопливо застучали. Хомяков, подняв голову, смотрел в пустынное небо.

— Чудаки! — сказал он, дёрнув худым плечом.— Что может сделать одна бригада? Для газеты им, что ли?

— А вы б им, Владимир Сергеич, в окошко посоветовали глянуть. Над ними, видать, не капает. Не знают, что у нас тут творится. Колёса буксуют. Глина. Дороги крутые. Кто ж может заставить?

— Заставить, конечно, никого нельзя,— вздохнул Хомяков.— И всё это, друг мой Мацуев, очень прескверно. Пойти, что ли, к слесарям на водоотлив, как там у них...

— А сходите,— посоветовал Мацуев.— Только не одни там в Белгороде болельщики. Мы тоже как-нибудь за это дело болеем...

Хомяков нерешительно двинулся по грязи, широко разнося длинные ноги в забрызганных брюках и баскетбольных кедах. Плащ свисал с его лопаток, как с вешалки. Затем он остановился.

— Мацуев, слушай-ка, всё-таки как только кончится, не засиживайтесь. Ладно?

— Мы-то не засидимся,— пообещал Мацуев. И добавил, понизив голос: — Завял парнишка на корню. Нервничает. Да оно и понятно, своей-то руды не было у него ещё, только в институте про неё учил. А в институтах чему их там учат? Не разбери-пойми...

Дождик поморосил ещё час и перестал. Проглянуло скупое матовое солнце. Но пришлось ждать ещё два часа,

пока не подсохла глина в карьере, и в этот день ни одна бригада не выполнила и половины нормы.

Так было и назавтра, и день за днём повторялось с унылой точностью расписания. Комариная морось, плёнкой покрывавшая глину, не позволяла людям пробить окно в руду. Она оставляла им для этого слишком редкие часы. Пронякину она позволяла делать две или три, от силы четыре лишние ходки, и, когда через неделю выдали зарплату, он получил меньше всех, потому что должен был сделать больше.

Он стиснул деньги побелевшими пальцами, мысленно грозя кулаком хмурому, слезящемуся небу. Если б он верил в Бога, он обратился бы к нему с упрёком, но так как он не верил в Бога, он выругал его на чём свет стоит. И пошёл один в посёлок мокрой бетонкой и через капающий лес, спотыкаясь в промозглом тумане.

В этот вечер он нашёл на подушке письмо от жены. Он повалился на койку в чём был — в резиновых сапогах и ватнике,— чего никогда с ним не случалось, и, жуя папиросу, наискось разорвал конверт.

«*Витенька, дорогой ты мой,*— писала жена крупными детскими буквами, падающими в конце строки.— *Уж не знаю, как мне тебя благодарить, что не забыл, прислал известие. А то отец психует, и мамаша с ним теперь заодно, говорят: твой от тебя сбежал, загулял там, поди, другую нашёл. Ищи и ты, говорят, себе другого, пока не поздно. Уж очень ты им поперёк горла. А кого мне искать, я же знаю, ты и погуляешь, а меня всё-таки не позабудешь. Потому что вместе многое пережито. Витенька, я так за тебя рада, за твои успехи, не за себя уже. Хоть ты и говоришь, что я ещё ничего, но ты ведь ещё молодой совсем, тебе пожить хочется, погулять, и кто ж тебя за это упрекнуть может? Витенька, я всё сделаю, как ты велишь, вот только напарнице всё передам, она у меня толковая. И кровать с шифоньером, конечно, продам, чего же за них держаться, и приеду к тебе, конечно, Витенька. Куда же мне ещё, как не к тебе?..*»

Дальше он не стал читать. Он закинул руку с письмом за голову, курил и слушал, как шумит гроза.

Сколько ни жил Пронякин на свете и сколько ни колесил, он ни разу не видел таких гроз, какие по ночам

бушевали здесь, над магнитными массивами курских аномалий, когда небо, взорванное густыми и сочными, ветвистыми молниями, становилось ослепительно белым на несколько долгих мгновений, так что можно было разыскать в грязи напёрсток, а от репродуктора, который забыли выключить, разлетались длинные серебристые искры. И грохот грома был долог, точно поджигали с конца пороховой заряд в несколько вёрст длиною.

Он докурил папиросу и швырнул её за кровать. Потом сбросил ноги на пол и сел, расстегивая на груди ватник.

— Давай, что ли? — сказал он Антону.

— Чего «давай»? — спросил Антон. Он лежал на койке и читал что-то толстое про шпионов.

— Выпьем,— сказал Пронякин.— Есть у тебя? Или сползаем?

— Ты чего это? Ты серьёзно?

— Ага...

— Нет, ты на самом деле?

— Ну сказал же тебе.

Антон взбрыкнул ногами в продранных носках и сел, бросив книгу на тумбочку.

— Хлопцы! — вскричал Антон.— Наша планета начинает вращаться в другую сторону!

— Не имеет значения,— сказал Пронякин.

Четверо их соседей зашевелились на своих койках и приподняли головы, разглядывая Пронякина точно впервые. Это были командированные из Курска, приехавшие на месяц монтировать электрооборудование на подстанции. Пронякин их невзлюбил с первого дня, сам не зная почему, и за всё время умудрился не обмолвиться с ними словом. Каждый вечер они аккуратно подсчитывали свои доходы и убытки и считали на пальцах дни, оставшиеся до той желанной поры, когда они снова вернутся к своим мотоциклам, и девочкам, и джазикам в шикарном парке «Боевая дача». Может быть, он невзлюбил их за то, что не видел разницы между ними и собою.

Они расшевелились и повытрясли кой-какие денежки, и он своих добавил, не считая, и двое из них куда-то молчаливо сползали и так же молчаливо вернулись с закусками в карманах и батареей четвертинок в авоське.

— Значит, больше выливать не будешь? — спросил Антон.

— Больше не буду,— ответил Пронякин.— Давно заметил?

— В первый день. Чудак ты, комендант нас не обижает. Он тут с нами и сам выпивал.

— Ладно,— сказал Пронякин.— Не прячь теперь.

— Не буду, Витя. Только ты не надейся, особенно мы тебе загулять не дадим. В меру, понял?

— Хорошо, в меру. Наливай.

Водка булькала и успокаивалась в стакане, и он сморщился, представив себе её полузабытый керосинный вкус.

— Постой,— сказал Антон.— А ты с чего это вдруг? Жинка тебе чего-нибудь написала?

— Написала, что очень любит.

— А...— сказал Антон и внимательно, долго смотрел на Пронякина.— Тогда за твою жинку. Только учти, больше одного стакана за жинку не пьют.

— Ладно,— сказал Пронякин.— Поехали.

Он давно не пил и захмелел быстро. Он и хотел захмелеть, чтобы скорее уснуть. И он не слышал, как Антон стащил с него сапоги и одежду и уложил под одеяло. Но поздней ночью он проснулся от неожиданной тишины и понял, что гроза кончилась. Где-то на краю посёлка прокукарекал петух. Пронякин поднёс к глазам руку со светящимися часами — была половина второго. «Не иначе как распогодится завтра,— подумал он.— А то с чего бы ему горло драть?»

Он прислушался к часам. Они не остановились, они стучали, хотя он забыл их завести.

7

Старожилы юного Рудногорска вспоминают, что утро в тот день было солнечное и с редкими облаками.

Пронякин успел сделать четыре ходки и стал делать пятую. Поднимаясь из карьера, он весело балагурил сам с собою и пел что-то невразумительное, когда вдруг увидел крупные капли на ветровом стекле. У него опять упало сердце. Он прибавил ходу и помчался к отвалу и

там опять воевал со щеколдой, вися на подножке и не слыша ругани, которой его обкладывали встречные водители, бледнеющие и сворачивающие в сторону. Он спешил сделать хотя бы ещё один рейс.

Но на обратном пути тень большой тучи легла перед ним на дорогу, и, подъезжая к карьеру, он увидел на пустыре несколько машин.

— Шабаш, значит? — спросил он у Федьки.

— Шабаш,— подтвердил Федька.— Впервой, что ли. Вылазь, позагораем.

— А экскаваторы? — спросил Пронякин.— Работают?

Он спросил это просто так, он ещё ничего не решил.

— А что машинистам-то? Им не ездить.

Пронякин мгновение помолчал. Он слушал, как ровно шумит двигатель и как тяжелые капли барабанят в пустом кузове. Потом он потянулся к рычагу скоростей и медленно убрал ногу с педали сцепления.

— Куда это ты? — заорал Федька.

— Сделаю покамест одну ходку,— ответил Пронякин, не оборачиваясь.— А там поглядим.

— А чего глядеть-то?

Федька шёл рядом с машиной.

— Ты едешь со мной, что ли?

— Что ты, я машины своей не губитель. И себе не губитель. И тебе бы тоже не советовал...

Всё вдруг осталось позади. Пронякин спускался вниз по бетонке, уже покрывшейся прозрачным лаком. Навстречу ему выезжали последние машины, и карьер быстро пустел. Лишь стрекотал одинокий бульдозер да взрывники колдовали у своих буровых станков, напоминавших треноги зенитных пулемётов. Его «МАЗ» был единственной машиной, которая в этот час въезжала в карьер.

С колотящимся сердцем он прошёл два витка, миновал опасное место у рыжего глиняного пласта, где крупные комья обрушились со склона и завалили полширины дороги, и стал, плавно заворачивая, спускаться к свинцово-голубым массивам келловея. Экскаватор стоял в знакомом забое, совсем расплывшийся в кисее дождя. Поодаль маячила согбенная фигура Антона. Он тащил, взвалив на плечо, толстые, чёрные, лоснящиеся провода. Должно быть, он готовился отключить моторы.

— Насыпай, что ли! — крикнул Пронякин, останавливаясь прямо против ковша.

Антон всё тащил свои провода.

— Ты не оглох ли, часом?

— А ты, часом, не сдурел? — спросил Антон.

— Не замечаю.

— А дождик — замечаешь?

— И дождик не замечаю.

Антон сбросил провода на землю и молча, внимательно посмотрел на Пронякина. Затем легко вспрыгнул на гусеницу и исчез в будке. Пронякин ждал, когда он выйдет. Но он показался у пульта за мокрыми стёклами.

— А что тебе Мацуев запоёт? — спросил Антон.

— Арию Хозе из оперы Бизе.

— А ты ему что, Витя?

— Не знаю,— сказал Пронякин.— Не придумал. Наверно, «Тишину».

Антон постучал себя пальцем по лбу и уронил руки на рычаги. Экскаватор повернулся, дёргаясь, и стрела пошла к груде породы.

— Рекорд ставишь? — спросил Антон, не переставая следить за ковшом. Никогда он так внимательно не следил, чтобы груз сыпался по центру кузова.

— Ага,— сказал Пронякин.— Индивидуальный. Хочу кой-чего доказать нашим обормотам.

— Валяй, доказывай. Только гляди: не докажешь — разгружайся где-нибудь подальше. Моторы не отключать?

Пронякин секунду помедлил.

— Не отключай покамест. Я ещё вернусь.

Струйки дождя изморщинили склон и пересекали дорогу. Но колёса не буксовали — он чувствовал это по шуму двигателя. Они не боялись воды, они боялись размокшей глины. Медленно, ощущая каждый оборот колеса, он прошёл второй горизонт, и третий, и оттуда увидел весь карьер, затканный туманной сетью. Антон вышел из будки и, задрав голову, провожал его глазами. Пронякин помахал ему рукой, но тот не ответил. Взрывники, оставив свои станки, тоже смотрели на Пронякина.

У рыжего пласта двигатель вдруг зачастил, как на холостом ходу, и комья глины, на которые смотрел Пронякин, вдруг замерли и поползли от него вверх, и он понял, что катит вниз юзом.

— Н-но, дура! — сказал он сквозь зубы и, быстро включив задний ход, сам покатил вниз, плавно притормаживая двигателем и постепенно возвращая себе власть над дорогой.

— Так-то лучше,— сказал он, когда машина остановилась, и, вытерев лоб рукавом, снова послал машину вперёд, вверх, выжимая и выжимая педаль подачи топлива.

Комья рыжей глины снова ползли под колёса, а потом перестали ползти, и двигатель взревел от ярости, которая передалась ему от водителя. Всей своей мощью он держал машину на месте, не отдавая ни сантиметра дороги, затем понемногу начал отвоёвывать сантиметр за сантиметром, пока машина не пошла вперёд, наращивая ход.

Пронякин посмотрел вниз. Антон и взрывники по-прежнему стояли неподвижно и смотрели на него. Он помахал им рукой, тогда они задвигались и разошлись. На пятом горизонте дорога стала положе, здесь ничего опасного не было, просто немножко узко, и нужно было держаться поближе к склону и не смотреть вниз. Он отвернулся и стал смотреть на откос, изборождённый ручейками, ожидая, когда он кончится и покажутся верхушки яблонь.

В конце выездной траншеи он увидел нескольких шоферов. Он сделал улыбающееся лицо и выставил руку вперёд, на ветер. Но они не ответили на его улыбку. И кто-то из них протяжно, по-разбойничьи свистнул. Это не могло не относиться к нему.

— Так! — сказал он громко самому себе.— Значит, так теперь? Ну, хорошо!

Он провёл по лицу ладонью, точно стирая горячую краску, и, поворачивая к отвалу, спросил себя:

— А ты чего хотел? Не любишь?

Дорога стремительно летела под колёса, и по тому, какой вдруг узкой она стала, он догадался, что идёт с полной скоростью. «Вот так бы всегда ездить,— подумал он.— Никто не мешает!» Он подумал об этом без горечи, хотя свист ещё стоял у него в ушах. Просто он любил ездить, не приноравливаясь к другим. Никто не пылил перед ним, не дымил в глаза, и впервые за эти дни он разглядел зелёное поле травы за обочинами, ли-

ловую пашню далеко за оврагом и крохотную деревушку, лепившуюся на холме, среди густых садов.

Но кто-то шёл навстречу, какая-то женщина плелась по середине дороги, прикрывая лицо от косого мокрого ветра брезентовым дождевиком. «Учётчица, верно, сбегает...» — решил Пронякин. Деревенские женщины не осмеливались так ходить по рудничным дорогам.

В нём шевельнулась привычная неприязнь к дуракам пешеходам. Он тихо притормозил и подождал со злорадством, пока она не ткнулась плечом в радиатор. Она вскрикнула и шарахнулась, открывая лицо.

— Больно? — спросил он участливо.

— Дурак! — сказала она. Лицо у неё было мокрое.

— Не лайся. Давай в кабинку.

— Чего я в твоей кабинке не видела? Я в контору иду.

— А кто на отвале вместо тебя?

— Никто не вместо меня. Чего мне там сидеть, раз никто не ездит.

— Я вот езжу,— сказал Пронякин.

— А ты чего ездишь? Тебя дождик не касается?

— Нет,— сказал он и помотал головой.— Меня не касается.

Она тоскливо посмотрела назад, на дорогу.

— Ладно,— он усмехнулся,— не запишут мои ходки, так запомнят.

Но она неожиданно вскарабкалась к нему в кабину и взгромоздилась на высокое сиденье, как усаживаются дети.

— Чего уж там, запишу. Может, ты рекорд какой ставишь. Только руками не тово,— предупредила она равнодушно.

— Нужна ты мне очень,— сказал он, косясь на круглое её колено, и, потянувшись, прихлопнул дверцу.

Лакированная дорога опять бежала под колёса. Он повернул зеркальце и увидел нежную пушистую округлость щеки и печальные, выгоревшие на солнце ресницы.

— Где-то я тебя видел.

— А конечно, видел. Я ж воду на точке продавала около конторы. И я тебя видела. Все чистую пьют, по шесть стаканов, а с сиропом никто почти. А ты сразу два.

— А! — Теперь и он вспомнил её.— Что же ты, бросила свою точку?

— Я с Манькой Клюшкиной поменялась. Надоело ей на отвале сидеть. Всё упрашивала, ребёнок у ней, ну вот я и согласилась.

— Что же тебе, интересно ходки наши записывать?

Она повела плечом и вздохнула.

— Крестики ставишь? — спросил он насмешливо.

— Не-а. Галочки.

— Великое дело! А Манька, значит, воду продаёт?

— А Манька воду.

— И не жалеешь, что поменялась?

— А что за неё держаться, за воду-то? Теперь уж зима скоро, кто ж её будет пить.

— Тоже резон. Но ведь Манька-то не дура, не зря поменялась, а?

Она опять вздохнула.

— Кто её знает. Маньке, наверно, лучше будет. Точку на зиму в контору перенесут, там тепло.

— А всё-таки,— спросил он,— что же ты, родилась, что ли, галочки ставить?

— А ты — родился баранку крутить?

Он слегка смутился.

— Сравнила! Я дорогу люблю, ветер... Ну, и вообще.

— А я здесь тоже не засижусь особенно. Думаешь, я за лишних двадцать рублей поменялась? Просто я из торга никогда бы на экскаватор не попала, а теперь, может, и попаду...

— А чего тебе делать там, на экскаваторе?

Она изумлённо вскинула ресницы, и он тут же прикусил язык.

— Так ты ж сам же меня агитировал! Не помнишь? «Такая молодая, тебе бы на экскаватор пойти». Не говорил? Смеялся, да?

— Нет,— сказал он серьёзно.— Это я теперь смеюсь.

Он высадил её перед отвалом, и она, уныло ссутулясь, пошла под фанерный навес. Он вывалил грунт и, проезжая, увидел, как она сидит на ящике, поджимая ноги в парусиновых туфлях и спрятав руки в рукава. Он развернулся и подъехал.

— Ты чего?

— На,— сказал он ей,— возьми укутайся. Мне ни к чему.

Он снял и кинул ей свой большой и нагревшийся в кабине ватник, который ей оказался едва не до колен, и помчался в карьер. Дорога была пустынна и мокра, и он рад был никого не встретить.

— Всё ездишь, Витя? — спросил Антон.

— Всё езжу.

— И правильно делаешь. Держи хвост пистолетом. Имеешь право!

— Это какое же? — спросил Пронякин.

— Э, Витька, что я, слепой, что ли? Не вижу, какой ты шофёр? Нам-то, можешь поверить, снизу виднее, все вы как на картинке. Мне бы таким машинистом стать, какой ты шофёр... Что тебе можно, другим нельзя, понял?

Пронякин поднимался вверх и думал о том, какая странная дорога выпала ему на этот раз. На одном её конце был Антон, а на другом эта девочка на отвале, и оба они словно чего-то ждали от него, а он только отрабатывал свои ходки: восемнадцать копеек тонна, одиннадцать копеек километр, и лишь бы не встретить никого у конторы.

Подъезжая к отвалу, он снова увидел маленькую фигурку на середине шоссе, идущую боком, загораживаясь от мокрого ветра.

— Ты чего? — спросил он, притормаживая.

— А! — испугалась она.— Думала, ты уже не приедешь.

— Садись. Сказал — приеду, значит, верь и жди.

— Хорошо,— сказала она кротко.— Буду верить и ждать.

Он снова высадил её у фанерного навеса и, вывалив грунт, подъехал.

— Слушай, а ты как, ходки не приписываешь?

Она взглянула на него с тоской.

— Ну вот, и ты спрашиваешь. Я думала, ты не спросишь. Да что у меня, на лице написано, что я мухлюю?

— Ни в коем случае. Только так спросил.

— Нá тебе твой ватник! — сказала она решительно.— Это ты просто крючок закидывал. Я знаю, тут уже до тебя некоторые закидывали.

Она протягивала ему в окошко ватник, но он спокойно отвёл её руку и спросил:

— А Манька? Она мухлевала?

— За Маньку говорить не буду, чего не знаю. Может, и приписывала. Ведь ребёнок у ней.

— Ну, а ежели б у тебя был, ты бы как, а?

— Знаешь, иди ты к чёрту,— сказала она.— Ну, прошу тебя — езжай.

Он развернулся и поехал. И улыбался, глядя сквозь мокрое стекло на мокрую дорогу.

Он спешил сделать ещё рейс до обеденного перерыва, но его остановила сирена. В этот час вступали в свои права взрывники. Он подрулил к обочине и выключил двигатель и только тогда почувствовал, как он устал и голоден. «Да и тебе бы отдохнуть не мешало»,— подумал он о машине.

Увязая в грязи, он прошёл длинным пустырем, чувствуя на себе насмешливые взгляды, и вошёл в столовую. Неподалёку от дверей сидели Мацуев, Косичкин, Федька и ещё кто-то из другой бригады. Они замолчали при его появлении. Перед ними стояли тарелки и кружки с пивом и простоквашей. Места рядом с ними не было, и Федька, пошарив глазами, виновато развёл руками. Пронякин почувствовал облегчение.

Он взял обед и пошёл с подносом к одинокому столику в полутёмном углу избы. Ему хотелось сесть спиной к ним, но он заставил себя сесть боком. Краем глаза он видел их и знал, что они говорят о нём. Затем Федька с грохотом поднялся и направился к его столу. Он сел рядом на стул и поставил локоть возле тарелки.

— Ну как? — спросил Федька. Он ухмылялся, растягивая губастый рот, и сопел над ухом Пронякина.

— Тридцать три.

— Чего «тридцать три»?

— А чего «ну как»?

— Как работёнка, спрашиваю.

— Ничего, не пыльная. Скаты в порядке, поршня не стучат, нигде не заедает.

Пронякин продолжал есть, неторопливо и старательно, как едят утомившиеся люди. Федька всё сопел, не зная, с чего начать. Наконец он спросил, придвинувшись:

— Пивка не выпьешь?

— Не хочется.

— Что так? Веселей бы у нас разговор пошёл.

— А мне и так весело.

— Понятно.— Федька откинулся на стуле и заговорил громко, как будто нарочно, чтобы все слышали: — Героем себя чувствуешь? Приятно небось?

Пронякин не ответил. Федька опять придвинулся.

— Ну чего молчишь?

— Жду: может, ты чего умного скажешь.

— Где уж нам,— вздохнул Федька.— Один ты у нас такой умный. Другие против тебя сплошь дураки.

Федька всё ухмылялся, лукаво сощурясь. Но если б он вдруг развернулся и ударил, Пронякин не удивился бы. Он весь напрягся, чувствуя, как застучало в виске от еле сдерживаемой злости.

Но Федька не ударил. Он спросил лениво:

— А встречали как — не понравилось?

— Понравилось,— сказал Пронякин, глядя на него в упор.— Это не ты ли свистел?

— Нет.— Федька замотал головой.— Не я. Такие штуки не уважаю. И, между прочим, если б знал кто, сам бы, может, ему по физике свистнул.

— Это и я бы сумел.

— Ну понятно. Смелый парень, что и говорить. Одно, понимаешь, непонятно: что же это ты делаешь, чёрт с рогами? За что ты нам всем в морду плюёшь?

— Это как?

— А так! — сказал Федька.— Думаешь, ты один такой — всё можешь? А другие не могут? В коленках слабы? Ошибаешься, Витя. Тут покрепче твоего найдутся. Только наш «яз» не потянет, хоть ты ляжь под него. Может, и рады бы лечь, только он всё равно не потянет. Так что, пойми, мы тут не от хорошей жизни груши околачиваем.

— Сочувствую вам,— сказал Пронякин.— Да помочь не могу.

Федька молчал, уставясь на него тяжёлым взглядом. От злости у него дрожали скулы.

— Помощи у тебя никто не просит. А просят, чтоб ты жлобом не был... который за четвертную перед начальством выпендривается. Ей-богу, перед другими бригадами за тебя совестно. Приняли вроде бы тебя неплохо, да и сам ты поначалу ничего показался... Или, может, что не так? Может, обижаешься?

— Нет. Давно уже не обижаюсь.

— Ну так за каким же чёртом в дождь ездишь? Кому глаза колешь? Или хочешь, чтоб нас потом Хомяков приявил — вот, мол, был почин, а не поддержали?..

«Вон оно что! — подумал Пронякин. Тяжелая квадратная голова Мацуева склонилась над кружкой, которую он сверху накрыл ладонью, хмурясь и шевеля бровями.— Значит, сам ты запретить не можешь. А к Хомякову ты не пойдёшь».

Было тихо, лишь звякала посуда, и ещё Гена Выхристюк, небрежно облокотясь на прилавок, кокетничал с поварихой:

— Приходишь к вам с единым стремлением в мыслях — быка съесть. А похлебаешь кулёшику вашего, кашки пшённенькой, то да сё, и аллес гут гемахт, как немцы говорят, а по-русски значит — боле не желается!

Повариха расплывалась лоснящимся лицом и утирала тряпкой могучую розовую шею.

— Я за ваши глаза не отвечаю,— громко сказал Пронякин.— А стыдиться вам тоже нечего. У меня «мазик» хотя и старенький, да удаленький. Так что я свои двадцать две ходки сделаю. Смогу — и двадцать третью сделаю.

— Много, думаешь, толку от твоих ходок? — сказал Федька.— Только экскаватор зря энергию жгёт.

— А про то не моей голове думать. Я не геройством занимаюсь... Просто я, понимаешь, на твой гарантированный двадцать один рублик не согласен.

— Что же ты раньше не сказал, чудак? Мы бы уж тряхнули мошной, так и быть, насобирали бы тебе по рублику. Или даже по трёшке. А то — давай кепку, пройдусь. Хочешь?

Пронякин промолчал, едва сдерживаясь, чтоб не заорать на Федьку. Это вышло бы и вовсе по-дурацки.

— Значит, так? — спросил Федька, вставая.— Хорошего не делаешь, гляди, Витя, учти.

— Гляжу,— сказал Пронякин.— Сам гляди.

Он доел, тяжело двигая желваками, выпил прозрачный компот, заедая чёрным хлебом, и встал. Проходя мимо них, он натягивал кепку — так, чтобы локтем прикрыть лицо. Они были заняты едой и пивом.

До конца перерыва оставалось слишком много времени, которое некуда было деть. Он поставил свой

«МАЗ» у въезда в траншею и курил, ожидая сирену. Но ему не курилось, ему хотелось бросить всё и уйти пешком в посёлок. Он ещё успеет на последний автобус, если только автобусы ходят по такой грязи, а не то пройдёт пятнадцать километров пешком до шоссе, а там проголосует, а из Белгорода пошлёт телеграмму жене, чтоб выслала денег на дорогу.

Но тут же он вспомнил, что жена и сама, наверное, уже в дороге. «Хоть бы скорее ты приехала»,— сказал он ей.

Послышалось несколько тугих, упругих ударов. Это была последняя серия взрывов. Потом сирена дала отбой.

За час дорогу совсем завалило комьями раскисшей глины, и ему пришлось сбросить скорость на первом же спуске. К тому же вдруг отказал дворник, а стекло залипало мельчайшей капелью, то и дело приходилось протирать его рукавом. Из-за этого он не сразу обнаружил экскаватор Антона. Забой, в котором они работали, был теперь разворочен взрывом, а экскаватор стоял в полусотне шагов от него, и Антон тащил на плече провода.

— Ты что? — спросил Пронякин.— Никак сматываться решил?

Втайне он даже надеялся на это.

— Вылазь,— сказал Антон.— Погляди-ка, чего они там наковыряли.

Пронякин подошёл к забою. Антон бросил провода и тоже подошёл. Он оставил свою куртку в кабине и был в тельняшке с закатанными выше локтей рукавами и в тапочках на босу ногу, а на затылке чудом держалась крохотная кепочка — точно не было мороси и холода, пронизывающего до костей.

Там, куда они смотрели, среди рваных ломтей серо-голубой глины лежало несколько осколков какого-то камня, присыпанных красной пылью. Пронякин сошёл вниз и, подняв один такой осколок, вытер его о штаны.

Осколок лежал на его ладони. Он был тяжёлый и острый, как обломок гранита, и точно склеенный из разных, плохо пригнанных друг к другу пластинок. И цвет у него был странный: издали грязно-бурый, как запёкшаяся кровь, а вблизи — с сильными проблесками сиреневого, переходящего в тёмно-свинцовый. Точно железо

в горне, нагретое до малинового каления и слабо мерцающее, остывая под слоем окалины и пепла.

— Это чего? — спросил Пронякин.

— Надо полагать, синька,— сказал Антон.

— Синька?

— Ну да. Самая что ни на есть богатая курская руда.

— Неужто курская руда?

— Ну, скажем, белгородская,— ответил Антон.— Да ты чего — первый раз видишь? У меня ж таких полна тумбочка...

— Не знаю,— сказал Пронякин.— Не видел.

— Вон взрывники идут, они тебе всё объяснят.

Меланхолично и не спеша взрывники осматривали развороченные лунки. Их было трое, в одинаковых брезентовых дождевиках с остроконечными капюшонами и в резиновых сапогах,— три фигуры, появившиеся из туманной полутьмы карьера, будто тени, внезапно отделившиеся от стены. Они подошли, шагая по лужам, и у них оказались одинаковые лица с застывшим на них разочарованием. Оно, вероятно, было такой же их принадлежностью, как дождевики с капюшонами, резиновые сапоги и непременное: «Взрывник ошибается только раз в жизни».

— Ну что, ребятишки,— спросил Антон,— набабахались вволю? Не знаю, как у вас, а у меня таки башка колоколом звенит.

Они посмотрели на него с лёгким презрением.

— Разве ж это взрывы? — сказал один из них.— Дали бы тонн тридцать динамита, так мы б тебе бабахнули. Может, и рудишка бы выскочила.

— А карьер? — спросил Антон.— Эдак вы и карьер завалите.

— Вот то-то и оно,— вздохнул второй.

Пронякин молча протянул взрывникам осколок, на который они покосились нехотя, и первый из них равнодушным тоном объявил:

— Синька. То, что ты держишь, синька.

— Стало быть, руда?

Они пожали плечами.

— Не ошибаетесь?

Второй с готовностью отчеканил:

— Взрывник ошибается только раз в жизни.

— Ведь это что значит? — спросил Пронякин.— Ведь это мы, выходит, в руду пробились?

— Погоди пробиваться,— сказал второй из них.— Не пробились, а извлекли.

— Не один чёрт?

— Ты, Витя, помалкивай,— сказал Антон, усмехаясь.— Они, понимаешь, корифеи, им видней.

— Пробиться,— объяснил третий,— это значит в большую руду.

— А это какая? — спросил Пронякин.— Маленькая?

— Не маленькая, а просто, должно быть, глыба. Тут, поди, и ковша не наберётся.

Третий из них, с розовым шрамом, пересекавшим бровь, и с замусоленным блокнотиком в руках, был, наверное, старшим. Он сошёл в забой и стал разгребать руду носком сапога.

— На сколько заводили? — спросил он, не оборачиваясь.

— Метра на два,— ответили двое других.

— А точнее?

Они задрали полы дождевиков и вытащили такие же замусоленные блокнотики.

— На два метра,— сказали они почти одновременно.

— Маловато,— сказал старший и вздохнул. Потом он поднялся к ним.— Это какая отметка? Двести девятнадцать? В воскресенье попробуем массовый выброс. Здесь.

Тень улыбки прошла по их лицам. Они давно мечтали о массовых выбросах. Стоя над забоем, они что-то пометили в своих блокнотиках и спрятали их, все трое, под полы дождевиков.

— Вот так,— сказал старший. И снова вздохнул.

На их лицах оставалось всё то же разочарование. Они постояли и ушли, так же не спеша, как и появились, и растаяли в туманной полумгле. Затем Пронякин снова увидел их, поднимающихся друг за другом по деревянной лестнице. Они поднимались к своей палатке, спрятавшейся на краю карьера, в дубняке.

— Пошли,— сказал Антон.— Нечего тут стоять. Вези породу.

— Повезу, что же делать...

Пронякин всё стоял внизу, разгребая глину носком сапога. Потом выбрал несколько крупных осколков и набил ими карманы ватника.

— На память? — спросил Антон.

— Что-то не верю я твоим корифеям. Да они сами себе не верят.

Антон усмехнулся и не ответил. Молча они подвели машину к экскаватору, и Антон спрыгнул с подножки, поднялся в свою кабину и наполнил кузов серой и вязкой глиной, уныло бухающей при ударах о железо бортов. На неё было тошно смотреть. И Пронякин, посмотрев, как она уложена, скривился, как от зубной боли, и молча отъехал. Проезжая мимо забоя, он снова увидел синие, сверкающие под дождём осколки и, притормозив, крикнул Антону:

— Слушай, подводи сюда свою машинку!

— А я чего делаю? — ответил Антон.— Мне там положено ковыряться, я и подведу.

— Давай. Они, понимаешь, корифеи, а ты всё ж таки подводи...

Пронякин поднялся наверх сравнительно легко, по старой своей колее, и застопорил у конторы. В тесном коридоре на полу, привалясь к стене, сидели шофёры. Они разговаривали и смотрели на дождь в распахнутую настежь дверь. Он прошёл мимо них тяжёлыми хлюпающими шагами и кулаком распахнул дверь в комнату начальника.

Хомяков сидел на краю стола, заваленного бумагами, и, раскачивая ногой, диктовал осевшим монотонным голосом:

— ...в текущем, третьем квартале текущего, тысяча девятьсот шестидесятого года нами было вынуто экскавацией... песков, суглинков и непромышленных, а также скальных пород... скальных пород... общим объёмом... Входи, Пронякин, слушаю тебя.

На фоне окна плоско темнел силуэт женщины. Она повернулась и вышла на свет, и он узнал её. Он танцевал с нею тогда на «пятачке». Только теперь она была в лыжных мохнатых штанах и грела руку в кармане перкалевой куртки.

— А, это вы! — сказала она. И спросила, чтобы что-нибудь спросить: — Что, много воды в карьере?

— Хватает... А вы почему знаете, что я — из карьера?

— А потому, что здесь уже говорили про вас.

Она смотрела на него с любопытством, щурясь и положив в рот кончик карандаша. Пронякин, поколебавшись, протянул осколок Хомякову.

— Что это? — Она постучала карандашиком по куску руды.— Это синька, Володя.

— Вижу,— сказал Хомяков, не меняя позы.— Откуда это у тебя? Где взял?

— Где взял, там не убудет,— ответил Пронякин.— Пожалста.

Он вывалил всё, что было у него в карманах, на стол. Хомяков отодвинул бумаги.

— Давно ты оттуда?

— Только что. Да вот, в обед взрывали, полчаса не прошло.

— Прошло,— сказал Хомяков.— Полчаса прошло. А взрывники не звонили мне.

Пронякин пожал плечами.

— Не знаю. Наверно, сомневаются они.

— А ты не сомневаешься? — Хомяков взял его за локоть неожиданно сильными, цепкими пальцами и легонько притянул к себе. Он был очень спокоен, он снисходительно улыбался, едва заметно, одними глазами, сквозь очки, а всё-таки пальцы у него подрагивали, и Пронякин это чувствовал локтем.— Ну что ж, это даже хорошо. Не знаешь, какая отметка?

— Точно не скажу. То ли сто девятнадцатая, то ли двести. В общем, вот так. Это аж в том конце. Как раз где нижний экскаватор стоит.

— Слушай-ка, милый, а ты знаешь, что такое двести девятнадцатая отметка? Это не на том конце и не на этом. Это двести девятнадцатый метр — от уровня Мирового океана. Понимаешь? А нам обещали умные люди, что промышленный уровень начнется не раньше двести шестнадцатого. Отсюда мораль: три метра вскрыши. Копать нам, не перекопать.

— Что-то не верю я вашим корифеям,— упрямо сказал Пронякин.— И умным людям не верю. Я вот чувствую — копнуть поглубже...

— Понятно,— улыбнулся Хомяков.— Успокойся, Пронякин. Выпей воды. Это какой, Риточка?

— Не знаю.— Она улыбнулась тоже.— Третий, наверно?

— Нет,— сказал Хомяков.— Это седьмой. Третий был Коля Жемайкин. Он приволок мне на плече вот эту чёртову дуру. Из-за неё у меня теперь не открывается ящик.— Он постучал пяткой по тумбе стола.— Ну-ка, Пронякин, у тебя силы много... Нет, нижний не пытайся. Тащи любой повыше.

Пронякин с трудом вытянул ящик. Он весь до краёв был полон такими же осколками. Пронякин взял один из них и сравнил его со своим. Должно быть, вид у него был ошарашенный, потому что Рита посмотрела на него участливо и как будто с сожалением.

— А ты знаешь, Пронякин,— спросил Хомяков,— что такое джинн в бутылке?

— Ну, допустим...

Он не знал, что такое джин в бутылке. Он пил обычно водку и пиво.

— Когда ко мне прибежал впервые Боря Горобец и принёс вот такой осколочек, я его чуть не расцеловал. И Борю, и осколочек. И побежал в карьер. На полусогнутых. Задрав штаны от радости. Но прошло ещё три тысячи лет, и если ко мне ещё кто-нибудь придёт и принесёт во-от такую глыбу... вот такую, Пронякин... и скажет: «Бегите, там пошла руда!» — я уже не побегу. Я, наверно, запущу в него графином.

Пронякин стоял, тяжело наклонив голову, сминая и разминая в руках кепку. Он чувствовал себя так, точно его уличили во лжи. Он хотел предложить Хомякову поехать с ним сейчас в карьер и боялся, что тот его поднимет на смех.

— Так что я не побегу,— повторил Хомяков.— Если б ты мне ещё машину привёз, ну, тут уж не захочешь, а побежишь.... Ох, чёрт, а сердчишко-то всё-таки ёкает. Напугал ты меня. Ну, ладно, Пронякин, я тебя приветствую. Извини, ради бога, зашились мы тут совсем с этой бюрократией.

— А всё ж таки,— сказал Пронякин.

Он не знал, что такое «всё ж таки» и почему ему так захотелось, чтоб руда появилась сегодня. Может быть, потому, что ему так мало везло. Может быть, всё повернулось бы опять к тем солнечным дням, когда ещё не было дождей, когда всё как будто хорошо начиналось и никто не говорил ему, что он кому-то колет глаза.

— Ступай, ради бога,— сказал Хомяков, досадливо морщась.— Не срамись. Ты же умный парень... Дождь идёт. Ну какая сейчас может быть руда!..

Пронякин медленно повернулся и пошёл к двери.

— Да, постой-ка,— сказал Хомяков. Он снял очки и протирал их мятым серым платком.— Мне говорили, что ты ездишь под дождём в карьер. Это опасно, Пронякин. Я должен тебя предупредить. Понимаешь, это ненужные фокусы. Почина здесь не получится. Подумают, что ты просто гонишься за заработком.

— Может, так оно и есть,— сказал Пронякин.

Он ждал, что они ещё что-нибудь скажут ему. А они ждали, когда он уйдёт. Он надел кепку и вышел.

В коридоре уже никого не было. И возле конторы тоже никого не было: одни, верно, набились в столовую, а другие дремали в кабинах, прислонясь виском к стеклу. Он стоял посреди пустыря, под моросящим дождём, в грязи, жирно расползавшейся под его сапогами, решительно не зная, куда себя деть. Потом увидел свой «МАЗ», стоявший с полным грузом и невыключенным двигателем. Вот это, пожалуй, единственное, что можно было сделать, не слишком ломая голову,— поехать и высыпать породу в отвал. И он побрел к машине, сел в неё и поехал.

Маленькая фигурка всё ещё горбилась под навесом и слабо зашевелилась при виде его.

— Совсем забыл про тебя,— сказал Пронякин.— Полезай в кабинку, хватит тебе мокнуть. Да и покушать пора.

— А ты больше не будешь ездить?

— Наверно, не буду.

— Что же ты! — сказала она, усаживаясь.— Ты же только восемь сделал.

— А пёс с ними, с ходками. Я, может, сейчас руду повезу. А может, не повезу.

— Руду-у?

— Ага-а...

— Большую?

— Ничего, порядочную.

— Пробились, значит? Ты пробился?

— Да не я. И не пробились, а извлекли. Корифеи говорят, поняла?

— Ой, слушай... Я с тобой поеду в карьер! — сказала она решительно.

— Дурёха ты,— ответил он удивлённо и, мгновение поколебавшись, вспомнив заваленную глиной дорогу, помотал головой.— Никуда ты со мной не поедешь. Обедать будешь. У конторы ссажу.

— Ну возьми, пожалуйста. Я очень прошу!

Он помолчал — ему всё-таки хотелось взять её — и ответил:

— Нет.

Он высадил её у конторы, и она возвратила ему ватник. Она всё не уходила и смотрела на него, зябко поёживаясь.

— Ну, не обижайся,— сказал он.— Иди. В другой раз покатаю.

— А может, подождать тебя?

— Зачем?

Он включил сцепление и поехал. Лужи блестели в карьере, они расползлись и уже соединились проливами, а пробившаяся подземная вода стекала в них с рыжих ржавых утёсов. И на дороге тоже блестели лужи. На повороте, когда его стало заносить, он догадался сбросить скорость и вытер рукавом мгновенно вспотевший лоб.

Экскаватор уже стоял в забое, наклонившись вперёд, как судно, уткнувшееся носом в крутую волну, и стрела ходила снизу вверх. Он подъехал вплотную, хотя это было строжайше запрещено: повернувшись, экскаватор мог повалить и раздавить машину.

Антон показался в разбитом окне и закричал сквозь гудение моторов:

— Витька, кажись, и в самом деле большая пошла! Я вот её разгребаю, дуру, разгребаю, а она — не кончается!

— Она не кончится, Антоша! — заорал Пронякин, чувствуя неожиданный и сильный прилив нежности и к Антону, и к стреле с умной и хитрой мордой ковша, и к руде, которая не кончается. Он объехал весь забой, полный синих осколков, и опять подкатил к экскаватору.— Она теперь, видишь ли, до самого центра земли. Тут тебе на тысячу лет разгребать, Антон!..

— Чего ты разошёлся? — спросил Антон.— И куда ты, балда, подкатываешь? Я ж тебя угробить могу в два счёта.

— Можешь, Антоша! — обрадовался Пронякин.— Всё можешь!

— Ты сказал там кому-нибудь?

— Понимаешь, они же все сдурели. Мы им такого гвоздя воткнём!

— Ладно, не хорохорься. Ты лучше подставляйся. Сейчас я тебе ковшик всыплю. Первую повезёшь!

Отъезжая и разворачиваясь, Пронякин стоял на подножке, правя одной рукой, и орал:

— Антоша, на один ковшик я не согласен! Ты мне лучше полтора насыпай!

— Полтора не потянешь! — крикнул Антон, заводя ковш снизу.— От силы — с четвертью. Да куда тебе столько?

— Не могу я один ковш везти, Антон!

— Почему не можешь, Витя?

— Потому что я привезу, а они скажут: «Подумаешь, на один ковшик наскребли!» А я им: «А вот и врёте, а вот и не один, а с четвертью. Сколько мог, столько и взял. Мог бы три взять — три бы взял!»

— Ну, хрен с тобой,— сказал Антон.— Подставляйся!

Перебирая рычаги и напряжённо всматриваясь, он вывел ковш и задрал его высоко в белёсое небо. Тяжелый ковш закачался над машиной, постепенно опускаясь, и вдруг, лязгая, отвалилась его нижняя губа, и в кузов со звонким железным стуком обрушилась мокрая синька. Машина, заскрежетав, осела на рессорах.

— Хорошо кладёшь, Антон! — закричал Пронякин.— Просто дивно. Всегда бы так сыпал. Только жилишь ты, Антон. Неполный кладёшь.

— Кто тебя разберёт... Может, хватит? Дальше-то её рыхлить надо.

— Уговор, Антоша! Четверть клади.

— Витька, ты ж учти: руда — она тяжёлая.

— А была бы лёгкая, так я б её в кепке дотащил!

Ещё четверть ковша машина почти не почувствовала. Она и без того глубоко сидела на рессорах.

— Видишь,— сказал Пронякин, пиная носком баллон.— Что это для неё? Чем больше кладёшь, тем ей легче.

Антон вылез и, подойдя, покачал с сомнением головой.

— Может, отсыпешь всё-таки, Витя?

— Ни грамма! — сказал Пронякин.— Ничего, зато сцепление лучше.

— Лучше-то лучше,— сказал Антон.— Но уж если поползёт...

Он посмотрел вверх, на петляющую дорогу, и на миг Пронякину стало страшно.

— Да уж, если поползёт... Ладно, не ворожи. Доеду. Зато какого гвоздя мы им воткнём!

— Тихо как,— сказал Антон.— Все куда-то попрятались. Хоть бы кто речу толкнул, что ли...

Дождик всё накрапывал, и Пронякин сказал:

— Вали в будку, Антон, простудишься.

— Лирик ты,— сказал Антон.— Есенин... Завтра погуляем, а? В кинишко сползаем. Чего-нибудь, наверно, хорошенькое привезут.

— Наверно.

Пронякин сел в кабину. Антон не выдержал, пошёл рядом с машиной и вскочил на подножку.

— Не надо, Антон, отстань, застишь мне только свет,— сказал Пронякин.— Я сам повезу. Понимаешь, мне надо, чтобы я сам привёз...

— Ладно,— рассмеялся Антон, соскакивая.— Сам так сам. Покличь там напарничка моего, пускай сменит. А то не евши который час сижу.

— Покличу,— сказал Пронякин.

Когда он уже отъехал немного, Антон закричал ему вслед:

— Лопата у тебя есть?

— Имеется.

— Почаще соскрёбывай. Скользит, а?

— Скользит, проклятая.

— Полежишь мильон лет, не так заскользишь,— сказал Антон.— Скажи там, пускай бульдозер пришлют.

— Скажу!

Он ехал — нога над педалью тормоза, а другой он выжимал до предела подачу топлива, а руки вцепились в баранку и лежали на ней локтями. Отчаянно буксуя, виляя задом, машина взяла первый подъём. Он вздохнул облегчённо и почувствовал, как жарко его спине и лицу.

— Тяжела! — сказал он себе и опять устрашился этой глины, свинцово-голубой и скользкой, как раскисшее

мыло.— А ничего не тяжела! Сукин ты сын, Пронякин,— сказал он громче, чтоб подбодрить себя и машину.— И больше ничего!

И снова он выжал педаль подачи топлива, упёршись плечами в спинку сиденья, и быстро переключил скорость. Стрелка спидометра дрогнула и поползла — так медленно и напряжённо, точно это она и тащила перегруженную машину. Он призвал к себе на помощь всё мужество и злость, всё своё отчаянное умение и лихость шофёра, исколесившего много дорог, бравшего много подъёмов. Он хотел бы всё это передать теперь машине, от которой он ничего не мог потребовать, а мог только просить:

— Ну, ещё немножко, милая! Ну вот, ты же умеешь, в тебе же силы столько. Ну, не дрожи, не раскисай, не бойся, ведь руду везёшь!..

Он повернул, стараясь держаться ближе к склону, и опустил руку на рычаг, чтобы притормаживать двигателем, если машина покатится назад. Но всё обошлось, и он вздохнул облегчённо, взобравшись на третий горизонт. Тогда он выглянул и поискал глазами Антона. Тот стоял неподвижно и смотрел, задрав голову, вверх. Пронякин едва различал полосы на его тельняшке. И едва долетел до него крик Антона:

— ...скрёбыва-ай!

— Ничего! — ответил Пронякин, не надеясь, что Антон его услышит, хотя ему самому несколько раз, когда сильно заносило зад, хотелось вылезти и соскрести лопатой налипшую глину.— Ничего, доеду!

А машина всё шла, и ничего с нею не случалось, и понемногу страхи его рассеялись, а мысли обратились к тем, кто ждал его там, наверху.

— А вот я вам всем и докажу,— бормотал он, стискивая зубы, в то время как руки его одеревенели на баранке, которая могла в любую секунду вывернуться.— Сейчас увидите. Сейчас пожалеете, мне бы только доехать!

Чаша карьера поворачивалась под ним, как горная долина под крылом самолёта. Она была заткана мельчайшей сетью дождя, и дно её с блестевшими лужами терялось в сизой полутьме. Он снова вспомнил о глине — сколько он намотал её на колёса,— и опять ему сдела-

лось одиноко и страшно. У него закружилась голова и похолодело в груди.

Но вдруг ему пришло в голову такое, от чего снова стало легко и весело. Он увидел себя, как он подъезжает к конторе, поднимает кузов и вываливает всё это, что он довёз, прямо в слякоть и грязь, прямо перед крыльцом. А потом стоит и хохочет, хватаясь за бока и глядя на их выпученные глаза,– долго и язвительно.

Впрочем, не очень долго. И не очень язвительно. В конце концов они неплохие, тёплые ребята; чёрт знает, какая кошка между ними пробежала. И что он им станет доказывать? Он просто вывалит руду, да и всё, и пусть копаются в ней, и он тоже будет копаться, перебирая тяжёлые синие осколки...

Так он поднялся на четвёртый горизонт, где уже совсем не пахло затхлой сыростью карьера,– только пьянящий запах своей же солярки. Он убрал ногу с педали тормоза и поехал, правя одной рукой, высунувшись под дождь и ветер.

– Эй, где вы там, черти с рогами? Сеноман-альба! Апт-неокома! Келловей! – закричал он просто так, чтобы успокоить себя и машину. Потом повернул голову, увидел совсем уже крохотного Антона и закричал ему: – Антоша! Погуляем, а?

Антон стоял и не двигался и всё смотрел вверх.

«Чего это я? – спросил себя Пронякин.– Чего это с тобой нынче сделалось? – Он вертелся на сиденье, как на горячей плите.– Чего ты петушишься? Приснилось тебе, что ли, чего?»

Его охватило вдруг странное чувство нереальности всего, что он делает. Как будто это было с ним не теперь, а когда-то, давным-давно,– может быть, в детстве, когда он бежал с какой-нибудь радостью к матери и знал наверняка, что она обрадуется, потому что лучше всех это умела она одна, о которой он уже почти ничего не помнил. Но между тем справа был мокрый глинистый склон карьера, а слева – обрыв и серое слезящееся небо, и это он, Пронякин Виктор, вёз первую руду с Лозненского рудника. Руду, которую ждут не дождутся и Хомяков, и Меняйло, и Выхристюк и про которую завтра утром, если не нынче же вечером, узнают в Москве, в Горьком, в Орле, в Иркутске и в других местах, где он

успел побывать и где не пришлось. Он вспомнил, как говорили в поезде, когда он ехал сюда, что ни один рудник в мире не выдаёт такой богатой руды, как эта знаменитая синька, в которой до семидесяти процентов чистого железа. Она потому и синяя, что воронёное железо смотрит из неё на белый свет.

«А любопытно бы знать, что из неё сделают, из этой руды? — вдруг пришло ему в голову. И в нём опять заговорила старая привычка всё подсчитывать.— Антошка мне верных шесть тонн сыпанул, это как пить дать, я ж чувствую. Ну, скинем полторы шлаку, ну две, но ведь тонны четыре чистых! Во, страсти какие! А много это или мало, Пронякин? Как знать... Для хорошего дела всегда не хватает, это уж известно. И куда она пойдёт, чем она станет, ты тоже, наверное, не узнаешь... Но это, наверное, и не моего ума дело, моё дело — только везти, ну вот я и везу. И всегда моё дело было только везти, а что тебе там в кузов положат, то уж не наша забота, лишь бы рессоры не садились. Очень неважно себя чувствуешь, когда рессоры садятся. Вот как сейчас...»

А машина всё шла, она приближалась к цели, он чувствовал это каждым нервом, и это было сильное чувство, даже, пожалуй, слишком сильное, потому что от него нетерпеливо подрагивали руки, а вот это уже было плохо.

«Только не надо сейчас об этом,— приказал он себе.— После об этом. Ты лучше — глаза в руки и гляди, гляди на дорогу».

И он всё смотрел на дорогу, на комья глины, которые приближались и уползали под колёса, и ничего не мог с собою поделать.

«А когда же “после”? — спросил он себя.— Вот так мы всё на “после” оставляем, а на самом-то деле потом уже о другом думаешь и — не так. И кому же думать, как не мне, ведь это я везу. Я, не кто-нибудь! И не последний я, а первый...»

«Сказать женульке, не поверит,— подумал он печально.— И правда, уж столько мы с тобою мыкались, столько крохоборничали, что и поверить трудно, хотя ты меня и знаешь... Но ведь хлопцы-то подтвердят, хлопцы же врать не станут?»

Так он поднялся на последний, пятый, горизонт и повернул к выездной траншее. Здесь он всегда обгонял их

всех, но теперь гнать не следовало, а нужно было взять себя в руки, и успокоиться, и ждать, когда покажутся верхушки яблонь. Он ждал их долго и заждался, а когда они наконец показались — сизые и едва приметные на сером,— он даже забыл сказать им своё обычное: «А вот и мы!» — и круто поворотил к ним, видя, как они сливаются густыми кронами, видя людей, показавшихся вдали у выезда.

И вот эти яблоньки дрогнули и поползли — влево, всё влево, к краю ветрового стекла, оставляя за собою прямоугольник пустого хмурого неба. Он не сразу понял, что такое случилось с ним, а потом почувствовал мгновенную дурноту и слабость. Весь облившись потом, он круто вывернул руль в сторону заноса — это всегда кажется страшным, но в этом всегда спасение. Яблоньки остановились, но назад уже не поползли, и он рассердился на себя:

«Зеваешь, скотина! Хорошо ещё, девку не посадил, вот уж было бы визгу. Но ты всё-таки, Пронякин, смотри, этак недолго и загреметь...»

Но он уже гремел, хотя и не знал этого, потому что не видел, как левое заднее колесо зависло уже над обрывом и вращается — бешено и бессильно. А другое колесо, жирно облепившееся глиной, слабо буксовало на мокром бетоне, и машина потеряла ход, а значит, и не слушалась руля, хотя он вцепился в баранку со всей силой испугавшихся рук.

Он всё понял, когда, вывернув руль ещё и ещё раз, уже не смог поставить на место яблоньки, всё ползущие влево. Просторная кабина стала вдруг тесной, как ящик, в который тебя втиснули, согнув в три погибели. Он успел бы выскочить, если б ехал с открытой дверцей, если б сиденье водителя было справа и если б он догадался выскочить в первое же мгновенье.

Вдруг он увидел тучи, быстро пронёсшиеся в ветровом стекле, услышал скрежет резины и дробный стук посыпавшейся руды. «Рассыпал, скотина! — сказал он себе.— Доигрался, допрыгался, оглоед, дерьмо собачье! — Он уже не боролся, а лишь держался за баранку, смутно надеясь, что машина удержится на четвёртом горизонте.— Но если нет, тогда — всё! Восемьдесят пять метров... Всё!»

Машина не удержалась на четвёртом горизонте. Она тяжко сползла и грохнулась о бетон, а потом заскользила, и тяжесть руды повлекла её дальше, вниз. Он увидел белый пласт мела, потом небо и новый, коричневый пласт, и снова небо, а затем нарастающий в полутьме свинцово-голубой цвет — цвет океана, приготовившегося к шторму.

Что-то ударило сзади по кабине, и он услышал жалобный вопль сплющиваемого железа. С грохотом покатилась руда. «С машиной всё — загубил "мазика"»,— успел он подумать. И тут же ощутил жестокий хрустящий удар чуть ниже затылка, от которого брызнули слёзы и всё слилось в чёрно-жёлтом хаосе вращения, а голова вдруг потеряла опору. Второй удар пришёлся в борт и в стекло, и он инстинктивно зажмурился и сполз коленями на слякотный пол кабины, прикрываясь локтями, чтоб осколки не попали в лицо. Но ударило в третий раз, и осколки попали в локоть.

«Когда же кончится? Господи, когда же кончится?» — подумал он с тоской, пока его куда-то влекло и било со всех сторон. Но это ещё долго не кончалось, он успел потерять сознание от боли в затылке и в локте и снова очнуться, а машина всё катилась по склону. Последний удар бросил его сзади на руль, так что сорвало дыхание и что-то хрустнуло в груди, и наконец его потащило куда-то в сторону и рывком остановило. Ослепший и полузадушенный, он услышал звенящую тишину.

Он не слышал, как отчаянно закричал Антон и взвыла аварийная сирена, и не видел, как полторы сотни людей показались на склонах карьера, как они бросились вниз и бежали, прыгая, оскальзываясь на мокрой глине, падали и кувыркались и поднимались вновь и опять бежали, задыхаясь от бега, чтобы поспеть к нему на помощь.

Он услышал только свист лопнувшего ската и странный капающий звук. В звенящей тишине мерно падали тяжёлые капли. Он не знал, что это его кровь, он думал, что из пробитого трубопровода каплет на разогретый чугун солярка.

«Выключить двигатель,— успел он подумать.— Сгорим...»

Он имел в виду себя и машину.

8

В сумерках на улице Строителей ровнял мостовую бульдозер. Скрежеща и лязгая, он вдавливал осколки щебня в зыбкое тело дороги и с рёвом устремлялся к насыпи чернозёма, опуская широкий блестящий лемех ножа, как слон в бою опускает бивни. Насыпь нехотя поддавалась; жирные чёрные комья выползали из-под траков, а бульдозер взбирался всё выше, задирая нож к свинцовому грозовому небу. Постояв наверху и успокоясь, он откатывался назад и отползал, готовясь к новой атаке.

Бульдозерист посадил рядом с собою маленького сына, и мальчик держался обеими руками за рычаг. Время от времени коричневая рука отца накрывала его руки и легонько толкала рычаг. Мальчик весело дудел, вытянув губы и округлив глаза, и смеялся, когда они с отцом почти ложились на спинку сиденья.

Всякий раз, когда они взбирались наверх, он видел пегого жеребёнка с чёрным пушистым хвостом и голенастыми длинными ногами. Жеребёнок отбился от матери и тоненько ржал, а потом прислушивался, кося фиолетовым глазом, и мать отвечала ему откуда-то хрипло и тревожно. Тогда он пускался вскачь, взбрыкивая крупом несколько в сторону, но тут же останавливался как вкопанный, опустив голову и крутя хвостом. Он боялся бульдозера и высоких тротуаров, на которых молча стояли люди, а с другого конца улицы медленно приближались к нему шестеро мужчин.

Бульдозер взлез на насыпь и остановился, затихая, и жеребёнок тоже замер, широко расставив ноги и глядя на приближающихся людей, которые шли по середине улицы, касаясь друг друга локтями.

— Папка,— спросил мальчик,— а куда это дяденьку Мацуева повели?

Бульдозерист помолчал и ответил:

— Никто его не ведёт. Он сам себе человек. Идёт куда хочет.

— А я думал, он не хочет, а идёт,— сказал мальчик.

— Значит, нужно идти, сынок.

Мужчины всё приближались, и жеребёнок, не выдержав, кинулся от них к бульдозеру. Он проскочил в двух

шагах, задрав хвост и вскидывая голову; мальчик сурово прикрикнул на него басом. Мужчины свернули на тротуар, и стоявшие там расступились перед ними молча.

— Папка, поехали,— сказал мальчик.

Бульдозер заворчал снова.

Шестеро вошли в гастроном. Женщины в большой и шумной очереди тотчас же дружно загалдели на них. Но Мацуев, раздвигая толпу тяжёлым круглым плечом, спокойно объяснил, зачем они пришли. Тогда Федька с Косичкиным смогли подойти к прилавку.

Они купили колбасы, конфет, печенья, а Федька ещё и четвертинку водки, и пошли через весь посёлок к двухэтажному кирпичному строению, обсаженному тонкими продрогшими тополями, за которым уже не было домов и уходила в лес дорога к аэродрому.

Девица в белом халате приоткрыла дверь и, увидев парней, нагруженных кульками и свёртками, поспешила закрыть её. Но Мацуев успел втиснуть в щель свой огромный ботинок.

— Снизойди, девушка,— предупредил он угрюмо.— Не то в окошко полезем.

— Попробуйте только! — сказала сестра, перебирая ключи в кармашке.— Сейчас врачиха придёт, она вас тем же порядком и выставит.

— А куда она ушла? — спросил Федька.

— А тебе что? На переговорную.

— С Белгородом созванивается?

— А тебе что? Ну, с Белгородом.

— А! — сказал Федька.— Ну, так её как раз до ночи будут соединять. Айда, хлопцы.

— Куда это «айда»? Ты не в «зверинец» пришёл всё-таки.

— Ты скажи, как ему? — спросил Антон.

— Как ему, как ему! Из шока насилу вывели.

— Ага,— сказал Мацуев.— А теперь что — в сознании он?

— Сказала же: из шока вывели.— Она вздохнула.— Только ему всё равно плохо очень. Серьёзно говорю, плохо. А вы тут кричите, топаете...

— Знаем, что плохо,— сказал Федька.— Было бы хорошо, может, и не пришли бы.

Он инстинктивно потёр ладони о ватник, точно под слоем неотмытого масла почувствовал неотмытую кровь на руках, которыми поддерживал разбитую голову Пронякина.

— Ладно, чёрт с вами,— сказала сестра.— Пусть кто-нибудь один пройдёт.

Мацуев вопросительно взглянул на Антона.

— Нет уж,— сказал Антон.

Тогда Гена Выхристюк мягко и настойчиво потеснил её и взял под локоток.

— Девушка, не будем разводить дебаты. Не будем, правда?

И так же мягко, склонясь к ней, увлёк её вверх, по чистой холодной лестнице, пахнущей йодоформом и карболкой. Они пошли следом, стараясь не топать и всё замедляя шаги. В большой комнате с кафельным полом и никелированными столиками вдоль стен она опять стала сопротивляться.

— У меня только два халата. И врачиха сейчас придёт. Всё равно всех не пущу, так и знайте.

— Слушай, девушка, как же так? — возмутился Гена.— Мы же договорились, что ты умница и всё понимаешь...

Она прижала палец ко рту. Кто-то говорил в другой комнате, голос доносился сквозь приоткрытую дверь, тихий и словно раздавленный:

— Ну пусть войдут, сестра... Не мешай.

— Идите,— сказала сестра.

Они увидели край зелёного мохнатого одеяла и руку, чудовищно толстую в бинтах, лежавшую на подпорке. Несколько часов назад, когда они разжимали сплющенную обшивку кабины и срывали ломами резьбу болтов, он был ещё свой, ещё досягаемый в своём шофёрском невезенье. Теперь он был отделён от них толстой корой бинтов, запахом антисептики, всем видом этой комнаты, где сразу стало неповоротливо и тесно их сапожищам и здоровым телам.

— Это можете здесь оставить,— сказала сестра. Она хотела отнять у них кульки и свёртки.— Мы его с ложечки кормим.

Но они не отдали и гурьбой вошли к Пронякину.

Он лежал в палате один, распластанный на широкой кровати, чем-то, должно быть, обложенный под одеялом

и затянутый по макушку в бинты. Открытыми были только рука, половина рта и глаз. Бинт на щеке прилегал неплотно, и виднелась матовая смуглость кожи.

— Вы не очень мучайте его,— сказала сестра и пощупала запястье на здоровой руке Пронякина. Это выходило у неё уже почти профессионально.— Главное, чтоб он не двигался.

— У нас не двинется! — сказал Федька восторженно.

Сестра всё не уходила. Федька выразительно взглянул на Гену Выхристюка, тот моргнул ему и, полуобняв сестру за плечи, вышел с нею, тихо притворив дверь. Тогда они мигом придвинули пустые койки и расселись вокруг Пронякина.

— Ну как ты, Виктор? — спросил Мацуев.

Он сидел, упёршись кулаками в толстые ляжки. Глаз Пронякина медленно поворачивался и оглядывал их всех с тоскливым упрямством, преодолевающим непомерную боль.

— Оперировать тебя будут, Виктор... Теперь хорошо оперируют.— Мацуев улыбнулся очень доброй улыбкой.— Хомякова в Белгород вызвали докладать насчёт руды, с собой врача привезёт. На «язе» поехал, легковуха не пройдёт сейчас. Ты Силантикова, с третьей бригады, знаешь?

— Нет...

— Здоровый такой,— напомнил Федька.— Усищи как у кота.

— Помнишь, наверно,— засмеялся Мацуев.— Вот он водитель. Он пройдёт. Он, знаешь, проходчивый, вроде тебя.

— Я ж вот не прошёл...

— Ну, с кем не случается! — Мацуев развёл руками и обхватил ими колени.— На то ж мы и шофёры, чтоб этак вот иногда...

— А не тужи ты! — сказал Косичкин.— Знаешь, случаи какие бывают? Страшное дело! Вот у нас на фронте, да в нашей же автороте, чудака одного осколком по животу — чирик! Ремень вот так разрезало — и кишки на волю. Так ты думаешь, он что? Он это всё добро аккуратненько в пилоточку, с песком, с хвоей — в лесочке мы как раз стояли — и в медсанбат. Ну, правда, не сам он, повели его. И — зашили! И жил потом. Ну,

потом ему правда что голову отнесло. Так ведь голову же!..

Федька занёс руку назад и гулко хлопнул его в лопатку.

— Ты чего это? — обиделся Косичкин.

Федька блуждал глазами по потолку.

— Ты думаешь, я к чему? А к тому, что есть люди, понимаешь ты, с широкой костью, с жилой, с накопцом, что ли. Энергия из них прямо стреляет, как вон из Витьки. Такой зазря не помрёт, не-ет!

Он посмеялись сдержанно. И Косичкин посмеялся тоже, открыв жёлтые прокуренные зубы.

— «Мазик» мой как? — спросил Пронякин.

Мацуев отвёл глаза в сторону.

— Про «мазик» не беспокойся. Его ведь и так уж списать хотели... К тому же двигатель в хорошем состоянии. Починим, чего ему сделается... Тебя бы вот, дурака такого, починили скорей.

— Меня уж не починишь...

— Ну, ты это брось, Витька,— сказал Федька не очень уверенно.

Пронякин помолчал и потом снова разлепил склеивающиеся губы.

— Теперь бы дожди не помешали...

— А пёс с ними, с дождями,— сказал Мацуев.— Теперь уж не страшно. Теперь по руде будем ездить, она не размокает.

— А выше... всё бетонка будет?

— Всё бетонка.

— Там... на повороте, где сверзился я, пошире бы надо сделать...

— Сделаем пошире,— пообещал Мацуев.

Они помолчали. Мацуев шумно вздыхал. Он что-то еще хотел сказать.

— Тебе, может, ещё чего принести? — спросил Антон и вдруг почему-то нахмурился.— Выпить не хочешь? А то вон у Фёдора есть.

Кисти рук у Антона были забинтованы тряпками. Он встретился глазами с Пронякиным и спрятал руки за спину.

— Желаешь? — спросил Федька и с готовностью полез в карман.

Сестра вдруг открыла дверь.

— Это чего это у тебя? Чего вы ему даёте? Водку паршивую? Не вздумайте!

— А что? — обиделся Федька.— Для облегчения. Я знаю, чего делаю.

— Много ты знаешь! Ему для облегчения вино хорошее требуется. Или чистый спирт. Мы уж тут поили его. А самое лучшее — коньяк пятизвёздочный.

— Н-да,— сказал Федька.— Курорт.— К этому слову он относился неприязненно.— Не угадали, значит.

— А это можете выкинуть.

— Выкинем, само собой,— пообещал Федька и спрятал четвертинку в карман.

Гена Выхристюк мягко увлёк сестру и притворил дверь.

— Строга стала Нинка,— сказал Федька и вздохнул.— Вот так и загубят человека до гробовой доски.

Мацуев придвинулся к Пронякину, и тот увидел вблизи морщинистую тёмную кожу у него под глазом и табачную седину на висках.

Мацуев смотрел на него откровенно горестным взглядом, покачивая головой, Меняйло — сурово и с мучительным напряжением. Федька пробовал ободряюще улыбнуться. «Должно быть, плохи мои дела»,— подумал Пронякин.

— Ладно, хлопцы,— сказал он, когда молчание затянулось.— Вы уж идите... Да нет, не подумайте чего. Просто плохо мне...

Они поднялись и мяли кепки в руках.

— Знаешь, Виктор,— сказал Меняйло угрюмо и виновато, не глядя на него,— ты всё же зуб на нас не имей.

Пронякин усмехнулся одной половинкой губы.

— Имел бы, да вышибло. Теперь не имею.

— А завтра опять навестим,— пообещал, выходя, Мацуев.— Ты уж не сомневайся.

Антон остался. Он постоял над кроватью и осторожно потрогал забинтованную руку Пронякина.

— Как же ты так, Витя?

— Ну что ж, Антоша, дерьмовый я, значит, шофёр...

— Ты этого не смей говорить,— строго приказал Антон.— И думать даже не смей. Ты как бог шёл. Всю дорогу — как бог! Только под конец повернул резко. И не

послушался, чудак, я же кричал тебе: «Соскрёбывай!» Ты не слышал, наверно?

— Слышал... Что это у тебя — с руками?

— Поободрал маленько. Очень ты крепко в кабинке застрял.

Пронякин вздохнул и потянулся головой назад, скрипнув зубами.

— Ты поправься, Витя,— попросил Антон.— Обязательно, слышишь, поправься. Мы ж ещё погулять с тобой должны.— Он вдруг широко улыбнулся и, присев к Пронякину, склонился над ним.— А что ни говори, здорово это мы с тобою, будет что вспомнить!

— Да...

Улыбка медленно сползла с лица Антона, точно он вспомнил что-то лишнее, неприятное, ненужное сейчас. Он смотрел напряжённо куда-то в пол, затем поднял на Пронякина прямой, немигающий взгляд.

— Витя, должен я тебе сказать... Тут следователь ходит, расспрашивает. Ну как ему объяснишь?.. Ты не подумай, что я из-за этого... Я-то отбрешусь. Да я бы сроду к тебе за этим не пришёл!.. А бригадира заместти — могут.

И Пронякин понял, о чём ещё хотел сказать Мацуев, но не посмел.

— Я знаю, Антон... О чём ты говоришь! Следователь... Ещё не хватало... Пошлю я его подальше.

Он закрыл глаз. Антон подождал немного и поднялся.

— Я ещё приду к тебе, Витя.

— Да... Ступай... Я всё скажу...

...Следователь оказался в гимнастёрке без погон и с розовым пробором в седеющих волосах. В наши дни так странно видеть человека в гимнастёрке и с пробором. «Специально, чтоб перхоть разводить»,— подумал Пронякин, глядя на него твёрдо и прямо. Следователь не стал мучить больного формальностями и, раскрыв на коленях дерматиновую папку, приступил к делу.

— Вы, наверное, знаете, что ведётся следствие по поводу несчастного... по поводу того, что случилось с вами?

Пронякин не ответил.

— Есть несколько невыясненных обстоятельств. Если не ошибаюсь, у вас была машина грузоподъёмностью в

пять тонн... что соответствует по нормам безопасности, установленным для Лозненского рудника, примерно объёму одного ковша гусеничного экскаватора.

— Всё верно...

— Так. Но есть основания предполагать, что вы везли больше.

Пронякин молчал. Он знал свой ответ наперёд и думал вовсе не об этом. Ему было странно и обидно думать, что о том, что делали они с Антоном и что случилось с ним, нужно было врать или отмалчиваться.

— Правда ли то, что я сказал? — спросил следователь.

Пронякин вспомнил лицо Антона в остеклённой кабине, его разметавшийся чуб и капли дождя на шее и на тельняшке.

— Нет,— сказал он, облизывая пересыхающие губы.

— А вспомните получше.

Пронякин опять вспомнил, как они стояли над забоем после взрыва, и туманное солнце, и синьку, падающую с грохотом в кузов.

— Вспомнил...— сказал он. Следователь склонился над ним.— Там и ковша не было.

Следователь смотрел на него жёстко и испытующе. Это был уже немолодой человек, но молодой следователь, он ещё не разуверился в теории «силы взгляда» и не учёл, что лицо Пронякина наполовину закрыто бинтом и стянуто швами.

— Машинист дал показания, что он вам насы́пал полтора ковша.

— Он мог и три назвать,— ответил Пронякин не сразу.

Боль опять подкралась к нему и набросилась, захлёстывая горло раскалённым ошейником.

— Да ковши-то бывают разные... Можно с верхом насыпать, можно недосыпать, всё одно считается — ковш. Водитель же чувствует, сколько он везёт.

— Пронякин,— сказал следователь,— почему вы не хотите помочь следствию? Ведь это как будто в ваших же интересах.

— Вы моих интересов не знаете,— сказал Пронякин.— Вы вот что... Вы не спрашивайте... Вы лучше слушайте. На большой-то разговор меня не хватит... Один я во всём виноват. Так и пишите.

Следователь взглянул на него с ожиданием.

— Пишите, мне врать ни к чему. Говорили мне... кто постарше: «Не лихачь, ты ещё дизель-самосвал плохо знаешь»,— я лихачил... Говорили мне: «В дождь не езди», Мацуев самолично предупреждал,— я ездил. Машинист предлагал мне: «Отсыпь полковша»,— не отсыпал... Вот так оно и получилось. Кого же винить, как не меня?

Следователь быстро записывал за ним. Потом он провёл рукою по лбу и сказал:

— Я именно так и думал... Простите...

— Ничего,— ответил Пронякин.— Вы вот лучше скажите мне, как там с машиной?

— То есть что с нею будет дальше? По-видимому, в переплавку.

— Разбил, значит, совсем.

— То есть, по-моему, вдребезги... Простите.

...Целый час никто не тревожил Пронякина, и он успел отдохнуть, хотя и в одиночку едва справлялся с болью. Время от времени она совсем раздавливала его, тогда он вцеплялся рукою в железный край койки и зажмуривался. Он хотел попросить сестру сделать ему укол и отчего-то не решался её позвать.

Она вошла зажечь свет и привела с собою гостью, которую он меньше всего ожидал. Гостья остановилась против его постели, она была в пальто, наброшенном на плечи, и в тёмном платке, срезавшем половину лба. Это ей даже шло. Она кусала губы и смотрела на него с бабьей щемящей жалостью.

— Почтение вам,— он невольно усмехнулся и тотчас же почувствовал швы на лице. Потом он вспомнил её имя: — Рита...

— Ничего, вы лежите,— сказала она, точно он мог встать. И прибавила: — Я не могла не прийти.

«Вот как говорит, сразу и не поймёшь,— подумал он.— Не могла, так и не приходила бы...»

— Володя Хомяков просил меня, чтобы я вас навестила... Но я бы и сама пришла, конечно. Мне очень больно, что так получилось. Если бы мы иначе с вами поговорили, когда вы пришли с кусками руды...

Она говорила быстро и проглатывала слова, а потом останавливалась подолгу. Ему было трудно её слушать.

— Как он вообще... Хомяков?

— Он, конечно, счастлив, что пошла руда... Конечно, если бы не случай с вами.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь...— Он помолчал и прибавил: — Вот что...

— Нет, нет,— вдруг перебила она,— не нужно так говорить. Вы не знаете... Вы невольно повторяете то, что говорили противники Курской аномалии. Это их излюбленный тезис: «Аномалия велика и обильна, но она не отдаст в руки человеку своих богатств, она потребует жертв». Они утверждали, что нужно подождать, при современной технике не удастся добыть эту руду, потому что она сильно обводнена, она ревниво хранит свои тайны. И это, наверное, правда. Но вы же вырвали у неё эту тайну. Вы не жертва, вы победитель...

Он не знал, кто они такие, противники Курской аномалии. Всё это показалось ему в диковинку. Впрочем, он уже сильно устал. И у него вдруг отчего-то начала болеть здоровая рука, хотя ей-то совсем не попало.

— Глупости всё это,— сказал Пронякин.— Баранку не так вертанул, вот и вся тайна...

Наверное, его ответ понравился ей. У неё заблестели глаза. И она смотрела на него с улыбкой и с любопытством, склонив голову набок.

— А вернее, не поберёгся я. О себе не подумал... Тут меня и подстерегло, с непривычки... Да ладно, не об этом я хочу...

— И вы сейчас жалеете? — опять перебила она.— Вы бы второй раз на это не пошли?

— Почему не пошёл бы? Только на верхнем повороте дурака бы уже не свалял.— Он помолчал и прибавил: — Я вот о чём хотел... Крохоборства много было в моей жизни. Теперь уж не поправишь.

— Не нужно так говорить,— сказала она волнуясь.— Зачем вы на себя наговариваете? Я всё равно не поверю. Вы жили так же чисто, как и... как и совершили свой подвиг. И вы не дурака сваляли, когда ехали с рудой. Вы, наверное, были охвачены порывом, правда?

Он вздохнул.

— Ладно. Пусть будет порыв, ежели вам так нравится. Только мне бы уже не о себе думать...

— Неужели вы думаете, что вам дадут умереть?

Он облизнул губы. Они пересыхали всё чаще, и он должен был беречь время и слова.

— Просьба у меня к вам,— сказал он быстро. Наконец-то, наконец-то она слушала его молча.— Тут ко мне жена приезжает... Боюсь, не застанет. Я написал бы, только не смогу.

— Так вы продиктуйте мне,— сказала она поспешно.

— Вы слушайте... Женщина она ещё красивая, мужиков около неё всегда хватает... Да она ведь всё... на бойких местах... Я уж её такую застал... Ничего поделать не смог. Так вот, мужиков-то хватает, а жалеть по-настоящему, как я жалел, это навряд ли кто найдётся... Вы бы потолковали с ней. Что дальше делать ей... Жить как.

— Но я ведь её совсем не знаю! Что же я ей скажу?

— Вы и меня не знали... Вы это ей как бы от меня всё скажите... Боюсь я, спутается с кем не надо. Я это без ревности говорю. Я за неё боюсь...

Она прижала руки к груди.

— Боже мой, но вы же совсем не знаете женщин. Они сильнее вас. Жена может всю жизнь прожить памятью о муже.

— Это моя-то женулька?

Ему вдруг стало смешно и досадно. «Экое ж ты нескладное существо!» — подумал он. Но это была досада на себя — за то, что тратит и время, и слова впустую. Лучше бы он сказал это всё Антону. Боль опять подступила к нему, и он закрыл глаза. Он не хотел бы закричать при ней, а она всё не уходила.

Наконец он услышал её голос, как из тумана:

— Может быть, вам хочется уснуть?

— Да,— ответил он, не открывая глаз.

— Я постараюсь сделать, о чём вы просили.

Он не ответил. Она постояла немного и тихо, почти бесшумно вышла, прикрыв дверь.

Вошла сестра и постояла над ним, прислушиваясь к его дыханию, затем погасила свет и ушла. Он открыл глаз и слушал, как ветер, налетая порывами, хлопает форточкой и шумит в мокром лесу, и понемногу стал задрёмывать. Но вскоре ему приснилась боль. И ничего другого, кроме боли, в тех же местах и только чуть слабее, чем наяву.

Он знал, что это сон и что, проснувшись, он почувствует боль по-настоящему, и, чтобы задобрить её, старался думать обо всех радостях, какие были у него ко-

гда-нибудь. Но ими не так уж богата была его жизнь, да многое и позабылось с тех пор, как он избрал себе профессией наматывать на колесо бесконечную ленту дороги. Дорога отняла у него память. Точнее, она заменила её. Всегда, если он что-то рассказывал, он начинал: «Както раз еду это я...» — но вот куда он ехал и когда это было, он уже не помнил, потому что главным в рассказе была дорога, которая мало чем отличалась от другой дороги.

Но вот он увидел себя в тамбуре вагона, на нём шинель без погон, и вещевой мешок режет плечо. Это он после армии едет к невесте. Он держит тяжёлый мешок на плече, чтобы не опускать его на заплёванный пол, и всматривается в чёрное окно, но не видит ни огонька. Два года назад его сапёрная часть строила здесь железнодорожный мост и станцию, а неподалёку, в забытой богом деревушке, они и познакомились. Потом часть передислоцировали на север, а она обещала ему присылать по два письма в неделю и ждать. Она присылала их аккуратно и ждала два года, вот он и едет к ней, потому что отец его женился в третий раз, а больше у него никого не осталось.

Он сошёл на маленькой станции, где поезд стоял полминуты, и ринулся с насыпи в чёрную темень. Можно было и подождать до утра в посёлке строителей, но он хотел добраться до её дома к рассвету, пока она с матерью не уйдёт в поле. Он шёл целый час разъезженной дорогой, извивающейся во ржи. Потом из облаков выступила огромная выпуклая луна и залила всю степь голубым светом. Он пошёл быстрее и вскоре почувствовал близость реки. Он навсегда запомнил, как пахла тогда река сочным и молодым запахом осоки и как туман перед рассветом окутывал камыши.

Он стал разыскивать лодочника и нашёл его спящим на пороге своей сторожки, хотя ночь была очень свежа. Старик не испугался ночного пришельца, только закряхтел с досады и пошёл отвязывать лодку. Старик сел на вёсла, а Пронякин, увязая в зыбком песке, оттолкнул её от берега.

— К невесте торопишься? — спросил старик. Он знал всех парней в округе, незнакомый солдат мог ехать только к невесте.— Это чья же она?

— Болдыревых знаете?

— Наташка? Ну как же. Вовремя прибежал.

— Почему это «вовремя»?

Он почуял усмешку, хотя глядел не в лицо старику, а в воду, рассекаемую блестевшим веслом.

— Потому, за другого, видно, собралась. Не надеялась, что ли, тебя дождаться.

— Это за кого же? — спросил он небрежно.

— А кто его знает. За Лёньку, что ли, Рябова.

— Чепуха, отец.— Он и вправду успокоился.— Лёньку она ещё сопливым помнит, а видов никогда на него не имела. Мне она верная.

— А я разве что говорю? — сказал старик.— Разве ж я говорю, тебе не верная?

Они плыли, плыли, а потом старик опять спросил:

— Только, может, она и Лёньке верная? Обчая, значит...

Лодка ткнулась в берег, и Пронякин выпрыгнул с мешком.

— Толкни-кось,— попросил старик.

Пронякин оттолкнул его лодку, как наваждение.

— Чепуха всё это, отец,— повторил он с облегчением.

— Вертаться надумаешь,— сказал старик,— ори громче. Я дослышу.

И растаял в тумане, только волны докатывались и плескались о берег да скрежетали ржавые уключины.

Пронякин пришёл в деревню к рассвету. Сонные собаки пробовали на нём сырые голоса. Возле знакомого дома он увидел одиноко слонявшуюся фигуру и, подойдя, узнал Лёньку. Он вспомнил, как говорили, что он отбил у Лёньки подружку с детства.

— Ты чего здесь? — спросил Пронякин.

Лёнька смутился. Он был щупл и высок, на голову выше Пронякина.

— Здорово, солдат.

— Я спрашиваю, чего здесь околачиваешься?

— Да вот Наташку дожидаю, вместе в бригаду сговорились пойти.

— Никуда она не пойдёт сегодня. Жених к ней приехал.

— Да ну, это не ты ли?

— Вот я и есть. Понял? И привет.

Лёнька вдруг озверел и сунулся было с кулаками. Но он был всё-таки слаб, в армию его почему-то не брали, и Пронякин двумя ударами прогнал его от дома. Лёнька отбежал и крикнул ему, срываясь на плач, размазывая по губам кровь:

— Сволочь ты, понял? Я уж год как гуляю с ней, а ты чего сюда явился, тебя тут ждали?

— Вали отсюда! — сказал Пронякин.— Ославил девку на всю деревню, звонарь.

Потом он присел на завалинке — покурить и успокоиться, но вдруг открылась дверь, и Наташка вышла на крыльцо.

— Пошли в дом, вояка,— сказала она, сдерживая смех.

Она была в пальто, накинутом на голубую трикотажную сорочку, и Пронякина сразу покинули укоры совести из-за того, что он бил слабого Лёньку. Она пошла в дом, он догнал её и обнял за плечи.

— Чего он тебе говорил? — спросила она, улыбаясь ему через плечо.

— Чепуху мелет. Звонарь он, больше никто.

— Не скажешь мне?

Он замотал головою и наконец поцеловался с нею в тёмных сенях.

— Намёкивал он тебе, что я, мол, гуляла с ним? — спросила она опять.

— Да я уж и думать бросил. Ну, а если б чего и было...

— Ты что? — сказала она, отодвигаясь.— Ты думаешь, я такая?

— Иди давай.— Он подтолкнул её в комнату и пошёл здороваться с её матерью, которая уже поднялась ему навстречу, благостная и строгая.

— Слыхали,— сказала Наташка,— чего ваш Лёнька про меня распускает?..

— Язык бы ему оторвать, этому Лёньке,— сказала старуха.— Вишь ли, обидно ему, что за нашей Наташкой бегают, инспектор тут из райфо одно время сватался, а после инженер с посёлка, ну вот и мелет почём зря, отваживает.

— Помыться бы мне с дороги,— сказал Пронякин.

Всё-таки он немножко иначе представлял себе своё возвращение.

Конечно, в тот день она никуда не пошла, а он, сняв гимнастёрку, обошёл с её матерью двор и сад, пришил оторвавшуюся доску на сарае и починил запор на воротах. Он никогда не жил в деревне, но ему приятно вдруг стало почувствовать себя хозяином всего, что он видит.

Он знал, что колхоз у них не ахти какой и вряд ли мог поправиться за два года, да и хозяйство, которое Наташка приносила с собой в приданое, было не ахти какое, но он был с головой и профессией, которая нужна повсюду, а в особенности когда не хватает мужиков, и начинал не на голом месте.

– До свадьбы у нас поживёшь? – спросила Наташкина мать, поджимая тонкие губы. Она говорила о свадьбе как о деле решённом.

– Поживу, ежели не прогоните.

– Чего ж прогонять-то. Ежели всё по-честному у вас...

Весь день они с Наташкой не могли наглядеться друг на друга и беспричинно смеялись, а ночью, когда ему постелили в горнице, он от этого смеха не мог уснуть и ворочался на скрипучем топчане. Он насилу дождался, пока старуха перестала кряхтеть, и пошёл к Наташке, в её комнату. Она ждала его и ничуть не удивилась.

Они были молоды и не очень щадили друг друга и для начала старательно искровавили поцелуями губы. Но, должно быть, он не так понял её, потому что, когда он совсем захмелел, она внезапно успокоилась и крепко уперлась ладонями ему в грудь. И он услышал, как в полусне, её наставительный шёпот:

– Нет уж, Витенька, это уж когда запишемся, а так я не дамся, не думай, не такая...

– Что ты? – спросил он.– Я же насовсем пришёл...

– Все вы насовсем приходите. А после насовсем уходите. И так бывает, Витенька.

В темноте её лицо показалось ему старушечьим. Наверное, когда она и в самом деле состарится, она будет такая же благостная и строгая и научится так же поджимать тонкие губы. Что-то в нём оборвалось, чего уже нельзя было связать, как бы он ни старался, потому что слишком мешали этому старик на перевозе и Лёнька. Но больше всех она сама, которая всё испортила. Он встал и пошёл к себе, наталкиваясь на стулья и мало уже за-

ботясь, услышит ли его старуха. Наташка робко вскрикнула, как бы пытаясь вернуть его, но матери, если б она проснулась, показалось бы, что дочка просто вскрикнула во сне.

Он посидел в темноте, потом оделся, собрал свой мешок и вышел в лунную ночь. Никто не удерживал его. Потом, когда он уже был на улице, взвизгнула за спиною дверь и Наташка крикнула ему с крыльца:

– Ну чего завёлся? Сам же потом скажешь...

Он не обернулся.

Он шёл быстро, чтобы успеть на утренний поезд. Выйдя к реке, он вспомнил, что надо покричать старику. Ему не хотелось этого делать, но не лезть же было в воду с мешком и в шинели. В конце концов он покричал, и старик выплыл к нему из тумана.

Они плыли молча, только на прощанье старик не утерпел:

– Что же она, Лёньке, выходит, верная?

– Не в этом дело, отец. Она себе верная.

– Ага,– сказал старик.– А ты этого, стало быть, не любитель?

– А кто это любит? Ты, что ли, отец?

– Я? Не-е. Я весёлый, вольный человек. А с бабами свяжешься – хуже нету. Мне баба теперя ни к чему, и хозяйство моё не скоро ещё кончится. Так и ты живи.

– Попробую. Ну, бывай, отец.

– Бывай и ты тоже, что ж делать-то.

Пронякин шёл ухабистой дорогой, извивающейся во ржи, и не мог теперь слышать замирающий запах осоки, сочный и пряный, молодой запах. Он не успел тогда к утреннему поезду и стал дожидаться вечернего. Он выспался на траве под насыпью, а потом в долгом мучительном томлении сидел в буфете и пил пиво, заедая каменными бутербродами, пока буфетчица не сжалилась над ним и не позвала к себе, в крохотную комнатушку позади прилавка. Там она варила себе обед и накормила его этим обедом, и тут он впервые её разглядел. Она была ещё молода, но уже знала не одного мужчину, это он видел ясно. Его собственный опыт был куда меньше. Вечером он помог ей закрывать буфет и пропустил свой поезд и остался у неё, в той же крохотной комнатушке станционного домика.

За окном грохотали поезда, которые здесь не останавливались, и жёлтые пятна от их огней прыгали по её лицу и груди. В эти минуты ему отчего-то становилось нестерпимо жалко её, и он спросил:

— И не надоело тебе вот так?

— Надоело,— призналась она честно.— Знаешь как надоело! Вся жизнь у меня как проезжая дорога.

Он помолчал и сказал неожиданно для себя:

— Ну так уедем отсюда.

— Уедем? — Она приподнялась на локте и склонилась над ним. Волосы её касались его лица.— Ты сказал: «Уедем». Это как же — вместе?

— Ну, вместе...

— Постой,— сказала она.— А кто ты мне?

Он не ответил. Но утром, когда она оделась и пошла приготовить что-нибудь ему в дорогу, он уже знал, кто он ей и как назвать её, он твёрдо решил это к утру. Она удивилась и, жалея его, рассказывала ему всё о себе, но обо всех её похождениях он знал заранее — и настаивал на своём. Сдаваясь, она упрекнула его — ещё с удивлённой улыбкой, ещё не веря тому, что свалилось неожиданно к ней в руки:

— Увозишь ты меня, а куда — и сам не знаешь. Хорошо ли это?

Он ответил:

— Ехать — всегда хорошо.

И на третий день они уехали и долгие годы скитались вместе.

Он ни разу не раскаялся в этом и никогда не жалел, что не остался тогда у «куркулей»,— так он их называл, пока обида не угасла,— хотя какие уж они там были «куркули»! Он мог бы им спасибо теперь сказать, всё вышло к лучшему, встретил такую, какая и нужна ему была. Вот только ничего у неё самой не было, кроме оравы родичей в Горьком, и никогда они ничего не могли нажить, хотя она умела попасть на хорошее место и неплохо заработать. Сначала, когда ещё были молодость и любовь, они легко расставались с тем, от чего не пахло ни молодостью, ни любовью, и уходили на другое место, а потом, когда захотелось чего-то ещё, этого уже трудно было добиться, потому что пришла усталость. Вернее, они пришли вместе, усталость и желание чего-

то ещё. И всё равно они любили друг друга, хотя он и изменял ей в отъездах, да и она, наверное, изменяла ему.

Теперь, готовясь к тому, что должно было с ним произойти, он понял, что всё было хорошо тогда — и лунная ночь в степи, когда он шёл к невесте, и молодой запах осоки, и женщина, которая поделилась тарелкой борща, а потом и постелью. Может быть, во всей его жизни только и были два счастливых дня — тот, на маленькой станции под Камышином, и сегодняшний, когда он поднимался из карьера. Он взял бы всё это с собой в последнюю, самую дальнюю дорогу...

Но он не смог ничего взять, потому что услышал далёкое фырканье машины и плеск разгребаемой грязи. Машина шла от аэродрома. Он догадался, что Силантиков всё же завяз, но Хомяков привёз врача на самолёте, и в нём опять шевельнулась надежда. Затем отсветы фар заплясали на потолке, и машина остановилась. Из неё вышли двое. Они прошли под самым окном.

Он услышал простуженный голос Хомякова; сквозь приоткрытую форточку долетали обрывки фраз:

— ...о чём я вас прошу... Это замечательный парень... мы завтра о нём в газете... Он верил больше всех... и даже меня, которому по должности... вроде бы...

— Мне это решительно всё равно.— Второй голос был высок и чёток.— Имеет ли он пять благодарностей от министра или десять выговоров в приказе. Меня просить не надо.

Хлопнула дверь внизу, и Хомяков, наверное, остался один. Слышались его длинные чавкающие шаги. Потом они захлюпали к машине, и Хомяков спросил кого-то, наверно водителя:

— Ну, как думаешь?

Но что думал водитель, Пронякин уже не слышал, потому что машина заворчала и отсветы фар исчезли с потолка. В соседней комнате возникла поспешная суета, и откуда-то взялся голос маленькой седой врачихи, которая перевязывала Пронякина с помощью сестры. Ему было тревожно и страшно, вместе с надеждой к нему опять подступила боль, и он бы, пожалуй, согласился, если б они оставили его в покое.

Врачиха быстро просунула руку и включила свет, пропуская вперёд приехавшего хирурга. Он ступал мяг-

ко: должно быть, надел поверх ботинок войлочные шлёпанцы, и сестра завязывала на нём тесёмки халата, который был ему тесен. Он морщился и дёргал плечом. Он был высок и толст, под халатом обозначалось мягкое брюхо. Не поглядев на больного, он вытянул руки вперёд, и врачиха с сестрой засуетились снова. В больнице не было водопровода, его не было ещё во всём посёлке, и сестра поливала на руки приезжему из эмалированной кастрюли над тазом в углу.

Вытирая пальцы, он подошёл к постели Пронякина и молча уставился на него.

— Ну-с, как мы тут? — спросил он машинально и повесил полотенце на плечо врачихе. Она этого даже не заметила. Он присел на койку.— Вы говорите, пятый и шестой?

— Пятый и шестой,— подтвердила врачиха. Она, вероятно, гордилась немножко, что у неё в практике такой тяжёлый случай.

— Глаз тоже повреждён? — спросил хирург. Он ещё не прикасался к Пронякину.

— Глаз, к счастью, не повреждён,— ответила врачиха.

— Что же ты так, милый? — спросил хирург и, поморщась, взглянул на люстру.— Ну-ка, помогите мне.

Втроём они сняли с Пронякина одеяло, стащили грелки и бутыли с тёплой водой и перевернули на живот. Он зажмурился и стиснул зубы. Он не знал, сколько это продолжалось — минуту или час, потому что сразу же зарычал и провалился в лиловую пустоту, как только чьи-то пальцы вошли между фанерным щитом и его затылком. Но даже из пустоты он чувствовал прохладные и неловкие пальцы сестры, торопливые и мягкие прикосновения старой врачихи и сильные пожатия толстых пальцев хирурга. Но странно, именно эти сильные пожатия причиняли меньше всего боли. Точно боль страшилась этих пальцев и бежала от них.

Когда он очнулся, он опять лежал на спине, и хирург смотрел на него. Пронякин видел его одним глазом и не знал, далеко ли он сидит.

— Что же ты, милый? — опять спросил хирург.

Пронякин виновато вздохнул. Глаз ему застилали слёзы.

— Так вы говорите — пятый и шестой? Правильно,— сказал хирург.— Правильно, чёрт возьми.

И, потянувшись к больной ноге Пронякина, вдруг быстро и сильно помял её. Напряжение отразилось на его лице.

— Больно?

— Н-нет.

— А так? — Он ударил кулаком.

— Тоже нет.

Он и в самом деле не чувствовал боли. Может быть, она и отсюда, из ноги, ушла в страхе перед этими пальцами.

— А пошевели-ка ногой. Сильнее.

Он сделал всё, чтобы пошевелить ногой. Он делал это охотно, потому что боль ушла из неё совсем.

— Ничего,— сказал хирург.— Ничего, милый, страшного.

Пронякин улыбнулся ему сквозь слёзы. Надежда разрасталась в нём и заполняла всё тело, из которого уходила боль.

Хирург быстро поднялся и вышел. Полы халата развевались за ним. Врачиха и сестра накрыли Пронякина одеялом и вышли тоже. Они плотно прикрыли дверь.

Они прикрыли её очень плотно, и тогда хирург спросил, дёргая плечом, оттого что халат жал ему под мышкой:

— Сколько ему лет?

— Ещё не исполнилось тридцати,— ответила врачиха.

— Н-да... Вряд ли исполнится. Ну что ж, готовьте.

— Будем оперировать? — спросила сестра.

— Нет, будем снимать мерку для костюма.

Он достал из-под халата сигаретницу из карельской берёзы и антиникотиновый мундштук и вкусно, изящно закурил, выпуская дым тоненькой струйкой из-под пушистых усиков. Сестра взяла с подоконника пепельницу и держала её в руке, чтобы он не сбрасывал пепел на пол.

— Вы полагаете, летальный исход? — спросила врачиха, глядя на него снизу вверх сквозь толстые очки.

Он помолчал и вдруг рассердился.

— Слушайте, какое вам дело до того, что я полагаю. Разрежем — посмотрим. Как будто вы сами не видите: уже начался паралич ног. Ещё час, ну два, и процесс поднимется кверху. Я ещё удивляюсь его сердцу. Это

просто буйволово сердце, потому что наверняка же заденет блуждающий нерв.

— Но я правильно сделала, что вызвала вас? — спросила врачиха.

Он передёрнул нетерпеливо плечом и сбросил пепел мимо пепельницы.

— Вы всё правильно сделали, коллега. Вы просто идеально всё сделали. Вы только забыли поставить ему новые позвонки. Сущий пустяк, вы не находите?

Он прошёлся по комнате, заложив руки за спину; шлёпанцы мешали ему, и он отшвырнул их в сердцах.

— Вы тоже думаете, что врач, живущий в городе, лучше того, который живёт в районе? А районный — лучше поселкового? Так?

— Простите,— сказала врачиха.

— Да я нисколько не зол, что вы меня вызвали. Я зол на себя, на всех нас, которые везде одинаковы. Мы одинаково ни черта не умеем. Уж, наверное, он знал своё дело лучше, чем мы. Что там говорить! Бросьте его одного, со всеми его ранами, в степи, в грязи, под дождём, голого!.. Думаете, он не выживет? Выживет. И сам приползёт. А если он умрёт, так от чего? А? Позвонки! Пятый и шестой. Но вот тут-то как раз мы ни черта и не умеем.

— Может быть, через двадцать лет и это будут лечить? — сказала сестра.

— Утешила! Через двадцать лет никто за здорово живёшь не станет ломать себе шею. А впрочем, чёрт его знает... Ну что вы стоите как истуканы? Я же сказал: «Готовьте». Инструменты возьмите мои, в саквояже. И готовьте, готовьте, не будем рассусоливать.

Пронякин не слышал их и ждал, когда они вернутся к нему. Он ждал их с надеждой и страхом и даже обрадовался, услышав, как стукнула дверь внизу. Он не знал, что это Федька с Антоном принесли коньяк, за которым они ходили за восемь километров в Лозню, и решил, что его до утра оставят в покое.

Но дверь отворилась, и вошла сестра. Она включила все лампы в люстре и улыбнулась Пронякину дрожащей улыбкой. За нею вошли врачиха и санитар с носилками, тяжёлый и длиннорукий, с проседью в рыжеватых усах и кудлатой пепельной головой. Он кашлянул в кулак и

подошёл к постели Пронякина. Втроём они стали перекладывать его на носилки — очень бережно и потому очень долго. А когда он снова пришёл в себя, он уже лежал на столе, на боку, накрытый простынёй, и потолок качался над ним. Сестра подняла шприц к свету и выплеснула несколько капель. Потом врачиха отобрала у неё шприц. Потом он увидел хмурое лицо хирурга, который подходил к нему, подняв руки, облитые жёлтым лаком перчаток.

И Пронякин вздохнул, закрыв глаза, и вытянулся, готовый ко всему на свете, готовый опять провалиться с рычанием в лиловую пустоту.

9

А среди ночи он проснулся с тревожным ощущением, что с ним сейчас, вот через минуту, что-то произойдёт. Это ощущение было сильнее, чем свежий надрез на затылке, и отчасти знакомо ему, как будто он на вечеринке хватил лишнего и почувствовал себя скверно и надо побыстрее, пока ещё что-то соображаешь, выбраться — через стулья и колени соседей — на свежий воздух, иначе потом не оберёшься стыда. Но тут опять боль взялась за него и не отпускала. Он хотел позвать сестру и не мог позвать, потому что перехватило дыхание.

Вокруг была темнота — наверное, все ушли и плотно прикрыли дверь,— и он не понимал, откуда берутся голоса, которые доносились к нему глухим бормотанием. Он догадался, что их там трое: сестра, врачиха и ещё как будто та девочка, что работает на отвале; она теперь что-то рассказывала им, а они расспрашивали. Её голос был самый звонкий, но она проглатывала слова, и он различал только своё имя. Но по тому, как она говорила и как дрожал её голос испугом, сожалением и затаённой, стыдной для неё самой, радостью, он понял, что она рассказывала им, как он не взял её с собой в карьер.

— Треплются бабы,— сказал он самому себе, мысленно усмехаясь.— Надо же бабам потрепаться.

Дыхание опять вернулось, и, должно быть, вернулся голос, но он не стал звать сестру. Боль начала утихать. И он понял вдруг, почему молоденькая сестра боится

остаться здесь одна этой ночью. Он был уже слишком обессилен, чтобы эта мысль могла его потрясти или напугать. Кто-то из них встал и вдруг оказался очень близко, и он нарочно старался дышать громче и ровнее; ведь они, наверное, хотели слышать его дыхание.

Они опять забормотали там, за глухой стеной, но он уже не прислушивался к их разговору, он прислушивался к тому, что происходило в нём самом. Если б он мог увидеть сейчас своё лицо, он бы узнал, что трудная складка возле его рта наконец разгладилась.

Ну что ж, они для того и оставили тебя, чтобы ты побыл один, если уж всё равно ничего не поделаешь. Подумай, ведь ты и работу выбрал себе такую, чтоб быть одному в кабине, наедине с машиной и дорогой. Так и теперь случилось. Но если ты жил, хотел и добивался, если ты что-то делал и любил то, что ты делаешь, и кому-нибудь становилось от этого теплее, тогда ты можешь умереть один, в тёмной комнате, не сказав никому ни слова прощания или раскаяния. Тебе случалось видеть, как умирают, да и рассказывали об этом достаточно, и, право же, в этом ничего красивого не было. К тому же все они говорили какую-нибудь чепуху. «Сухо» или «Давит, братцы...». Только один сказал что-то хорошее: «Вот лето придёт, к морю поедем»,— да и тот, наверное, бредил. Это ведь уже не слова, а так, болтание слабеющим языком, голова тут ни при чём, и жизнь тоже. Ну так и не зови к себе никого, ты только напугаешь их, а завтра все будут на разные лады повторять и перекраивать то, чего ты вовсе и не хотел сказать...

Так или иначе думал он, в одиночку справляясь с болью.

А в комнате над ним горел яркий свет, очень яркий сейчас, потому что его давно выключили во всех домах посёлка, и люди находились рядом — врачиха, сестра и приезжий хирург, и не было никакой девочки, что работает на отвале,— они сидели вокруг, не сводя с него глаз и прислушиваясь к его замирающему дыханию. Но он не видел и не слышал их, хотя они разговаривали громко. Он видел и слышал своё.

Ветер опять шумел в мокром лесу и хлопал форточкой о косяк, где-то близко прошла по грязи машина, косые отсветы фар заплясали на стенах, ломаясь на по-

толке. Потом стихло, и чей-то охрипший голос сказал: «Ну, кажется, всё... теперь не остановишь».

Внезапно кто-то невидимый рванул койку и приподнял её на метр от пола. Пронякин схватился за край ватной рукой и тут же потерял эту руку. У него снова перехватило дыхание. И сильно зашумело в ушах. Но он почувствовал отчётливо, как вся комната, где бродили отсветы фар, повернулась и стала кружиться, как это бывает в сильном опьянении. И только кровать висела неподвижно. Но потом и она закачалась, как на волне, когда лежишь в носу лодки и смотришь в небо.

И вдруг она поплыла вперёд, как лодка, и бесшумно преодолела пределы комнаты. Подул ветер, и тьма начала проясняться, приобретая серо-голубой цвет глины в карьере. Он плыл, покачиваясь, в эту даль, над мокрым лесом и над дорогой, петляющей по склону, и ему становилось всё легче, всё спокойнее, уже почти исчезло воспоминание о боли, когда началось мучительное падение. Его ничем нельзя было остановить, не за что схватиться, а земля стремительно приближалась, разрастаясь к горизонтам, и казалась всё твёрже, всё страшнее. Он молил теперь об одном: чтоб его отнесло на деревья и чтоб ветви ослабили удар.

Вдруг чей-то голос, гулкий, будто в длинной трубе, закричал внизу:

— Падает, падает пульс... Вы чувствуете?

Он почувствовал только, что его несёт на деревья, и обрадовался. И это было последней радостью. Потом что-то прохладное, шелковистое окутало ему лицо, и он подумал, что это листья, холодные и трепещущие от ветра.

10

В тот день, когда серый почтовый вездеход-«фургон» увозил Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, в тот день пошла наконец большая руда.

Ближе к рассвету подул сильный восточный ветер, который подсушил глину в карьере и разогнал облака. Ранним утром показалось солнце, впервые за эти дни предосенних дождей; оно заискрилось в огромных лужах, подёрнутых рябью, и склоны карьера покрылись толстой

потрескавшейся корой. К забою, где работал Антон, подползли ещё четыре экскаватора, которые два часа кряду, наступая и пятясь, расширяли пятачок открытого рудного тела. Шпур, заведённый на глубину в пять метров, выбросил взрывом чистую руду.

Тогда в карьер по бетонке, старательно расчищенной бульдозерами, спустилась первая смена самосвалов. А ещё через полчаса первая машина — самосвал Мацуева — показалась в выездной траншее. За ним шли Косичкин, Меняйло, Выхристюк, Федька Маковозов и водители других бригад, которые пока оставили вскрышу и перешли на вывоз руды. Их провожали глазами тысячи жителей посёлка, облепивших берега и склоны карьера, крыши экскаваторов и фермы кранов. Маленький самодеятельный оркестр ударил во всю мощь молодецких лёгких, и на радиаторы первых машин посыпались охапки цветов.

Выехав из траншеи, Мацуев по привычке повернул было к отвалу, но ему со смехом указали новый путь сотни людей, стоявших шпалерами вдоль шоссе. И машины повернули к лесу, за которым высились корпуса дробильной фабрики. В одиннадцать часов была разрезана ленточка, и загрохотала щековая дробилка.

Шла большая руда, брызнувшая фонтаном из вспоротой вены Земли. Она переполняла ковши экскаваторов и кузова машин и неслась, летела по шоссе бесконечной вереницей ревущих самосвалов. С двух сторон подъезжали они к опускному колодцу, упираясь колесами в деревянный брус и поднимая кузова, и руда, разом дрогнув, срывалась и падала, падала в разверстое жерло бункера. Она высекала искры из стальной обшивки, и в тёмной глубине медленно подскакивали многопудовые глыбы, прежде чем улечься на зубья транспортёра.

Солнце, пробиваясь в щели навеса, сияло на оловянных медведях, и кузова, испачканные бурой пылью, горели, будто кованные из червонной меди.

Шла большая руда и где-то внизу, на глубине в десять метров, попадала в щековую дробилку, которая с хрустом размалывала и перетирала многопудовые глыбы, двигая справа налево гигантскими челюстями. Оттуда, из тёмной пыльной глубины подземелья, резиновая лента, похлёстывая на катках, несла её наверх, на гале-

рею, откуда она должна была трижды низринуться в конусные дробилки и трижды подняться вновь, чтобы в последний раз просеяться мелкой бурой крупой в подставленную платформу эшелона.

А в четыре часа пополудни паровоз, украшенный цветами и кленовыми ветками, дал торжествующе-долгий гудок и потащил первые двенадцать вагонов лозненской синьки. Люди шли за ним вдоль полотна, а потом и по шпалам и бросали цветы и ветви, расставаясь с вагонами, пропадавшими за поворотом в лесу.

Впереди толпы шёл молодой высокий парень в бостоновом пиджачке внакидку, в кепке, надетой козырьком назад, и пел, выкрикивая слова, нещадно мучая струны покоробившейся гитары; на лбу и на шее у него, напрягаясь, багровели жилы:

Двери славы! Ах вы, дверцы узкие...
Но как ни были бы вы узки,
Всё равно войдём мы все, кто в Курске,
Ах, добыва-ал железные куски!..

Девчата висли у него на локтях и подпевали, смешливо заглядывая ему в лицо:

А судьба моя —
Судьба завидная.
Притянула меня
Земля магнитная!..

Маленький паровоз непрестанно гудел утробным басом и мчал руду в южнорусскую степь, мимо тенистых рощ, перелесков и хуторов, мимо полей, речек и лугов с задумчивыми коровами и собаками, подбегавшими к насыпи с бесшумным лаем, мимо шлагбаумов и дорог с пыльными, навьюченными машинами и девчат, спивающих песни в деревнях, настоянных предвечерним покоем.

Шла большая руда, и шофер, который вёз Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, очень торопился. Он должен был сдать тело, а потом ещё заехать на фильмобазу и заполучить картину поновее, пока не расхватали другие рудники и заводы. А дорога была вся в рытвинах и величавых лужах, обыкновенная «грунтовая средней проходимости». Иногда машина застревала

в грязи, и тогда он вылезал, брал лопату и, стараясь не глядеть в кузов, швырял под колёса подсохшую землю с обочины. При этом ругался он почти шёпотом.

На повороте к Симферопольскому шоссе ему повстречалась старая кофейная «Победа» с шахматным ободком, тяжко переваливающаяся с боку на бок. Они поравнялись и стали дверца к дверце.

— Друг,— сказал водитель такси, в фуражке с «крабом»,— Лозненский рудник знаешь?

— Сам оттуда.

— А далёко ли?

— Гляди прямо,— сказал водитель «фургона», не оборачиваясь.— Деревушку на горушке видишь? С церковью.

— Ну?

— Ну так это Лозня. До неё по-человечески восемь, а по спидометру все пятнадцать. Чуешь? А до рудника ещё семь. Там покажут добрые люди. Четыре кирпичных блока, десять бараков, остальное — «шанхай». Это и будет Рудногорск.

— Дорожка, значит, тово?..

— Скатерть! — сказал водитель «фургона».— Обрати внимание на мои борта.

В машине сидела женщина. Сквозь стекло ему видно было, что она едет с вещами и что ей тесно среди этих вещей.

Женщина опустила стекло и выглянула. Она была красива бойкой красотой парикмахерш и продавщиц. Но если б он посмотрел внимательнее, он бы заметил усталость в её глазах и морщинки вокруг чуть припухших губ, которые бывают у добрых женщин.

— На работу? — спросил водитель «фургона».

Женщина ему нравилась. Он с удовольствием сел бы на место водителя такси и уступил бы ему своё место.

— Да ещё не знаю,— сказала женщина.— Пока что к мужу. Он там у вас на «МАЗе» работает.

— К мужу? — спросил водитель «фургона».— Тогда другое дело. Везёт же кому-то!

Он не то что хотел ей польстить, он просто хотел бы работать на самосвале. Но женщина кокетливо улыбнулась и тронула рукой мелко завитые волосы.

— Праздничек сегодня у вас? — спросил водитель такси.— По радио-то нынче объявляли.

— Да уж, праздничек.— Он не отрываясь смотрел на женщину. Она опять улыбнулась ему.

— Шумят небось? — спросил водитель такси.— Гуляют?

Водитель «фургона» пожал плечами, холодно заметил:

— Кто и погуляет...

И отпустил педаль сцепления. Шла большая руда, и он очень торопился и не хотел вдаваться в подробности.

Подробностей этой истории не было и в газете, которая как раз подоспела к митингу. На первой полосе был помещён большой снимок бригады. Они улыбались. И Пронякин улыбался тоже. Но он улыбался другой улыбкой и был неловко подвёрстан к плечу Мацуева, потому что клише пришлось изготовить со старой фотографии Пронякина, которую Антон разыскал в его тумбочке. На этой фотографии он был в новой шляпе, которую, конечно, отрезали, а вместо неё подретушировали причёску, отчего он и вышел на снимке жгучим брюнетом. Этот номер хранится у многих в Рудногорске, и очень юный брюнет в модном галстуке, с папироской в углу рта, странно выделяется среди комбинезонов и ватников.

И мало кто помнит его таким, каким он был в тот сентябрьский ветреный день, когда он стоял на поверхности земли, над чашей карьера.

1961

Послесловие автора к изданию 1984 года

Эта повесть написана 29-летним автором в лучшую пору «оттепели»; перечитывая её сейчас совсем другими глазами, я не нахожу, что в ней поправить, обогатить последующим опытом; запечатлённая в ней иллюзия времени, на мой взгляд, не менее ценна и поучительна, нежели мудрость позднейшего отрезвления.

«Через двадцать лет никто за здорово живёшь не станет ломать себе шею» — так говорит один из персонажей, подводя итог жизни и смерти Пронякина. И, подумав, добавляет: «А впрочем, чёрт его знает...»

Двадцать четыре года спустя я точно знаю — не станут.

Участь Пронякина тогда представлялась отчасти и жалкой: ну можно ли ставить голову на кон ради ковша руды, пусть даже и самой богатой в мире, пусть даже и первой на всей Курской аномалии? И отчего с такой страстью прилепился он к развалившемуся «мазику»? И что хорошего нашёл в убогом проплёванном Рудногорске, с которым бесповоротно связал свои надежды и планы? Теперь, когда на какой-нибудь БАМ или КамАЗ гонят по спецнабору, заманивают двойными и тройными окладами, апельсинами и дублёнками, та участь кажется мне даже величественной. И я спрашиваю себя: неужели такое было? Разве могло быть?

Но ведь нашему народу не много и надо. Посвети ему солнышко благих перемен, повей ему только запах свободы, исполнись для него хоть одно из обещаний и обещаний и обещаний, хоть малое послабление от нескончаемых тягот,— и вот уже энтузиазм, и песни на вокзалах, и поезда увозят романтиков осваивать азиатскую целину или Алтайские горы, и люди так просто ломают себе карьеры и шеи, мечтают о новых городах,

построенных своими руками, засыпая у костров и кормя собою таёжного гнуса.

Но — «единожды солгавши, кто ж тебе поверит». Так — после сталинского великого ГУЛАГа — можно было поступить с народом только раз. Вторично обманутая вера — уже не воскреснет. В эти двадцать четыре года как раз уложились: закат хрущёвской нервической реформации, тупая и медленная брежневская давильня, андроповская опричнина и судорожные его довороты гаек с давно сошедшей резьбой, теперь — безличностное монгольское царствование Черненки... Радетели наши вдоволь и всласть потрудились на ниве народолюбия, чтоб истоптать робкие подснежники до корней, всё синенькое и зелёненькое сделать одинаково серым. Никак не устанут они совершенствовать человеческую породу, добиваясь немыслимого — чтобы и личностей не было, и великая держава была, и подвиги совершались. И всё кажется им — достаточно вырезать «фрондирующий элемент», и остальное — уладится. Но ничего безнаказанно отторгнуть от тела нации нельзя. Когда из Москвы гонят в бессудную и бессрочную ссылку неугодного академика, а где-нибудь в Сызрани или Хабаровске кривая алкоголизма ещё набирает крутизны, в этом не видится никакой связи, но почему-то оба эти процесса происходят одновременно... И вот нелепый энтузиаст Пронякин глядит на меня точно с другого берега — живым анахронизмом, вехою времени, отлетевшего навсегда.

Однако ж «Большая руда» — не только иллюзия, она ещё и трагедия, а значит — и некое предвидение, прозрение. И в этой связи по меньшей мере два неосновательных представления об этой повести я хотел бы здесь оспорить. Одно из них состояло в том, что судьба её в СССР сложилась более чем благополучно, что она стала бестселлером, то есть издавалась многократно. Действительно, переведенная на семнадцать языков, поставленная в кино, в театре, на радио, на телевидении, удостоенная ста двадцати статей и рецензий, бессчётно упоминаемая, эта повесть, казалось бы, и не могла иметь другой судьбы. Однако, не считая публикации в «Новом мире», она издавалась всего дважды, с разрывом в десятилетие, тиражами вовсе не колоссальными для самой читающей страны мира... Всё же властям предержащим

не откажешь в проницательности: спинным ли мозгом или гипоталамусом они чувствовали — что-то там было «не то». Самые доброжелательные не понимали, почему герой погибает, и требовали «оживить» Пронякина; на свете ведь много людей, не подозревающих, что смерть — ещё не самый худший исход. Коротко сказать, «Большую руду» не приняли, а — стерпели. Ещё не хотелось ругаться с Твардовским, недавно принявшим тогда «Новый мир». Не хотелось портить кампанию любви к молодым. К тому же учли, что перелицованные тексты инсценировок и сценариев имеют, в конце концов, мало общего с самой повестью, даже скорее уводят от неё в сторону, и способ избрали, ввиду либеральных веяний, пристойный: автора — похвалить, читателя — не развращать.

Другое представление было — насчёт «попадания в точку». «Большая руда» многим казалась случайностью, с неба свалившимся подарком — в виде удачного сюжета, выпавшего молодому критику во время его командировки за очерком. Мне даже неловко доказывать, что ничего случайного в литературе не бывает, лестные для автора тогдашние разговоры, что он как бы миновал период ученичества,— это лишь комплименты, до «Большой руды» я перепробовал многие жанры; попросту больше мне повезло с литературно-критическими статьями, которыми я даже составил себе некоторое имя. Что же касается моей командировки на КМА, во время неё ровным счётом ничего особенного не случилось, никакого сюжета мне не выпало, историю горемыки-шофёра я выдумал от начала до конца, вложив в неё весь предыдущий личный опыт,— разумеется, не шофёрский, я тогда не водил машину,— гибель же Пронякина возникла из общего трагического ощущения Курской Магнитки как молоха, перемалывающего людские судьбы, и ещё — от ощущения зыбкости наших благих и, как многим казалось, необратимых перемен.

Что мне исключительно повезло, казалось даже такому зрелому, оригинальному мастеру, как Василий Шукшин, который своим друзьям говаривал с досадой, что это он должен был написать «Большую руду»,— точно бы она лежала у всех на дороге, и надо было лишь догадаться её поднять. Увы, никто никогда ничего ни за

кого не напишет, как не написали «Верного Руслана» двенадцать авторов, которым казалось, что они владеют необычайно выигрышным бродячим сюжетом, на самом деле — моим. Однако мысль об упущенной им находке беспокоила Шукшина, по-видимому, до самой смерти. Своей лебединой песнью, «Калиной красной», он откровенно соперничает с «Большой рудой» — нарочито сближая фамилии: Пронякин — Прокудин, назначая герою ту же профессию шофёра, в наш век всем понятную и библейски простую, как на заре цивилизации — пастух, рыбак; пронякинские путеводительные ориентиры — яблоньки — преобразились в берёзки, ориентиры символически жизненные; о сходстве-соперничестве говорит и решительность, с которой герой связывает себя со случайно встреченной женщиной. Слава богу, Шукшин создал совсем другое, даже прямо противоположное. Его личный опыт, воплотившийся в Прокудине, состоял в невозможности быть одному, оторваться от мафии — «малины», с которой связывают прошлое и неоплаченные долги. Пронякин же никому ничего не должен, ни с каким сообществом людей не связан ничем — разве что смутно чувствуемой потребностью приобщиться; одиноким является он и одиноким уходит в свою смерть (в чешском переводе повесть и называлась «Кто ездит один»), даже не видя в этом особенной трагедии, находя всему оправдание...

Сдаётся мне, «Большая руда» так и не была понята до конца в своё время, когда о ней столько говорили и писали. Простая немудрящая история — а сколько недоумений вызвала у нашей многоопытной критики, равно и печатной, и кулуарной. Сколько ярлыков вешалось на Пронякина — побывал он и «летуном», и корыстолюбцем, и штрейкбрехером, и прямым потомком хемингуэевского Гарри Моргана («Иметь и не иметь»), и «героем нашего времени», и «человеком из будущего»,— но, как справедливо заметил Лев Аннинский, лучший из моих критиков, «ярлыки болтались на его тени; теней было столько, сколько точек отсчёта, сам же Пронякин неуловимо ускользал от исследователей». Сам Аннинский четырежды подбирался с анализом к «Большой руде» и вот на чём утвердился окончательно: «Человек, осознавший себя личностью, либо ломается, либо ломает себе шею».

Это — энергичная дилемма, но не ещё ли один ярлык на тени?..

Труднее же всех отчитаться в своём замысле — автору. Недаром же Бальзак приравнивал авторский комментарий к честному слову гасконца. Единственное, что может автор сказать определённо,— чем ему дорог его герой. Мне в Пронякине дорого то, что рассчитывает он лишь на себя, на свои силы, что, погубленный ближними, он никого из них не винит, никому не бросает упрёка, одному лишь себе. В этом уже есть проблеск надежды: значит, ему — дано. И дано — свыше. По темноте своей атеист, не задумывающийся о Боге, он несёт в душе искру с небес, а это в человеке — неискоренимо, ибо земной власти не подлежит.

Мы связываем наши надежды на кардинальное обновление в России то с позицией Запада, то с трезвыми «голубями» в правящей верхушке, то с внутренними скрытыми силами — такими скрытыми, что сами о себе не ведают. Не мне знать, сбудется ли хоть что-то из наших надежд и скоро ли. Но — выдвигается из туманной мглы глазастое, заляпанное грязью рыло самосвала, натужно ревёт двигатель, рустованные шины упрямо жуют дорогу, и сквозь мокрое стекло смотрит водитель, улыбающийся себе самому. Для чего-то нужно ему позарез вывезти этот злосчастный ковш, и ради этого снова и снова поставит он голову на кон.

Не потому, что за это — награда. А потому, что сам он, как кажется мне, человек на все времена.

Июль 1984. Зандфорт, Голландия

✦

РАССКАЗЫ

✦

ВСЕ МЫ ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕГО

В эту зиму выпало много снега. С тех пор как Алёша перебрался жить в Шереметьевку, снег падал каждый день. Он опускался хлопьями, сыпал невидимой крупой, летел в конусе фонаря косой мерцающей сетью. И к февралю двоим на тропинке стало не разойтись, им приходилось обниматься, уступивший — проваливался выше колена. За стенкой хозяйка объясняла соседке, что нынче перестали испытывать атомные бомбы, всё от этого, и сыпать будет до Троицы.

Алёша вставал, когда за окном ещё было сине, и выходил в сад обтираться колючим снегом. Но всегда кто-нибудь просыпался раньше — он видел свет в окошках, слышал скрежет шагов и сырые непроспавшиеся голоса. Это спешили к электричке работавшие в Москве. Алёша тоже спешил, но о Москве старался не думать. После зарядки воздух в комнате казался ему слишком тёплым и кислым,— он распахивал фортку пошире, натягивал на горящее тело фланелевую ковбойку и принимался готовить на керогазе овсянку и кофе.

Он ел быстро и думал уже о другом. Потом он сдвигал посуду на край стола и, постелив газету, раскладывал на ней тетради и записные книжки, стопку линованной бумаги, ставил большую консервную банку — пепельницу — и вдвигался в стол вместе с табуретом. Он знал, что никто не придёт к нему и не будет писем. Иногда ему сильно хотелось того и другого, но он сам сделал всё, чтобы разыскать его мог только тот, кто очень захотел бы его видеть.

Так он сидел, не вставая, до часу дня, но в час отодвигался от стола и выходил пощупать снег — чтобы решить, какие мази положить сегодня. Потом возвращался в комнату и, достав из угла лыжи, развинчивал струб-

цину. Одну мазь из круглой коробочки он клал слоями на всю скользящую поверхность, другую — под пятку, и отдельно промазывал желобок. Напрягая плечо, так что оно становилось горячим, он растирал мазь пробкой и разглаживал до глянца ладонью. Выставив лыжи на холод, чтоб затвердело, натягивал бумажный свитер, подвязывал брюки снизу верёвочками и надевал толстые ботинки.

Перед тем как выйти, он сидел у окна и выкуривал сигарету. Это были минуты предвкушения. Он думал о том, как сегодня в лесу и какое будет скольжение. Потому что снег очень редко повторялся в зиму: он мог быть крупным и льдистым, как толчёная соль, или рассыпчатым и шелестящим, как крахмал, или он был с плоскими сухими блёстками кварца, которые с звенящим шорохом осыпались с кольца, а после оттепелей — ноздреватым и серым, как траченный молью бархат, и сильно царапал мазь. Но бывали дни,— за всё время он помнил два таких дня,— когда лыжи шли сами. Это бывало, когда пушистые хлопья опускались на жёстко раскатанную лыжню, и тогда исчезала всякая отдача. Стоило шевельнуть ногой или слегка оттолкнуться палкой, и лыжи скользили легко и беззвучно в этой снежной сметане. В такие дни он бегал не два часа, а три или больше — и не мог победить усталостью ощущение полёта.

У него было несколько разработанных маршрутов, километров по двадцати, и все они начинались с того, что он ещё у крыльца защёлкивал дужки креплений, отбрасывал палкой калитку и, понемногу раскатываясь, проезжал по улице. В нескольких окнах приподнимались занавески, и всякий раз Алёша смутно чувствовал себя бездельником. За угловым забором его ожидала собака. Он жил здесь уже два месяца, но каждый раз при его приближении она уже мчалась к забору, косолапо взрывая снег, с оглушительным медным лаем. Он любовался её остервенело наморщенным носом и чёрно-лиловой пастью с жемчужными клыками. В её злобе было что-то глубоко личное, точно он утопил её щенков или вынашивал замысел подпалить будку.

Но вот он сворачивал в глухой переулок и сразу въезжал в лес — в запахи мёрзлой хвои, смолы и снега. Он напоминал Алёше запах свеженакрахмаленной сорочки,

только чуть кисловатый и терпкий. Шереметьевка не была «Меккой лыжников», как Подрезково или Опалиха, сюда они приезжали только по воскресеньям. Тогда лес наполнялся визгами и ярмарочной пестротой костюмов. Алёша не любил эти дни и этих лыжников, они были слишком экипированы, чтобы быть хорошими лыжниками. Они раскатывали несколько новых лыжней, но сами же их и портили, когда ходили по ним, сняв лыжи и держа их на плече. Он тихо ненавидел тех кретинов, которые ходят по лыжне без лыж, хотел понять таинственный ход их мысли. Но нет, это было непостижимо.

Он бежал густым молодым ельником, слыша только скрип и хлопанье своих лыж, толчки палок в сугробе и своё дыхание. Потом начался высокий бор, с золотистыми стволами и тёмными кронами. С веток срывались вдруг охапки снега, блёстки медленно оседали, и ветка долго ещё потом качалась. Тогда казалось, что кроме Алёши ещё кто-то есть в лесу. Но он знал, что никого нет, только иногда очень низко пролетали самолёты. Их тени быстро скользили между деревьями и по ветвям, и в лесу начиналась обильная осыпь.

Лыжня впадала в берёзовую аллею,— здесь кончался сумрак, и впереди виделось поле, пересечённое дорогой, и бегущие по ней машины. Алёша выбегал из лесу, и сразу на него набрасывался ветер, обжигал ему щёку и мочку уха, не прикрытую шапочкой. Лыжня делала огромную петлю, упиралась в снежный вал, оттиснутый бульдозерами, и бежала рядом с дорогой, вместе с нею огибая лётное поле. Поверх вала видны были две широкие взлётно-посадочные полосы, пропадавшие в дымчатой дали, и белые туловища самолётов, уткнувшихся носами в густой сизый лесок.

На круглой площади перед аэровокзалом Алёша снимал лыжи и входил с ними в тесный буфет. Уже стало привычкой выпить здесь молока из запотевшего стакана или пива — смотря по тому, какой был снег. В буфете было накурено, пролитое пиво блестело на круглых столиках с покрытием из пластика «под мрамор». Здесь перекусывали наспех аэродромные механики, подолгу сидели мужики из окрестных посёлков и деревень, часто с корзинами и мешками около ноги, заходили шофёры

спросить «полтора ружья» — и буфетчица ставила им на стойку по сто пятьдесят «Охотничьей». Пилоты и стюардессы сюда не ходили, у них было своё прибежище наверху.

В окно видна была треть гигантского крыла с гондолой двигателя и половина корпуса. Отсюда казалось, что самолёт стоит на привязи у ограды перрона и не может сам развернуться. Он не принадлежал земле, он хотел в небо и мучительно ждал, когда же люди наедятся, накурятся, наговорятся и выйдут помочь ему. Призыв был так явственен и красноречив, что Алёша ему подчинялся и выходил, едва допив своё из стакана.

Он любил провожать самолёты. Это входило в программу ежедневных его пробегов — постоять на перроне, в нешироком пространстве для провожающих, между вокзалом и стальной низкой оградкой. Ему нравилось думать, что и он когда-нибудь полетит. Это было похоже на подзарядку аккумуляторов.

В этот день на поле было несколько старых машин, на которые никто особенно не смотрел, и два новейших четырёхмоторных лайнера. Длинные керосиновозы ползали у них под крыльями, поили из толстой гофрированной кишки, а люди расхаживали по крылу, открывали и закрывали какие-то лючки, и уборщица в синем комбинезоне стирала пыль тряпкой, навёрнутой на обыкновенную метлу. Лайнеры стояли покорно, вытянув подслеповатые рыла и задрав к небу хвосты, острые, как плавник акулы.

Чей-то голос за спиною Алёши лениво спросил:

— Наш какой, ближний?

Он обернулся и увидел трёх молодых людей в модных широких пальто с поясами, в тёмно-коричневых пушистых ушанках, в белых фетровых бурках. Всё, что было на них, не покупалось нигде, оно *доставалось.*

— Нет,— ответил второй.— Наш дальний.

Третий молчал, покусывая маленькую губу и заложив руки за спину. У него был уверенный взгляд доброжелательных тёмных глаз и лицо человека, который не позволяет себе ошибаться и делать что бы то ни было лишнее. На самолёты он смотрел, как смотрят на дрожки или такси, поданные к подъезду, сказать вернее — на персональную машину с личным шофёром.

— Какими судьбами? — спросил рядом, у Алешиного плеча, женский голос, и тотчас его взяли под руку. Ещё прежде, чем он узнал этот голос, он почувствовал, как стало жарко лицу. Как будто его застигли на чём-то не слишком пристойном. Вот уж кому он меньше всего хотел попасться на глаза, и не попался бы, если б не загляделся на этих троих.— Почему ты здесь?

Она была в серой шубке и такой же шапочке и без чемодана или сумки, как будто провожала кого-то, но могло быть, что её багаж отвезли к самолёту на транспортёре.

— Исчез! — сказала она с упрёком.— Не показываешься. Что случилось?

— Да так... Что могло случиться?

Она стала рядом, он слышал щекой её дыхание. Те трое смотрели на неё в упор, как можно смотреть лишь на свою знакомую. Оказывается, она была с ними.

— Борис! — позвала она.— Познакомься, пожалуйста. Это мой старинный друг. Сто лет назад мы с ним учились вместе.

Борис — тот третий — подошёл, снимая кожаную перчатку на меху, и поднял к Алёше спокойно-внимательное лицо. Таким же точно взглядом он смотрел на самолёты.

— Очень приятно,— сказал он.— Весьма рад.

Он ждал, что его о чём-нибудь спросят.

— Я побуду здесь,— сказала она. Неуловимо в её словах прозвучала просьба отойти.

— Ничего не имею против,— сказал Борис.— Только поправь шарфик, ещё простудишься, не долетев до Сибири. Где это гораздо удобнее.

Он сам поправил ей шарфик, в этом не нуждавшийся, и отошёл, кивнув.

— Я не знал, что ты вышла замуж,— сказал Алёша.— Тебя можно поздравить?

Она слегка смутилась.

— Я ещё не вышла. Это не так быстро делается. А ты работаешь? Придумалось что-нибудь?

Он, усмехаясь, провёл рукою по лыжам, пряча от неё взгляд.

— Что я могу придумать... За всю историю человечества люди, наверно, не придумали ничего лучшего, чем

вот эти две планки из дерева и палки с кольцами. Это я говорю тебе по опыту.

— Я знаю. Ты всегда говоришь по опыту. Очень богатому, но несколько однообразному. Почему-то всегда застаю тебя в середине пути, никогда — в победоносном конце. А деньги у тебя есть?

— При себе — нет, конечно. Была вот трёшка, да вышла. А сколько тебе нужно?

Она посмотрела долгим и косым ироническим взглядом и вытянула из рукава тонкую руку с крохотными часиками.

— У нас ещё полчаса до посадки. Пройдёмся?

Они прошли немного и стали у перил. Алёша счистил снег варежкой, но она не рискнула прислониться, только положила руки. В перчатках они казались ещё меньше, чем были.

— И куда же вы путь держите? — спросил Алёша.

— В Иркутск. А оттуда в Братск. Шеф посылает на два месяца. Дадим совместные репортажи, с продолжениями, какие-нибудь очерки о героях...

— Там интересно, должно быть.

— А ты хотел бы слетать? Это можно устроить.

Он дёрнул плечом.

— Я не о себе говорю, у меня — своё.

— Счастлив ты. Ну, а у меня своего нет. Просто захотелось романтики, куда-то лететь. Как-то скучно стало в Москве... без некоторых. Скажу честно.

Этих «некоторых» он как бы не расслышал или не отнёс к себе и заметил:

— Ты изменилась. Немножко.

— К худшему?

— Скорее наоборот.

Она повернула голову — так, чтоб он мог рассмотреть короткую стрижку и перламутровую клипсу.

— Так модно теперь? — спросил он. Свинством было бы не спросить.

— Угу. Это называется «мальчик без мамы». Хорошо?

— Очень здорово. И тебе идёт серое. Ты становишься деловой женщиной.

— Алёшка! — вырвалось у неё печально.— Ведь и твои годы уходят. Сколько бы вы, мужики, ни петушились, а тоже ведёте счёт годам.

— Даже больше. Счёт ведём — дням.

Этот намёк на что-то решающее она уловила.

— Хочешь сказать: вступил в «пусковой период»? Какой по счёту?

Он промолчал.

— Что же мешает тебе? — спросила она.— Почему не живёшь, как все другие?

Он видел её профиль, опушённый светом зимнего солнца. Она повернулась — и свет проник сквозь ресницы и таял в глубине её зрачка, а белок был блестящим и светло-оранжевым. Он вспомнил, как он впервые уходил от неё на рассвете, чтобы не доставлять радости соседям, но ворота были ещё закрыты, и он стоял в глубоком колодце двора, задрав голову, глядя на её распахнутое по-летнему окно на третьем этаже, страстно желая, чтоб она выглянула. Она выглянула, смеющаяся и сонная, и бросила ему кусок булки, сказав беззвучно, преувеличенно растягивая губы: «Чтобы ты не умер с голоду, бедненький...» Он послал ей воздушный поцелуй и полез на ворота с булкой в зубах. Он был счастлив тогда, и дворники на него не свистели. Он вспомнил это и заставил себя отвести взгляд — туда, где пёстрая вереница отлетающих, растягиваясь по полю, шла под матово-серебристое брюхо лайнера.

— Я живу, как все,— сказал Алёша.— Мне ничего больше не нужно.

— Но ты же бедствуешь! Скажи правду, бедствуешь?

— Ну, это не совсем так. На сигареты хватает. И даже ещё остаётся на пиво. И лыжи не скоро ещё износятся.

— Ты кроме лыж,— спросила она,— и кроме своих дерзновенных замыслов, ещё о чём-нибудь способен задуматься?

— «О чём-нибудь» — это значит о тебе?

— Хотелось бы, не скрою.

— Да,— сказал он честно.— Мне очень не хватает тебя. Но я не люблю, когда меня оплакивают.

— И поэтому исчез?

— Ты могла бы меня найти, если бы очень захотела.

— А я не привыкла искать,— сказала она с лёгким раздражением и надменно.— Я привыкла, чтобы меня искали.

— Танечка! — тотчас, как в подтверждение, позвали её от дверей вокзала. Там стоял Борис. Он что-то жевал и держал кусок двумя пальцами на отлёте.— Не желаешь присоединиться? Обнаружены приличные злаки и совсем не плохая жидкость. Вас,— обратился он к Алёше,— тоже приглашаем. Хотя вы на лыжах.

Это «хотя» неуловимо отменяло приглашение.

— Собутыльничайте одни,— сказала она.

— Не слышу!

Она слегка нахмурилась и сказала с нажимом в голосе:

— Я побуду здесь!

Он согласно кивнул и ушёл.

— Я звонила в наш институт,— сказала она, помолчав.— Петровский мне сообщил, что ты сменил кафедру на заочную, будто бы подрабатываешь на заводе. Зачем ты это сделал, Алёшка? Тебе же было там неплохо и не так много времени отнимало.

— Что ещё сказал Петровский? — спросил Алёша.

— Что он сомневается, вытянешь ли ты кандидатскую. А ведь это последний, кто в тебя верил.

— Не совсем точно,— сказал Алёша.— Последний — это я.

— А я? — спросила она.— Но это же всё равно, что верить в сумасшедшего. Надеюсь, ты всё-таки не порвёшь совсем с аспирантурой?

— Аспирантура — бог с ней. Тем более заочная. Но в полном вакууме жить нельзя, это ты верно, старуха...

— Почему же ты всё бросил?

— Я ничего не бросал,— сказал он устало, глядя, как разгоняются винты самолёта.— Я ни одного своего корабля не сжёг, я к ним вернусь. Но не сейчас. Придёт время.

Турбины лайнера взвыли со свистом, стронули его с места, и, развернувшись, он потащился к взлётной полосе. Он полз, пошатываясь, и что-то в нём напоминало орла, бредущего по камням,— одновременно сила и беспомощность.

— Ты напал на жилу? — спросила она.

— Что-то вроде этого,— ответил он не сразу.— Скорее, она на меня напала.

— И хоть кому-нибудь ты показывал, над чем ты сейчас?..

— Видишь ли,— перебил он,— я могу морочить только собственную голову. Когда у меня будет пятьдесят один процент уверенности, тогда другое дело. Но пока ещё нет и двадцати.

— Жалко... А я всё жду, когда наконец смогу написать и о тебе. Как о новом явлении.

Он рассмеялся тихим смехом.

— Ну, что обо мне напишешь! Я всего-навсего запланированная единица потерь. Таких фортуна швыряет пригоршнями, как игральные кости. Из десяти семеро сгорят вхолостую, двое увидят робкие всходы. Ну, а один, глядишь, чего-нибудь и пожнёт.

— И ты надеешься быть этим одним?

— Я просто хочу быть в этой десятке.

— Но ты же достоин большего!

— Пойди объяви это всем отлетающим,— сказал он, усмехаясь.— Они скажут: «Мы тоже достойны большего!» Я, ты, он, она, оно — все мы достойны большего.

— А как примерно выглядит то, что ты делаешь?

— Ну, если я скажу... Что ты из этого поймёшь?

— Почему же нет? — Она шутливо обиделась.— Мы с тобой оба заняты не тем, чему учились. Но и я ведь была когда-то не чужда...

— Танька! — взмолился он.— Давай о чём-нибудь другом...

Репродуктор на вышке звучно всхрапнул и объявил металлическим контральто посадку на Иркутск.

— Это нам,— вздохнула она.

«Скоро всё кончится,— подумал он.— Ещё несколько минут, и всё кончится».

— Вот, Алёша... Вот я и улетаю от тебя.

— Что же мне пожелать тебе?

Те трое вышли из вокзала со сдвинутыми на затылок ушанками. Они были оживлены и бросали окурки в снег, присыпанный песком и шлаком. Дежурная смотрела на них осуждающе, но почему-то не решалась сделать замечание.

— Танечка, мы пошли! — крикнул Борис. Он встретился глазами с Алёшей и приложил два пальца к меху ушанки.— Надеюсь, вы не надолго её задержите?

— Да нет,— ответил Алёша.— Надолго у меня не выйдет.

— Будьте здоровы,— сказал Борис.

— И вы тоже,— ответил Алёша.

Он смотрел, не отрываясь, в затылок, аккуратно укутанный пушистым шарфом. Но это был один из тех затылков, которые не чувствуют взгляда.

— Что же ты пожелаешь мне? — спросила она.— Впрочем, это я должна тебе пожелать. Это я тебя оставляю — таким, какой ты есть.

Она уже вся была там, с ними, у трапа, только её тёплая рука, тёплая даже сквозь перчатку, случайно задержалась в его ладони. Поняв, что ещё минута, и они навсегда расстанутся, думая только об этом и больше ни о чём, он притянул её к себе и зарылся обветренным, одеревеневшим лицом в её волосы. Он услышал знакомый запах этих волос, и на короткий миг ему представилось, как бы они сейчас вместе, вдвоём, вернулись к нему в Шереметьевку, но тут же он понял, что этого быть не могло никак, никогда, об этом и мечтать запретно, и сжал её в объятиях. За спиною его с грохотом упали лыжи. Она отпрянула, но он держал крепко и поцеловал в губы — поцелуем старинного друга, очень, очень старинного. По крайней мере, он хотел бы, чтоб так это выглядело со стороны. И чтобы она это так и поняла.

— Алёшка! — закричала она шёпотом.— Ты подумал обо мне?

— Я только о тебе и думаю. Просто хотел ему показать, что ты тоже достойна большего.

— Но тебе же дела нет до наших с ним!..

— Не кричи,— попросил он тихо.— Есть же хороший выход. Очень старый и вечно юный. Дать по морде. Но только это нужно делать сразу.

Она упёрлась руками ему в грудь, но он уже отпустил её, почувствовав, как безнадёжно упало сердце. Она быстро поправила сбившиеся волосы, глубоко вздохнув и кривя губы, как от боли. Он хотел найти её некрасивой, неловкой, но это слишком ранило самолюбие. Он слишком привык считать её самой лучшей. Она и теперь была самой лучшей — всё это время, пока он её обнимал, ни разу не посмотрела в сторону самолёта. Даже безотчётного движения не сделала.

— Пойми, дурачок,— сказала она, касаясь его руки.— Всё можно изменить, даже вот сейчас, в последнюю минуту. Но если б ты хоть слово мне дал... Что не будешь мальчишкой, не знающим жизни и никого не желающим слушать. Ведь я тебе добра желаю!

Вдруг стало печально и пусто в душе. Он пытался убедить себя, что всего, что было у них, не могло быть у других, но в это сейчас слабо верилось. Единственное, что знал он наверняка,— что жалеют и в том, и в другом случае: и когда было впрямь, и когда могло быть, но не состоялось.

— Пойдём,— сказал он. И, наклонясь, подобрал лыжи.— Тебе пора.

— И ты так ничего мне не скажешь?

— Всё то же.

Несколько секунд она молчала. У неё задрожали ноздри и влажно заблестели глаза.

— Не думай, я не заплачу.

— Я знаю,— сказал он мягко.— Я тебя за это уважаю.

Молча они прошли эти несколько шагов, мимо толпы провожающих, милиции, носильщиков, дежурных, которые расплывались в его глазах движущимися пятнами. У выхода на поле она спросила:

— Ты напишешь мне? На почтамт.

— Обязательно,— ответил он твёрдо. Так же твёрдо он знал, что никогда этого не сделает.— И ты мне напиши. Смотри, уже пора. Сейчас уберут трап.

Он смотрел, как она идёт — одна по опустевшему полю. Так идут, ожидая пули в затылок или страстной мольбы вернуться. Ему показалось странным, что в его власти сделать так, чтобы тяжёлый лайнер прыгнул в морозное небо без неё. Он подумал, что всё может случиться, все эти игры с небом — бесконечная лотерея с несколькими несчастливыми билетами, и он век себе не простит. Но тут же он высмеял себя: «Ничего-то от тебя не зависело. Кто хочет остаться, тот остаётся и никаких обещаний не требует...»

У трапа она обернулась и помахала рукой. Он знал, что она близорука, и всё же помахал в ответ. Трап отвезли, и стали вращаться лопасти одного из двигателей. Вскоре они стали неразличимы по отдельности, слились в один сверкающий диск, и воздух под крылом задро-

жал, взвилась снежная пыль. Тогда начал раскрутку второй двигатель.

Алёша вышел на площадь и стал на лыжи. Он хотел добраться до леса раньше, чем самолет успеет взлететь. Он бежал, стараясь дышать ртом, чтобы не так сжимало горло, и несколько раз останавливался поесть снега, чтоб проглотить тяжёлый комок. И он не успел добраться до леса. Он увидел, как движется смерч пыли по взлётной полосе, и из сверкающей пыли взмыла гигантская серебристая птица. Она дождалась своего и теперь торжествующе, трубно, утробно ревела, медленно поджимая уже ей ненужные слабые ноги.

Одинокий лыжник бежал через поле, и над ним, над самой его головой, пронёсся огромный лайнер, оглушив его и накрыв крестообразной лиловой тенью. Лыжник поднял голову и увидел длинный ряд круглых окошек вдоль фюзеляжа. «Она смотрит,— подумал он.— И должно быть, кажусь я ей тараканом, ползущим по листу ватмана. А пожалуй, так ей легче прощаться».

У леса он остановился и вытер рукавом мокрое лицо. Лесная тишина успокоила его. Лыжня была синей перед закатом, а по бровкам её лежали тёплые оранжевые блики. Он взглянул на солнце, висевшее низко в зелёном небе, и, свернув, побежал кратчайшим путём, который привёл его к маленькому кладбищу, притаившемуся неподалёку от посёлка, в тени развесистых тяжёлых крон. На трёх крайних могилах стояли пирамидки с привинченными наискось пропеллерами. Под ними приклёпаны были фотографии на фарфоровых щитках: три молодых лица сияли белозубыми улыбками в лицо Алёше. Глядя на эти лица, хотелось сказать себе: «Спеши!» — и расхолаживающе думалось всё о той же лотерее с несчастливыми билетами.

«До лета надо хоть половину сделать,— сказал он себе.— А там — перерыв: что-нибудь грузить, таскать ящики. Главное, чтоб голова была свободна. И ничего больше! Ну, лыжи зимой, без этого не обойтись».

Он стоял на верху длинного и прямого спуска и думал о том, как вернётся в Шереметьевку и одуревшая от скуки собака бросится с бешеным лаем на забор, а в окнах приподнимутся занавески, а потом надо будет готовить суп из концентрата — один брикет на четыре та-

релки. И поспать немного, чтоб было второе утро и легче работалось за полночь. И день этот будет так же похож на вчерашний, как и на завтрашний.

Лыжник сильно и далеко оттолкнулся палками и помчался по склону вниз. Где-то на середине его он понял, что всё сегодняшнее останется в нём как выбор, которым всегда он будет гордиться — и всегда жалеть о нём. И, круто повернув внизу, подняв фонтан радужной пыли, исчез в этой пыли, за поворотом, в деревьях.

1960

МЫ КАПИТАНЫ, БРАТЬЯ, КАПИТАНЫ...

В ресторане «Арктика» было жарко, светло и шумно — как раз то, что нужно человеку, пришедшему с мороза и у которого в ушах ещё не отпела вьюга.

Кроме того, в ресторане играла музыка: скрипка, два саксофона и баян, только не нужно думать, что это была какая-нибудь особенная музыка; скорее всего, это была самая обыкновенная музыка из прейскуранта, которую можно и не слушать, но всё-таки лучше, если она играет. И когда она замолкала, два капитана-рыбника грузно поворачивались на своих стульях и вопросительно смотрели на эстраду. Музыканты переводили дух и совещались, обмахиваясь сложенными платками, потом играли снова. Тогда капитаны поворачивались друг к другу и уже не слушали — они были заняты беседой.

Они говорили неторопливо и так же неторопливо ели и пили,— как люди, знающие цену и слову, и молчанию, и короткой блаженной минуте согревания, которая дороже еды и питья, дороже беседы и музыки, тепла и света, потому что она включает в себя всё это, вместе взятое, и ещё сознание, что это — ненадолго.

— Так ты, значит, под Канаду ходил?

— Под Канаду, Игнатьич. К Жорж-Банке.

— А что брал?

— Камбалу.

— И хорошо брал?

— Сперва не сильно, а после заловилась солидно. Попалось местечко — золотое дно, там она, швабра, пятиметровым слоем лежала на грунте. Сонная. Пятьдесят минут траления — восемь тонн на борту.

— Это солидно.

— Что ты! Ваера чуть выдерживали.

— Ваера-то — сизальские?

— Комбинированные. С наклеечкой, знаешь, это... Мейд ин Япония.

— Джапан.

— Чего?

— Мейд, говорю, ин Джапан.

— Лады, пускай Джапан, лишь бы держали.

— Ну, они тебе чёрта удержат.

Игнатьич сдвигал выбелевшие брови, кивал с пониманием и отчего-то кривил горькой складкой обветренные лиловые губы. На лице у него можно было прочесть: «Если даже скинуть на травлю... Два часа траления, четыре тонны на борту... Тоже неплохо».

— А ты всё под селёдкой? К Фарерам ходил?

— К Фарерам, Ефимыч. Старые наши промыслы щупал.

— Слышно было — не ловится в эту зиму селёдка?

— Не скажу — не ловится, а что-то у ней с эхолотом раздрай. Прибор пишет, что пашет, бумага вся чёрная, прямо дымится. Мечем, а утречком — пустыря дёргаем. Десять рыбин, кошке на завтрак. А другой раз ходишь-бродишь, команда спать просится, а бумага — розовая и розовая. Так что-то, мелькает. Но, может, это планктон пишется, разве отличишь? Э, думаешь, надо же хоть сети окунуть, а не то — зажиреет команда, после не растрясёшь. «Палубная! — кричу.— Выходи метать! Поехали!» Мечем — и материмся. И в Христа-Спасителя, и в дедушку с прабабушкой. А утром старпом свистит в трубу: «Игнатьич! Чайки над порядком кружатся!» Он у меня романтик, чёрт бы его драл, всё на птичек смотрит: мол, птичка врать не станет, ей тоже кушать надо. А и верно: дёргаем сети-то — и просто шуба! Вся сетка облеплена.

— Не соврала птичка!

— Да птичка-то не соврала, но на кой мне, скажи, тогда эхолот? Надо вон как старые кепы ловят: поглядел на горизонт, понюхал, чем ветер пахнет, водичку термометром смерил и: «Давай, ребята, метать, с коньячком будем». И — лави́т!

— Лави́т, вот что главное. Но всё ж таки техника, Игнатьич. Её, видишь ли, внедрять надо.

— Кто ж спорит! Но что касается рыбы, я, Ефимыч, к такому выводу прихожу: никто про неё толком не знает...

— И тут много, знаешь, от капитана зависит.

— Да всё от капитана зависит!

Они сидели друг против друга — Игнатьич, который ходил под селёдку к Фарерским островам, и Ефимыч, который под камбалу к Джорджес-Банке,— оба распаренные, краснолицые и светловолосые, оба в возрасте от тридцати до шестидесяти; вороты свитеров домашней вязки серой пеной выползли им на кителя. И они хорошо сидели — колени врозь и толстые локти на столе, так что третий и не подумал бы к ним подсесть. Они ели, пили и разговаривали у всех на виду, в середине плотно накуренного зала — здесь, в «Арктике», не нужно искать интима по углам, за соседним столиком тебя уже не слышат. Хорошо, если всё услышат за твоим.

— А как насчёт впечатлений? — спросил Ефимыч.— Были впечатления?

Игнатьич понял его.

— Обошлось,— сказал Игнатьич. Лоб его залоснился и посветлел от улыбки.— Морской бог миловал.

Он взял фужер с пивом и посмотрел сквозь него в самый дальний угол, откуда, колыхнув портьеру, выплывали дебелые и наглаженные официантки. Пожалуй, он мог бы кое о чём порассказать Ефимычу: ведь бывали же дни, которые и выделялись чем-нибудь среди нескончаемого сельдяного рейса и отчего-то засели в крепкой и памятливой капитанской голове. Может быть, про море — каким оно бывает на закате солнца: кирпично-бурое на одном траверзе и серо-зелёное на другом, а на лысинах волн пляшет холодный оловянный блеск; или про снежно-лиловые фарерские скалы, зловещие в своей чистоте и безмолвии, и про косой полёт чаек и крики альбатроса, падающего с тёмной вышины, а потом выныривающего с налитыми кровью глазами и с бьющейся в клюве рыбиной. Штормы и «переплёты» он как-то не помнил отчётливо, а помнил вот эти сравнительно тихие часы поиска, когда судно ходит переменными галсами, кренясь со стоном и хлюпаньем, и волна, свирепея, гулко бьет в скулу и взлетает над полубаком — толстым жёлто-пенным столбом. Судно проходит сквозь столб, и он опадает, обвисая сосульками на такелаже, а волна, меняя свой цвет, смывает с палубы рыбьи голо-

вы, внутренности и чешую и уходит, урча, в широкие оржавленные шпигаты.

Рулевой, в тяжёлых сапогах и ватнике, смотрит в забрызганное пеной окно, на подбородке его дрожит слабый свет из компаса, а в ладонях пляшут восемь ручек штурвала. Кто может знать, о чём думает рулевой?

И штурман, опустив оконное стекло, тоже смотрит в надвигающуюся ночь, брызги и ветер надоедают ему, он ёжится, морщится, брюзжит, а всё-таки не уходит от окна — что он там хочет увидеть?

Говорят, что рыба, проплывая в тёмной студёной глубине, всё время выравнивает косяк по своему образу и подобию: она идёт сигарой, и можно различить на ней плавники и раздвоенный хвост. Но сам он никогда этого не видел, и эхолот тоже не нарисует это, когда стрелка, обегая круг, станет штрихами чертить бумагу. Да и, по правде сказать, некогда об этом задумываться, наступают считанные минуты капитанского счастья, и нельзя потерять хоть одну из них. Он выходит на левое крыло мостика и кричит боцману: «Поднять штаговый!», и тотчас вся палуба вспыхивает в невыносимом свете прожекторов, а на грот-мачте взвивается чёрный шар с фонарём — сигнал выметки, после которого можно говорить: «Мой косяк, моя рыба...» Команда выходит, позёвывая и ёжась, занимает места и ждёт, а штурвал уже положен круто на борт, и ноги ощущают крен циркуляции, стремительного поворота — наперерез ещё не потревоженному косяку. Машина сотрясает судно изнутри, а волна сотрясает его снаружи, и, упрямо набирая ход, сквозь плотную стену ночи траулер спешит к единственной секунде, которую не укажет никакой хронометр, а укажут позор и горечь всех предыдущих незадавшихся попыток и наитие азарта. «Поехали!» — кричит он наконец, и на том его дело кончается. Теперь он может уйти к себе в каюту. Он тысячу раз видел, как дрифмейстер швыряет за борт концевые кухтыли и первую бухту вожакового троса; как вожак цепляется за волну и начинает, рыча, выползать из трюма — толстый свирепый удав, который, если запутается, выворотит чугунную люковину и потащит за собою всё, что ни зацепит по пути; как, держа наготове ножи, осторожно и быстро вяжут к нему поводцы сетей, которые он стаскивает за борт своей тя-

жестью и разгоном, и за кормой пропадает во тьме пенная дорога в три мили длиною, отмеченная желтыми вехами качающихся кухтылей. Капитан уходит к себе и долго ворочается в койке, не в силах уснуть, а сквозь сомкнутые веки он видит россыпь топовых огней вокруг своего судна: все они — англичане, норвежцы, шотландцы, французы, свои русские,— *стоят на порядках* и ждут, что́ им принесёт утро. Этот вечер и эта ночь, и лиловые скалы, и косой полёт чаек, и дрожащий свет нактоуза на лице рулевого, наверное, потому и запомнятся капитану, что утро принесёт рыбу.

Слепяще синяя штилевая вода легонько покачивает траулер, в ней растворяется, дрожит и сверкает серебристая чешуя, и сеть идёт на борт, тяжёлая, густо облепленная бьющейся рыбой, пронзительно пахнущая сыростью и смолой. Птицы кругами носятся над сетью, иногда, осмелев, садятся на неё и, выхватив себе добычу, заглатывают её уже на лету; крики их заглушают скрежет шпиля и ровное гудение машины-сетевыборки. И вот уже рыба на борту, и девять пляшущих чертей во всём зелёном остервенело трясут сеть за сетью, обрывая селёдке жабры и головы, сами уже до бровей в её чешуе и крови, по колено в тягучем подрагивающем чавкающем месиве; а всё-таки и в эти минуты агонии она ещё не добыча, она ещё чудо природы, такое же чудо, как зелёная вода Атлантики, как снежные скалы невдалеке, теперь уже оранжевые под солнцем,— она ещё сама оранжевая, синяя, палевая, жемчужная, изумрудно-зелёная — такой никогда не увидят её те, кто только ест её, а не ловит. Сваленная в бочки, круто посоленная, она ещё бьётся, выпрыгивает и, вместе с жизнью, расстаётся со всеми своими цветами, покрываясь тусклостью нечищеной жести, и глаза у неё опадают и мутнеют, ошпаренные рассолом...

Всё это, пожалуй, можно было бы и порассказать Ефимычу, да только он и сам это видел раз пятьсот, если не тысячу.

— Ты наших-то видал кого? — спросил Игнатьич.

— Наших?

— Ну, в смысле — своих. А то всё в море да в море, а никого и не повстречаешь толком. Не посидишь как следует.

— С тобой-то мы сегодня чудом не разминулись,— заметил Ефимыч.— А наших кого же?.. На Жорж-Банке мы как-то прошлым летом с Васькой Скурихиным повстречались. Фильмами обмахнулись. Он мне комедию эту подкинул. Знаешь, это... лыжник там знаменитый и двенадцать девок. В хижине баловались. Ну, сильна комедь!

— И как же он, Васька-то? Лавит?

— Этот — лавит.

— А Женьку Пилипчука не встречал?

— Дак там же, под Канадой. Доску я у него позаимствовал траловую...

— Лавит он?

— Женька-то? Лави-ит.

— А что-то я про Кольку Жиганова давно не слыхал.

— А он будто бы в торговый перешёл, пятьсоттонник водит. Не знаю — верить, не знаю — нет. Диплом же у него всё такой же, как у нас,— трёхсоттонника.

— А толку-то,— сказал Игнатьич, со скрежетом разрезая на тарелке шницель.— Если хочешь знать, я «Тунца» своего и на шестьсоттонник не променяю. У меня командочка подобралась! Дрифтер у меня — вологодский, басистый такой мужик, всю команду голосом держит. А боцманом — Завьялов. Знаешь Завьялова?

— Так-то слыхал, а плавать не плавал с ним.

— Что ты! За таким боцманом капитану и делать не хрена. Ты только подумать успеешь: хорошее бы это дело, допустим, парус просушить. Или, допустим, якорную цепь пошкрябать. А у него уже, смотришь, и парус сушится, и цепь ребятки шкрябают. Рязанский, чёрт! Они, знаешь, проникновенные... До всего доходят!

— Повезло тебе,— сказал Ефимыч.

— Да уж, это как получится,— согласился Игнатьич. Он, не торопясь, прожевал кусок и запил глотком искристого нарзана.— Холодненький!

Он улыбнулся. Зубы его были коричневы, испорчены здешней водой, и с обеих сторон блестели золотые. Улыбка состарила его лет на десять.

— Это они умеют,— согласился Ефимыч насчёт нарзана.— А больше ничего не умеют. Утеряли класс. Только название осталось — «Арктика», а мясо как следует и не прожарят. И не подадут как полагается.

— И скатерть мятая,— сказал Игнатьич брезгливо.— Разве ж это скатерть?

— Ты помнишь — раньше как ребятишки с моря приходили? Нарочно от причала в роканах шли, в зюйдвестках. Рыбья на них чешуя, слизь. Солидно! Сразу видно: рыбаки вернулись. И сразу — за столы. И авансик веером по скатёрке. А скатёрку не смей перед ними ненакрахмаленную постелить.

— Да,— сказал Игнатьич.— И сидели, вспомни-ка, до утра. Не то что теперь — до двадцати трёх.

— Ну, правда, и рыба тогда другая была.

— Да, рыбка повеселей ловилась, это верно.

Они по этому поводу вздохнули и выпили, закусили и снова выпили. Потом заговорили о проекте новых ППСС, «Правил предупреждения столкновений судов», в связи с последней дискуссией в «Рыбном Мурмане», и оба сошлись на том, что если капитан на своём месте и вахта дело знает, то никакого столкновения произойти не может, а если шляпить, тогда и новые «Правила» не помогут, только в лишних сигналах запутаешься, и так их там до чёрта!

— Всё в капитана упирается,— подытожил Игнатьич и показал Ефимычу опустевший графинчик.— Добавим?

— Мне ж не на вахту,— сказал Ефимыч.— А хотя бы и на вахту?

Игнатьич поднял графинчик на уровень бровей и принялся стучать по нему ручкой ножа. Он стучал терпеливо и размеренно, как бьют рынду, покуда официантка не отвлеклась от беседы с коллегами.

— Что, мальчики? — Она подошла, томная и вальяжная, оперлась на стол полной белой рукой, выгнув её локтем вовнутрь, и поглядела куда-то в сизую табачную даль, поверх капитанских шевелюр.

Игнатьич молча покачал графинчиком.

— Два комплекта,— сказал Ефимыч.

— А не многовато, мальчики? — Она перевела взгляд на их весёлые лица.— Вы уже, смотрю, тёпленькие.

— Мы горяченькие,— улыбнулся Ефимыч, глядя на её руку.— Сейчас вспыхнем. Залить надо.

— Маленькая, не мешкай,— сказал Игнатьич.— На флоте надо бегом.

— Знаю, как надо. Служила.— Она взяла у них графинчик.— Лимон принести?

— Соображает! — заметил Ефимыч. И вверх по руке добрался взглядом до её шеи. Улыбка его сделалась ласковой, почти влюблённой.

— Платит из вас кто? — спросила официантка.

В «Арктике» зачастую спрашивают моряцкую компанию, кто будет платить, потому что случается, никто и не платит — просто по забывчивости, ведь на судах кормят бесплатно. Игнатьич выложил десятку и прихлопнул её ладонью — не в знак того, что платить им есть чем, а чтобы самому не забыть.

— А ещё чего-нибудь принести?

— Неси, маленькая,— сказал Игнатьич.— Только чтоб помягче.

— Бефстроган?

— Неси бефстроган. Ты как?

Ефимыч кивнул, не переставая улыбаться.

— Значит, два раза бефстроган?

— Неси два раза,— сказал Ефимыч.— За один не унесёшь, ты же у нас маленькая.

Капитаны её проводили взглядами. Она совсем была не маленькая, даже очень не маленькая: в «Арктике» не зря подают женщины, а не мужчины,— драться, даже в сильном хмелю, никто с ними не станет, а выставить, если понадобится, выставят.

— В порядке,— сказал Ефимыч.

— Кое-где прибавить, кое-где убавить.

И они снова повернулись друг к другу.

— Значит, ещё неделю гуляешь? — спросил Игнатьич.— А у меня на завтра — отход.

— Ну, и не отойдёшь,— разрешил Ефимыч.— Понедельник завтра. Главный морской закон забыл?

— Ну, так послезавтра...

— Шутишь? — сказал Ефимыч.— Целые сутки бе́рега!

Музыканты перестали играть. Ефимыч дождался, пока они начали снова, и продолжал:

— На судне и без тебя управятся, а ты только в диспетчерской покажешься: шлюпки, мол, не конопачены или танки текут, сварщик нужен. Они ж не собаки — тебя в понедельник выталкивать.

— Да, пожалуй, не вытолкнут.

— Что ты! Главный закон. А мы и завтра с тобой посидим. Ведь так, за один раз, и не поговоришь толком.

Игнатьич стал чертить ножом по скатерти. Лицо его посуровело — той суровостью, какой скрывают смущение.

— Я, знаешь, завтрашний день планирую с семьёй провести. В море только про них и думаешь, а на берегу и не повидаешь. То одно, то другое. Спохватишься на отходе — дня не хватило.

— Это всегда так,— согласился Ефимыч.— Ну вот тебе и день подвалил.

Они помолчали, как бы оценивая нежданный подарок, потом Ефимыч спросил:

— Лида твоя — как? Управляется с по́трохами?

— Чего ж не управиться? Ты ж моих пацанок знаешь. Смирные. Старшая этой осенью в школу пошла.

— Да что ты!

— Ну! — Игнатьич широко улыбнулся. И сразу стали заметны глубокие его залысины и волевые морщины по углам рта, вырезанные совсем другими гримасами и както не складывающиеся в улыбку.— Отметки приносит. Папке радиограммы сама сочиняет. А ты думал!

— Это хорошо,— сказал Ефимыч.— Всё ж таки, я тебе скажу, бабе занятие нужно. Вот, с потрохами возиться. Тогда она и бегать не захочет.

— Ну, моя-то и без того не бегала.

— Э, не скажи! — Ефимыч, ухмыляясь, поднял палец.— За это ручаться никто не может. Ты доверять доверяй, а всё ж послеживай.

— Где же мне послеживать? В море, что ли?

— Зачем в море? Ты на берегу слушай. Иной раз и услышишь. Друзья, по крайней мере, не утаят.

— Ну, это, знаешь ли, последнее дело,— сказал Игнатьич, по-прежнему улыбаясь.— Что же мне других слушать, я лучше её послушаю.

— Эх, Митя! — Ефимыч вздохнул и посмотрел на него с горестным сожалением.— Вот что самое хреновое, я тебе скажу. Вишь, чего они с нами делают, как она тебя сагитировала! «Я у тебя одна-единственная родная на земле. Ты меня слушай, ты других не слушай, друзья правду не скажут, только я скажу». Вот как они устроились! А мы тут, заметь, третий час с тобой сидим, а ты меня в гости не зовёшь.

— Почему ж не зову?..
— А потому что Лида не хочет.
— Да кто тебе сказал — не хочет?
— Никто не сказал, я сам знаю, почему не хочет.
— Скажи, если знаешь.
Игнатьич по-прежнему улыбался, но что-то ушло из его улыбки, что и делает её улыбкой, а не застывшим рельефом складок и морщин.
Ефимыч махнул рукой и поглядел, не идёт ли официантка. Она всё не шла, а он уже, наверное, раздумал говорить.
— Скажи, если знаешь,— повторил Игнатьич.
— Помнишь, лет шесть назад,— сказал Ефимыч, не глядя на него,— у меня с Клавдией раздрай вышел. И мне тогда жить негде было. И я у тебя две недели жил.
— Ну?
— А ты тогда в море ушёл. Младшенькой пацанки тогда у вас вроде не было. А старшенькая была уже.
— Ну?
— Ну, и она лезла ко мне. Лида твоя ненаглядная.
— Как это — лезла? — спросил Игнатьич. Он всё ещё улыбался.
— Не знаешь, как лезут? — Ефимыч поглядел на него тяжело и отвёл взгляд.— До лифчика раздевалась, жарко ей было. А то раз даже на колени села. Ну, я её, конечно, согнал...
— Согнал, значит?
— Что же ты думал: я у кореша за спиной попользуюсь? Мы же в мореходке с тобой корешили. Им это разве понять? Вот она теперь и не хочет. У них, знаешь ли, своя психология. Они такие вещи не прощают.
Игнатьич помолчал — лицо его наконец разгладилось — и спросил:
— Что ж раньше не сказал? Тогда ещё.
— Да думал — к чему? Думал, вообще у вас ненадолго. И со временем сам разглядишь.
— Вон как ты думал.
Игнатьич положил в карман кителя папиросы и стал подниматься, держась обеими руками за стол.
— Ты что? — спросил Ефимыч.— Ты, может, не веришь мне? Что я не попользовался?
— Я тебе верю,— ответил Игнатьич.

Официантка принесла еду и полный графинчик. Игнатьич, с напряжённым, осунувшимся лицом, отлил половину коньяка в свой фужер из-под нарзана и выпил залпом. Капли текли по его подбородку на ворот свитера и на грудь. Одну тарелку он поставил перед Ефимычем, другую — вернул официантке.

— А это обратно неси. И получи с меня. Остальное он заплатит.

— Что, мальчики? — Она посмотрела подозрительно.— Не поладили?

Ефимыч сидел бледный и смотрел на Игнатьича снизу вверх, с тоскливой жалостью — можно было подумать, его тошнило.

— Поняла, маленькая? — спросил Игнатьич, улыбаясь.— Ну и не мешкай. На флоте надо бегом.

Официантка дала ему сдачу, которую он старательно пересчитал, и понесла тарелку обратно.

— Значит, не веришь? — спросил Ефимыч.

— Верю. Если б ты попользовался, то б не сказал.

— Ну?

— Ну и сиди себе. А я пошёл. И точка. И не корешили мы с тобой в мореходке. Ты сиди, а я пошёл.

Игнатьич тряхнул головой и пошёл между столиками. Он старался держаться прямо и не смотреть по сторонам. Ефимыч сидел спиной к нему и не обернулся.

Час был уже поздний, минут сорок до закрытия ресторана, и гардеробщик через замёрзшие стёкла дверей увещевал напиравшую с улицы толпу опоздавших.

Игнатьич порылся в карманах кителя и брюк и подал ему номерок.

— Что-то раненько сегодня,— мягко укорил гардеробщик.

— На вахту,— объяснил Игнатьич и развёл руками, как бы извиняясь.

Гардеробщик ему подал пальто с барашковым воротником и такую же ушанку, поставил перед ним галоши. Капитан во всё это влез, аккуратно застегнулся и перестал быть похожим на капитана. Впрочем, зачастую они таковы, водители сельдяных траулеров.

— Телефон тут где-нибудь есть? — спросил Игнатьич.

Гардеробщик отпер ему дверь в полутёмное фойе гостиницы. Капитан сел у телефона и принялся терпеливо

набирать номер диспетчерской Рыбного порта. Это пришлось сделать несколько раз, прежде чем послышался в трубке недовольный простуженный голос:

— ...чем они там думают. Плавбазу на восьмой поставили, а ей топливо брать. Алё! Кто это?

— Капитан сто тринадцатого говорит.

— Это «Тунца», что ли?

— Ну!

— Так бы и сказали. По какому делу, «Тунец»?

— Мне вахтенного штурмана.

Трубка шумно вздохнула и ответила раздражённо:

— Небось дрыхнет вахтенный. Докричись до него!

— Ничего,— сказал капитан ласково.— Ты докричишься. Такая у тебя служба.

— А что за срочность?

— А то, что у меня отход завтра. Восемь ноль-ноль. У тебя расписание над головой висит.

— С ума люди посходили,— откликнулась трубка добродушно.— В понедельник отходят. Ну, ждите, соединю.

И тотчас, уже издалека и с другой интонацией, зазвучал тот же простуженный голос:

— «Тунец», включите радио! «Тунец», включите радио, «Тунец»!

Капитану представилось, как этот голос летит над портом, над чёрной дымящейся водой и белыми заиндевевшими мачтами, как он долетел до его «Тунца», пришвартованного первым корпусом у девятнадцатого причала, где грузчики-берегаши торопливо швыряют в трюм пустые бочки,— кранец им, разумеется, лень подставить, и от ударов клёпки разойдутся, бондарю будет работа переосаживать обручи... И капитан увидел весь свой траулер, продрогший, промёрзший до стона в шпангоуте, заиндевевший от мачтовых топов до трюмных подгнивших пайол, услышал скрип снега на палубе под сапогами вахтенного матроса и как он себя охлопывает рукавицами, в яростном ожидании конца вахты. Но вот матрос услышал: «“Тунец”, включите радио!» — и поднял голову, спрашивая себя: «Какому ещё чёрту не спится?», и всё-таки идёт в штурманскую каютку, где ухитряются жить в плавании все трое штурманов, хотя, как покажется, туда и двоим не втиснуться. Он скидывается вниз по трапу, задирая голову и едва не задевая носом

наклонный подволок, а штурман лежит у себя в каютке — единственном сейчас тёплом помещении на судне, потому что врублена электрическая немецкая грелка и в придачу лампа-тысячеваттка, опущенная, чтоб не наделала пожара, в ведро,— он лежит, укутав ноги бараньей дохой, и читает толстенный роман из морской жизни времён Отечественной войны в Заполярье. Он угрелся и зачитался, и ему очень не хочется опускать ноги на ледяной пол и совать их в ледяные сапоги. Но вахтенный матрос говорит: «Может, ревизор к нам собирается?», и он, ругаясь по-страшному, одевается и обувается, заложив страницу жёлтой целлулоидной линейкой для прокладки курса. Потом они вместе поднимаются на «голубятник», где ходовая рубка и каюта радиста, которого, конечно, нет, потому что он, по одним сведениям, чинит дома судовой магнитофон, а по другим сведениям — поехал с этим магнитофоном к невесте на другую сторону залива и останется у неё до утра. Вахтенные вылезают из капа, глядят, поёживаясь, на тёмную воду порта, с расплывшимися в ней разноцветными огнями, и входят в рубку, старательно прикрывая дверь, обитую брезентом и «застеклённую» фанеркой. Вот они подошли к передатчику, матрос держит боцманский фонарь, который почему-то горит лишь в перевёрнутом положении, а штурман, ещё доругиваясь про себя, надевает наушники и включает береговую настройку. Для этого нужно лишь нажать кнопку и подождать, пока накалятся лампы.

— Говорите,— сказал диспетчер.— Говорите с капитаном.

— Игнатьич? — спросил штурман с заметным облегчением.— Что не спится?

— Тебе, я чувствую, сильно там спится,— сказал капитан.— Пятнадцать минут ждал. Как там, на пароходе?

— Порядок во всём.

— Бочки все погрузили?

— Последние забивают.

— Лоции получил?

— На борту, в рубке.

— Можно, значит, завтра отходить?

— Можно и завтра,— ответил штурман улыбающимся заговорщицким голосом.— А можно и не обязательно.

— Как это не обязательно? — спросил капитан, стараясь говорить потвёрже.— Эти суеверия бросать пора. Отсталость это. Понял?

— Игнатьич! — возопил штурман тоном обиженного мальчика.— Завтра ж понедельник. Главный закон!

— Главный закон — выйти согласно расписания. И рыбу ловить по всей современной науке. Вот так. И не шляпить. Ясно?

— Ясно-ясно,— ответил штурман, как говорят в мегафон.

— Ну, а раз так, закажешь у коменданта машину к шести ноль-ноль и поедешь по хатам. Люди осведомлёны?

— Объявление в салоне висит неделю.

— Значит, осведомлёны. Вот так. А я — к вахтенному капитану порта. Будешь мне туда звонить, если что.

— Ясно-ясно!

Капитан положил трубку и вышел на крыльцо гостиницы. Ветер замёл снегом узкую тропинку в сугробе, и капитану мучительно было представить себе, как он пойдёт по улицам в лёгких ботинках с галошами. Он потоптался на ступеньках крыльца, затем вошёл обратно в фойе и снова сел у телефона.

— Лидуша? — спросил он, прикрыв трубку другой ладонью.

— Ты, Игнатьич? — Она спросила откуда-то из тёплого сонного полумрака. Голос её был томно-ленив и по-ночному чуть хрипловат.— Ты где это загулял?

— Да тут, это... Ефимыча встретил. Славно мы с ним посидели. Ты ж помнишь Ефимыча?

— Какого ещё Ефимыча?

Трубка, наполненная этой простодушной интонацией, стала чугунной в его руке.

— Значит, не помнишь?

— Да ну тебя, не пей больше, я тут сижу одна, дожидаю.

— Ну, не помнишь, и ладно. Наташка спит?

— Давно уже.

— Уроки все приготовила?

— Чего это ты вдруг ночью?..

— Я не вдруг,— сказал капитан.— Я, знаешь ведь, ухожу в восемь. Ну, и тут ещё делов у меня на пароходе...

— Как это? Завтра же понедельник.

— Ну что с того, что понедельник? Расписание — расписанием.

Он подождал, напряжённо сжимая трубку.

Там, на Володарской,— ходу всего четыре квартала,— в его квартире давно уже погашен свет, только горит над диваном ночничок с фарфоровым филином, а на диване пёстрая пушистая накидка, прошлым летом купленная в Москве вместе с ночником. Хорошо бы сейчас полежать на нём, скинув ботинки и вытянувшись,— а она чтоб ходила вокруг, спокойно и привычно собирая его в дорогу, чтоб утром не суетиться и выгадать часок для прощания на пирсе. И хорошо бы покурить и почитать газетку, а потом, уже в темноте, она бы ему что-нибудь рассказала о детях. И хорошо бы, пожалуй, вспомнить, стоял этот диван *тогда* или его купили *после*. Пожалуй, что после. Но это всё равно, это ничего не меняет. Важно, как она ответит.

Ну, ответь ему оттуда, из тёплого уютного полумрака, скажи, что ты его не отпустишь завтра, потому что лучше других понимаешь, что такое лишние сутки берега. Уже ничего нельзя переменить, уже капитанское слово сказано и облетело чёрную ледяную воду с расплывшимися в ней сигнальными огнями. Но есть и другие слова, и в них тоже нуждаются непромокаемые сельдяные капитаны.

И она ответила.

— Жалко! — сказала она.— Я думала, денёк ещё побудешь. Теперь когда же тебя ждать? В апреле?

— В апреле,— ответил капитан.— Ты на причал не ходи, я за вещичками матроса пришлю. Завтра хлопот у меня, ты же знаешь...

— Да уж знаю...

Он положил трубку. «Подумает, разъединили,— сказал он себе.— Ну, может, так оно лучше. И пусть думает».

Он вышел на крыльцо, старательно прикрыл за собою тяжёлую дверь в тамбур, натопленный калорифером, и, подняв воротник, наискось пошёл через улицу.

1963

НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНЬЯ, МАЭСТРО

Рассказ для Генриха Бёлля

Они пришли в понедельник утром, сразу после восьми. То есть сначала шагнул в квартиру мордастый — лет сорока пяти, невысоконький такой, упитанный, с волнистым коком над лбом и космочками волос за ушами; круглые щёчки румянились, а рот лоснился, как будто он только что поел торта, глазки поблескивали весело.

— А мы к вам,— сказал он. Хотя какое же было сомнение, что именно к нам.

И сразу их стало трое. Появился ещё долговязый — помоложе, с утомлённым лицом и рыбьими, неподвижными глазами,— и совсем молодая дама в джинсовом платье с погончиками, которая вошла плечом вперёд и скромно стала у притолоки. Она сразу меня поразила — странной бледностью щёк, потупленным взором, длинными белыми прядями, стекавшими из-под синего беретика, надетого набекрень, как у десантников. А когда мы смотрели в глазок и потом через цепочку, то был всего один — мордастый.

— Вы тут глава семьи? — спросил он папу.— Пройдёмте все в ту комнату.

— В какую «в ту»? — спросил мой папа, начиная пугаться и от этого ужасно раздражаясь.— И кто вы такие, позвольте узнать?

— А вот это,— сказал мордастый,— раньше надо было спрашивать. А то вы открываете так беспечно. Знаете, сколько сейчас всяких разных по квартирам шныряют?

И действительно, всегда спрашиваем: «Кто?», а тут — не могу даже объяснить почему — не спросили.

Долговязый прикрыл спокойно дверь и проверил два раза, как действует замок. Молодая дама в беретике, ни слова не говоря, двинулась плечом вперёд по коридору, прямо к моей комнате, неся за собою на отлёте серый

чемоданчик с патефонными застёжками. Мордастый взял папу за локоть и весело подтолкнул.

— Ну где у вас та комната? Может, мне вам её показать?

Долговязый надвинулся на меня, спрашивая своим замораживающим взглядом, долго ли я ещё буду не понимать, в чём дело. И я повернулся и пошёл вслед за папой, чуть не отдавливая ему пятки, а долговязый — вплотную за мной. Одну руку ему, как я успел заметить, оттягивала толстая, чёрной кожи, сумка, в другой как будто ничего не было, но мне вспомнились увлекательные фильмы, где бьют ребром ладони пониже уха, и в этом месте у меня сильно заныло.

В дверях нашей большой комнаты, где живут папа и мама, мордастый призадержался.

— Анна Рувимовна, вас тоже попрошу с нами. Звонить собираетесь? Положите трубочку. Положите.

Мама вышла в халате, прямая и несколько бледная, со сжатым ртом. Долговязый сперва замыкал шествие, а потом почему-то отстал.

В моей комнате молодая дама стояла уже у окна, в скульптурной позе — красиво подбоченясь, опираясь на одну ногу, а другую обольстительно отставив в сторону и слегка пошевеливая туфелькой. Она куда-то смотрела пристально сквозь тюлевую занавеску и сказала, не оборачиваясь:

— Хозяин — дома. В том же положении.

Мордастый подошёл к ней, заложив за спину короткие ручки, и тоже посмотрел в окно.

— А куда ж он мог деться? Сегодня у него никаких свиданий не назначено.

Вошёл долговязый — со своей сумкой и с нашим телефоном, расправляя шнур ногою, уселся на мой диван-кровать, ещё расстеленный, и поставил аппарат себе на колени. В ту же секунду он зазвонил.

— Валера? — сказал долговязый в трубку.— Ага, всё в порядке. Переходи к метро.

Он положил трубку и уставился на мордастого вопросительно.

— Матвей,— сказала мама печальным голосом,— ты мне можешь сказать, чего хотят от нас эти люди? Может быть, им нужны деньги? Так пусть скажут.

— Аня, тут что-то другое,— сказал папа, досадливо морщась.— Успокойся, пожалуйста. Они нам сейчас всё-всё скажут.

Мордастый, усмехаясь, отошёл от окна и стал в центре комнаты, под плафоном.

— Значит, так. С вашего разрешения мы тут у вас поселимся. Вам уж придётся уплотниться, ничего не попишешь. В эту комнату не входить, тут у нас будет... не важно что, вам до этого нет дела. Если будут спрашивать во дворе, можете отвечать — приехали родственники.— Он поглядел на папино лицо, потом на лицо долговязого.— Дальние, конечно. Про которых вы даже и забыли, что они есть.

— И надолго приехали родственники? — спросила мама.

Мордастый в улыбке показал два золотых зуба, сделанных в очень хорошей поликлинике.

— Об этом, сами понимаете, гостей не спрашивают. Но, конечно, по полгода тоже не гостят... К окнам старайтесь подходить не часто, занавески лучше не отодвигать. Телефоном можете пользоваться, как всегда. Если будут спрашивать Колю — трубочку сразу ему.

— А как будут спрашивать родственницу? — спросил я, уже почувствовав облегчение. Мне захотелось узнать имя пленившей меня дамы.

— Её? — Мордастый перевёл улыбчивый взгляд с меня на даму и обратно.— А её не будут спрашивать.

— Позвольте всё-таки выяснить,— спросил папа, ещё не остыв от раздражения,— а книжечка у вас имеется?

— Матвей Григорьевич,— сказал мордастый с лёгким укором,— мы вам почему-то больше доверяем. Смотрите, если не верите.

Книжечка у него висела на шейном шнурке, точно крестик. Он развернул её на секунду и снова спрятал куда-то за галстук. Мы ничего не успели прочесть, но папа тоже почувствовал облегчение.

— Значит, вам нужны не мы, а кто-то другой, как я догадываюсь?

— Правильно догадываетесь. Интересует нас один человек — в доме напротив.

— Он что, скрывается от правосудия?

— Папа,— сказал я,— ты всё ещё не понял? Им нужен

этот писатель,— я постарался сказать небрежно,— у которого отключили телефон.

— Отключили? — спросил мордастый.— Откуда вам такое известно, что отключили?

— У которого испортился телефон,— сказал папа с нажимом в голосе, не поворачиваясь ко мне.

Я увидел, как шея у него вытянулась и порозовела, и согласился:

— Пусть будет «испортился».

Тем более что и сам наказанный так отвечал. Знали истину оба наших кооперативных дома, знали бабушки, сидевшие в беседках и на лавочках у подъездов, знали даже дети, игравшие в песочницах, что телефон у нашей несчастной знаменитости отключили *пожизненно,* и этот номер, 144-47-21, передан каким-то другим людям, которые вам ответят, что прежний абонент выехал навсегда за границу, а могут и ответить, что умер. Но кому-нибудь непременно хотелось выяснить «из первых рук», что за нарушение было устава связи — куда-нибудь он не туда звонил или ему звонили откуда не следует? — и он, почему-то смущённо отводя глаза, что-то бормотал, что всё некогда вызвать монтёра со станции и вообще ему без телефона даже лучше, спокойнее.

— Вы с ним общаетесь как будто,— сказал мордастый. Они с долговязым внимательно, выжидающе смотрели на папу.

— Ну, если можно назвать общением, что мы с ним перекинемся двумя словами... о погоде, или он задаст вопрос... технического порядка,— у папы от смущения одно плечо поднялось к уху,— да, общаемся. Как-никак соседи. Но если есть такая необходимость, чтобы я воздержался на какое-то время...

— Зачем же,— сказал мордастый.— Такой необходимости нет. Даже было бы желательно, чтоб вы продолжали общение как ни в чём не бывало. Я бы вам дал тогда соответствующие инструкции.

Папа оглянулся на маму. Она опустила голову и разглядывала паркет.

— Ну, как желаете,— подождав, сказал мордастый.— Главное, чтоб нигде ни слова. Понимаете, чтó вам доверено?

Папа глубоко, поспешно кивнул.

— Да, конечно, конечно.

Я подошёл к молодой даме, всё так же пристально наблюдавшей за теми тремя окнами — прямёхонько против наших, на верхнем, пятом этаже,— и слегка отвёл занавеску.

— Я же только что предупреждал,— сказал мордастый.

Но у меня уже не ныло за ухом, и я пока ещё находился в моей комнате, поэтому к нему и не повернулся.

— Что-нибудь он опять натворил? — спросил я даму.— Выступил с чем-нибудь легкомысленным?

Она взглянула на меня холодно из-под опущенных наполовину век, затем её взгляд переместился куда-то ниже моего лица, ниже груди, несколько задержался ниже пояса и ушёл в сторону. Больше её взгляд не останавливался на мне никогда.

Неторопливым округлым движением она сняла свой десантный беретик и положила на журнальный столик, рядом с двумя папками моей диссертации, едва удостоив вниманием гордое её заглавие: «Опыт анализа онтологических основ древнетамильского эпоса сравнительно с изустными произведениями на пракритах».

— Столик мне подойдёт,— сказала она, ни к кому, собственно, не обращаясь.— А это они уберут.

— Ну-с, мне пора,— сказал мордастый.

Мы с папой провожали его до дверей. Проходя коридором мимо стеллажа, он задержался как раз против полки, где у меня... Ну, вы сами понимаете, что у меня там могло стоять, обёрнутое в белую кальку, еле прозрачную, так что можно и не заметить, но при желании — кое-что интересное прочитать на корешках. Новейший Аксёнов, Фазиль в полном виде, первая часть «Чонкина», «Верный Руслан», Липкина «Воля» и кой-какой Бердяев, «Зияющие высоты», три-четыре журнала. Не могу не сказать — золотая полочка, чуть не каждая из этих духовных ценностей обошлась мне в полстоимости джинсов.

— Зачем это держать? — спросил мордастый с укором во взгляде.

Папа слегка вспотел лицом и посмотрел на меня с таким же укором.

— А если мне-е...— Я отчего-то заблеял.— Если это нужно мне для работы?

— Не нужно вам для работы,— сказал мордастый уверенно (и впрочем, со знанием дела).— Незачем голову забивать. И вообще...

Он стоял перед полкой, заложив руку за борт пиджака, задрав голову, отставив ногу, вылитый «маленький капрал», которому ужасно хочется в Бонапарты.

— И вообще, я вам скажу, некоторые этапы нашей истории пора бы уже забыть. Они нас только сбивают, а ничего не дают для понимания.

— Да-а? Это интересно. Какие же этапы?

— Вы сами знаете какие.

О, этот их прелестный пуленепробиваемый ответ! «Вы сами знаете». Супруга нашего визави, как мне рассказывал папа, всё-таки пошла — тайком от мужа — выяснять, за что им отключили телефон. «Вы сами знаете, за что».— «Но в чём выразилось наше нарушение?» — «Вы сами знаете, в чём». Что они — языка лишились? Почему не смеют назвать? Значит, ведают, что творят?

— Но Бонапарт,— сказал я,— всё-таки дал бы команду, что надлежит забыть, а о чём помнить.

Мордастый этого просто не услышал.

— Александр! — сказал папа, вдруг опять раздражаясь.— Я же тебе *говорил тогда,* если помнишь: «Выбрось эту сомнительную литературу». *И ты же со мной согласился,* что она сомнительная. А почему-то держишь на самом виду.

— Вот именно,— подхватил мордастый.— Кто-нибудь почитать попросит — вы ж ему не откажете? А это уже будет считаться не только «хранение», но и «распространение».

Покачав головою, уничтожив меня долгим взглядом, он вышел на лестницу.

— Родственников не обижайте,— пошутил он с серьёзным видом.— А сынок у вас хоть и тридцать два года, а очень ещё незрелый.

Я себя почувствовал мальчиком, которого на первый случай избавили от розог.

— Он задумается,— сказал папа.— Я, наконец, сам приму меры.

— Значит, договорились — я пока ничего не видел.

Мама нас встретила в коридоре, держа в обнимку, как бочку, мою свёрнутую постель.

— Где у нас раскладушка? Достаньте мне её немедленно.

— Где-то в кладовке,— сказал папа.— Но, Аня, сейчас только девять утра.

— Я должна позаботиться о нашем сыне. Я не хочу, чтоб он ютился, как бедный сирота. Он должен где-то отдыхать и иметь уединение для работы.

— Хорошо, где ты хочешь, чтоб он имел уединение?

— В кухне,— сказала мама.— Кухня — это моя территория. Если вы свою кому-то уступили, то я уступать не намерена ни пяди. Только своему сыну. Кровать будет стоять на кухне всё время.

— Но, может быть, людям захочется сварить себе кофе или я не знаю что...

— Ничего,— сказала мама.— Захочется — перехочется.

— Аня! — Папа очень страдал от того, что дверь в мою комнату осталась полуоткрытой.— Но ты посуди: где мы сами будем есть? Где ты будешь готовить?

— Нигде. С этого дня я перестаю готовить. Будем питаться в столовке.

— Аня, что ты говоришь, я не знаю! Так же не будет. Ты же нам не позволишь питаться в столовке.

Она посмотрела на папин выпуклый животик, на его напряжённое, несчастное лицо — красное, под белым встопорщенным ёжиком,— и на то, как он нервно теребит подтяжки, и сразу устала держать в обнимку постель.

— Возьми же у меня, долго я буду так стоять? Сложи пока в кладовку. Сейчас мы позавтракаем, как всегда, а потом мы с тобой пойдём гулять и там, на воздухе, всё обсудим. Как нам дальше строить нашу жизнь. Обед у нас на сегодня есть.

— Что нам такого обсуждать? — глухо отвечал папа из кладовки.— Нам же объяснили, что это — временно. Я думаю, мне лучше сегодня остаться дома.

— Ни в коем случае,— сказала мама.— Я тебя вытащу обязательно. Ты очень взбудоражен, это может кончиться плохо.

— Почему это я взбудоражен? — спросил папа, задвигая шпингалет.— Ну, хорошо, я взбудоражен. Но у Александра сегодня библиотечный день. Мы же не можем уйти все трое. Как нам быть с ключами?

— А никак,— раздался из моей комнаты голос долговязого.

— Что вы? — Папа подошёл к двери. Заглянуть туда он почему-то не решился.

— С ключами — как устраивались до сих пор, так и дальше.

— Но у нас только два комплекта. Вдруг вам понадобится выйти?..

— Ну, значит, выйдем.

— Да, но кто же вам потом откроет?

— Ну, значит, взломаем. Вы же знаете, Матвей Григорьевич, против лома — нет приёма.

Папа к нам повернулся очень сконфуженный. Мама посмотрела на него почти брезгливо, но промолчала.

В эту ночь мне совсем неплохо спалось на новом месте. Полагаю, что и Коля долговязый был не в обиде на мой диванчик, когда остался дежурить. Как выяснилось, на кухню родственники наши не претендовали, зато мою комнату не оставляли без присмотра. Из квартиры они уходили по очереди и входили без звонка; у меня было впечатление, что замок сам собою открывается при их приближении. В семь утра Коля разбудил меня, когда прошёл в ванную в трусах и в майке и шумно там плескался и фыркал, напевая довольно недурным баритоном: «Капррызная, упррамая, вы сотканы из роз. Я старше вас, дитя моё, своих стыжусь я слёз». Как сказывают, это любимая песня нашего генсека, а вовсе не «Малая Земля». Не знаю, у Коли я спросить не решился. Выходя, он заботливо спросил меня: «Как спалось?» — и удалился, не дожидаясь ответа. Маму потом волновало, каким полотенцем он утирался и вытер ли за собою на полу (у нас, вы знаете, хорошо протекает вниз к соседям). Насчёт полотенца не знаю, но что прибрал за собой аккуратно, могу свидетельствовать.

В следующую ночь было дежурство моей десантницы — и как жестка показалась мне раскладушка! Только представить себе — в моей комнате, в каких-нибудь пяти шагах от меня, на моём законном ложе, раскинулось (лучше даже — «разметалось») прелестное таинственное существо, неприступно гордое и для меня пока безымянное, а на моих стульях разбросаны в милом беспорядке неизъяснимо чудесные одеяния и покровы! Странно,

никакие эти пышные слова — «покровы», «одеяния», «ложе» — не приходили мне на ум и на язык при обстоятельствах вполне реальных, с моей долголетней невестой Диной, которая, впрочем, давно уже не невеста мне, а жительница города Бостона, штат Массачусетс, США. Гордая и неприступная занимала ванную с восьми и предпочитала душ. Я слушал, как хлещут шипучие струи с разными оттенками шума — оттого, что сначала одна, потом другая прелести подставлялись для омовения,— и, кажется, начинал постигать смысл затрёпанного поэтического образа: я хотел бы быть этими струями, которым позволено... et cetera, et cetera. Когда она выходила, освежённая, встряхивая длинными прядями и застёгивая на груди своё джинсовое платье с погончиками, я как-то не осмелился обратиться к ней — хоть с тем же самым: «Как спалось?» — а только попытался поймать её взгляд, но, как я уже сказал вам, это мне ни разу не удалось.

Папки с моей диссертацией тоже перекочевали в кухню — и, право, обнаружилось даже некоторое удобство, что можно, не отрываясь от работы, заваривать себе кофе. Вообще, мы отлично устроились, и к тому же оказалось, что мы, не сговариваясь, тоже не оставляли квартиру без присмотра. В мои библиотечные дни старики могли побыть дома, и мама готовила обед, а в остальные — они уходили на долгие свои прогулки — включавшие в себя, естественно, стояние в очередях,— и я мог поработать над моими тамильскими преданиями. Однако ж поработать — это сильно сказано, вы не знаете, что такое наша квартира. Когда-то нам очень нравилось, что наш кооператив — самый дешёвый в Москве, теперь эта наша «пониженная звукоизоляция» мне выходила боком. Из любой точки нашей квартиры слышен неумолимый ход времени, отбиваемый папиными часами,— о, вы не знаете, что такое папины часы! У него их накопилось штук тридцать: луковицы, каретные будильники, нагрудные — в виде лорнета — и даже знаменитый, воспетый Пушкиным, «недремлющий брегет», ходики с кукушкой и ходики с кошкой, у которой туда-сюда бегают глаза; часы, которые держит над головою голенькая эфиопка, и часы, на которые облокотились полуодетые Амур и Психея; часы корабельные — с красными секторами молчания — и часы, охраняемые бульдогом. Кое-что досталось папе в наслед-

ство, остальное он прикупал, когда ещё прилично зарабатывал в своём конструкторском бюро, а в последние годы, на пенсии, он собирал уже просто рухлядь, которую выбрасывали или продавали за символический рубль, и возился с нею месяцами, покуда не возвращал к жизни. Всё это богатство каждые полчаса о себе напоминало боем, звяканьем, дзиньканьем, блямканьем и урчанием — притом не одновременно, а в замысловатой очерёдности. Один бог знал, которые из них поближе к истинному времени,— его всё равно узнавали по телефону,— да папа к точности и не стремился; наоборот, соревнование в скорости тоже составляло для него очарование хобби, и по этой причине останавливать их не позволялось. Мы с мамой давно притерпелись ко всей этой папиной музыке, даже перестали замечать, просто в последние дни слух у меня обострился — от звуков иных, непривычных.

— Валера! — слышался Колин металлический баритон. Против обещания, телефон они надолго забирали к себе — как они объясняли, «чтоб вам же не мешать».— Спишь там? А бельгиец-то — прошёл... Какой, какой. Иван Леонидович, Жан-Луи.

— С Ивонкой,— подсказывала моя десантница.

— Точно, с супругой. Уже десять минут, как прошли, а ты не сообщаешь... «Не успел», пивко небось глотал... Где машину оставили?.. Дверцы хорошо заперли, стёкла подняли? А то ведь на нас потом скажут... На сиденье ничего не лежит?.. Кукла? Ну, это детишкам своим. Прямо, значит, из своего валютного... Это и мы заметили, что с пакетом. Поглядим, с чем выйдут. Ну, иди, глотай своё пивко, только о работе не забывай.

Ненадолго воцарялась там тишина, но мне уже было не до моей бедной диссертации. Мне слышались — или чудились — кошачье мурлыканье, смешки, шлепки по телу, в общем, подозрительная возня. В эти минуты — кто сказал бы мне? — стояла ли она у окна? Сидела ли в кресле? Или, быть может, лежала — на моём диванчике? Я чувствовал себя спокойнее, когда они включали мой магнитофон и Коля с воодушевлением подхватывал:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не обращайте вниманья, маэстро,
Не убирррайте ладони со лба!..

— Поставь лучше Высоцкого,— просила дама капризно и томно.— Ты же знаешь, я Высоцкого люблю неимоверно!

— Много ты понимаешь! Булат же на порядок выше.

— Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему.— Голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую моё сердце ревностью к обоим бардам.— А Высоцкий — это моя слабость.

— И как ты его любишь? — спрашивал Коля игриво.

— Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и не в музыке. Просто он весь меня трогает сексуально.

— Но-но, я па-прашу не выражаться! — Колин голос певуче взвивался и тотчас, без перехода, исторгался низким рокотом:

Моцарт отечество не выбирррает,
Просто игрраег всю жизнь напрррролёт!

— Погоди, Моцарт,— в голосе её слышалась насмешка, но почти любовная.— Моцарт мой милый, ты про общественные поручения не забыл?

— Когда Коля чего забывал? Просят — всегда сделаю. Но только после обеда. Сегодня у нас кто первый по плану? Дочкин просил «Железную леди» побеспокоить. Но она просит — до двух ей не звонить. Работает, третий том про Ахматову пишет. Не могу даме навстречу не пойти.

С двенадцати до двух они по очереди удалялись обедать — наверно, в хорошее место, поскольку успевали там же и отовариться; по приходе он сообщал ей: «В заказах икра сегодня красненькая, четыре банки взял...» Или она ему: «Сегодня ветчина югославская, ты б тоже взял, твоя Нина мне спасибо скажет».

После обеда следовал звонок от Валеры — о замеченных изменениях, затем Коля-Моцарт — как я его мысленно прозвал, вслед за моей дамой,— приступал к общественным поручениям.

— Алё, можно Лидию Корнеевну*?.. Ваш почитатель звонит. Обижаетесь на нас, что мы вам конверты перепутали? Но письма-то — дошли. Не ошибается тот, кто

---

* Лидия Корнеевна Чуковская. Так, по ее рассказу, беседовали с нею славные чекисты.

ничего не делает... Как это так — не делать? Ничего не делать мы не можем. Мы же вам жить пока не мешаем. Воздухом дышите? Дачку ещё пока не отобрали?

Там, видимо, клали трубку, но Коля не обижался, говорил озабоченно, с теплотою:

— Голос у ней сегодня чего-то усталый. Спит плохо, мысли невесёлые. Да, ей много пережить пришлось...

— А всей стране — легче было? — возражала дама.

— За всю страну болеть — это Колиной головы не хватит. Сейчас она у меня за Наталью Евгеньевну* болит... Алё, можно Наталью Евгеньевну?.. Кто говорит? Академик Сахаров говорит. Ну, кто ж тебе, Натуля, ещё звонить может? Большому кораблю — большое плаванье... Чего звоню? Удивлён я, Натуля, безобразным поведением твоего сожителя... А надолго ли он тебе муж? Я так думаю — ненадолго. Ты уже могла убедиться на примере некоторых твоих друзей, что за подобные штучки, что он вытворяет, судьба наказывает очень жестоко. Смотри, не образумишь своего красавца — будем вместе скорбеть о безвременной потере кормильца... Алё, куда ты там делась? Телефон небось бегала замерять? Давай замеряй. Делать тебе не хрена, Натуля, лучше бы рубашки мужу погладила, а то в мятой ходит, нехорошо, Натуля...

Видно, и Натуля швыряла трубку, и Коля это объяснял с той же заботливой теплотою:

— Нервничать стала. Даже заикается. Хорошо бы им в Сочи съездить. Ведь восемь лет не отдыхали!

У дамы на этот счёт было своё мнение:

— А потому что всё девочку из себя строит. Холёсенькую! А уж за сорок давно.

Коля-Моцарт уже набирал другой номер:

— Алё, товарищ Чемоданов?.. Сидишь, корпишь?.. Корпишь, говорю, тетеря глухая?! Бросай ты эти дела богословские, ты ж всё равно не докажешь, что бог есть, а в психушку сядешь... Да не, из какого там «кей-джи-би», всё тебе «кей-джи-би» мерещится. Просто твой почитатель тайный, хочу тебя предупредить. Ты вот с Бурундуковым общаешься — лучшим другом его считаешь?.. А знаешь, что он про тебя говорит в обществе? Вот у

---

* Наталья Евгеньевна, Натуля — жена автора, участница правозащитного движения.

меня тут специально записано. Что все твои писания — вторичны... Вторичны! Сколько тебе повторять, уши прочисти! И нет, говорит, у него центральной идеи, поэтому в статьях драматургия не чувствуется... Да не у него, а у тебя... Ну, не знаю какой. Центральной нету... Драматургия? Ну, значит, должна быть, раз говорит, что у тебя не чувствуется. Вот так. Задумайся.

— Поверил? — спрашивала дама.

— Не поверил, но огорчился.

— Хорошо у тебя получается. Лучше всех в отделе.

— Выматываюсь потому что, всю душу вкладываю. Ну, на сегодня хватит.

Тем временем главный объект наблюдения тоже заканчивал свой ежедневный урок и вставал из-за стола. Мне было видно, как он накрывает машинку, считает и складывает отпечатанные листки, потом стоит подолгу у открытого окна, глядя на наши окна — и не видя их, точно смотрит куда-то в туманную перспективу. Если б я даже подал ему знак (какой, не подскажете?), он бы его не заметил. Как мне было ему посоветовать, чтоб он хотя бы завесил окно? В сущности, это ребячество, без которого можно обойтись,— эта его привычка поглядывать время от времени, отрываясь от своих писаний, на зелень, на верхушки клёнов, ив, тополей. Я понимаю, он сам их когда-то сажал — больше, чем кто другой в доме,— и ему, наверно, любопытно смотреть, как они вытянулись и разрастаются с каждым летом, поднялись уже к пятому этажу. Его это, наверно, вдохновляет, но надо же учесть и 12-этажник, что стоит наискосок, оттуда в сильную оптику можно, пожалуй, и прочитать, что он там пишет. Или он думает, что если сам он в чужие дела не лезет, то и другим нет дела до него? Но когда он, по своему расписанию, спускается во двор и бродит между домами, кому-то названивая из разных автоматов, не может же он не чувствовать на себе десятки взглядов — любопытствующих, осуждающих, а то даже испепеляющих,— ведь отчего-то он каменеет лицом, проходя сквозь эти взгляды, старается пройти быстрее. Вслед ему поворачивают головы все бабушки в беседках, и все детишки в песочницах, и даже собаки — в соответствии с настроением хозяев — натягивают поводки в его сторону. Такой вот микроклимат в нашем микрорайоне. Все ведь зна-

ют: с тех пор, как его исключили из Союза писателей, к нему исправно каждые три месяца является участковый и снимает допрос, на какие средства он живёт, а однажды у всех на виду нашу знаменитость вывели под руки и, усадив в жёлто-голубой «Москвич» с синим фонарём на крыше, повезли в отделение — за два квартала, откуда он, правда, вернулся через час пешком.

С этим участковым, дядей Жорой, мы кланяемся, и я тогда спросил у него:

— Что, выселять будут — как тунеядца?

— Тунеядец-то он тунеядец,— сказал дядя Жора с досадой, разглядывая носок сапога,— да у него книжки печатаются — в Америке, в Англии, в Швеции и хрен знает где ещё. Кроме как у нас. Сигналы на него поступают, а как на них реагировать? Его, понимаешь, дипломаты приглашают, не очень-то подступишься.

— Трудный случай? — спросил я.

— Весь ваш район трудный. И чего я из Коминтерновского сюда перевёлся? Хотя там тоже писателей этих до едрёной фени.

Дядя Жора у нас недавно, а я здесь живу с детства. И я помню, как этот наш тунеядец был некогда в большой моде, его печатали в «Новом мире», и по его сценариям снимали фильмы, и вот в этой самой квартирке пел громоподобно, услаждая весь двор, покойный теперь артист Урбанский. И тогдашняя восходящая звезда Л. Л. привозила дорогого автора со съёмок на своей машине, и оба наших дома наблюдали, как она ему на прощанье протягивает цветы. И эти старушки, бывшие ещё только зрелыми дамами, домогались его автографа. Да все, кто теперь воротят от него носы, старались попасться ему на глаза, удостоиться пятиминутного разговора.

Я не знаю, что такое случилось с ним — да с ним ли одним? Тогда была кампания любви к молодым, любили целое поколение, которое почему-то называлось «четвёртым», и он входил в эту плеяду, «надежду молодой литературы», считался в ней «одним из виднейших». Потом у всей плеяды что-то не заладилось с их новыми книгами, не так у них стало получаться, как от них ждали, к тому же они имели глупость «нехорошо выступать» и что-то не то подписывать и до того довыступались и доподписывались, что их стали выкорчёвывать

всем поколением сразу. Теперь и не прочтёшь нигде, что было такое — «четвёртое поколение», а плеяда рассеялась по всему свету, остались только те, кому удалось сохранить любовь к себе,— и вот такие, как он, двое или трое, которым, как говорят, «терять уже нечего». Да, всё почему-то не получается у нас — оправдать надежды Родины! И поэтому мальчик Толя, семи лет, которому он заметил, что нехорошо царапать гвоздём чужую машину, может ему ответить с достоинством хозяина жизни: «А вы тут вообще на птичьих правах».

Впрочем, ещё один персонаж осмеливается говорить о его статусе во всеуслышание — наша районная шизофреничка Верочка. Когда, раз в полгода, ей приходит пора ложиться в больницу, а врачи почему-то не кладут, она кричит на весь двор, подпрыгивая упруго на двух ногах, как воробей: «А я на их писателю пожалуюсь на пятом этаже! Он за мине по "Голосу Америки" заступится!» Вот два полюса его невероятного положения: и «на птичьих правах», и можно — когда всё исчерпано — ему пожаловаться, и он «заступится». Так говорят семилетний и юродивая, но и мы, взрослые и нормальные, знаем: и то и другое — правда. А может быть, всё это, непостижимое, не с ним случилось, а с нами? Может быть, он остался, каким был всегда, а мы переменились вместе со временем? Что же с нами со всеми произошло? Те самые люди, что по вечерам припадают к транзисторам и ловят сквозь рёвы глушилок сообщения о нём или куски из его последней книжки, те же самые люди растят детей, которые выучились и смотреть ему вслед насмешливо, и вытаскивать из его почтового ящика письма, чтоб порвать и бросить на лестнице. Да, впрочем, и пишут ему как будто всё реже, скоро и вовсе перестанут. Хотя люди компетентные — как наш сосед по лестничной площадке, бывший дипломат в Норвегии или в Дании, славный тем, что провалил в этой стране всю нашу разведку,— говорят, что наоборот, пишут со всех концов страны и из других стран, но всю корреспонденцию забирает на почте особый человек по «доверенности номер один».

А теперь, кажется, подступились к нему вплотную — и как мне его предупредить? Можно дождаться, когда он вынесет свою мусорную корзину с обрывками черновиков, и подоспеть со своим ведром, и тут, над контейне-

ром, под шорох вытряхиваемого содержимого, сказать потихоньку. А он мне поверит? Не сочтёт за провокатора, которому как раз и поручили воздействовать на него психически? Он помнит, конечно, как я по его книгам писал дипломную «Об использовании бытового и производственного жаргона в произведениях имярек» и донимал его расспросами, но помнит он и другое — все мы переменились, и каждый мог стать кем угодно.

Пожалуй, я бы всё-таки решился, но этот таинственный Валера... Чёрт бы его побрал! Где он прячется? Откуда следит? Может быть, он изображает алкаша, который вон там, прислонясь к дереву, опохмеляется пивом «из горла́»? Или на лавочке обжимается со своей подружкой, тоже топтуньей? Или стоит на углу с газетой, свёрнутой в трубку? — вон даже махнул кому-то, знак подал. А может, он как раз уминает мусор в контейнере — и собирает эти самые обрывки? Я даже такой странный разговор слышал — между Колей и дамой: «Кто у нас сегодня *Валерой*? Вроде бы Дергачёв со Жмачкиным?» — «Не со Жмачкиным,— отвечала она,— а с этим... новеньким, с Ларьковым».— «То-то, я слышу, голос какой-то не родной...» Так он, этот Валера, не один? Так их — двое? А может, их даже пятеро или шестеро, а только один звонит? Нет, я не осмелюсь. У меня диссертация, и через полгода — защита. С опозданием на семь лет, после моего жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которой нашему строю ни горячо, ни холодно и за которой можно как-то пересидеть, если не рыпаться. У меня папа и мама, которым эти мои тамильские предания и пракриты лишь потому не кажутся чепухой собачьей, что они привыкли уважать всякое чужое дело, и тем больше уважать, чем меньше они в нём понимают. Могу я, по-вашему, разрушить их надежды? Смею ли рассчитывать на их негенеральские пенсии или на то, что папа, в крайнем случае, продаст свою коллекцию? Ну и, наконец, вот что... Положа руку на сердце, строго между нами, как на духу... Ведь когда он *становился за черту*, он тоже не смел рассчитывать, что кто-то из-за него станет подкладывать пальцы под паровоз. И наверное, мог бы воздержаться от каких-то крайностей. Чем-то он *их* уж слишком разозлил — иначе б не стали

тут держать пост, это всё-таки дорогое удовольствие. И почему же кто-то другой должен разделить его грехи или ошибки, к тому же — беззащитный, о котором никакой «Голос», никакая «Волна» и никакое там Би-Би-Си словечка не скажут? Не знаю, не знаю...

Покуда я размышлял таким манером, писатель уже возвращался из своих странствий, я опять видел его в окне, и возвращались с прогулки мои старики. Мы обедали в кухне — и в основном молчали. Я отчего-то догадывался или читал на их лицах, что для своих прогулок в Филёвском парке они выбирали такие дорожки, сидели на таких лавочках, где встретиться с наблюдаемым было бы даже теоретически невозможно.

Ровнёхонько в пять звонил в дверь мордастый, отвешивал молча головной поклон и направлялся к моей комнате.

— Ну-с, как успехи?

Докладывал Коля-Моцарт, дама вставляла отдельные реплики. Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими.

— Четвёртую главу закончили, с божьей помощью. С этой главой были трудности — наверно, придётся койчего перебелить. Пока начали перепечатку пятой. Да над финалом тоже придётся покорпеть.

— Ну, это уже небось готово,— говорил авторитетно мордастый.— Хорошие писатели финал пишут загодя.

— Ещё предисловие будет к зарубежному читателю,— уточняла дама.— Пока только наброски.

— Ну, что ж,— говорил мордастый довольным голосом, и я почти видел, как он потирает руки или бьёт кулачком в ладонь,— числу к тридцатому, пожалуй, запрёмся в ванной?

Я уже знал, что писатель свои манускрипты переснимает на плёнку и делает это в ванной.

— Плёнка уже имеется,— сообщала дама,— «Микрат-300».

— Молодец, хорошую плёнку достаёт! — хвалил мордастый.— Узнать бы, с какого объекта ему тащат, да задать тому деятелю по загривку — за соучастие. Ну, уж ладно, конец — делу венец. Готовимся, значит, к операции «Передача»?

Мы в кухне, замерев, слушали его булькающий смешок.

— А что, братцы, пожалуй, на этот раз Англия не устоит?

— В каком смысле? — спрашивал Коля-Моцарт.

— Договор заключит без промедления. В прошлый раз сколько тянули? Года четыре?

— С половиной,— уточняла дама.

— Уже вся Скандинавия сдалась, Франция не выдержала, не говоря об итальянцах...

— Ну, итальянцы — те что ни попадя переводят,— вставляла дама.

— А эти-то долго, англичане, держались. Привередливые! Но с тех пор-то мы выросли! С прошлой книжечкой не сравнишь, романище мирового класса. Ребята в фотоотделе куски почитывали — прямо так хвалят! Если мы тогда на аванс в две тыщи фунтов согласились, так теперь и с четырьмя спешить не будем. И со Штатами поторгуемся! Хотя они и так хорошо отвалили, а можно и больше с них содрать.— Слышалась искренняя гордость возросшим талантом наблюдаемого и затем — вздох почти горестный.— Да-а... И почему это я романы не пишу? Всё — статеечки, статеечки на злобу дня.

— Кто-то же должен и на злобу,— утешал Коля-Моцарт.— Вы не менее важное делаете.

Мордастый, однако же, на лесть был не падок и коротко перебивал:

— Бельгиец был?

— Час проговорили с четвертью,— ответствовал Коля.— Мы едва успели кассету сменить.

— Что-нибудь вынес?

— Отчётливо сказать нельзя.

— А какая у нас техника? — жаловалась дама.— Одно мучение!..

— Да, и этот чёрт бельгийский берёт так ловко, что и не зафиксируешь. А ведь он-то, я чувствую, и передаёт. Вот бы кого по-крупному опорочить!

— А Хельсинки? — спрашивал Коля.— За письма его ж не выдворишь.

— Что Хельсинки? Его на иконах надо подловить. Большой любитель нашей старины! Кто ещё был?

— Из посольства Франции — на машине с флажком.

— Один шофёр или кто поважнее?

— Шофёр.

— Ну, это он приглашение привозил — на четырнадцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял для передачи, французы — они осторожные. Кто ещё?

— Ахмадулина приезжала на такси.

— Беллочка? — оживлялся мордастый. И опять вздыхал печально.— Да, слабаки эти официалы, только она его и посещает. Луч света в тёмном царстве. О чём говорили?

— Хозяина не застала, с женой поболтали полчаса. Всё насчёт приглашения: на дачу в Переделкино, в субботу.

— Ясно. Стихи новые почитаем. И напитки, конечно, будут — умеренно. По уму.

— Сапожки немодные у неё,— вставляла моя дама тоном сожаления, но отчасти и превосходства.— Наши таких уже сто лет не носят. И шапочка — старенькая.

— Так ведь когда у неё Париж-то был! Пять лет назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала бы, так и сапожки были б модерные, от Диора.

Чёрт бы побрал эти деревья, из-за которых не видно стало подъезда! Была Ахмадулина — и я прозевал её. Я не сбежал вниз, не протянул ей последнюю её книжку для автографа, не высказал, что́ я о ней думаю. А если и правда, что «поэт в России — больше, чем поэт», то, может быть, наше безвременье назовут когда-нибудь временем — её временем, а нас, выпавших из летоисчисления, её современниками? Но про меня — кто это установит, где будет записано? Мы себе запретили вести дневники, мы искоренили жанр эпистолярный, по телефону лишь договариваемся о встрече, а встретясь, киваем на стены и потолки, всё важное — пишем, и эти записочки, сложив гармошкой, сжигаем в пепельницах. Господи, что же от нас останется? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они — даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, увиливаем, петляя, «раскидывая чернуху», неутомимые эти труженики наши, ревнивые следопыты, проделывают за нас же всю необходимую работу, собирают нашу историю — по крохам, по шепоткам, по обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и целыми кипами бумаг — при удачном обыске. Плетя свою паутину, они связывают в узлы разорванные, пунктир-

ные нити наших судеб. Мы что-то могли потерять — у них ничего не потеряется! Всё будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третьего тысячелетия, и прошу у тебя прощения! Когда всё это будет разложено по музейным папкам, из которых ты любую сможешь востребовать по простому абонементу, ты мог бы — выбеги я к подъезду! — услышать наши голоса, а то и увидеть покадровую съёмку нашей встречи: вот я подхожу, слегка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книжку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Ахатовна смотрит удивлённо, потом с улыбкой, мы оба в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я стараюсь покрепче держать в руках. И, поскольку возникло бы подозрение, что я через неё предупредил наблюдаемого, ты нашёл бы в этой папке всё обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и какой тип женщин я предпочитал, помногу ли пил и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное дело, умонастроения. И ты б тогда составил полную картину, что же собою представлял я, не пошевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, когда нам дадут прочесть нашу собственную историю.

— Даю оперативку,— прерывал мои размышления мордастый.— Вечером у хозяина слёт ожидается. Надо полагать — с водочкой.

— Три поллитры куплено «Старомосковской»,— подтверждал Коля-Моцарт.— Валера фиксировал в магазине.

— Будет кое-кто из диссидентуры.— Мордастый называл имена, которые можно услышать по радио, то есть когда-то было можно, покуда эти поляки не вынудили *наших* глушить «вражеские голоса».— Привезут, конечно, «документы» на подпись... Ну, это не наша забота. А вот проследить насчёт рукописей. Есть сообщение, что двое молодых собираются прийти, из «Союза независимых», или как они там себя называют? Что-нибудь почитают, наверно, вслух, а если толстое — то оставят.

— Так чего с этим делать? — спрашивал Коля.

— Фиксировать, больше ничего. Пока никаких указаний не было. Наш объект — хозяин. И — каналы, каналы!

Уходя, мордастый взглядывал мельком на мою «золотую полочку», где уже, как вы понимаете, никаких «Зияющих высот» не стояло, зияла пустота.

— Сынок ваш взрослеет,— как-то сказал он на прощанье папе, желая доставить приятное.— И в целом мы вами довольны.

— А мы вами — нет,— отвечал папа — впрочем, когда дверь за мордастым закрылась.

С моими стариками определённо что-то происходило. Они всё больше мрачнели. Папа охладел заметно к своей коллекции, забывал протирать её тряпочкой по утрам, рассматривать и переставлять часы с места на место, даже заводить забывал — и вскоре иные вовсе умолкли, дзинькали и блямкали только те, что с недельным заводом; он всё реже шикал на маму, а мама всё меньше стеснялась нашей пониженной звукоизоляции.

— Ты знаешь, Матвей, что я решила? — спрашивала она посреди тишины.

— Что ты решила?

— Нам надо купить цейсовский артиллерийский бинокль. Я видела в магазине — за девяносто шесть рублей.

— Зачем? У нас есть бинокль.

— Театральный? Это дерьмо. Артиллерийский даёт восьмикратное увеличение.

— Аня, зачем нам с тобой восьмикратное увеличение?

— Ты не понимаешь? Я хочу во всём участвовать.

Это слово — «участвовать» — она теперь часто произносила, к месту или не к месту. Звала ли её соседка занять очередь за сардельками — она отвечала: «Нет, я, пожалуй, сегодня не буду участвовать»; собирались ли подписи на выселение буйного алкоголика, художника К., в молодости сталинского лауреата,— «Я подумаю, надо ли мне участвовать»; складывались ли по трёшке на ремонт и покраску скамеек — «Считайте, что я участвую».

— В чём ты хочешь участвовать? — спрашивал папа унылым голосом.

— Во всём! Я потратила свою молодость на субботники и воскресники, увлекалась поэзией бесплатного труда, но, оказывается, есть такое бесплатное удовольствие — не считая, конечно, стоимости бинокля,— заглядывать в чужие квартиры, в чужие окна... я не знаю, в замочные скважины. Я чувствую, как я от этого молодею!

— Аня, я прошу тебя — тише.

— Почему — тише? Я хочу — громче! Я хочу слышать, что делается в чужих постелях, о чём говорят любовни-

ки в антрактах или муж с женой. Ты не видел объявлений — где-нибудь можно купить по сходной цене подслушивающую аппаратуру? Я понимаю, в государственных магазинах нам не продадут, но где-нибудь подпольно, я тебя уверяю, её делают — и не хуже, чем у японцев. Но начнём с артиллерийского бинокля, потом ты втянешься, тебя будет не оторвать. Недаром весь мир на этом помешался, теперь же самое модное занятие — подслушивать и подглядывать.

Папа вставал и, согбенный, шаркая шлёпанцами, уходил на кухню. Мама, подняв голову, как пойнтер на охотничьей стойке, глядя своими чёрными, расширившимися глазами в окно, слушала, как он там чиркает спичкой, ставит чайник на газ, открывает банку растворимого кофе.

— Пол-ложечки! — кричала она, не выдержав.— И добавь, пожалуйста, молока. Без молока я не позволю!

— Я не понимаю! — взрывался папа.— Кому из нас было плохо с сердцем?

Мама переводила взгляд на меня — он был теперь вопрошающим, сострадательным и вместе неуловимо разочарованным,— кусала губы, отчего горестно искажалось её красивое, иконописное лицо, и отвечала едва слышно:

— У всех у нас плохо с сердцем.

В мои библиотечные дни, занимаясь в Ленинке с утра до вечера, я всё же приезжал на метро к обеду. Так требовала мама, и так нам всем было дешевле и лучше. Пятнадцать минут сюда, пятнадцать обратно, и все мои дневные траты — четыре пятака, не считая сигарет.

Выходя из вагона, я по какому-то наитию поднял голову и увидел, что папа ждёт меня наверху, на мосту, перекинутом через нашу наземную станцию и который отчасти служит ей крышей. Я настолько не привык видеть папу на улице одного, без мамы, что сердце у меня подпрыгнуло.

— Успокойся, пожалуйста,— сказал папа, хотя я ни о чём не спросил.— Мама просто прилегла отдохнуть. Так что обед у нас будет попозже. Мы с тобой пока перекусим в «Багратионе».

Это ближайшее от нас кафе, на нашей же Малой Филёвской. Я помню, лет шесть мы ждали его открытия — и

были поражены, как быстро, в первую же неделю, установился в нём запах захудалой столовки, этот омерзительный и сложного состава аромат — увядшей капусты, перекалённого жира, лежалой рыбы и такого же мяса, вдобавок ещё блевотины и скандала. Никто «порядочный» сюда не ходил, да и сейчас захаживают не часто — прежняя слава ещё не рассеялась. Когда уже махнули рукой на наше кафе все ревизоры и комиссии, в дело вошёл последний его заведующий, он же и бармен, коренастый армянин, большеголовый и без шеи. Он поначалу приезжал на метро, но вскоре стал ездить на красной «Ладе», попозже на «бамбуковой», теперь на белой,— но, надо признаться, не без заслуг: деньги и материалы, им же и выбитые на капитальный ремонт, он потратил с толком. Он оборудовал импортный бар в углу, стены обшил панелями тёмного дерева и шоколадной кожей, установил разноцветные светильники, каждый столик заключил в отдельную кабинку, отгороженную высокими, резного дерева переборками. Он, наконец, вышиб к чёртовой матери «музыкальный ансамбль», этих наших «песняров», длинноволосых и наглорожих, сексуально озабоченных, с их инкрустированными электрогитарами, с притопами и прихлопами, с идиотскими «ла-да-да»,— и заменил их довольно несложным ящиком, из которого полилась негромкая и совсем недурная музыка. Оказалось, и невыветриваемый брезготный дух — выветривается, при некотором напряжении ума и сил можно его вытеснить амброзией шашлыка с тмином, кинзой и эстрагоном. Много может сделать человек, если на него махнуть рукой! Жаль только, силы сопротивления опомнятся, да и не кудесник же он — без конца добывать хорошую баранину.

Весь путь до «Багратиона» папа не проронил слова, только подозрительно оглядывался. В жаркий день на нём был его приличный костюм цвета маренго, дважды побывавший в чистке, рубашка с глухим воротом и галстук, повязанный толстым узлом. Во всём облике моего старика чувствовалась непонятная мне, но отчаянная решимость.

Мы выбрали дальнюю кабинку возле окна, хотя не много их было занято в глубине зала и никто бы нам особенно не мешал: в одной гудела компания азербайджанцев, в другой лопотали по-французски четверо нег-

ров – наверно, из «Лумумбы»*, ещё в двух-трёх сидели парочки, премного занятые друг другом, а здесь нас мучило солнце и донимал уличный шум. Но папа так решил, и я не стал возражать.

Официантки нам, ясное дело, не светило скоро дождаться, но сам заведующий, он же бармен, не торопясь, вышел нас обслужить. Он принёс нам по шашлыку на овальных никелированных тарелочках, подстелив под них синие бумажные салфетки, побрызгал из одной бутылки чем-то винно-красным, из другой – бледно-жёлтым, посыпал из руки жемчужными полуколечками лука и пахучим зелёным крошевом. Было в этом что-то милодомашнее. Папа его попросил завести музыку. Он молча кивнул и удалился за свою стойку.

Папа зачем-то поглядел под стол, попробовал откинуть спинку дивана, заглянул за портьеру и, приступив наконец к шашлыку, спросил:

– Ты понял, кто у нас поселился?

– О да! На этот счёт у меня никаких сомнений.

– Так ты таки ничего не понял!

Он приблизил ко мне лицо, изрезанное морщинами, с тонким хищным носом и ястребиными, табачного цвета, округлившимися глазами,– лицо Шерлока Холмса, только не с Бейкер-стрит, а откуда-нибудь из Бердичева,– и задышал на меня барашком, кинзой и луком.

– Мы с мамой уже давно догадались. Уголовники. Обыкновенные уголовники. Но не простые, а – международного класса. Уверяю тебя, их наверняка разыскивает Интерпол.

Я отшатнулся.

– Папа, что ты говоришь! Они прежде всего – русские.

– Да? Они тебе показали паспорт? Они тебе показали фитюльку – и то на одну секунду. Дай мне сигарету, пожалуйста, мама не почует, что я курил... Да? Ну и что – что русские? Почерк у них – явно международный. Ты слышал, как они шантажируют по телефону каких-то людей, и в особенности – женщин? По чужому телефону! И ты не почувствовал, что это какой-то условный шифр? Это же так ясно. Это их жертвы! Как я думаю,

* Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне – Российский университет дружбы народов).

если хочешь знать моё мнение, они послали этим людям подмётные письма с требованием — положить туда-то такую-то сумму, но те почему-то не поддались на провокации, и отсюда эти угрозы. Ты слышал, чем они угрожают? «Тебе, падла, по земле не ходить». И ты меня станешь уверять, что они — *оттуда?* — Папа, с брезгливой гримасой, помахал вилкой.— Не-ет! *Там* себе такого не позволяют. *Там* серьёзное государственное учреждение. *Там*, конечно, не ангелы служат, у них свои «но», не будем здесь говорить... Но на такие штуки *там* не идут!

— Да почему ты думаешь? Почему мы все думаем, что есть какие-то штуки, на которые *они* не пойдут?

— Я знаю,— сказал папа, для вящей убедительности закрыв глаза.— Я знаю, если говорю.

— Но у них же... аппаратура.

Странно, это было единственное, что я нашёл возразить.

— Хо-хо! — сказал папа.— Достать аппаратуру — это теперь не такая проблема. Наверняка её где-нибудь делают подпольно — и не хуже, чем у японцев.

Я услышал совершенно мамины интонации.

— Хорошо. Если так, как ты говоришь, чего ж они хотят от нашего визави?

Глаза у папы, кажется, стали ещё круглее, седой ёжик пополз на лоб.

— Ты ещё не догадался? Они и его хотят ограбить, только — в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции. А если переведут на английский и на испанский, тогда он — просто миллионер. С их точки зрения. Они только ждут, когда он закончит, чтоб тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать. «Отдадим, но при условии — положите энную сумму в такой-то банк, на такое-то имя». Или просто — продадут каким-нибудь пиратам из жёлтой прессы. Мы себе даже не представляем, какие у них возможности, связи во всём мире. И ведь он перед ними совершенно беззащитен. Он же — вне закона! Ты это-то понял?

Это-то я понял, я только не мог понять, верит ли сам папа в свою кошмарную гипотезу. Он вообще любитель гипотез, в особенности — фантастических, от которых у собеседника иной раз уши вянут,— а ведь, каза-

лось бы, человек точного знания, инженер, не я – с моим индуизмом и теорией «других рождений». Но даже если и правда это – не может же быть, чтоб *там* об этом не знали, не были бы даже рады, если бы с нашим «отщепенцем» что-нибудь этакое произошло. И чем мы ему поможем? Не с нашими пулемётами соваться в политику! У меня даже заныло под ложечкой.

– Ты считаешь, что мы его должны предупредить? – спросил я.– Скажу тебе честно – я боюсь.

– Ты мой сын,– сказал папа,– поэтому ты боишься. И поэтому говоришь об этом честно.

– В конце концов, кто он нам и кто мы ему?

– А вот это уже – нечестно.– Папа смотрел на меня скорбно, и мне было трудно выдержать его взгляд.– Ты знаешь ответ на свой вопрос. Мы ему – читатели. А он нам – собеседник. Он же обращается к нам! А мы – затыкаем уши.

– Ты можешь мне сказать, почему он не уедет? Столько людей мечтают вырваться – и не могут, а от него бы избавились с дорогой душой. Неужели ему не хочется мир повидать – Венецию, Лондон, Париж?..

– И заплатить за своё любопытство – родиной? – спросил папа. И, не дождавшись моего ответа, покачал головой.– Я поздравляю тебя, Александр. Ты хоть и поздний наш ребёнок и с поздним развитием, но вырос настоящим советским человеком, я могу только гордиться. Ты научился решать за других – кому ехать, кому не ехать. Но что делать, если он решил не по-твоему? Вот решил, что нельзя сейчас покинуть Россию. И как бы ты отнёсся, если б действительно он уехал? Совсем равнодушно?

Разумеется, не опустела бы земля, подумал я, но что-то, наверно, сдвинулось бы тогда хоть в нашем микрорайоне – и не в лучшую сторону. Он стал нашей экзотической достопримечательностью, для многих не лишённой приятности. Приятно ведь знать, что кому-то живётся ещё труднее. У меня, например, это так. И я бы, наверно, бросил в него камень. Почему же он не выдержал? Как посмел не выдержать!

– Но ему было столько предупреждений! – Я возражал скорее не папе, а себе.– Начать с телефона, с почты, с того, что машину нельзя оставить, чтоб дверцы не вскрыли, не порезали покрышки, не залили бы какую-

нибудь дрянь в бензобак. И допросов ему хватило, и слежки по пятам. Чего ещё ждать? Чтоб взяли архив, переписку, книги, рукописи?*

— Это предупреждения? — сказал папа.— Это жизнь. Да, которую он себе выбрал. Он писатель, он это предвидел, он свою страну немножко знает. В этом отношении — «все системы корабля работают нормально». А вот они, наши «родственники»,— папа всё гнул свою гипотезу,— это уже ненормально.

Не назвал бы я нашего соседа таким уж провидцем насчёт родной страны. Случалось ему и открытия совершать, лишь для него одного неожиданные. Я помню, лет десять назад, когда он был ещё *официальным писателем* (интересно, в каком другом удивительном мире есть писатели официальные и неофициальные?), он сажал во дворе и вокруг дома ёлочки — штук семьдесят, если не больше. Он возил их откуда-то из лесу, километров за сорок, на своём, теперь уже состарившемся, «Москвиче» — по три, по четыре в рейс, обернув рогожей большие комья земли. Все эти ёлочки прижились и тронулись в рост, и вот тут-то мы показали этому психу, что он не зря потрудился для общества. Перед каждым Новым годом по ночам визжали ножовки — ведь у нас такой прекрасный, человечный обычай: ёлочка в доме под Рождество — и желательно не из синтетики, а натуральная. Скоро от всех семидесяти остались одни колья, с полуосыпавшимися боковыми ветвями, смотреть противно и горестно. А ведь его предупреждали — но он отвечал: «Видите ли, я стараюсь о людях так не думать». Как же было не понять ещё тогда, что мы — больная страна, больная неизлечимо. Если б я мог покинуть её и только вспоминать, как страшный сон!

Но мне не выдержать того, что выдержала слабая женщина — Дина. Не пережить мне того, холодящего сердце, состояния невесомости, которое называется «быть в подаче» или «быть в отказе», не собрать всех этих идиотских справок, не имеющих отношения ни к телу моему, ни к бессмертной душе; меня сожгут эти взгляды служебных сук, исполненные патриотического презрения и лю-

* Позднейшее сообщение рассказчика: после описываемых событий был и обыск.

той зависти: «Есть шанс вырваться? А мы — чтоб тут оставались?» Она прошла босая по этим горящим угольям, и я сейчас вижу её такой, какой она улетала из Шереметьева,— когда она вышла, всего на несколько секунд, на знаменитый «балкончик прощания», растерзанная после нательного обыска, вся красная и в слезах, и сказала мне сверху каким-то рваным бесцветным голосом,— каким, наверное, произносит свои первые слова зверски изнасилованная: «Теперь ты, Саша... Через год — там... Я буду ждать!» Я стоял в окружении топтунов, которыми кишит провожающая толпа, но не только поэтому не ответил ей, просто — не знал, что обещать. Скрипку её, довольно ценную, провезти не удалось,— но, кажется, ей такая и не понадобилась в Бостоне, США, с концертами у неё пока не выходит, она даёт уроки музыки и этим зарабатывает столько, что «двум нашим семьям,— как она пишет,— с голоду умереть не удастся». Первые письма от неё полны были эйфории, она желала успеха моей диссертации и заверяла, что *здесь* то, чем я занимаюсь, будет иметь вес — побольше, нежели *там*,— но полтора года прошло, и всё больше стало сквозить грусти и раздражения — оттого, что меня, по-видимому, не дождаться; в последних — она скучает по Москве и даже «по всей нашей мрази», а о том, что ждёт, уже ни слова. Может быть, если б вышло с концертами, и не было бы причин для тоски.

— Он мог бы,— сказал я,— писать свои книги хоть на Азорских островах. Пожалуй, больше бы преуспел. А результат был бы тот же — тысяча экземпляров на всю Россию.

— Наверно, мог бы,— сказал папа.— Но я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живёт не на Азорских островах. Поэтому,— закончил он неожиданно, со своей причудливой логикой,— мы отсюда пойдём в милицию. В оперативный отдел.

У меня ещё сильнее заныло под ложечкой.

— Прямо сейчас?

— Можно не сразу,— легко согласился папа.— Мы попросим, чтоб нам сбили по коктейльчику. С вишенкой.

Мы покончили с шашлыками и пересели на высокие табуретки бара. Глядя, как бармен смешивает нам «шампань-коблер», папа вдруг спросил:

— Скажите, вы не скучаете по вашему Еревану?

— Я не из Еревана,— ответил бармен.— Я из Нахичевани. Почему скучать? Я оттуда никуда не уехал.

— Как это? — спросил я довольно глупо.

— Я могу завтра туда поехать. Значит, я там живу.

— Видишь! — сказал мне папа, подняв палец.— В этом вся суть.

Всё же и после коктейльчиков, которых мы заказали по два, ноги не очень-то нас несли к жёлтому флигелю бывшей усадьбы Огарёвых, которая высится над крутым лесистым спуском к Москве-реке и куда, как гласит история, Герцен присылал своего слугу с записками к другу. По дороге я спросил у папы:

— А что по этому поводу посоветовала мама?

— Мама? Ничего не посоветовала. Мама сказала: «Я не желаю участвовать во всём этом дерьме».

— Так и выразилась?

— Кажется, даже немножко резче.

И вот мы пришли и сели перед большим столом, за которым — вполоборота к нам и глядя в окно — сидел массивный майор в светло-серой рубашке и тёмно-сером галстуке, лет за сорок, с длинными залысинами, с пухлым лицом, с заплывшими глазками,— то ли монгольский божок, то ли Будда, то ли кот сибирский, где-то потерявший свои усы. Окно было настежь распахнуто, но забрано решёткой из толстых прутьев, расходящихся веером из нижнего угла. На лужайке перед окном четверо младших чинов дрессировали своих собак — огромных черноспинных и черномордых тварей, с пегими лапищами и нежно-бежевыми пушистыми животами,— учили их, как правильно нюхать тряпку и совершать круг, перед тем как рвануться по следу. Майор, развалясь на стуле, держа одну руку в кармане, а другую на столе, внимательно наблюдал за учениями, но, кажется, так же внимательно слушал, что ему втолковывал папа, потому что один раз, к месту, перебил недовольно:

— Как это вы говорите — «вне закона»? Закон на всех распространяется одинаково. По крайней мере, у нас в районе. Ну, продолжайте.

Раза два он взглянул на папу с видимым интересом, но и с неуловимой усмешкой, как смотрит чистопородный «ариец», русско-татарских кровей, на пожилого еврея. Похоже, мы скрасили ему дежурство всей этой фан-

тасмагорией. Но я ждал, когда нас всё-таки попросят за дверь.

— Однако это ещё не всё,— вдруг сказал папа.— Вы бы послушали, какие анекдоты они рассказывают друг другу! Разумеется, низкопробные и, я бы сказал, с очень нехорошим политическим душком.

Боже мой, это говорил мой папа, который во всю свою жизнь ни на кого не донёс, ни разу — даже когда следовало — ни на кого не пожаловался!

— Скажу вам прямо — махрово антисоветские.

Майор повернулся к нам и налёг жирной грудью на стол. Опора власти горела желанием послушать хороший махровый анекдотец с нехорошим политическим душком.

— А ну, ну! Поглядим, что за дым.

— Про нашу милицию,— сказал папа.— Но мне бы не хотелось здесь...

— Про милицию? — В глазках майора зажглось что-то зелёненькое, как у кота, когда он смотрит на птичку.— Ничего, давайте. А где ж их ещё рассказывать?

— Значит, один — такой. Подходит пьяный к милиционеру: «Дай ушко, я тебе политический анекдот расскажу». Тот говорит ему: «Ты что, не видишь, что я — милиционер?» — «Это ничего,— говорит пьяный,— я тебе три раза расскажу». Вот в таком духе.

— Та-ак,— сказал майор.— А ещё какой? Вы же сказали: «анекдоты», а только один рассказали.

— Второй — совсем дурацкий. И порочит нашу милицию совершенно зря.

— Они все дурацкие,— сказал майор.— И все порочат. Выкладывайте.

— Опять же пьяный,— сказал папа,— идёт по улице и орёт: «Алё, алё! Говорит “Голос Америки” из Вашингтона». Подходит милиционер: «А ну, замолчи сейчас же!» А пьяный — не унимается: «Алё, алё...» — ну и так далее. Тогда милиционер его окунает в лужу...

— Как это? — спросил майор.— С головой?

— Разумеется. Чтобы пресечь эти выкрики. Но пьяный — не захлёбывается, а продолжает из-под воды: «Алё... хварыть... хлас... мерк... с Ваш... хтона...» Тогда милиционер садится перед ним на корточки и кричит: «У! У! У!»

— Это ж он глушилку изображает! — догадался майор.

— Я же говорю — никакого отношения к милиции.

Майор закрыл глаза, словно чтоб погасить в них зелёное злое мерцание, и — после долгой выдержки — медленно их открыл.

— Вот что скажу, товарищ Городинский. У вас никого в квартире быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается.

Папа взглянул на меня с торжеством, однако и сам удивился:

— Вы точно знаете?

— Точно,— сказал майор.— Всё, что я говорю, всегда точно. Нас бы тогда предупредили. Я бы, по крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно.

Он отодвинулся вместе со стулом, вытянул до живота ящик стола, достал блокнот, из красного пластмассового стаканчика вытащил заточенный карандаш.

— Это называется «оперативный блокнот». Вы мне тут нарисуйте вашу квартиру. Чтоб я всё понял, где что находится.— Он повернулся опять к окну.— Митрофанов!

— А? — Митрофанов и его пёс обернулись одновременно. Должно быть, пёс себя тоже считал Митрофановым.

— Поди сюда, «а»...

— С собакой?

— Как хошь. Можно с собакой, можно без собаки.

Они всё же подошли вместе. Пёс, положив лапы на подоконник, просунул меж прутьев шумно дышащую пасть. От них обоих в маленькой комнате вполовину уменьшилось света.

— К собаке у меня претензий нету,— сказал майор.— А есть у меня претензии к участковому Туголукову. Как это, понимаешь, у нас непрописанные живут свыше недели, а нам про это ничего не известно? Вот в этой квартире.— Он показал пальцем на блокнот, где уже появились передняя и санузел. Пёс тоже поглядел и беспокойно взвизгнул.— И мало, что без прописки живут, так ещё анекдоты про милицию сочиняют.

— Я не сказал «сочиняют»,— возразил папа.

— Это уж мне известно, кто их там сочиняет и зачем. Ты только послушай, Митрофанов!

Папе пришлось, не прерывая занятия, пересказать оба анекдота Митрофанову с его псом. Первый прошёл для

Митрофанова бесследно, а после второго он было реготнул, показав нам хорошие деревенские зубы с крепкими дёснами, но был осечён грозным взглядом майора.

– Как ты считаешь, Митрофанов, это выпады против нас? Или же мне показалось?

– Выпады,– сказал Митрофанов.– И злостные.

– Это я и хотел от тебя услышать. А ты – смеёшься.

Пёс взглянул на хозяина удивлённо, затем, склонив голову набок, принялся разглядывать меня и папу умнейшими ореховыми глазами. Мне показалось, он всё же не до конца нам поверил.

– Я сейчас обедать пойду,– объявил майор.– Тут эти должны приехать с задержания, Кумов с Золотарёвым. Им сегодня ещё работка найдётся небольшая, так что пусть подождут, я лично дам инструктаж.

– Устали, поди, Кумов с Золотарёвым. Понервничали.

– С чего бы там нервничать? Володьку Боже Мой брали.

– Уже он опять освободился? – спросил Митрофанов.

– Уже ему снова садиться пора,– ответил майор.– Свыше недели погулял.

– Не отстреливался?

– В этот раз нет. А забаррикадировался в доме и грозится горло себе перерезать.

– Не перережет,– сказал Митрофанов.

– Раз грозится,– сказал майор,– значит, не перережет. Ну, иди, тренируй дальше.

Пёс, взглянув на хозяина вопросительно – принять ли это за команду, с видимым сожалением убрал свои лапы с подоконника и потащился за Митрофановым на лужайку.

Папа вычертил план изящными быстрыми касаниями карандаша, так ровно и точно, как и подобало старому проектировщику плавильных агрегатов для цветного литья. Он даже проставил размеры в миллиметрах. Майор поглядел на него с уважением и стал вникать:

– Так. Эта панель у вас сплошная. А вот эта дверь – к себе открывается или от себя? Ручка – справа или же слева?

Убей меня бог, чтоб я всё это помнил. Но папа отвечал уверенно:

– От себя, ручка – справа.

— Хорошо.— Майор даже повеселел.— Теперь учтите. Оно конечно, следовало бы удалить лишних людей из зоны операции, тем более — пожилых, со всякими там функциональными расстройствами, поскольку возможна перестрелка. Но с точки зрения оперативной — лучше, чтоб эти люди оставались в квартире.

— Станьте, пожалуйста, на оперативную точку зрения,— сказал папа, бледнея, но твёрдо.

— Я понимаю, вы люди... скажем, робкие. Но я попрошу вас — усильтесь.

— Мы усилимся,— обещал папа.— Можете на нас всецело рассчитывать.

— Тогда — где вам лучше укрыться. Бетонную панель пуля не пробивает, но не исключаются рикошеты. Иногда — двойные и тройные. Вот в этом уголочке,— он показал на плане,— опасность наименьшая.

— У нас тут как раз стоит диванчик.

— И прекрасно, что стоит. Хозяйка пускай приляжет, как будто ей нездоровится, а вы возле неё посидите. И будете вести громкий разговор. Я бы его определел как «бурный». Но не скандальный, это тоже привлечёт внимание нежелательное. Вы, скажем, с ней поспорьте на литературные темы. Или, скажем, про последний спектакль по телевизору.

— Телевизора у нас нет принципиально,— сказал папа.— Но это не важно, повод у нас найдётся поспорить. Скажите, а ему? — Папа кивнул на меня.— Ему, наверно, не обязательно участвовать в нашем бурном споре, лучше погулять во дворе?

— Спорить ему не нужно,— сказал майор, не глядя в мою сторону.— Ему лучше помолчать. И открыть двери как можно бесшумно. Ровно в семнадцать тридцать.

— Все двери? — спросил я, ощущая, с какой стороны у меня сердце.

— Зачем? — Майор опять не поглядел на меня.— Одну входную. А там — хоть в воздухе испаритесь.

Можно ли было провести эту операцию хуже, чем мы её провели? Папа и мама спорили у себя в комнате до того занудливо и такими ненатуральными голосами, как если б сильно перепились и приставали друг к другу

с вопросом: «Ты меня уважаешь?» А минут за десять до срока они совершенно исчерпали тему и смолкли. Я отпирал дверь трясущейся рукой — и замок щёлкнул на всю квартиру. Отчасти спасла положение кукушка в папиных часах, которая не запоздала распахнуть створки и отметить половину шестого печальным «куку». Скрип отходящей двери приглушили железным урчанием и тяжким боем часы с бульдогом.

Они тотчас же вошли — в светлых, нежно-кофейных плащах, засунув руки глубоко в карманы,— оба молодые, стройные, хорошо подстриженные и причёсанные, с подбритыми по моде височками. Если б вы ждали увидеть квадратные плечи и подбородки-утюги, так этого не было,— разве что нос у одного слегка был расплющен, а у другого — слегка на сторону.

— Ку-ку,— сказал мне первый, кто вошёл, с носом расплющенным, приблизив ко мне лицо и совершенно беззвучно, как будто и не сказал, а мысль передал внушением.— Дай же пройти, лопух.

— Простите, пожа...— успел я вымолвить, прежде чем его рука, деревянной твёрдости, запечатала мне рот.

Второй, с носом на сторону, притиснул меня одной рукой к стенке и затворил дверь, которая, как выяснилось, может и не скрипеть. Не заскрипел и наш старый паркет, когда они пошли по нему друг за другом в тяжёлых ботинках.

В моей комнате шёл государственной важности разговор — Коля-Моцарт докладывал мордастому, пришедшему за полчаса до этого:

— ...ещё жене пальто кожаное привезли в подарок, цвет беж, Валера зафиксировал. Туристка из Италии привезла на себе, вышла в курточке, в зелёной.

— Ничего себе подарок! — слышался голос моей дамы.— По каталогу «Квэлле», фээргэшному, такое пальтишко — четыреста шестьдесят девять марок, и ещё сумка под цвет. Кто это им такие подарки делает? Это же скрытый гонорар! Совсем уже обнаглели. И что только делают, что делают!

— А сколько ж это в рублях, если посчитать? — задумался мордастый.

Первый, кто вошёл, отпихнул дверь ботинком и, выдернув руку с пистолетом, бросился в комнату.

— А щас посчитаем в рублях!

Второй, став против двери и тоже с пистолетом у живота, рявкнул на всю квартиру:

— Всем на месте! Не двигаться! Башку прострелю!

Там что-то упало на пол, послышался изумлённо-испуганный, но бессловесный вскрик моей дамы, и быстро залопотал мордастый:

— Что такое, что такое? Свят-свят!..

Кажется, один Коля-Моцарт сохранил спокойствие, но ему-то как раз и досталось — я услышал звук, точно кулак с размаху влепился в тесто, и обиженный Колин взрёв. Он что-то попытался объяснить насчёт удостоверения, но нечленораздельно и вперемешку с матом, поэтому остался не понят.

— Лезешь, падла, куда не след! Ещё пошевели у меня мослами! Сказано — не двигаться.

Второй, оставшийся в коридоре, ласково посоветовал:

— А ты их к стеночке прислони, Олежек. Оно же удобнее будет.

— А и правда, Сергунь,— отозвался Олежек.— Ну-кось, граждане бандиты, валютчики мои золотые, все сюда, к стеночке лицом, упрёмся руками, ниже, ниже, вот хорошо.

Сергунь, опустив пистолет, тоже вошёл в комнату. Набравшись духу, и я туда заглянул. «Родственники» наши — не исключая и дамы — упирались руками в стенку и изображали правильный прямой угол, с перегибом в тазобедренной части. Признаюсь, и в этом положении моя дама сохраняла некоторую элегантность.

Олежек, завернув мордастому на спину пиджак, ощупывал брючные карманы и под мышками. Мордастый нервно вскрикивал и рефлекторно двигал ногою.

— Лягаешься,— упрекнул Олежек, тыча ему пистолетом под коленку.— Значится, как этот пьяный говорит? Я, говорит, тебе трижды повторю, чтоб ты дотюпал?

— А милиционер ему что? — спросил Сергунь, направляясь к окну.— У? У? У?

— Ты, Сергунь, путаешь, это в другом анекдоте.

— Какой пьяный? Какой милиционер? — вскричал мордастый.— Вы из какого отдела? Если угодно, я могу представиться — капитан Яковлев. А вы кто?

— Капитан, капитан, улыбнитесь,— пропел ему Олежек и принялся исследовать его пиджак.

Сергунь между тем исследовал аппаратуру — нечто напоминающее кинопроектор, объективом направленный в окно. От аппарата к розетке тянулся чёрный кабель. Сергунь покрутил ручки, приложил к уху толстый наушник, с раструбом из губчатой резины.

— Не смей трогать настройку! — визгливо закричала дама.— И слушать вы не имеете права! Я кому сказала? Слышишь, ты?..

И она прибавила нечто такое в адрес мужских Сергуниных достоинств, чего я в жизни не слыхивал от первейших матерщинников. Даже Сергунь застыл в оцепенении.

— Олежек, она вроде выразилась?

— Да вроде чуть не выругалась, Сергунь.

— Что ж она делает? — возмутился Сергунь.— Да она же всё святое порочит, лярва. Не-ет, я её сейчас оттяну... от этого занятия.

Слегка заалев, он шагнул к ней, к её приполненным формам, выставленным весьма удобно, и рукою, свободной от пистолета, сделал что-то едва уловимое, рассчитанно-молниеносное,— а проще сказать, *оттянул* по заду,— и у меня в ушах зазвенело от её истошного поросячьего визга.

— Полегче, Сергунь,— сказал Олежек.— Ещё, глядишь, след на всю жизнь останется, мужики любить не будут со всей отдачей.

— На всю жизнь — это нет,— возразил Сергунь, оттягивая ещё разок по другой половинке, для симметрии.— А недельку у ней это дело потрясётся.

И, не внимая новым визгам бывшей моей дамы,— от которой я излечился совершенно,— и возмущённым, но, к сожалению, неразборчивым восклицаниям Коли и мордастого, Сергунь подошёл к окну и отвёл занавеску. Поверх его плеча я увидел окно в пятом этаже и нашего визави, склонившегося над книгой или над своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону,— может быть, что-то услышал необычное или почувствовал чей-то взгляд,— но вряд ли он смотрел на что-то определённое и что-нибудь видел, кроме зеленеющих вершинок, скорее — блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова опустилась, и Сергунь бросил занавеску.

— Во, дела! — сказал Олежек, разглядывая книжечку, снятую с шеи мордастого.— А он и правда капитан. Только ни фига не Яковлев, а Капаев.

— Совершенно верно! — Мордастый сделал попытку выпрямиться.

Олежек нажимом пистолета между лопаток возвратил его в прежнее положение.

— А чего ж врал?

— Вы просто не в курсе операции! — вскричал мордастый, тут же, однако, снижая тон.— Я на это задание — Яковлев. Вы понимаете, что такое государственная тайна?

— Чего «государственная тайна»? — не понял Олежек.— Что ты Капаев или что ты Яковлев?.. Сергунь, у тебя голова не пухнет? Проверь-ка у этого, мосластого, он кто будет? Иванов, он же Сидоров, или наоборот?

Долговязый молча терпел, покуда Сергунь снимал с него книжечку и разглядывал её, почёсывая себе лоб пистолетом.

— Ни то, ни другое, Олежек. Старший лейтенант Серёгин, Константин Дмитриевич. А говорили: ты — Коля. Ну-к, повернись анфасом, Кистинтин Митрич. Вроде похоже...

Дама, не дожидаясь приказа, сама повернула к нему раскрытую книжечку и повернула лицо, от злости оскаленное и густо-красное. Из уважения к её полу ей позволили оторвать одну руку от стены.

— Ты, значит, не лярва,— сказал Сергунь,— а техник-лейтенант Сизова? А ещё кто?

— Никто. Сизова Галина Ивановна.

— Одна честная нашлась,— заметил Сергунь не без чувства юмора.— Я, говорит, никто. Ну, за чистосердечное признание мы тебе пятнадцать суток не станем оформлять. Как ты, Олежек? Простишь ей оскорбление при исполнении?

— Она ж тебя, Сергунь, оскорбила, не меня. Мне — за тебя обидно. Но я же твою доброту знаю, ты же у нас голубь мира.

— Да уж прощаю. А чего с ними дальше делать, как думаешь? Хрен с ними, пущай выпрямляются?

— А они ещё не выпрямились? — удивился Олежек.— Ну, может, им нравится так. Тогда — мы пошли.

— Нет уж, подождите! — Мордастый, встав вертикаль-

но, теперь, кажется, по-настоящему рассердился.— Извольте всё же представиться. Кто вы такие?

— Да здешние мы,— отвечал Олежек простецким невинным тоном.— Нас тут в районе все собаки знают. И облаять — побаиваются.

— Откуда вы, я уже догадался. А как прикажете в рапорте вас упомянуть?

— Пожалста. Я — Кумов Олег Алексеич. А он — Золотарёв Сергей Петрович.

— Книжечки можно не предъявлять? — спросил Сергунь.— Или надо?

Мордастый поглядел, как они засовывают пистолеты за отвороты плащей, и буркнул:

— Не нужны мне ваши книжечки.

— А в рапорте своём,— сказал Олежек,— не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас никогда не предупреждает.

— А мы это не любим,— добавил Сергунь.

Выходя из комнаты, они весело перемигнулись. Мне больше не хотелось смотреть в мою комнату, и я повернулся и увидел папу, который, оказывается, стоял у меня за спиной — весь какой-то увядший, сгорбленный, опустив глаза.

— Ошибочка вышла, папаша,— сказал Олежек, разведя руками.— Люди эти — не наши, но, как бы сказать, свои.

Папа лишь молча кивнул. И они переглянулись — малость с удивлением.

Мы провожали их до дверей. Они теперь шагали гулко, грузно, и паркет скрипел под их развалистой поступью.

— Извините, папаша,— сказал Олежек на лестнице, всматриваясь в папино лицо.— Может, лишнее беспокойство внесли... Это у них работа — санаторий, а у нас — погрязнее.

— Извините,— сказал и Сергунь.

— Ничего. Что же делать...— ответил папа. И закрыл дверь.

В коридоре нас дожидался мордастый. Волнистый его кок теперь рассыпался по лбу, отчего-то вспотевшему, и губы кривились язвительно. Он не говорил, он шипел:

— Что ж, вы проявили бдительность, тут вас не упрекнёшь. Поступили как советские граждане.

Папа, не поднимая глаз, кивнул.

— Но вы понимаете, что вы нас дезавуировали? Ввиду исключительной важности объекта, мы здесь никого не ставили в известность, положились на ваше содействие. А что получилось — из самых, что называется, благих побуждений?.. А может, не из благих?

— Из благих,— ответил папа скучным голосом.

— Я сейчас иду звонить. Если эти люди не имеют секретного допуска, то считайте, задание государственной важности вами сорвано. И мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры.

— Зачем же идти куда-то? — спросил я. Должно быть, по глупости.

Он смерил меня своим предолгим уничтожающим взглядом, но ответил не мне, а папе:

— Чтоб я звонил с вашего телефона? Скажу вам прямо: прежнего доверия у меня к вам нет, уж извините. И не трудитесь меня провожать.

Мы и не трудились. От грохота, с которым он захлопнул дверь, у меня сильно заныло где-то внизу живота, не знаю — как у папы.

Дверь в мою комнату была закрыта, и там стояла непривычная, прямо-таки зловещая тишина. Мы с папой, не глядя друг на друга, вошли в большую комнату. Мама, с закрытыми глазами, сидела на диванчике и, прижав ладони к вискам, раскачивалась из стороны в сторону.

— Боже мой,— говорила она, едва не плача.— Ну можно ли так унижать людей! Какие б они ни были...

Папа, нахмурясь и звучно посапывая, стал ходить из угла в угол. Я тоже себе не мог найти занятия. Вдруг папа нашёл его для себя — он стал заводить часы. Одни за другими он их снимал или сдвигал с привычных мест, поворачивал к себе тылом или прижимал к животу и напористо вертел ключом, морщась, как от натуги. Приступая к жизни, они тикали по-особенному громко, точно бы вынужденное бездействие было им в тягость. Папа не подводил стрелки, и все они показывали совершенно разное время, каждые начиная с того, когда испустили дух. Минут десять только они и нарушали давящую тишину.

Но «чу!» — как писали в добром девятнадцатом веке. Нам это показалось — всем троим — слуховой галлюцинацией, но и там, за стеною, явственно что-то включи-

лось, зашипело, переключилось, вступили аккорды гитары, глуховатый голос певца запел о старенькой скрипке — может быть, заменяющей отечество,— и металлический баритон Коли-Моцарта с воодушевлением подхватил рефрен:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не оставляйте старрраний, маэстро,
Не убирррайте ладони со лба!..

А вскоре мы услышали какую-то возню в их комнате, очень похожую на любовную,— скрип дивана, повизгивания и шлепки по телу, игривую негу и угрозу в голосе моей бывшей дамы:

— Ко-ля! Мо-царт! Не смей, всё жене скажу...

— Бро-ось,— перебивал он её протяжно.— Дружеской ласки не понимаешь. Просто нас с тобой работа спаяла...

Я сказал — «в их комнате», но двадцать лет она была моей, и мог же я туда вломиться по забывчивости, толкнуть дверь случайно?

Дама, приятно раскрасневшаяся, уронив на лицо нечаянную прядь и покусывая её, сидела одной ляжкой на моём письменном столе, а Коля — перед нею на диване, глядя на неё снизу. Моцартова костистая длань обхватывала её колено, облитое телесным блеском колготки. Она не пошевелилась при мне, даже не посмотрела, а спокойно подождала, покуда Коля не повернулся к двери, спрашивая меня глазами удава: «Что надо?» С горящим лицом я закрыл дверь и вернулся к моим старикам.

Я вернулся как раз в ту минуту, когда с мамой что-то случилось, и папа, стоя перед нею, спрашивал с нарастающим испугом и от этого всё больше раздражаясь:

— Что с тобой, Аня? Что? Что?

— Нет! — говорила мама, поднимаясь с диванчика, с такими глазами, которые в романах называют «сверкающими».— Этого быть не может. Этого не может быть никогда! Чтобы с людьми так поступили, чтобы их...

И она сказала, как именно с ними поступили, теми словами, которые из маминых уст я меньше всего предполагал услышать и не берусь здесь воспроизвести. Я только почувствовал — в эти слова она вложила весь свой шестидесятилетний страх и всю свою смелость, какой мне, наверное, не иметь.

— И чтобы они после этого... не повесились, нет, я им такого не пожелаю, но даже не поняли бы, что с ними произошло! И это они — русские?! И это они решают — кого лишить родины, гражданства? Надо их самих лишить навсегда — национальности!

Мы не сразу увидели, что папа, уменьшась в плечах, багровый, как перед инсультом, показывает глазами на дверь. К нам, не торопясь, входил Коля-Моцарт.

— Ну, что вы так, Анна Рувимовна,— протянул он миролюбиво, усмехаясь одной щекой, похоже что смущённо.— Зачем вы на нас так... злобствуете? Это мы на вас должны обидеться, натерпелись — не дай бог.

Он потрогал пальцем под глазом — там уже напухал и голубел приличный фингал. Пожалуй, Олежек перестарался, но что делать, подумал я, может быть, это единственный язык, который до них доходит?

— А если б у меня ещё оружие оказалось? — спросил Коля сам себя.— Уй, что б тут было!

— Не смей! — послышался рыдающий вопль дамы.— Не смей перед ними ещё унижаться! Иди сюда сейчас же!

— Отстань.— Коля от неё отмахнулся своей широкой ладонью.— Ей-богу, Анна Рувимовна, вы это напрасно — вот насчёт гражданства и что мы не русские. Ну, это уж слишком...

— Да они тебе повеситься предлагают! — кричала дама.— А сало — русское едят!..

Следом мы и впрямь услышали рыдания — во что-то мягкое. Похоже, она орошала слезами мой диванчик.

— Может быть, ей что-нибудь нужно успокоительное? — спросила мама отчасти с жалостью, отчасти брезгливо.

Коля, не отвечая, закрыл дверь и направился к диванчику, от которого мама тотчас отошла. Он сел, а она стояла перед ним в двух шагах, стискивая на груди свой тёмно-малиновый халат.

— Что вы думаете,— спросил Коля,— мы вашему соседу зла желаем? Охота нам его посадить? Или выдворить в эмиграцию? Если б вы знали, как нам этого не хочется. Мы тоже немножко соображаем, кто чего значит для России.

— Почему же вы не оставите его в покое? — спросила мама.— Если уж мы говорим по-человечески...

— Да по-человечески-то мы ж понимаем, что лучше бы ему здесь печататься. И нам бы меньше было мороки. Но — нельзя! Идеология! Уж очень он далеко зашёл. А в то же время — определённые круги на Западе его имя используют в неблаговидных целях...

— Ох, не надо про «определённые круги на Западе»,— сказала мама.— Не надо про «неблаговидные цели». Это уже не человеческий язык. Скажите, Константин Дмитриевич... Кажется, так вас величать, я слышала?

— Так,— сказал Коля.

— Вы не думаете, Константин Дмитриевич, что когда ваши дети вырастут,— наверно, есть они у вас? — они прочтут его книги и спросят вас: что было опасного, если просто сидел человек и поскрипывал себе пёрышком?..

Коля-Моцарт, усмехаясь куда-то в пол, помотал головой, вздохнул. Вздох, по крайней мере, был человеческий.

— Эх, Анна Рувимовна!.. Это они сейчас спрашивают. А когда вырастут — спрашивать перестанут. Потому что поймут — идеология! Нельзя! Да может, это самое опасное и есть — сидит человек и что-то скребёт пёрышком. А мы не знаем — что.

Мама смотрела на его голову и, кажется, не находила, о чём ещё спросить. Спросил папа, стоя перед окном и глядя сквозь занавесь вниз, на зеленеющие кроны:

— А что вы будете делать, когда вот эти деревья дорастут до крыши?

— Подпилим,— слегка удивясь, ответил Коля.— Не мы, конечно. Специалистов позовём, по озеленению.

— И долго всё это будет?

Коля посмотрел ему в спину светлыми стеклянными глазами.

— Что — «всё»?

Папа словно очнулся.

— Я хотел сказать — долго вы его собираетесь держать в осаде? Наверно, покуда он не уедет?

Коля-Моцарт, усмехаясь одной щекой, поднялся с диванчика и пошёл к двери. Перед тем, как закрыть её за собой, он всё же ответил папе:

— Всю жизнь.

Москва, 1982

ВЕРНЫЙ РУСЛАН

История караульной сабаки

Повесть

Что вы сделали, господа!

М. Горький. «Варвары»

1

Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, звякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось — и пришёл хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной набрякшей рукой, и курил — ждал, когда Руслан доест похлёбку. Свой автомат хозяин принёс с собою и повесил на крюк в углу кабины — это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежало не торопясь, но и не мешкая.

А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести её в угол и затолкать в подстилку, чтобы уж потом разгрызть как следует — в темноте и в одиночестве. Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал всё мясо на всякий случай — опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно её передвигая носом, он вылакал навар и принялся сглатывать комья тёплого варева, роняя их и подхватывая,— как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо:

— Готов?

И, уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось, но Руслан не подал виду, чтоб это его удивило или обидело, а поднял взгляд к хозяину и качнул тяжёлым хвостом — в знак благодарности за кормёжку и что он готов её отслужить тотчас. На косточку он взглянуть себе не позволил, только наспех полакал из пойлушки. И был совсем готов.

— Пошли тогда.

Хозяин предложил ему ошейник. Руслан с охотой в него потянулся и задвигал ушами, отзываясь на прикос-

новения хозяевых рук, застёгивающих пряжку, проверяющих — не туго ли, вдевающих карабинчик в кольцо. Сколько-то поводка хозяин намотал на руку, а самый конец крепился у него к поясу,— так все часы службы они бывали связаны и не теряли друг друга,— свободной рукою подбросил автомат и поймал за ремень, закинул за спину вспотевшим стволом книзу. И Руслан привычно занял своё место — у левой его ноги.

Они прошли сумрачным коридором, куда выходили двери всех кабин, забранные толстой сеткой,— сквозь прутья влажно блестели косящие глаза, некормленые собаки скулили, бодали сетку крутыми лбами, а в дальнем конце кто-то лаял навзрыд от злой, жгучей зависти,— и Руслан чувствовал гордость, что его нынче первым выводят на службу.

Но едва открылась наружная дверь, как белый, слепяще яркий свет хлынул ему в глаза, и он, зажмурясь, отпрянул с рычанием.

— Н-но! — сказал хозяин и рванул поводок.— Засиделся, падло. Чо пятисси, снега не видал?

Вон что выло, оказывается. И вон как улеглось — толстым пушистым покровом по безлюдному плацу, по крышам казармы, складов и гаража, шапками на фонарях, на скамейках вокруг окурочного ящика. Сколько же раз это выпадало на его веку, а всегда в диковинку. Он знал, что у хозяев это зовётся «снег», но не согласился бы, пожалуй, чтоб это вообще как-нибудь называлось. Для Руслана оно было просто — белое. И от него всё теряло названия, всё менялось, привычное глазу и нюху, мир опустел и заглох, все следы спрятались. Лишь чёткая виднелась цепочка от кухни к порогу — это хозяевы сапоги. В следующий миг белое кинулось ему в ноздри и всего объяло волнением; он окунул в него морду по брови и пропахал борозду, забил им всю пасть; отфыркавшись, даже пролаял ему что-то нелепо-радостное, приблизительно означавшее: «Врёшь, я тебя знаю!» Хозяин его не придерживал, распустил поводок на всю длину, и Руслан то отставал, то вперёд забегал — уже белобородый, с белыми ресницами и бровями — и не мог успокоиться, надышаться, нанюхаться.

Оттого-то он и допустил маленькую оплошность — не взглянул куда следует, когда тебя выводят на службу.

Но что-то, однако, насторожило его, он вздел высоко уши и замер. Явилась неясная тревога. Справа были ошкуренные столбы и проволока с колючками, а дальше — пустынное поле и тёмная иззубренная стена лесов, и слева такие же столбы и проволока, и такого же поля кусок, но с разбросанными по нему бараками — низкими, как погреба, из брёвен, почерневших от старости. И как всегда, они на него глядели заиндевевшими, пустыми, как бельма, окошками. Всё стояло на месте, никуда не сдвинулось. Но необычайная, неслыханная тишина опустилась на мир, шаги хозяина вязли в ней, точно он ступал по войлочной подстилке. И странно: никто в тех окошках не продышал зрачка — полюбопытствовать, что на свете делается (ведь люди в этом отношении нисколько не отличаются от собак!),— и сами бараки выглядели странно плоскими, как будто намалёванными на белом, и ни звука не издавали. Как будто все сразу, кто жил в них, шумел и вонял, вымерли в одну ночь.

Но — если вымерли, то ведь он бы это почувствовал! Не он, так другие собаки,— кому-то же это непременно приснилось бы, и он бы всех разбудил воем. «Их там нет,— подумал Руслан.— И куда ж они делись?» Но тут же он устыдился своей недогадливости. Не вымерли они, а — убежали! Он весь затрепетал от волнения, задышал шумно и жарко; ему захотелось натянуть повод и потащить хозяина, как это бывало в редкие, необыкновенные дни, когда они пробегали иной раз по нескольку вёрст и всё-таки догоняли — ни разу не было, чтоб не догнали! — и начиналась настоящая Служба, лучшее, что пришлось Руслану изведать.

Однако ж не всё укладывалось — даже и в редкое, необыкновенное. Он знал слово «побег», различал даже «побег одиночный» и «групповой», но в такие дни всегда бывало много шума, нервозной суеты, хозяева с чего-то орали друг на друга, да и собакам доставалось ни за что, и они — в ошеломлении, в беспамятстве — затевали свою грызню, утихавшую лишь с началом погони. Такой тишины он не слышал ни разу, и это наводило на самые ужасные подозрения. Похоже, ударились в побег все обитатели бараков, а хозяева — за ними, и так поспешно, что даже не успели прихватить собак, а без них какая же может быть погоня! И теперь лишь они вдвоём,

хозяин и Руслан, должны всех найти и пригнать на место — всё смрадное, ревущее, обезумевшее стадо.

Он почувствовал томление и страх, от которого захолодело в брюхе, и забежал поглядеть на лицо хозяина. Но и с хозяином что-то неладное сделалось: так непривычно он сутулился, хмуро поглядывая по сторонам, а руку, продетую сквозь автоматный ремень, держал не на ремне, как всегда, а сунул зябко в карман шинели. Руслан подумал даже, что и у него там, в животе, захолодело, и ничего удивительного, когда им сегодня такое предстоит! Он приник к шинели хозяина, потёрся об неё плечом — это значило, что он всё понимает и на всё готов, пусть даже и умереть. Руслану ещё не приходилось умирать, но он видел, как это делают и люди, и собаки. Страшней ничего не бывает, но если вместе с хозяином — это другое дело, это он выдержит. Только хозяин не заметил его прикосновения, не ободрил ответно, как всегда делал, кладя руку на лоб, и вот это уже было скверно.

Внезапно он увидел такое, что шерсть на загривке сама собою вздыбилась, а в горле заклокотало рычание. Он не отличался хорошим зрением,— и знал за собою этот порок, честно его искупая старательностью и чутьём,— главные ворота лагеря бросились ему в глаза, когда они с хозяином уже вошли через калитку в предзонник. И так странен был вид этих ворот, что и представить себе невозможно. Они стояли — открытые настежь, поскрипывая от ветра в длинных оржавленных петлях, и никто к ним не бежал с криками и стрельбою, спеша затворить немедленно. Мало этого, и вторые ворота, с другой стороны предзонника, никогда не открывавшиеся с первыми одновременно, и они были настежь; белая дорога вытекала из лагеря, не разгороженная, не расчерченная в решётку, и убегала к тёмному горизонту, в леса.

А с вышкой что сделалось! Её не узнать было, она совсем ослепла — один прожектор валялся внизу, заметённый снегом, а другой, оскалясь разбитым стеклом, повис на проводе. Исчезли с неё куда-то и белый тулуп, и ушанка, и чёрный ребристый ствол, всегда повёрнутый вниз. Линялый кумач над воротами ещё остался, но кем-то изодранный в лохмотья, безобразно свисавшие, треплемые ветром. А с этим красным полотнищем, с его

белыми таинственными начертаниями у Руслана свои были отношения: слишком запечатлелось в его душе, как чёрными вечерами после работы, в любую погоду — в стужу, в метель, в ливень — останавливалась перед ним колонна лагерников, с хозяевами и собаками по бокам, и оба прожектора, вспыхнув, сходились на нём своими дымными лучами; оно всё загоралось — во весь проём ворот,— и невольно лагерники вскидывали головы и, ёжась, впивались глазами в эти слепяще-белые начертания. Всей затаённой мудрости их не дано было постичь Руслану, но и ему тоже они щипали глаза до слёз, и на него тоже вдруг нападали трепет, сладостная печаль и восторг невозможный, от которого внутри обморочно замирало*.

Эти утраты и разрушения ошеломили Руслана, он растерялся перед наглостью беглецов. Как они были уверены, что уж теперь-то их не догонят! И как всё заранее знали — что выпадет снег и заметёт все следы и как трудно собаке работать на холоде. Но самое скверное, что они особенно и не таились: ведь отлично же он помнил, как все последние непонятные дни, когда собаки изнывали без службы и приходил только хозяин Руслана, и то — без автомата, покормить их и дать немножко размяться в прогулочном дворике,— как всё это время вели себя лагерники. В высшей степени странно: расхаживали по всей жилой зоне табунами, визжали гармошкой, горланили песни, а то ещё и собак принимались передразнивать — так непохоже и безо всякого смысла. И как же хозяин ничего этого не замечал, когда буквально все собаки чувствовали неладное и от злой тоски грызли свои подстилки!

Руслан не винил хозяина, не упрекал его. Он уже был немолод и знал — хозяева иногда ошибаются. Но им это можно. Это нельзя собакам и лагерникам, которые всегда отвечают за свои ошибки, а часто и за ошибки хозяев. И раз уж так выпало, эту ошибку — он знал — ему придётся разделить с хозяином и помочь исправить её, чего бы это ни стоило. И, думая о том, как ловко бегле-

* На таких полотнищах писалось обычно: «ТРУД В СССР ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА. И. СТАЛИН».

цы обвели хозяина, он просто растравлял себя для дела, растил в себе злобу, пока не озлился по-настоящему. Злоба его была жёлтого цвета. В жёлтое окрасились небо и снег, жёлтыми сделались лица беглецов, в ужасе оборачивающихся на бегу, жёлтыми бликами замелькали подошвы. Увидя всё это вживе, он не выдержал, рванулся с яростным лаем, натягивая широкий сыромятный повод, и выволок хозяина за собою в ворота.

— Ты что, ты что, падло! — Хозяин едва удержался на ногах. Он подтащил Руслана к себе. И чтоб успокоить, проделал свой обычный номер: привздёрнул его за ошейник, так что передние лапы повисли в воздухе. Руслан не рычал уже, а хрипел.— Куды рвёсси, в рай не успеешь? Ага, там таких только не хватает.

Затем отпустил, отстегнул карабинчик, а поводок смотал и сунул в карман шинели.

— Вот теперь иди. Вперёд иди, не ошибёсси.

Рукою он показывал в поле, вдоль белой дороги, и это одно могло значить: «Ищи, Руслан!» Такие вещи Руслан понимал без команды. Только вот никакого следа он не чуял, намёка даже на след.

Он взглянул на хозяина быстро и тревожно, близкий к отчаянию, и, опустив голову, сделал положенный круг. Пахло иссохшими травами, прелью, мышами, золой, а людьми — не пахло. Не останавливаясь, он сделал второй круг — пошире. И опять ничего. Так давно они здесь прошли, что глупо и пытаться вынюхать что-нибудь толковое. А соврать, куда-нибудь наобум повести, а потом разыграть истерику, что сам же хозяин что-то напутал, а от него требует,— этих штук он не позволял себе. И ничего не мог напутать хозяин, они ушли в ворота, это яснее ясного, вот и танцуй от ворот. Скоро он лишился сил, почувствовал себя как выпотрошенным и плюхнулся в снег задом. Вывалив набок дымящийся язык, виновато помаргивая, прядая ушами, он честно признался в своём бессилии.

Хозяин смотрел на него и недобро кривил губы. Ни малого сочувствия Руслан не нашёл в его глазах — в двух таких восхитительных плошках, налитых мутной голубизною,— а только холод и усмешку. И захотелось распластаться, подползти на брюхе, хоть он и знал всю бесполезность мольбы и жалоб. Всё, чего хотели эти люби-

мейшие в мире плошки, всегда делалось, сколько ни скули и хоть сапоги ему вылизывай, смазанные вонючим едким гуталином. Руслан когда-то и пробовал это делать, но однажды увидел, как это делал человек — и человеку это не помогло.

— Может, подалее? — спросил хозяин.— Или тут хочешь, к дому поближе? — Он оглянулся на ворота и медленно потянул автомат с плеча.— Один хрен, можно и тут...

Руслана забила дрожь, и неожиданною зевотой стало разламывать челюсти, но он себя пересилил и встал. Иначе и не мог он. Всё самое страшное зверь принимает стоя. А он уже понял, что оно пришло к нему в этот белый день, уже минуту назад случилось — и дальнейшего не избежать, и даже винить тут некого. Кто виноват, что вот и он перестал *понимать, что к чему?*

Он знал хорошо, что́ за это бывает, когда собака перестаёт понимать, что к чему. Тут не спасают никакие прежние заслуги. Впервые на его памяти это случилось с Рексом, весьма опытным и ревностным псом, любимцем хозяев, которому Руслан по молодости сильно завидовал. День Рексова падения был самый обычный, ни у кого из собак не возникло предчувствия: как обычно, приняли тогда колонну от лагерной вахты и, как обычно, всех пересчитали, и были сказаны обычные слова. И вот здесь, едва от ворот отошли, один лагерник вдруг закричал дико, точно его укусили, и кинулся наутёк. Безумец, куда бы он делся в открытом поле, да на виду у всех! Он никуда и не делся, ещё его вскрик не умолк, как автоматы загрохотали в три, в четыре ствола, а с вышки ещё добавил пулемётчик. Да, на такие вот глупости, как ни странно, способны иной раз двуногие! Но своей глупостью он сильно подвёл Рекса, который шёл рядом и должен был держаться начеку и всё предчувствовать заранее, а если уж прозевал, допустил оплошность, то кинуться следом и повалить немедленно. Вместо этого Рекс, увлёкшись зрелищем, сел с высунутым языком и допустил, чтобы ещё двое нарушили строй и кричали на хозяев, размахивая руками. Конечно, их тут же загнали на место прикладами, помогли и собаки, но Рекс-то даже в этом не участвовал! Он совсем перестал понимать, что к чему. Он кинулся к тому человеку, в по-

ле,— который уже и не хрипел! — и впился в его правую руку. Это было так глупо, что сам он даже не рычал при этом, а скулил прежалким образом. Хозяин Рекса оттащил его и при всех поддал ему хорошенько сапогом под брюхо. В этот день Рексу ещё доверили конвоировать, но все собаки поняли — случилось непоправимое, и Рекс это понял лучше всех.

Весь вечер после службы он переживал свой позор. Он лежал, как больной, носом в угол кабины, и не притронулся к еде, а ночью то и дело принимался выть, так что все собаки с ума сходили от страшных предчувствий и не могли глаз сомкнуть. Наутро хозяин Рекса пришёл за ним, и как ни скулил Рекс, сколько ни лизал ему сапоги, ничто не помогло. Его повели за проволоку, в поле, все слышали короткую очередь, и Рекс не вернулся. Не то чтобы он сразу исчез навсегда — ещё несколько дней его присутствие чувствовалось в зоне, и неподалёку от дороги собаки видели его вздувшийся бок, по которому расхаживали вороны, и вспоминали ужасную ошибку Рекса. Потом и следа не осталось. Рексову кабину помыли с мылом, сменили кормушку и подстилку, повесили другую табличку на дверь, и там поселился новичок Амур, у которого всё было впереди.

Рано или поздно так случалось со всеми. Одни теряли чутьё или слепли от старости, другие слишком привыкали к своим подконвойным и начинали им делать кое-какие поблажки, третьих — от долгой службы — постигало страшное помрачение ума, заставлявшее их рычать и кидаться на собственного хозяина. А конец был один — все уходили дорогою Рекса, за проволоку. Лишь одно помнилось исключение, когда собака умерла в своей же кабине. Когда Бурану в схватке с двумя беглецами перебили спину железной трубой, хозяева принесли его из леса на шинели, гладили его и трепали за ухо, говорили: «Буран хороший, Буран молодец, задержал, задержал!», не знали, чем только его накормить. А к вечеру чем-то таким накормили, что он тут же издох в корчах.

Так уж повелось, что Служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина, и восемь лет, прожитых в зоне лагеря, Руслана не покидало ощущение, что это и ему когда-нибудь предстоит. Оно страшило его, навеивало кошмарные сны, от которых он просыпался

с жуткими завываниями, но понемногу он с этим ощущением свыкся, понял, что избежать ничего нельзя, но отдалить — можно, только нужно стараться, стараться изо всех сил. И предстоявшее стало ему казаться естественным завершением Службы, таким же, как она сама, честным, правильным и почётным. Ведь ни одна собака всё-таки не пожелала бы себе другого конца — чтобы её, к примеру, выгнали за ворота и предоставили ей побираться, вместе с шелудивыми дворнягами, откуда-то прибегавшими к мусорному отвалу подхарчиться гнильём с кухни. Не пожелал бы этого и Руслан.

Поэтому не ползал он, не скулил о пощаде, не пытался убежать. Если б увидел хозяин его глаза — жёлтые, подолгу не мигающие, с чёткими, как воронёные дула, провалами зрачков,— то не прочёл бы в них ни злобы, ни мольбы, а лишь покорное ожидание. Но хозяин смотрел куда-то поверх его темени и ствол автомата отводил к небу. Что-то — позади Руслана — мешало ему стрелять. Руслан оглянулся и разглядел — что. Он это и раньше различил краем глаза, слышал вполуха тарахтенье и лязг, но заставил себя не обращать внимания, весь занятый поиском следа.

По белой дороге к лагерю двигался трактор. Он полз медленно, как будто сто лет уже как сжился с этим снежным полем и с этим белёсым сводом небес, и без него невозможно было их себе представить. Поводя ощеренным глазастым рылом, весь в копоти и струящемся воздухе, он тащил сани-волокушу; на них, покачиваясь, сползая с дороги, плыло что-то, ещё огромней его, малиново-красное; когда приблизилось оно, стало видно, что это товарный вагон без колёс, прикрученный ржавыми тросами.

Руслан заворчал и ушёл с дороги. Тракторы были ему не внове — они вывозили брёвна с лесоповала, и ничего хорошего он из знакомства с ними не вынес. От чёрного выхлопа у него надолго пропадало чутьё, и он делался самым беспомощным существом на свете. И к тому же на них работали «вольняшки», народ ему чужой и очень странный: они всюду расхаживали без конвоя и к хозяевам относились без должного почтения. Но, впрочем, дорогу в рабочую зону они находили сами; колон-

на ещё только втягивалась в лес, а они уже там вовсю тарахтели. В общем, неприятный народ.

Трактор подполз и остановился, но не затих, что-то в нём возмущённо подвывало, и сквозь этот шум водитель прогаркал хозяину своё приветствие. Руслана оно поразило до крайности. Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий:

— Здорово, вологодский!

Возмущал уже самый вид водителя — этакая лоснящаяся багровая харя, с губастой огнедышащей пастью, с ухмылкою до ушей. Из-под шапки, которую он не снял перед хозяином, слетал на лоб слипшийся белобрысый чуб, вещь для лагерника немыслимая, как и обращение к хозяину сразу с несколькими вопросами:

— Ты не меня ли ждёшь? Чо, не слышишь, чо говорю? Бытовку вон те припёр, куда её, дуру, ставить прикажешь? Или ты чо — не за начальника? Пропуска проверяешь? Так я не захватил. Потом ещё, гляди, не выпустишь, а?

И он возмутительно, противно заржал, навалясь на открытую дверцу, поставив ногу в валенке на гусеницу. Хозяин на его ржанье и на вопросы не отвечал. И Руслан знал, что и не ответит. Эта привычка хозяев не переставала восхищать Руслана: на вопрос лагерника они отвечали очень не сразу или совсем не отвечали, а только смотрели на него — холодно, светло и насмешливо. И не проходило много времени, прежде чем любитель спрашивать опускал глаза и втягивал голову в плечи, а у иного даже лицо покрывалось испариной. А ведь ничего плохого хозяева ему не причиняли, одно их молчание и взгляд производили такое же действие, как поднесенный к носу кулак или клацанье затвора. Поначалу Руслану казалось, что с этим своим волшебным умением хозяева так и родились на свет, но позднее он заметил, что друг другу они отвечали охотно, а если спрашивал Главный хозяин, которого они звали «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца», так отвечали очень даже быстро и руки прикладывали к ляжкам. Отсюда он и заподозрил, что хозяев тоже специально учат, как с кем себя вести,— совершенно как и собак!

— А ты чо такой невесёлый? — спросил водитель. Он не опустил глаза, не втянул голову в плечи, лицо у него

не покрылось испариной, а только приняло вид сочувственный.— Жалко, что служба кончилась? И вроде бы жизнь по новой начинай, верно? Ничо, не тужи, пристроишься. Только в деревню не езди, не советую. Слыхал насчёт пленума? Особо не полопаешь.

— Проезжай,— сказал хозяин.— Много разговариваешь.

Однако дороги трактору не уступил. И автомат держал крепко обеими руками у груди.

— Это есть,— согласился водитель,— это за мной числится. Люблю это... языком об зубы почесать. А что делать, ежели чешется?

— Я б те его смазал,— сказал хозяин.— Ружейной смазкой. Он бы не чесался.

Водитель ещё пуще заржал.

— Умрёшь с тобой, вологодский! Ну, однако, красив же ты — с пушкой. Ты хоть на память-то снялся? А то не поверит маруха, не полюбит. Им же, стервям, чтоб пушка была, а человека-то — и не видют.

Хозяин не отвечал ему, и он, наконец, спохватился:

— Так куда, ты говоришь, её ставить, бытовку-то?

— Где хошь, там и ставь. Мне дело большое!

— Ну, всё же ты тут за начальство...

— На кой ты её пёр? В бараках не поживёте?

— В бараках — не-е! Лучше в палаточках.

Хозяин повёл нетерпеливо плечом.

— Ваши заботы.

Водитель кивнул и, всё ещё сияя харей, уселся, потянул к себе дверцу, но тут его взгляд наткнулся на Руслана. Он как бы что-то вспомнил — на лбу отразилась работа мысли, проступила жалостная морщинка.

— А ты чего это — пса в расход пускаешь? Я-то думаю — тренировка у них. Еду, смотрю — чего это он его тренирует, когда уж на пенсию пора? А ты его, значит, к исполнению... А может, не надо? Нам оставишь? Пёс-то — дорогой. Чего-нибудь покараулит, а?

— Покараулит,— сказал хозяин.— Не обрадуешься.

Водитель поглядел на Руслана с уважением.

— А перевоспитать?

— Кого можно, тех уж всех перевоспитали.

— Н-да.— Водитель скорбно покачивал головой и кривился.— Самое тебе, вологодский, хреновое дело довери-

ли — собак стрелять. Ну, порядочки! За службу верную — выходное пособие девять грамм. А почему ж ему одному? Вместе ж служили.

— Ты проедешь? — спросил хозяин.

— Ага,— сказал водитель.— Проеду.

Взгляды их встретились в упор: неподвижный, ледяной — хозяина, бешено-весёлый — водителя. Трактор взревел, окутался чёрными клубами, и хозяин отступил нехотя в сторону. Но трактор выбрал себе другой путь — дёрнувшись, отвернул своё рыло от ворот и пополз наискось целиною, взрыхляя траками Неприкосновенную полосу.

Злоба, мгновенно вспыхнувшая, выбросила Руслана одним прыжком на дорогу. Малиновая краснота вагона и визг полозьев, уминающих рваную грязную колею, привели его в неистовство, но видел он ясно лишь одно — толстый локоть водителя в проёме дверцы; в него жаждалось впиться, прокусить до кости. Руслан зарычал, завыл, роняя слюну, косясь на хозяина моляще — он ждал от него, он выпрашивал «фас». Сейчас прозвучит оно, уже лицо хозяина побелело и зубы стиснулись, сейчас оно послышится — красно вспыхивающее и точно бы не изо рта вылетающее, а из брошенной вперёд руки: «Фас, Руслан! Фас!»

Тогда-то и начинается настоящая Служба. Восторг повиновения, стремительный яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону — и враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь неистово над искажённым его лицом, но берёшь только руку, только правую, где что-нибудь зажато, и держишь её, держишь, слыша, как он кричит и бьётся, и густая тёплая одуряющая влага тебе заливает пасть,— покуда хозяин силою не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны, которые сам получил... Давно прошли времена, когда ему за это давали кусочек мяса или сухарик, да он и тогда брал их скорее из вежливости, чем как награду, есть он в такие минуты всё равно не мог. И не было наградою, когда потом, в лагере, перед угрюмым строем, его понукали немножко порвать нарушителя,— ведь тот уже не противился, а только вскрикивал жалко,— и Рус-

лан ему терзал больше одежду, чем тело. Лучшей наградой за Службу была сама Служба — и даже странно, при всём их уме хозяева этого недопонимали, считали должным ещё чем-то поощрить. Где-то на краешке его сознания, в жёлтом тумане, чернело, не стёрлось и то, что хозяин задумал сделать с ним самим, но пусть же оно потом случится, а сначала пусть будет вот эта Служба-награда, пусть ему напоследок скомандуют «фас» — и хватит у него силы и бесстрашия вспрыгнуть на лягающую гусеницу, выволочь врага из кабины, стереть с его наглой хари эту ухмылку, которую не согнал и всевластный взгляд хозяина.

Нетерпение сводило ему челюсти, он мотал головою и скулил, а хозяин всё медлил и не кричал «фас». А в это время делалось ужасное, постыдное, что никак делаться не могло. Сипло урчащее рыло ткнулось в опорный столб, точно понюхало его, и злобно взревело. Оно не двигалось с места, а гусеницы ползли и ползли, и столб скрежетал в ответ; он тужился выстоять, но уже понемногу кренился, натягивая звенящие струны, и вдруг лопнул — с пушечным грохотом. Ему теперь только проволока не давала завалиться совсем, но рыло упрямо лезло вперёд, и проволока, струна за струною, касалась снега. Гусеницы подминали её, собирали в жгуты, а потом по ним с визжанием проползли полозья. И когда опять показался столб, то лежал, как человек, упавший навзничь с раскинутыми руками.

Там, в зоне, трактор остановился, теперь уже довольно урча. И водитель вылез поглядеть на содеянное. Он тоже остался доволен и весело прогаркал хозяину:

— Что б ты без меня делал, вологодский! Учись, пока я жив. А ты всё собак стреляешь.

Его грудь, в распахнутом ватнике, была так удобно подставлена для выстрела. Но хозяин уже повесил автомат на сгиб локтя, вытащил из-под шинели свой портсигар, постучал папиросой по крышечке. Он посмотрел на рисунок на этой крышечке, который сам же и выколол сапожным шилом, и усмехнулся. Он любил смотреть на свою работу и всегда при этом усмехался чему-то, а когда показывал её другим хозяевам, так те чуть не падали от рёгота. И, пряча портсигар, он с этой же усмешкой смотрел, как трактор прокладывает свой страшный

путь ко второму ряду и там опять трудится у столба, который оказался покрепче, так что пришлось его несколько раз бодать с разбега.

Когда и он завалился, хозяин повернулся, наконец, к Руслану — и будто впервые увидел его.

— Ты тут ещё, падло? Я ж те сказал — иди. Кому я сказал? — Он вытянул руку с дымящейся папироской — опять вдоль дороги, к лесам.— И чтоб я тя никогда не видел, понял?

Понять его Руслан не то что не мог, но не согласился бы ни за что на свете. Впервые его не туда посылали, куда следовало немедля кинуться, а совсем в другую сторону. Двуногий приблизился к проволоке, порвал её... и был прощён, когда в других за это палили даже без окрика. И оттого ещё лютее он возненавидел харю-водителя — который наглым своим озорством спас жизнь Руслану, а заодно и другим собакам, ожидавшим своей очереди в кабинах.

Однако Руслан подчинился и пошёл. Он прошёл немного, услышал, что хозяин не идёт за ним, и оглянулся. Хозяин уходил обратно в зону, через проход, проделанный трактором, держа автомат за ремень, так что приклад волочился по снегу. И, глядя на его ссутуленную спину, Руслан почувствовал вдруг, что и автомат, и сам он — больше не нужны хозяину. От отчаяния, от стыда хотелось ему упасть задом в снег, задрать голову к изжелта-серому солнцу и извыть ему свою тоску, которой предела не было. Ещё худшим, чем он всегда страшился, оказался конец его службы: его затем вывели за проволоку, чтобы прогнать совсем, предоставить ему побираться с шелудивыми дворнягами, которых презирал он всей душой и едва ли за собак считал. Но почему же это? За что? Ведь не совершил он такого поступка, за который бы полагалась эта особенная, невиданная кара!

Но приказ хозяина был всё же приказом, хотя и последним, поэтому Руслан побежал один по белой дороге к тёмному иззубренному горизонту.

Он знал, что будет бежать по этой дороге долго-долго,— может быть, целый день,— всё через лес и лес, а в сумерках увидит с высокого холма, сквозь деревья, россыпь огней посёлка. Там будут дощатые тротуары, смолисто пахнущие сквозь снег, и глухие заборы, высотою

с барьер на учебной площадке, будет пахнуть дымом и вкуснотою от приземистых домишек, из которых сквозь толстые ставни едва пробивается в щёлочки свет, а дальше запахнет другим дымом и поездами, и, наконец, он выбежит прямо к круглому скверику перед станцией. В этом скверике тоже есть нечто, знакомое ему, виденное на учебной площадке,— два неживых человечка, цвета алюминиевой миски, зачем-то забрались на тумбы и вот что изображают: один, без шапки, вытянул руку вперёд и раскрыл рот, как будто бросил палку и сейчас скомандует «апорт!», другой же, в фуражке, никуда не показывает, а заложил руку за борт мундира — всем видом давая понять, что апорт следует принести ему.

А ещё там будет широкая платформа, совсем крайняя, на которую можно вспрыгнуть с земли. Длинные ленты рельсов, изгибаясь, сплетаясь, текут мимо, днём иной раз голубые, а вечером — розовые. Но те рельсы, что возле самой платформы, всегда ржавые и сразу же за нею кончаются; загнутыми кверху концами они поддерживают чёрный брус с фонарём, всегда загорающимся красно, когда подходит тот самый поезд, которого ждали. Он может быть зелёный, с косыми решётками на окнах, а бывает и красный, совсем заколоченный, без единой щёлочки. Здесь кончалась дорога Руслана — единственная, которую он знал.

Он бежал мерной, неспешной рысью, но вдруг, спохватясь, припустил вовсю. Он догадался, зачем посылали его. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарь и в знакомый тупик медленно втянется поезд с беглецами.

2

Утром другого дня путейцы на станции наблюдали картину, которая, верно, поразила бы их, не знай они её настоящего смысла. Десятка два собак собрались на платформе тупика, расхаживали по ней или сидели, дружно облаивая проносившиеся поезда; в их голосах явственно слышался изрядной толщины металл. Были эти собаки почти одного окраса: с чёрным ремнём по спине, делящим широкий лоб надвое, отчего выглядел он угрюмым,

короткость ушей и морды ещё добавляла свирепости; стальной цвет боков постепенно менялся — от сизо-воронёного к ржавчине, к апельсинно-оранжевому калению, а на животе вислая шерсть отливала оттенком, который хотелось назвать «цвет зари». Светились зарёю пушистый воротник на горле, тяжёлое полукольцо хвоста и крупные мускулистые лапы. Звери были красивы, были достойны, чтоб ими любовались не издали, но взойти на платформу к ним никто не отважился, здешние люди знали — сойти с неё будет много сложнее.

Проходили часы, и проносились поезда — красные товарняки и зелёные экспрессы; голоса у собак скудели, металл заметно терял в толщине, а в сумерках сделался тоньше жести. Всё меньше собаки расхаживали, всё больше присаживались и прилегали, тупо уставясь в розовеющие полоски рельсов. Пробыв на платформе до темноты и своего не дождавшись, они сгрудились в стаю, дружно сошли наземь и разбрелись по улицам посёлка.

Повторялось это и в следующие дни, но внимательный наблюдатель мог заметить, что раз от разу собак приходило всё меньше и уходили они быстрее, а в металле появилась надтреснутость. Вскоре он и совсем умолк, пятеро или шестеро собак, не изменивших своему расписанию, никого уже не облаивали и не обскуливали, лишь покорно отсиживали свои часы.

В самом посёлке их появление вызвало поначалу тревогу. Слишком уж рьяно прочёсывали они улицы, проносясь по ним аллюром,— с вываленными из разверстых пастей лиловыми дымящимися языками. Однако ни разу они никого не тронули. А вскоре увидели, как они собираются словно бы для каких-то своих совещаний, часто оглядываясь через плечо и не допуская в свой круг посторонних. Своя была у них жизнь, а в чужую они не вторгались. Не замечали детей и женщин, подчас ненароком задевая их на бегу — и удивляясь передвижению в пространстве странного предмета. Привлекали их внимание одни мужчины, и тут избрали они себе, наконец, определённое занятие — сопровождать мужчин в разнообразных хождениях: в гости, в магазин или на работу. Завидев прохожего и установив ещё за квартал его принадлежность к сильному полу, та или иная отделялась

от стаи и пристраивалась к нему — слегка поодаль и позади. Проводив до места — возвращалась, ничего себе не выпросив. Когда же ей что-нибудь бросали съестного, собака рычала и отворачивалась, глотая судорожно слюну. Никто не знал, чем они живы, в эту свою заботу они тоже никого не посвящали. Было от них, правда, единственное беспокойство: они не любили, когда собиралось вместе более трёх мужчин. Но трое — как раз законная норма на Руси, а в морозную зиму и не частая. И понемногу к собакам привыкли. Привыкли, наверное, и они к посёлку, по крайней мере, не собирались отсюда уходить.

Не мог привыкнуть один Руслан, да у него и времени не было для этого. Каждое утро он отправлялся по белой дороге к лагерю и часами сидел у проволоки. Он много важного имел сообщить хозяину: что поезд ещё не пришёл, но когда придёт, то не будет не встречен, кто-нибудь из собак обязательно там караулит; что, в общем, пока устроились на первое время и живут дружно, ну и ещё кое-чего по мелочи. Как он это сообщит — Руслана не заботило, он просто о том не задумывался, всегда как-нибудь да сообщал, а хозяин как-нибудь да ухватывал. Заботило и грусть наводило другое — то, что теперь творилось в зоне. Уже повалены были многие столбы, а меж неповаленными зияли в проволоке огромные безобразные проходы и лазы, а возле бараков жгли костры какие-то непонятные пришельцы. Они здесь сбрасывали кирпичи с грузовиков и складывали в штабеля, но всем этим занимались между прочим, а больше любили побороться на снегу, перекурить часик-другой или попеть хором, сидючи рядком на брёвнах — поди-ка, на тех же священных столбах! С особенным же удовольствием обыскивали женщин, похлопывая их по штанам или по груди, а те при этом шмоне хохотали или визжали как резаные. Слишком всё это было непохоже на прежнюю жизнь прежних лагерников, и к тем беглецам чувствовал Руслан всё возрастающую нежность. Пожалуй, он бы простил их глупый побег, только б они вернулись и снова стали в красивые стройные колонны, с хозяевами и собаками по бокам.

Очень хотелось ему войти в зону и хорошенько облаять пришлых — пусть помнят, что лагерь не им при-

надлежит, и нечего устанавливать свои порядки. Но заходить за проволоку ему запретил хозяин, и только он мог снять свой запрет. Однако сумерки наступали, а хозяин не появлялся. Ни разу Руслан не напал на его след, не почуял любимый мужественный запах — ружейной смазки и табака, сильной, хорошо промытой молодости. Так, впрочем, пахло от всех хозяев, но Русланов ещё любил душиться одеколоном, который он покупал в офицерском ларьке, и, кроме того, целый букет принадлежал ему одному, его *характеру*, а Руслан знал хорошо, что люди точно так же отличаются друг от друга характерами, как и собаки. Потому-то и пахнет от всех по-разному, внюхайся — и не останется никакой загадки. К примеру, его хозяин — судя по этому букету,— может быть, и не слишком храбр, но зато он не знает жалости; он, может быть, не чересчур умён, но зато он никогда никому не доверяет; его, быть может, не так уж и любят его друзья, но зато он застрелит любого из них, если понадобится для Службы. И, всё это зная про хозяина, Руслан себе живо представлял, каково ему там, среди чужих, как он всех подозревает и ненавидит и весь занят мыслями, как ему вернуть беглецов и наказать других хозяев, позволивших им убежать. А в это время — единственный, кто ему во всём поможет, сидит совсем рядом и ждёт только, чтоб его позвали! В представлении Руслана хозяин был велик, всемогущ, наделён редкостными достоинствами и лишь одной слабостью — он постоянно нуждался в помощи Руслана. Когда бы не так — стоило ли прибегать сюда каждый день, коченеть на морозе часами и терзаться голодом?

Ведь с того утра — накормленный в последний раз — он мало чего раздобыл себе поесть. В брюхе у него горело, тошнота изнуряла до одури, и всё труднее было одолевать эту дорогу — туда и обратно. И всё же он ни разу не взял из чужих рук, не подобрал ничего с земли.

Тайный и ненавистный враг поставил на его пути булочную — здесь пробивался Руслан сквозь вязкое, тормозящее бег, пьянящее облако, изливавшееся из дверей при каждом взмахе. Однажды из этих дверей вышла женщина и кинула ему довесок, и Руслан как будто напоролся грудью на преграду. Едва хватило у него сил отвернуться и зарычать.

— На спор: не возьмёт,— сказал женщине вышедший с нею мужчина.— Это ж лагерная, они специально занятия проходили.

— Что же она, отравы боится? Но я же вот ем — и ничего! — С выражением умильно ласковым она отщипнула от тёплого каравая и сжевала, чмокая.— Видишь, собаченька, жива-здорова. Какая ж ты глупая!

Руслан равнодушно смотрел в сторону. Эти штуки он тоже знал: сами откусывают и им ничего, знают, с какого краю, а у тебя потом пламя разгорается в пасти и всё брюхо выворачивает.

— На спор,— сказал мужчина.

Подобравши довесок, он поднёс его со злорадством к самому носу Руслана. Глупый мучитель, ему в голову не пришло, что если собака у женщины не взяла, существа безразличного, так у него и подавно. Он только вызвал подозрение. Руслан проводил его до дому — и запомнил этот дом.

Помогло неожиданное, все годы дремавшее в Руслане, а теперь пробудившееся представление, что еда — для него безопасная — должна быть живой. Бегающая, прыгающая, летающая, не могла же она быть кем-то подброшенной ему нарочно и, наверное, отравленной быть не могла — иначе б её саму измучила отрава. А с давних дней погонь остались в нём воспоминания о каких-то посторонних следах в лесу, окровавленных перьях, клочках шкуры, костях — остатках чьей-то живой добычи. В первый же свой поход он проверил себя — и не обманулся. Он свернул с дороги, углубился в лес и через минуту стал охотником. Как будто всю жизнь только тем и занимался, он сразу научился разнюхивать подснежные ходы лесных мышей и пробивать снег лапой как раз в том месте, где мышь пробегала или затаилась. Скудная охота не утолила голода, но успокоила, вселила надежды. И помогла вернуться к своим обязанностям.

В остальном же было — прескверно. И как ещё может быть собаке, привыкшей спать в тепле на чистой подстилке, привыкшей, чтоб её мыли и вычёсывали, подстригали когти, смазывали ранки и ссадины,— лишась всего этого, она быстро доходит до того предела, до которого не опустится и бродяга, бездомный от рождения. Бродяга себе не позволит спать посреди улицы, да ещё

под колесом стоящего грузовика — Руслан именно так спал, и чудом его не раздавили. Бродяга избежит греться на кучах паровозного шлака — Руслан это делал сдуру, и в несколько дней свалялась, полезла его густая шерсть, надёжнейшая защита от холода, а лапы покрылись расчёсами и порезами. Он с каждым днём обтрёпывался, тощал, себе самому делался противен. Но глаза горели всё ярче — неугасимым жёлтым огнём исступления. И каждое утро, проверив караул на платформе, он убегал к лагерю.

За всё время никто из собак не бегал с ним. Ещё в первый день, выпущенные из кабин, они обшарили всю зону и лагерь и поняли, что хозяева давно отсюда ушли и что одна надежда их увидеть — отправиться по цепочке Руслановых следов, которая и привела к платформе. Руслан оказался счастливее, его хозяин ещё оставался в зоне, и чувствовалось это не нюхом даже, а сверхчутьём, верою необъяснимой, но и не обманывающей — как и представление о живой добыче.

Что станется, если и он уедет, Руслан даже думать боялся. Тогда, наверное, незачем станет жить. Потому что всё, в общем-то, складывалось скверно. Да, служба несётся, голод ещё не заставил собак забыть о ней, но с некоторых пор при встречах с ними замечает Руслан — они его сторонятся, воротят угрюмые морды, а когда он приближается к стае — тут же расходятся. К тому же иным удаётся и выглядеть не такими отощавшими, как он,— небось не побрезговали падалью или помойкой, а может быть,— но как ужасно это заподозрить! — уже коекем совершён величайший грех: напросились на другую службу, во дворы, и были приняты, и берут теперь спокойно — из чужих рук! Но разве забыли они, разве не учили их: сегодня не отравили — отравят завтра, но отравят непременно!

И подозрения его подтверждались. Как-то он встретил Альму, они столкнулись нос к носу на углу двух заборов, и оба растерялись от этой встречи. Он не ждал увидеть её такой сытой, холёной, весёлой, переполненной какими-то своими радостями. Ему вспомнилось, кстати, что она давно уже не появлялась на платформе. Альма тоже была поражена, но тут же сделала вид, что не знает такого. А следом выскочил из ворот кривоно-

гий гладкий кобель, угольно-чёрный и с белыми надглазьями, и побежал с нею рядышком по улице. И Альма ему, уроду, позволяла покусывать её в плечо. Должно быть, она что-то сообщила ему на бегу — кобель обернулся к Руслану толстой отвратной мордой и нагло ощерился. Это он угрожал — находясь на приличном расстоянии и под защитой своей же подруги! Руслан отвернулся с презрением и побрёл своим путём.

Альма его не признала! А не дальше как позапрошлой весной хозяева сводили их вместе в углу двора, освободив от всякой службы — ради той особой, которой они придавали большое значение. На это время даже клички у него с нею переменились, хозяева их звали Жених и Невеста. Что вышло из этой службы, он никогда не узнал и долго потом не видел Альму, но совместное задание сблизило их необычайно; встречаясь после этого на большой Службе, они тянулись друг к другу, сколько позволяли поводки, и всячески выказывали расположение и приязнь. Он надеялся, что скоро их опять сведут вместе, но хозяева решили иначе: привезли ей откуда-то другого пса. Кажется, впервые в жизни Руслану хотелось себе подобного загрызть до смерти, но с тем псом он так и не встретился, даже имени его не узнал.

А с этим шпаком белоглазым и связываться не стоило, до того всё выглядело жалко и противно.

В другой раз он напал на след Джульбарса, старейшего в их стае. След привёл в сырую вонючую подворотню и дальше во двор, завешанный бельём и заваленный дровами. Здесь Руслан просто оторопел, увидев Джульбарса лежащим на грязном половике, возле поленницы дров,— с таким видом, будто он охранял её! С точки зрения Руслана, охранять эту дурацкую поленницу было то же, что охранять воду в реке или небо над головою; она не представляла никакой ценности, ценность могли представлять только люди. И хоть бы он просто дрых у поленницы, но этот свирепейший из свирепых, этот пёс-громила, с распаханной шрамами мордой, ещё и вилял хвостом, угодливо осклабясь. Кой там вилял! — просто лупил по дровам в припадке подхалимажа. И кому же предназначались его восторги? Какому-то заморышу в белой овчинке без рукавов, который там с чем-то возился около сарайчика, с машинёнкою о двух

колёсах. От неё и машиной-то не пахло, гадостью какой-то — чуть-чуть бензина и масляная гарь. И скорее этого недокормыша с впалыми щеками можно было за лагерника признать, и то — хорошенько обвыкшегося в зоне, но уж никак — за хозяина!

А знать бы и недокормышу, что за подарочек Джульбарс, ему бы не с машинёнкой возиться, а побыстрее лом в руки. Он кусал кого ни попадя, хоть своих же собак, хоть лагерников, он день считал пропащим, если кому-нибудь не пустил кровь. Стоило человеку не то что шагнуть из строя, а оступиться, шатнуться от усталости,— собака же различает, когда нарушение неумышленное,— Джульбарс его тут же хватал, даже не зарычав предупредительно. Заветная была у него мечта — покусать собственного хозяина, и он таки её осуществил — придравшись, что тот ему наступил на лапу. Момент был серьёзный, все собаки ждали, что наконец-то эту сволочь отправят к Рексу, да и сам Джульбарс на лучшее не надеялся, но надо признать, повёл себя удивительно: когда хозяин наутро пришёл к нему, весь перебинтованный, Джульбарс его поприветствовал как ни в чём не бывало и прошёлся туда-сюда по кабине, показывая, как он ужасно хромает. И всё ему сошло, даже заработал три дня отдыха. Должно быть, хозяева сочли его правым или уж таким ценным, что без него Служба развалится. Ведь он всем собакам был пример: неизменный «отличник по злобе», «отличник по недоверию к посторонним». Кто б заподозрил, что он и повилять умеет чужому!

Руслан подошёл и лёг напротив отступника, глядя ему в глаза неистовым взглядом. Джульбарс, хоть и застигнутый врасплох, не слишком, однако, смутился. Разика два он ещё лупанул по дровам и зевнул, показав бугристое чёрное нёбо — предмет гордости, знак неутомимого кусаки и бойца. Зевнул в такую сласть, что даже слёзы выступили на его кабаньих глазках, из коих один по причине шрама открывался не полностью, а покуда смыкал челюсти да склеивал чёрно-лиловые губы, его перепаханная морда успела состроиться в гримасу сострадания. Удручало его — состояние товарища, немощь тела, растерзанность души.

«И чего психовать-то? — спрашивал взгляд отступника.— Жить же надо, старик. Думаешь, неохота мне ляж-

ку этому хиляку обработать? Так ведь жрать не даст, прогонит. Тут тебе не зона, где выдай, что положено, не повиляешь – не съешь».

«И это теперь твоя служба?» – спрашивал неистовый.

«Э, святого не трогай! На службу-то я как штык являюсь».

И его правда была, на платформу он приходил, и по два раза на дню. И как не прийти, когда клыки чешутся. Если бы поезд пришёл, то-то б им было работы!

«А ежели честно,– отступник уже наступал,– то где она, твоя служба? Кто нас на неё посылал? И почём знаешь – может, она вообще не вернётся?»

И теперь отступал неистовый:

«Как это может быть? Она вернётся! И тогда не простят таким, как ты».

«А вот уж не беспокойтесь! Первыми позовут. Потому что когда она будет, ты-то уже околеешь. А и выживешь – так сил не останется служить. А я, погляди-ка, псина в порядке, в мясе, в теле!»

Неистовый закрыл глаза. Не было у него сил долее препираться. И странно, он почувствовал правоту отступника – может быть, и спасительную для всех. Ведь помнилось, как этот же изменник однажды всех выручил, от смерти спас... Руслан встал и побрёл со двора. А в подворотне оглянулся на новый стук: намозоливши себе хвост дровами, «отличник по злобе и недоверию» трудился теперь на мягком половике. Перешагнув высокий порог калитки, неистовый брезгливо отряхнул лапу. И не знал Руслан,– а мы, грамотные, знаем ли? – что наше первое движение к гибели всегда бывает брезгливо перешагивающим через какой-то порог.

В этот день он многое ещё узнал, чего бы лучше не знать. Да, попросились уже во дворы – почти все,– и были приняты и накормлены, а до следующей кормёжки успели показать, чтó умеют. Начали с курятников, это попроще, а кто и с живности покрупнее. Дик, успевший половину кабанчика сожрать, пока не застигли, теперь хранит отметину от железного шкворня – на морде, где её и не залижешь как следует. Курок сам себя наказал: таща с плиты мясо, прямо из кипящей кастрюли, опрокинул её на себя – полголовы и грудь остались без шерсти, таким его и прогнали за ворота. Затвору, правда,

удалось бежать с гусем в зубах, а как вернуться теперь, когда новый хозяин ему издали показывает кочергу? В одном дворе, где всех собак привечают, кто ни попросится, взяли сразу двоих — Эру и Гильзу, так эти неразлучницы с того начали, что разодрались меж собою из-за кобелька, равно притязавшего на обеих, а помирившись, дружно его загрызли — только что не до смерти, едва успели у них отнять. Тоже выгнаны. А кто не выгнан — потому что не приняли или не попросился? Гром, решивший своим путём идти в жизни, пришёл к помойке у станционного буфета, нажрался тухлятины — и теперь, безгласный, смёрзшийся, лежит в яме неподалёку, политый извёсткой. Глупая Аза придумала кошек промышлять — грех невелик, Руслан бы ей и простил его, сам отведавший мышатины, но никакого же опыта работы с кошками, не знала даже, что эту тварь ни в коем случае нельзя в угол загонять,— да никого нельзя! — и кошачья лапка вмиг ей съездила по глазам. Кошку она задавила, но глаз вытек, а другой гноится, еле она им видит, с ума сходит от боли. Скверно, всё скверно! И не то особенно худо, что устали ждать. Устали — верить.

Оглушённый, раздавленный всеми этими несчастьями, он лежал, вытянувшись поперёк тротуара, закрыв глаза. Прохожим он казался околевающим; в таких случаях человечество разделяется на два потока — одни тебя обходят с опасливым состраданием, другие же, сердцем покрепче, просто перешагивают. Он не замечал ни тех, ни других, прислушиваясь к боли, жёгшей ему брюхо и дёсны, натёртые снегом. В последнее время он часто ел снег — от жажды и от голодной тошноты. Вдруг он вспомнил, что сегодня не бегал к лагерю. И страшно ему стало, что он только сейчас это вспомнил, а перед этим надолго упустил,— страшно, как перед неведомым наказанием. Голод повредил его память. Он силился услышать запах того человека, что совал ему довесок, а слышал лишь запах хлеба. И видел только хлеб — сквозь сомкнутые веки. А когда захотел свой дом увидеть — всплыла сахарная косточка, оставшаяся в кормушке, и с нею рядом — размокший жёлтый окурок. Но это и подняло его с тротуара.

«Всё-таки надо сбегать,— подумал Руслан.— Так много накопилось сообщить хозяину!» Ужас как не хотелось ему отправляться в далёкий путь — уже близились сумерки, а возвращаться предстояло совсем в темноте или ещё хуже — при луне. В темноте он почти ничего не видел, а лунный свет его чуть с ума не сводил, пробуждая неясные скорбные предчувствия. В этом смысле Руслан был вполне обычным псом, законным сыном той первородной Собаки, которую этот страх перед темнотою и ненависть к луне пригнали к пещерному костру Человека и вынудили заменить свободу верностью. Чтобы взбодриться, Руслан стал думать о косточке, которую, может быть, не выбросил хозяин, а приберёг для него,— но в это как-то слабо верилось, так не бывало ещё, чтобы кусок, который ты сразу не спрятал, к тебе же опять вернулся. И он задумался о грехе, о том, что забыл свои обязанности,— вот пусть проклятая луна и будет ему наказанием! Ведь всякий грех наказывается, даже самая малость, это он хорошо усвоил за свой собачий век — и не видел исключений.

Кончилась главная улица посёлка, глухие её заборы и слепенькие окошки, для чего угодно прорубленные, только не затем, чтобы из них смотреть. Здесь остановило Руслана какое-то воспоминание — о чём-то недавнем, но уже успевшем расплыться в памяти. А между тем оно не пускало его дальше и наполняло неясным предчувствием,— но не скорбным, а радостным. Он заскулил, завертелся на месте, как щенок, впервые увидевший собственный хвост, и вдруг замер, широко расставив лапы. Постояв так несколько мгновений, он опустил голову и медленно побрёл обратно, веря себе и не веря.

Вот оно, это место, мимо которого так поспешно он пробежал, занятый своими мыслями. Это, правда, на другой стороне улицы, но хозяина-то можно было учуять! Его, оказывается, привезли на машине,— чёрт бы пожрал эту резину, чёрт бы выпил этот бензин! — но вот здесь он спрыгнул и потоптался, пока ему подали чемодан и мешок. Ну, что в чемодане, того не разнюхаешь, какой-то он дрянью оклеен, а в мешке — стираное бельё и мыло (сиреневое, из офицерского ларька), и ещё вазелин, которым смазывают консервные банки. А здесь он заку-

рил, спичка ещё пахнет дымом и его руками, потом взял чемодан и вскинул мешок на плечо — всё исчезло, остался только след хозяина, чётко впечатанный в снег. Тут уж не спутаешь! У него немножко кривые ноги и, пожалуй, коротковатые для его роста, зато ступает он твёрдо, всей подошвой сразу, как будто несёт тяжёлый груз. На нём сегодня праздничные, кожаные сапоги — такие, правда, у всех хозяев есть, но ведь под сапоги наматываются портянки, а они (как мы уже выяснили) пахнут его характером. И важно, что след не петляет среди других,— хозяин вообще петлять не любит,— всё прямо, ни одного отклонения в сторону.

Теперь прохожие шарахались от Руслана; они его, охваченного любовью, принимали за бешеного, с цепи сорвавшегося, и впрямь был он страшен — отощавший до рёбер, с жёлтой пеленой в глазах, мчащийся с хрипом и со звяканьем болтающегося ошейника,— страшен был и его бег по прямой, к неведомой для них цели. У станции путь ему преградил медленно разворачивающийся грузовик; Руслан проскочил под ним, ударившись спиною, но след заставил его забыть о боли и повлёк дальше, в тепло раскрытых дверей, в шумную надышанную залу. И здесь, на слякотном полу, среди пропотевших валенок, гнилой мешковины, сыромяти ремней, плевательниц с вымокшими окурками, среди нечистых истомившихся тел,— оборвалась ниточка, продетая в его ноздри, за которой он бежал, как бык за своим кольцом. Тщетно он пытался почувствовать её спасительную резь, её натяжение,— тут ещё и едой пахло, от её пряных паров он совсем ошалел. Но вдруг он услышал — голос хозяина, неповторимый, божественный голос, который не звал его, но звучал где-то рядом, и кинулся туда — не обходами, а напрямик, через скамьи и чьи-то мешки, готовый любого порвать, кто б его не пустил к хозяину.

Однако ему пришлось справиться со своей радостью. Ворвавшись в буфет, он только хотел пролаять: «Я здесь! Вот он я!» — как увидел, что хозяин сидит за столиком не один, а с кем-то ещё беседует, и подойти не решился. Став робко у стенки, он разглядывал хозяина и его собеседника — суетливого человечка с розовой вспотевшей лысиной, в сильно потёртом пальто и раскиданном по груди косматом зелёном шарфе, который то ли ру-

башку грязную прикрывал, то ли её отсутствие. Руслан разглядывал их обоих сравнительно, и сравнение вышло в пользу хозяина — молодого, сильного, статного, совершенно чудесного хозяина. Он бы ещё чудеснее выглядел, если б не забыл надеть погоны и не сидел бы с расстёгнутым воротом и закатанными рукавами. Но лицо его всё равно было прекрасное, божественное, с прекрасными, божественными глазами-плошками, и он прекрасно, божественно держался. А его собеседник был просто отвратителен — с этими слезящимися глазками, с дурацкой манерой беспричинно хихикать и чесать при этом всей пятернёй небритую щеку. От них, правда, от обоих попахивало не очень приятно, даже скорее омерзительно, и источником этой мерзости, как Руслан заподозрил, был графинчик с прозрачной, бесцветной, как вода, жидкостью,— но, сделав некоторое усилие, он нашёл, что от хозяина пахнет гораздо меньше, совсем чуть-чуть, просто даже почти нисколько не пахнет, а вот уж от Потёртого — разит невыносимо. Потёртый уже тем не понравился Руслану, что при нём нельзя было кинуться к хозяину, но особенно тем, что он разговаривал с хозяином странно небрежно, не опустив глаз, даже с какой-то нескрытой усмешкой. Как тот водитель трактора.

— А ты, гляжу, попризадержался, сержант,— говорил Потёртый.— Ваши-то когда подмётки смазали!

Всё время он называл хозяина Сержант, тогда как на самом деле его звали Ефрейтор, и странно, что хозяину это новое имя больше нравилось. Руслану оно не нравилось совершенно. Он любил имена, где слышалось «Р», он и своё любил за то, что оно с «Р» начиналось, так ведь в Ефрейторе их было целых два, и так они оба славно рычали, а в Сержанте и одно-то еле слышалось.

Хозяин отвечал не сразу, он два дела не любил делать одновременно, а прежде докончил разливать из графинчика в стопки — сначала себе, а потом Потёртому.

— Значит, надо, ежели задержался.

— Ну, ты не говори, коли секрет.

— Зачем «секрет»? Теперь уже — не секрет. Архив охранял.

— Архи-ив? — тянул Потёртый.— Наш-то? А как же теперь он, без охраны остался?

— Не остался, не бойсь. Опечатали да увезли.

— Понятное дело. А на кой это, сержант?

— Чего «на кой»?

— Да вот — охранять, опечатывать. Сожгли б его в печке — и вся любовь. Опять же, и все секреты там, в печке. Зола — и только.

Хозяин смотрел на него с сожалением.

— Ты чо, маленький? Или так — из ума выжил? Не знаешь, что он — вечного хранения?

— Вечного ж ничего не бывает, сержант. Ты же умный человек.

Хозяин вздохнул и взялся за свою стопку. Тотчас и Потёртый схватился за свою, он только того и ждал.

— Ну, будем,— сказал хозяин.

Потёртый к нему потянулся со стопкой, но хозяин его опередил, поднявши свою чуть выше, чем они могли бы столкнуться, и быстро опрокинул в рот. Медленно убрал руку и выпил Потёртый. Затем они отхлебнули жёлтенького из кружек и затыкали вилками в еду. Руслан глотал слюну и не мог себя заставить отвернуться.

— Всё же ты мне не ответил, сержант,— напомнил Потёртый.

Хозяин опять вздохнул.

— Чо те отвечать, с тобой же — как с умным, а ты детством занимаешься. Ну, какой те пример привести, чтоб те понятней? Видал ты — пионеры жучков собирают, бабочек там всяких? Поймают — и на иголочку, а на бумажке — запишут. Вот те пример: вечное хранение.

— Да какое ж оно «вечное»? Через год от этого жучка пыль останется. Ну, через десять.

— Не пы-ыль! — Хозяин поднял палец.— На бумажке же всё про него записано. Значит, он есть. Вроде его нету, а он — есть!

Руслан поглядел на Потёртого с укоризной. Палец хозяина должен был, кажется, убедить его, а он всё посмеивался и почёсывал щёку.

— Это мы, значит, жучки?

— Те же самые,— сказал хозяин. Обхватив себя за локти, он налёг на столик и смотрел на собеседника с ласковой улыбкой.— Вот вы разлетелись, размахались крылышками, кто куда, а все — там остались. В любой час можно каждого поднять, полное мнение составить. У кого

чего за душой и кто куда повернёт, если что. Всё заранее известно.

— Так мы ж вроде невиновные оказались...

— Так считаешь? Ну, считай. А я б те по-другому советовал считать. Что ты — временно освобождённый. Понял? Временно тебе свободу доверили. Между прочим, больше ценить будешь. Потому что — я ж вижу, на что ты свою свободу тратишь. По кабакам ошиваисси, пить полюбил. А в лагере ты как стёклышко был и печёнка в порядке. Верно?

— Да вроде,— как будто согласился Потёртый.— Ну, так тем более — чего про нас-то интересно знать? Из нас уж труха сыпется. А вот их возьми,— он кивнул через плечо на сидевших за другими двумя столиками,— что тебе про них известно?

— Не бойсь, и их возьмут, если надо. Про них тоже кой-чего записано.

Потёртый тоже налёг на столик, и они долго смотрели в глаза друг другу, добро посмеиваясь.

— Между прочим,— сказал Потёртый,— заметил я, сержант, палец у тебя — дёргается. Руки дёргаются — поболе, чем у меня. Весь ты дёрганый, брат. Тоже это — навечно, а?

Хозяин посуровел, убрал руки со столика и взялся за графинчик. Разлил из него поровну и подержал горлышко над стопкой Потёртого, чтоб последние капли стекли ему. Потёртый следил за его рукою. Хозяин это заметил и потряс графинчиком — хоть ничего уже и не вытряс.

Они опять выпили, отхлебнули жёлтенького, после чего подобрели друг к другу, и Потёртому, верно, уже неловко было за свой вопрос.

— Но ты ж не скажешь, что я живоглот был,— сказал хозяин.— Тебя, например, я хоть раз тронул?

— Меня — нет.

— Вот. Потому что ты главное осознал. Раз на тебя родина обиделась — значит, у ней основания были. Зря — не обижается. А раз ты осознал — всё, для меня закон, ты — человек, и я к тебе — человек. Ну, прикажут тебя тронуть — другое дело, я присягу давал или не давал? Но без приказа... Ты меня понимаешь?

— Я тебя, брат, понимаю.

— И хорошо. А на этих — мы клали, они этого никогда не осознают. И нас с тобой не поймут. А мы друг друга — всегда, верно? Вот я почему с тобой сижу.

Потёртый наконец-то не выдержал хозяева взгляда или устал препекаться, но опустил глаза.

Устал и Руслан ждать, когда на него обратят внимание в шуме и толчее буфета. Входившие и выходившие задевали его, он сиротливо прижимался к стене — покуда не сообразил, чем себя занять и быть полезным хозяину: охранять его чемодан и мешок и брошенную на них шинель. Мягко упрекнув хозяина в душе — за неосмотрительность, он важно разлёгся подле, занял ту позицию, которая внушает нам уважение к четверолапому часовому и не позволяет не то что задеть его, но подойти ближе чем на шаг. И тем ещё хороша была позиция, что позволяла спокойно любоваться лицом хозяина. Его чуть портили капельки, выступившие на лбу и на верхней губе, но всё равно оно было прекрасное, божественное!

Руслан давно заметил, что лица хозяев, самые разные, чем-то, однако, схожи. Лицо могло быть широким или узким, могло быть бледным, а могло и смуглым, но непременно оно имело твёрдый и чуть раздвоенный подбородок, плотно сжатые губы, скулы — жёстко обтянутые, а глаза — честные и пронзительные, про которые трудно понять, гневаются они или смеются, но умеющие подолгу смотреть в упор и повелевать без слов. Такие лица могли принадлежать только высшей породе двуногих, самой умной, бесценной, редчайшей породе,— но вот что хотелось бы знать: эти лица специально отбирает для себя Служба или же она сама их такими делает? С собаками было проще: чёрный Тобик с белым ушком, прижившийся около кухни, тоже как будто служил, иначе б его кормить не стали, но за всё время таинственной своей службы и на вершок не прибавил в росте, не изменил окраса, да и характера не изменил — всё таким же оставался попрошайкой и пустобрёхом; он даже на мух лаял, а лагерникам — которые только и мечтали изловить его да зажарить на костерке — через проволоку посылал приветы хвостом. Собак, ясное дело, отбирают, всех ведь их, караульных, не с улицы позвали, привезли из питомников, а как с хозяевами — оставалось загадкой. Но в

одном Руслан не сомневался: с таким лицом хозяин мог бы не тратить на Потёртого столько слов, а тому давно уже следовало встать руки по швам и отправиться на работу.

— Куда путь держишь, сержант? — опять заговорил Потёртый.— В город какой или же к себе, в деревню?

— Домой,— отвечал хозяин как бы в раздумье.— В городе-то чо хорошего? И отдохнуть охота.

— Это понятно. Ну, а делом каким?.. Ты уж, поди, позабыл, как и вилы держат.

— На кой мне вилы? Я свои вилы подержал, семидесятидвухзарядные. Считай, полтора твоих срока оттрубил, так мне за это пенсия — как у полярного лётчика. Который мильон километров налетал.

— Это хорошо. Да денежки-то не лечат. Я б на твоём месте только б сейчас и уродовался. Живо помогает.

Хозяин уставился на него неподвижным взглядом.

— Я думал, мы об этом договорились. И кончили. А ты, значит, так: сидишь со мной и подкалываешь? Это — неуважение называется.

— Тебя-то не уважать, сержа-ант! — засмеялся Потёртый.— Да чему ж меня столько годков учили? Ну, не огорчайся, воскреснешь ещё душой. Молодость, вся жизнь впереди!

И с этими словами он выкинул штуку, которая могла бы ему стоить жизни: перегнулся через столик и хлопнул хозяина по плечу. Руслан вскочил и кинулся — стремительно, почти бесшумно, только шваркнув когтями об пол.

Мгновенно обернувшись, хозяин успел опередить его, выбросив навстречу кулак. Удар пришёлся в челюсть и задел по носу. Руслан едва не покатился с воем, но устоял, не показал врагу, как ему больно, а зарычал грозно в его сторону, почти не видя его из-за слёз.

— Бох ты мой,— удивился хозяин.— Это ты, падло? Что, по буфетам уже промышляешь?

Руслан, всё ещё ворча, потёрся носом об его колено, стало полегче, а когда погладил хозяин, то и совсем прошло.

— Твой такой? — спросил Потёртый. Он даже не успел испугаться.

— Какой «такой»? Обидчивый? Это точно, мы друг дружку в обиду не даём. Правда, Руслаша? Так бы мы этого ухайдакали — будь здоров!

Все в буфете смотрели на Руслана, как будто фокуса от него ждали. А может быть, он всё ещё был красив, и просто любовались им, как в прежние дни, когда хозяин им гордился. Однако ж буфетчице чем-то он не понравился.

— Гражданин,— заявила она хозяину из полутёмного, плотно накуренного угла,— вы бы вашу собаку страшную увели куда-нибудь, тут всё-таки не зона. А буфет всё-таки. В общественных местах намордник полагается.

— Это зачем? — Хозяин улыбнулся ей.— Он его сроду не носил, так обходился. А ты — возьми его себе, хозяйка. Что плечьми пожимаешь? Он те свой харч отработает, ревизора на порог не пустит.

— Мне ревизора бояться нечего. А вас я, учтите, на полном официале предупредила. Покусает — штраф будете платить. И за уколы.

— Слыхал, Руслаша? Учти. Кто тя знает — может, ты бешеный. Ты ж без справки гуляешь.

Руслан слегка пряднул ушами, нагнал страдальческую морщинку на лоб и перемнулся с лапы на лапу. Если и ждали фокуса, то едва ли увидели его, когда пёс так просто и так много этим сказал: что даже странно, как можно говорить о нём такие глупости, что ему, право, неловко за эту вздорную бабу, от которой хозяину пришлось из-за него выслушать неприятное, и что неплохо бы уйти отсюда поскорее, но он подождёт, пока хозяин освободится.

Хозяин, развалясь на стуле, сыто рыгнул и вытащил свой портсигар. Он чувствовал недобрые взгляды и был немножко в себе не уверен; в таких случаях закуривание превращалось у него в целый ритуал: папироса долго выбиралась, потом ею стучали по крышечке с выколотым рисунком, дули в неё с трубным гудением и, хрустко разминая, ввёртывали в рот по спирали; хозяин хищно закусывал её своими ровными мелкими зубами и, поджигая, сводил глаза на кончике, а затянувшись, держал её двумя вытянутыми пальцами на отлёте и выпускал колечко дыма.

— Вот проблема,— сказал он Потёртому, кивая на Руслана.— И заплатишь — никто не возьмёт. А такие кадры бегают!

— Да жалко, что говорить,— ответил Потёртый.— То думали: «Хоть бы вы передохли скорей, тварюги!», а теперь — жалко. Прикончили бы их разом, чем так...

— Ага, именно! Все больно жалостные, гляжу, а пострелять — другой дядя пускай.

— Другому дяде небось и приказано.

— Мало мне чо приказано. Кто приказал — уже погоны засолил и пиджачок меряет. А мне — руки марать? Когда можно и не марать. Только, видишь, как она, жалость-то? Хуже всего выходит.

Руслан понял так, что хозяин всё переживает из-за вздорной бабы, и носом подтолкнул его руку, лежавшую на колене. Рука нехотя поднялась, легла на его лоб. Не падкий на ласку, не привыкший к ней, он всё же ценил эту единственную, к тому же и очень редкую. Но в этот раз рука не понравилась Руслану, она была вялой, безвольной и отчего-то подрагивала, и пахло от неё этой мерзостью из графинчика.

— Ничо, Руслаша, обживёсси,— сказал хозяин.— А то — позовут ещё: обратно служить. Службу-то не забыл? По ночам, говоришь, снится? У, желтоглазина! Закрой зенки-то, глядеть страшно!

Рука медленно прошлась по закрытым глазам Руслана и, обхватив челюсти, вдруг сжала их жёсткой хваткой. Клыки, громко клацнув, защемили губу, от боли даже вспыхнуло под веками. Но ещё сильнее ужалила обида. Что за привычка была у них, у таких умных хозяев,— непременно хватать рукой. Собаку — за морду, человека — за лицо. У них это длинно называлось: «Я те щас смазь сделаю, поговори у меня!», но делалось коротко, ни собака, ни человек не успевали отшатнуться. А потом долго не могли опомниться. Вот так однажды хозяин сделал одному лагернику, который с ним пререкался и не спешил в строй, а потом — стоял оглушённый, с бледным, сразу вспотевшим лицом. С его носа упали стёклышки, которые этот лагерник очень любил, часто на них дышал и протирал платком,— теперь он за ними даже не нагнулся, хотя хозяин ему напомнил: «Подбери глаза!» — и сам же их ему подбросил носком сапо-

га. Вот что он чувствовал тогда на своём лице, этот человек, когда шёл в строю, спотыкаясь, как слепой, а потом с криком бежал по полю, упущенный несчастным Рексом.

— Не тискай,— сказал Потёртый.— Вот чёрт какой, ведь тяпнет же — ну, прав же будет!

— Много ты про него понимаешь,— засмеялся хозяин.— Нас ведь с Руслашей служба спаяла, правду говорю?

Рука опять легла на лоб, гладила его, трепала за ухом, а Руслан едва сдерживался — так хотелось ему сбросить её и истерзать. Не впервые он чувствовал это желание, при всей любви к хозяину, и сам же его страшился, и долго потом переживал, как могло ему такое прийти в голову. Но сейчас и другое ему пришло — озарение, догадка, отчего тогда Рекс упустил того лагерника: да ведь не мог он ничего предчувствовать заранее, потому что и сам человек не знал, что он через секунду сделает!

Высвобождаясь от ненавистной руки, он медленно — трудным поворотом головы, сумрачным из-под широкого крутого лба взглядом — обвёл сидевших в буфете, поднял немигающие глаза к хозяину. У них на столе оставалась еда, они с нею не торопились, но смолоду Руслан был жестоко отучен просить — и не на еду он смотрел, ничего не просил этот тяжёлый взгляд, в котором лишь дурак или незрячий не смогли бы прочесть: «Ты нехорош сегодня, хозяин. Ты плохо шутишь. А мы ведь среди чужих».

Потёртый вдруг сморщился горестно, схватил со стола кусок хлеба, положил на пол. Руслан этого никак не заметил, не покосился.

— Ага, взял! — ухмыльнулся хозяин, очень довольный.— Всю жизнь он мечтал твоим хлебушком попитаться. На чём тогда держава стоит!

— Ладно, держава... Сам ему дай.

Посетители буфета опять, верно, ждали фокуса, нехитрого, но обречённого на успех. Неизменно умиляются наши сердца, когда младший наш брат проявляет зачатки разума, так самоотверженно насилуя свою природу: не принимая пищу от чужих и тут же хватая её, давясь от жадности, с ладони хозяина. Но в этот раз фокус вышел ещё занятнее, чем ожидался: хлеб так и не покинул дарящей руки, пёс лишь взглянул на него и

отодвинулся — осторожно, чтоб не повалить ненароком державу.

— Ага! — возликовал Потёртый.— И ты ему нынче — никто, понял?

— Ты чо это? Брезгуешь? — спросил хозяин. Розовость медленно отливала с его лица.— Уже где-то обожраться успел? Быстренько ты! Ну-кось,— он положил кусок на пол,— подбери. Кому сказано?

— А вы, гражданин, там не разбрасывайте,— опять вмешалась буфетчица.— Ещё мне дело: за вашими собаками подбирать!

— Зачем? Он — возьмёт. Ещё как возьмёт.

Уже с побелевшими скулами, но всё ухмыляясь, хозяин сам подобрал хлеб, нашарил весёлыми глазами вилку. Макая её в баночку и ляпая на хлеб, стал густо по всему куску намазывать горчицу.

— Не надо,— попросил Потёртый.

Попросил кто-то и в очереди у буфета:

— Сержант, не дури.

— Нельзя,— объяснил хозяин.— Чтоб он моей команды не выполнил — это нельзя. Не бойсь, он уж сам знает, что допустил провинность, с первого разу не подчинился. Значит, отвечать надо. А он — службе верный: он те щас покажет, какая у него верность. С чем её едят... Весь запас я у тя использовал, хозяйка!

Он разломил кусок пополам и сложил его — намазанным внутрь.

— Кушать, Руслан, кушать. Взять, говорю!

Мужчина в кожаном, сидевший спиной к хозяину, повернулся, блестя белками скосившихся глаз.

— Ты, часом, не сбесился?

— Я те щас поговорю, «сбесился»,— сказал хозяин.— Смотри куда смотрел!

Кожаный, однако, не повернулся обратно. Сидевшая с ним женщина в сером платке, кормившая с ложечки ребёнка, положила ложечку и прикрыла глаза ребёнку ладонью.

— Толя, не связывайся,— попросила она.— Ты ж знаешь, как с ними связываться. Мы на это смотреть не будем.

Но сама всё-таки смотрела, морщась и кусая губы. И весь буфет смотрел и роптал:

— Не мучай собаку, конвойный!
— Живоглот, привыкли там измываться...
— Бухой же, разве не видно?..
— Хоть бы отнял кто...
— У него отнимешь! Тебя же ещё и порвёт...

Кусок в неверной руке хозяина качался перед Русланом.

— Ведь возьмёшь же! Сам знаешь — возьмёшь!

Что знал Руслан об этом запахе? То, что и полагается знать караульному псу, которого с этих-то угощений и начинают учить уму-разуму. Однажды утром его — ещё не пса, а подпёска — выводят перед кормёжкой в прогулочный дворик, и куда-то на минутку отлучается хозяин, сказав: «Гулять, гулять»,— и тут-то как раз происходит удивительная встреча. Как из-под земли является Неизвестный, в телогрейке и сером балахоне поверх. В длинном рукаве у него что-то спрятано, он показывает — что, протягивает к самому твоему носу. Пахнет так дивно, что пасть переполняется слюною. Ах, всё не так просто! От его одежды разит причудливой вонью барака, про который уже известно собаке, что там — «фуки!», там — «злые живут!», и уже высказано ею по этому поводу категорическое «Ррр!». Но — солнышко греет ей голову, утренняя истома в её душе и сладостная уверенность, что всё в её жизни преотлично складывается. И так беден наш изобильный мир, что всё живое ценит еду, борется за неё — ещё в слепоте, у сосцов матери. Ценит, наверное, и человек, если не швыряет наземь, а на ладони протягивает с улыбкой — как дар, цены не имеющий. И, одарив его в ответ улыбкою глаз, взмахом хвоста, собака берёт кусок в зубы. В зубах он ещё приятнее пахнет, душистая пряность щекочет нёбо, чудесно пощипывает язык, не разжевать — нет возможности, и она жуёт, ещё качая хвостом, ещё не заслезившимися глазами благодарит Неизвестного, который так скромно удаляется. В следующий миг ей кажется, что в пасти у неё — пожар, ей туда натолкали горящей пакли, от которой не освободиться теперь никак, не выхаркнуть в мучительном кашле, всё обожжено пламенем, и дым съел глаза. Она слышит смех убегающего и свирепеет от обиды; злоба пересиливает муки, бросает в погоню, а тот и не спешит удрать, он протягивает свой длинный толстый рукав, в

котором вязнут клыки... Ничего не подозревающий хозяин приходит наконец; можно ему пожаловаться, он всё поймёт, пожалеет, даст попить вволю, накормит вкуснотой необыкновенной. И всё забудется? Пожалуй что и забылось бы, если б эти лагерники не предпринимали новых козней, всякий раз похитрее. Но никакая новая их каверза так не поразит, как первая, от которой уже сделала собака свой маленький шажок к истине: всё, что не из рук хозяина,— мерзко, ядовито, греховно, даже если и хорошо пахнет.

А теперь и из этих рук ему предстояло взять отраву. И он знал, что придётся взять. Он всяким видел лицо хозяина, но никогда не видел жалким. Шутка затянулась, хозяин уже и рад бы её прекратить, но именно этого хотели чужие, а он их ни за что не мог послушаться. В другом месте и Руслан выказал бы неповиновение, он знал свои права и умел о них напомнить: тихим, но грозным ворчанием, не разжимая пасти и полузакрыв глаза, превратясь в глыбу, которую ни окриком, ни битьём не расшевелить. Перед чужими это нельзя — и, как ни глупа шутка, Руслан её должен был поддержать. Нехотя разжав клыки, он принял этот кусок с ладони, скосив глаза — куда бы отнести и положить.

Хозяин обеими руками взял его за челюсти и с силой сомкнул. Руслан дёрнулся, но руки держали крепко, и скоро он почувствовал жгучую боль в дёснах, натёртых снегом. Он попытался разжать челюсти, вытолкнуть отраву языком — всё только хуже вышло, пламя охватило язык и нёбо, даже в уши проникло звенящим шумом. Весь сумрачный, завешенный табачной синевою буфет и розовое лицо хозяина расплылись и потекли обильными едкими слезами. Чтобы не длить пытку, он стал судорожно глотать, а пламя только пуще разгорелось в брюхе, и без того сжигаемом голодной тошнотой. До смерти испуганный, ставший сразу беспомощным, больным, он уже и не помышлял, вырвавшись, искусать эти руки, а только пятился от них, скользя когтями по полу, и одно держал в голове — то, что владело всеми его предками, измученными раной или болезнью: уйти, уползти куда-нибудь — в тёмное логово, в подворотню, в лесные заросли, в камыши или густую траву — и там перемучиться или издохнуть, наедине со своей болью.

Чьи-то другие руки отняли его наконец у хозяина, рванув за ошейник, и Руслан тотчас двинулся наугад — туда, где свет, откуда тянуло морозным воздухом, жадно втянул его всей грудью вместе с огнём и задохнулся, задёргался в изнуряющей икоте.

— Ладно, Руслаша, помиримся,— услышал он голос хозяина, непривычно ласковый и точно вязнущий в вате.— Куда пошёл, ко мне!

Руслан оглянулся, вздрагивая, обвёл слезящимся взглядом весь буфет. Лица расплывались, дрожали, двоились; среди них он едва различил хозяина — нет, сразу двух хозяев, одинаково улыбавшихся виновато, одинаково розовых, мутноглазых. Одним и тем же голосом оба они скомандовали: «Ко мне, Руслан!» — и он силился понять, к которому же из двух он должен подойти. Кто был прежний, любимый хозяин, а кто — предатель, на которого следовало зарычать и кинуться? Он так и не понял этого и решил оставить обоих.

Уже за порогом он услышал, как там опять начали роптать на хозяина, и кому-то он отвечал, срываясь на крик: «Знаю, что делаю, не в своё дело суёсси! Его отучать надо. А то все жалостные, а чтоб убить — ни у кого жалости нету!» Руслан постоял в раздумье: они там могли и напасть на хозяина, а ведь он, помнится, сидел без автомата. Но ещё в первое снежное утро не зря заподозрилось, что не нужны ему больше ни его оружие, ни Руслан, теперь это лишь подтвердилось горько и унизительно. Ему, хозяину, лучше знать, как ему дальше жить. Да никто и не решился напасть.

С опущенной головою Руслан прошёл опять всю залу, осторожно сошёл с крыльца и двинулся вдоль заиндевевшей стены, стараясь держаться к ней вплотную. Завернув за угол, он взял в зубы немного снега — дёсны заныли от холода, но и огонь стал утихать. Он обронил льдистый комок с налипшим хлебом и сгустками горчицы и шумно выдохнул остатки пламени. Однако икота всё мучила его, он чувствовал себя больным и искал, где бы укрыться. Тропинка привела к помойке, где нашёл свой конец одуревший от голода Гром, за нею стояла дощатая, изжелта-белая уборная, и вот тут, между ними, в тесном закутке он и улёгся, положив морду на лапы. Вонь ему не мешала, он её и не слышал сейчас, зато

дышало теплом от уборной и мусорного ящика, и скоро Руслан угрелся, перестал ворочаться, только чуть вздрагивали его брови, когда слышались чьи-нибудь голоса, скрежет шагов по снегу или паровозный гудок.

Хозяин не любил его — это открытие всегда потрясает собаку, наполняет горем всё её существо, отнимает волю к жизни. Потрясло оно и Руслана, хоть, казалось бы, мог он и раньше догадаться. Мог бы, и догадывался, да только легче бы, право, съесть всю банку этой горчицы, чем признаться себе в нелюбви хозяина. Что же тогда, если не любовь, позволяло сносить все тяготы Службы? Что помогало им всем, хозяевам и собакам, держаться бесстрашной горсткой против тысячеглавого стада лагерников, на которых, только взбунтуйся они все разом, не хватило бы никаких пулемётов, никакой проволоки? Что бросало Руслана в пленительную погоню за убегающим, в опасную схватку с ним? Разве же не единственной наградой было — угодить хозяину? И разве только за корм прощал он Ефрейтору незаслуженные окрики, хлестание поводком? Всё, что случалось порою, случалось *между своими*, чужим не дано было видеть унижения Службы. Так унизить его при всех только и могла не любящая рука, предавшая всё, что их связывало, и саму Службу, которая не жила без любви. Из этой руки получил он то, что привык лишь от врагов получать, и значит, сам его бывший хозяин стал врагом. Пусть он живёт как знает. Но как дальше жить Руслану?

Вот что ему вспомнилось: хозяева иногда менялись. У того же Грома было их трое — и ничего, он дважды привыкал к новому и любил его почти так же, как первого, данного ему вместе с жизнью. Привыкали и другие, хотя, конечно, полного счастья не было. И всё же оставалась Служба! Хозяева уходили и приходили, а она всегда была, сколько стоял этот мир, ограждённый колючкою в два ряда и вышками по углам, залитый светом фонарей, музыкой и голосами из чёрных раструбов, точно с неба свисающих на невидимой проволоке. Начала этого мира не знал Руслан — и не мог себе представить его конца. Мог прийти конец лишь этому страшному бесприютному времени — и не важно, как он придёт; через бездны мелких серых подробностей Руслан переносился мечтою и видел уже конечный блистающий

результат: вот однажды распахивается дверь кабины, и «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» приводит другого хозяина — в новых скрипучих сапогах, с мискою в руках, полной пахучего варева и сахарных костей; он ставит свои дары на пол и говорит ещё не слышанным, но божественным голосом: «Ну что, Руслан, давай знакомиться»,— и Руслан, только хвостом качнув, подходит и принимается за еду: в знак полного доверия...

Чьи-то неуверенные ищущие шаги помешали ему. Он увидел, что сумерки сгустились, и решил не уходить, а затаиться, даже глаза прижмурил, чтобы уж совсем стать невидимым. Но этот кто-то, должно быть, его почуял — остановился напротив, сделал к нему робкий шаг.

— Вон ты где,— удивился Потёртый.— Что ж ты среди вонищи-то лежишь, совсем нюх отшибло? Или помирать собрался, Руслан? — Он сделал ещё шаг, осторожно присел на корточки.— Ах, тит твою мать, как собаку обидел, обормот! Ну, без креста же они, вертухаи! Без креста родились, от невенчанных, и так же в землю уйдут, одни пирамидки стоять будут из поганой фанеры. Ну, вставай, друг, что ж тут лежать. Уже его нет давно, уехал твой ненаглядный. Уе-ехал, ту-ту, не вернётся. Пойдём-ка со мной лучше, а?

Слова текли к Руслану, вливались в его чуткие уши и настороженное сердце, и из общего их течения он выловил, как щепку из журчащего потока, что хозяина больше не будет. Руслан это принял спокойно, даже почти равнодушно: спустившись с небес своей мечты на мёрзлую вонючую землю, он с удивлением обнаружил, что теперь куда больше его интересует вот этот, сидящий перед ним на корточках. Хозяин успел уже умереть для Руслана, а этот, в драной ушанке с падающим на глаза лбом, был жив и позвал с собою. Для начала Руслан хотел бы обнюхать эту ушанку и бахромчатые рукава латаного пальто.

Но вот Потёртый, точно бы повинуясь его желанию, потянулся к нему — медленно, всякую секунду готовый отдёрнуть руку. Он не знал, что не успел бы этого сделать. Не знал также, что Руслана можно погладить — но лишь растопырив пальцы, показав ему всю безобидность руки, и для начала рука была отброшена ударом костистой морды. На вторую попытку Потёртый не отважил-

ся. Но вдруг Руслан сам к нему потянулся. Привстав на передние лапы, не спеша обнюхал замершее колено, затем, поймав ускользающую кисть, легонько её прихватив клыками, несколько долгих — и для Потёртого мучительных — мгновений втягивал в себя тепло рукава. Всё хотелось ему увериться, что он не ошибся тогда, в буфете, когда эта рука положила перед ним еду.

Нет, не ошибся. Могла бы истлеть одежда Потёртого, и он бы её сменил на другую, но ведь кожу-то он не мог бы сменить, и она будет таить в своих порах этот нетленный, невыветриваемый запах, покуда, наверно, сама не истлеет,— запах застиранного белья, прожаренного в вошебойке, стократ пропитанного обильным потом слабости, запах болезней и лекарств, ни одной болезни не исцеляющих, потому что все они одним называются именем — «бесполезное ожидание», запах костра, на который подолгу глядят расширенными зрачками, поддерживая вспыхнувшую надежду, и запах самих надежд, перегорающих в одрябших мускулах, запах жёстких нар, дарящих, однако, глубокий, как смерть, сон — последнее прибежище загнанному сердцу; запах страха, тоски, и опять надежд, и глухих рыданий в матрас, выдаваемых за кашель. Втянув в себя весь этот букет, Руслан поднялся и дал подняться Потёртому, и они пошли рядом, куда хотел Потёртый,— оба утешенные, что нашли друг друга. И, наверное, Потёртый думал о том, как ему легко, по случаю, достался этот красавец пёс, могучий и склонный к верности, которого и воспитывать не надо и который с этого дня будет ему спутником и защитой.

Что же до Руслана, то для него это новое знакомство имело иной смысл. Случилось не предвиденное уставом службы, однако и не противное главному её закону: житель барака сам напросился, чтоб его конвоировали. Оказавшись на воле, он хотел вернуться под любимый кров,— и в том не было удивительного, возвращались же добровольно иные беглецы после целого лета блужданий в лесах, полумёртвые от голода, едва державшиеся на ногах. Таких обычно не били хозяева и не натравливали собак, а лишь смотрели на них подолгу — холодно, светло и насмешливо, покуда иной бедняга не сваливался замертво к их сапогам.

Потёртый был на пути к возвращению, и Руслан счёл себя обязанным охранять его, пока не вернутся хозяева. А когда вернутся они — и поставят поваленные столбы, и натянут проволоку, и зачернеют на вышках ребристые стволы, а над воротами во весь проём запылает в прожекторном свете красное полотнище с белыми таинственными начертаниями,— тогда Потёртый пойдёт, куда захочет Руслан.

3

В первый же час этой службы выяснилось, что подконвойный успел обзавестись хозяином. И у него (точнее — у неё, поскольку хозяин носил юбку и пуховый платок) ещё надо было испрашивать разрешение для Руслана, едва они с Потёртым ступили во двор:

— Эй, хозяйка! Тёть Стюра, ты жива ли?.. Погляди, какого я тебе охранника привёл. Не прогонишь нас?

Тётя Стюра, статная и дородная, застившая почти весь свет в дверях, с крыльца оглядела Руслана и осталась недовольна.

— Ещё неизвестно, кто кого привёл. А кормить его, бугая, чем?

— А вот и интересно, что — ничем. Он так, без прокорму живёт. Чудной мужик, ты ещё с ним намаешься.

Последнее замечание успокоило тётю Стюру вполне.

— Пускай живёт. Трезорку бы моего не съел.

Руслан не стал ждать, когда его пригласят в дом. Легко потеснив хозяйку, он прошёл в комнаты и скоро вернулся. Тёте Стюре принадлежала половина домика; он убедился, что обе комнаты и кухонька окнами выходят во двор и на улицу перед воротами, уйти незамеченным подконвойный никак бы не смог. Одно обстоятельство, правда, удивило Руслана: явное и не столь давнее присутствие Главного хозяина, «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца». Но знакомый запах в то же время и успокоил; а кроме того с Руслана как с подчинённого вроде бы снималась ответственность — поскольку начальство этот дом заприметило и осматривало самолично.

Тётя Стюра всё-таки выставила новому жильцу угощение — полную миску тёплого супа с костями. И было несколько мучительных, полуобморочных минут, отра-

вивших этот маленький праздник новой службы. Миску пришлось убрать нетронутой — при этом Потёртый разыгрывал торжество, а тётя Стюра не сдержала злости и пообещала Руслану, что завтра же отправит его на живодёрню.

— Там,— сказала она,— из тебя мно-ого мыла получится! Вот увидишь.

Руслан уснул на крыльце, растравленный, зверски голодный, питаемый зыбкой надеждой. Несколько раз его будило сонное квохтанье в курятнике, и он ещё и ещё подходил удостовериться, что дверь закрыта плотно и засов не отодвинуть лапой. И всякий раз из-под дома слышалось тоненькое рычание невидимого Трезорки, так и не рискнувшего выйти познакомиться.

К рассвету Руслан почувствовал себя совсем скверно; его мышиная охота стала ему рисоваться в образах фантастических: мыши, размером с кошку, так и выпрыгивали из-под снега, а потом они построились в колонну по пять и с дружным писком двинулись к нему в пасть. Он зарычал и совсем проснулся.

Потёртый ещё и не пошевелился в доме, и Руслан всё-таки решил отлучиться ненадолго в лес. Возвращаясь, он обежал весь квартал — на тот случай, если Потёртый имел где-нибудь лазейку или перелез через забор. Но оказалось, он и на крыльцо ещё не выходил, хотя небо порозовело и всё на дворе стало цветным. Тут Руслан вспомнил: вечером его подконвойный, с тётей Стюрой на пару, налакался этой прозрачной мерзости, от которой свалился замертво. А перед этим он слишком громко и с глупым лицом разговаривал, махал руками без толку, порывался петь — словом, перестал понимать, что к чему,— совсем как собака. Правда, у собак это печальное состояние приходит с возрастом, люди же для его приближения совершают усилия. Это наблюдение показалось Руслану интересным и обнадёживающим: как ни презирал он эту мерзость, но ведь она-то ему и позволила нынче поохотиться. И ещё он успел соснуть порядком, пока наконец подконвойный соизволил выйти — смутный лицом, собою недовольный, воняющий ещё омерзительнее, чем накануне. Свет божьего дня не понравился ему — он поглядел на небо и скривил рожу, затем сплюнул и направился неверным шагом к сарайчику.

Тот же час явился как из-под земли Трезорка. Размялся, сладко зевнул и в середине зевка, будто впервые увидев Руслана, сделал «здрасьте» коротким, как обрубок, хвостиком. Псом он оказался совсем ничтожным, даром что кличку носил с двумя рокочущими «Р»,— криволапый, низкорослый, с раздутым животом и недоподнятыми ушами, к тому же и окрашенный как попало чёрными, белыми и рыжими пятнами. Руслан его едва удостоил взглядом. Явившись так поздно, когда новый жилец уже обследовал двор, Трезорка тем самым поступился своим правом на территорию, признал себя как бы младшим на ней. Но Руслан и не претендовал на неё, всем видом он показывал, что его интересует лишь этот человек, скрывшийся в сарайчике,— и Трезорка это прекрасно понял. Скосясь на дверь сарайчика, он состроил гримасу весьма сложного состава: одновременно и сострадательную к Руслану, и полную презрения к Потёртому, и о своих неоценённых достоинствах сказавшую без ложной скромности, и содержавшую горестный извечный вопрос: «Ах, сосед, за что нам такой удел!» За такое инакомыслие, пожалуй, досталось бы Трезорке, будь Потёртый хозяином, но коль скоро он был подконвойным, Руслан лишь отвернулся, не желая поддерживать общение.

Потёртый там долго ещё сопел, охал и даже рычал, не зная, видно, за что приняться, как начать день; наконец, показавшись в двери, исторг членораздельные слова:

— Тит твою мать, где ж это я рукавицу-то задевал, брезентовую? Одна есть, а другую посеял. Руслан, ты, часом, не видал?

Руслан лишь взглянул с холодным удивлением. Ему предлагали найти вещь, и он знал — какую и где лежит она, но никакое приказание, ни просьба не могли быть исполнены, если исходили от лагерника. И Руслан об этом напомнил подконвойному на своём языке: поднялся, но лишь для того, чтоб перелечь на другое место.

Трезорка, всё это наблюдавший с живейшим интересом, опрометью кинулся под крыльцо и вытащил искомую рукавицу. Однако Потёртому он её не поднёс, а обронил неподалёку от Руслана, чтобы и тот имел возможность послужить. Руслан и головы не повернул. Потёртому пришлось-таки подойти и кряхтя нагнуться за рукавицей.

— Пожалста,— сказал Потёртый,— мы люди не гордые. А кой-кто у нас без понятия. Эх, казённый! Только и знаешь: «Гав-гав, стройсь, разойдись!», а Трезорка-то, он лучше соображает.

Этого Руслан уже совершенно не мог вынести. Он пошёл со двора и, перемахнув через ворота, улёгся на улице. Право, он лучшего мнения был о своём подконвойном. Упрекая Руслана в недостатке сообразительности, сам-то Потёртый соображал ли, почему караульный пёс его не послушался? И почему со всех лап кинулся Трезорка? Да сам же он её и заиграл под крыльцо, эту рукавицу, кому же и бежать за ней!

Вышел на улицу Потёртый, опоясанный солдатским ремнём, с ящиком для инструмента в руке, сказал: «Пошли, казённый» — единственную команду, которую Руслан готов был исполнять и которую мог бы Потёртый не говорить.

Так начались их походы на тот странный промысел, которым занимался подконвойный по утрам, если только их можно было назвать утрами. Они отправлялись на станцию и там сворачивали, шли по шпалам в дальние тупики, на кладбище старых вагонов; здесь-то и находилась у них *рабочая зона* — так же, как стали жилой зоной квартал и двор тёти Стюры. Они поднимались в эти вагоны — Руслан вспрыгивал в тамбур единым махом с разбега, а Потёртый карабкался по ступенькам с отдышками — и переходили не спеша из одного купе в другое. Стёкла здесь были выбиты или кто-то их утащил, и гулял сквозняк, а на полу и нижних полках лежал пластами снег, и пахло гнилью, трухой, ржавчиной, людским дерьмом, всеми дорогами и станциями, где побывали эти вагоны. Потёртый поднимал и опускал скрипучие полки, протирал рукавом и мерил пядями и, вздыхая, говорил Руслану:

— Ну как, вот эту досточку — оприходуем? Узка вроде, но текстурка имеется. С игрой планка, верно же?

Руслан ничего не имел против, и Потёртый начинал «приходовать». Руки у него тряслись, и отвёртка долго не попадала в шлиц, и не хватало у него сил и рвения сразу вывернуть приржавевший шуруп, а среди дела он ещё подолгу перекуривал, соображая, как бы приладить гвоздодёр и отъять планку, не расщепив. Но и когда отдиралась она целая, то не всегда сохраняла для По-

тёртого интерес; огладив её ладонью и поглядев вдоль неё на свет, даже понюхав, он мог её и выбросить в окошко, а потом долго сидеть, печально вздыхая, прежде чем приняться за другую. И всё говорил, говорил:

— Вот, Руслаша, это почему в России хорошей доской не разживёшься? А я тебе скажу: в лесу живём. Кругом леса навалом, вот и причина, что его — нету. Было б его поменьше, так мы б его берегли, чужим не продавали — и всем бы хватало. Ну, однако, разговорчики безответственные — отставить! Ты, Руслаша, следи, чтоб я лишнего не болтал.

Иной раз лукавая мысль вползала в его отуманенную голову, водянистые глаза оживлялись, хитро сощуривались, впивались в жёлтые сумрачные глаза Руслана.

— А что, паря, не сходить ли нам на лесоповал? Дорожка нам знакомая, а там на пилораме какую-нибудь досточку подберём, твёрдо-ценной породы. Там-то они несчитанные, наши досточки.— И сам же отвечал на свой вопрос: — Не, лучше не ходить. Там я тебя забоюсь, на лесоповале. Это мы тут друзья — не разольёшь, а там ты старое вспомнишь, покурить особо не дашь, верно? И правильно, чего это я с тобой разболтался? Уж в рельсу бить пора, а мы ещё ни хрена не наработали.

Никто здесь не ударял в рельсу, но каким-то чутьём он угадывал,— а со второго дня стал угадывать и Руслан,— что пора им домой. К этому времени насчитывалось три-четыре планки, о которых Потёртый говорил: «Звали етого грузина — не Ахтидзе, но Годидзе»,— хотя, по мнению Руслана, они особо не отличались от выброшенных, разве что послабее воняли плесенью. Потёртый их перевязывал шпагатом и уносил под мышкой. К этому времени ослабевало действие прозрачной мерзости, уже не так ею разило из его рта, и подконвойный вышагивал по шпалам резво, как и положено идти с работы лагернику, вызывая неудовольствие конвоира только дурацким своим пением. Пел он всегда одно и то же, с ужасными нищенскими завываниями, от которых Руслану тоже хотелось завыть.

Вам, поди, това-арищи, хорошо живё-отся,
У вас, поди, двуно-огая жена,
А у моей жены-и — одна нога мясна-ая,
Другая же, братишки, из бревна!..

Ещё слава богу, он прекращал свои вопли на улицах; перед чужими Руслан, право, умер бы от стыда.

Планки уносились в сарайчик; там Потёртый, мурлыкая себе под нос, пилил их, вжикал рубанком, выносил их одну за другой на свет и наконец тащил в дом — совсем тоненькие, но посветлевшие и даже приятно пахнущие. Руслан входил за ним по праву конвоира, растягивался у двери и лежал неслышно, так что о нём забывали. То, что сооружалось в тёти-Стюриной комнате, занимавшее почти всю стену, походило, с точки зрения Руслана, попросту на огромный ящик — Потёртый его называл «шкап-сервант трёхстворчатый». Сидя на табурете, он прикладывал новые планки к тем, что уже стояли на месте, менял их так и сяк, спрашивал тётю Стюру, нравится ли ей. Тётя Стюра стелила скатерть на стол и отвечала, коротко взглянув или не глядя вовсе:

— Да хорошо, чего уж там...

— Всё тебе «хорошо»,— возмущался Потёртый.— Тебе лишь бы куда барахло уместилось. А не видишь — доска кверху ногами стоит, разве это дело?

— Как это «кверху ногами»?

— А по текстуре не видно, что комель — вверху? Может дерево расти комлем кверху?

Тётя Стюра приглядывалась, супя белёсые бровки, как будто соглашалась и всё-таки возражала:

— То — дерево. А доске-то — не всё равно, как стоять?

И этим давала повод для новых его возмущений:

— Тебе-то всё равно, а ей — нет. Она же помнит, как она росла,— значит, с тоски усохнет, вся панель наперекосяк пойдёт.

— Ну надо же! — изумлялась тётя Стюра.— Помнит!..

И он торжествовал, ставя планку как надо, и доказывал тёте Стюре, что вот теперь-то «совсем другой коленкор», и много ещё слов должно было утечь, пока притёсывалась планка к месту, мазалась клеем, прижималась струбцинами:

— Вот погоди, Стюра, как до лака дойдёт — вот ты увидишь, краснодеревщик я или хрен собачий. Учти, я никакого тампона не признаю — только ладонью. Лак нужно своей кожей втирать, тогда будет — мёртво! Что ты! Я же до войны на весь Первомайский район был один, кто мог шкап русской крепостной работы сделать.

Или – бюро с секретом. Вот это закончу – и тебе сделаю, будет у тебя бюро с секретом. Я же славился, Стюра! Две мебельные фабрики из-за меня передрались, чтоб я к ним пошёл опыт передавать молодёжи. Я посмотрел – так мне ж там руками и делать-то не хрена. Они же что делают? Сплошняк экономят, а рейку бросовую гонят с-под циркулярки и клеят, и клеят, а стружку тоже прессуют. А я им только рисуночек дай, фанеровку подбери. Нет, не пошёл. Моя работа – другая. Мою работу, если хочешь знать, на выставке показывали народного ремесла, на международную чуть не послали, но – передумали, политика помешала. Так этот мой шкап знаешь где поставили? В райсовете, под портретом – ровненько – отца родного. Что ты! Почёт!

Вторая планка пригонялась ещё дольше, он её так и этак вертел и отставлял – для долгого перекура. Жадно затягиваясь, отчего ходил по небритой шее острый кадык, он сводил глаза на кончике потрескивающей папиросы, и лицо его вдруг теплело от улыбки.

– Одно жалею,– говорил он,– не я ему, живоглоту любимому, гроб делал.

– Да уж,– вздыхала тётя Стюра, нарезая хлеб,– ты б постарался!

– Уу! – гудел он с воодушевлением.– Ты представь: вот дали бы мне такое правительственное задание. Три полкаша у меня для снабжения или же – генерала. «Так и так,– говорю им,– чтоб к завтрему мне красного дерева выписали – в неограниченном количестве. Столько-то – гондурасского кедра. Н-да... Тика не забыть – тесинок восемь, а также и палисандры». А на крышку изнутри самшит бы я пустил. Или бы – кизил. Нет, лучше сандал, он пахнет, сволочь, вечное время не выдыхается. Даже балдеешь от него – без бутылки. Спи только, родной, не просыпайся! Самое тебе милое дело – спать. И народ тебя в спящем состоянии больше полюбит.

Он смотрел куда-то в неведомую даль, будто видел что-то сквозь стены, и улыбка понемногу делалась маской, которая никак не отклеивалась с побелевшего от злости лица.

– Ведь ты, отец любимый, такое учудил, что двум Гитлерам не снилось. И какие же огни тебя на том свете достанут! Хорошо ты устроился, отец, ловко удрал...

В голосе человека слышалась тоска, и Руслан её разделял по-своему: ведь он тоже скучал по прежней жизни, тоже в неё рвался. Но имел же он терпение ждать, не скулить так жалобно! Тёте Стюре и той не нравилось, как скулит Потёртый:

– Вот до чего тебя глупые мечты доводят! Сколько ж про это говорить? Пустое всё, ничего не вернёшь. Дальше нужно как-то жить!

– А вот шкап соберу – всё забуду, как отрежу.

– Да ты жизнь свою как-нибудь собери, нужен мне твой шкап! Ходишь, шатаешься. Или нарочно себя жгёшь? Столько лет в рот не брал, а тут – закеросинил.

– А это во мне, Стюра, дефициту накопилось.

– Уезжай-ка ты лучше отсюда, от дефицита этого. Думаешь, держусь я за тебя? Да я тебе денег достану, поезжай в свой Октябрьский район, там-то, может, скорей очнёшься.

– Не Октябрьский, тёть Стюра, Первомайский. Да как же я от работы своей уеду?

– Ну, подрядился – так уж докончи, ладно.

– Да не в том дело, что подрядился. Мне надо хоть одну вещь, но сделать. Хоть почувствовать – не разучился. И вот ты говоришь: поезжай. А кто меня там ждёт?

– Ты ж говорил – жена была, дети...

– Ну-ну, ещё племяшей прибавь, кумовьёв. А посчитай, сколько годков минуло. Меня-то ещё на финскую призвали, да к шапочному разбору; то б демобилизовали, а так ещё трубить оставили. Ну, теперь эта, Отечественная, да плен, да за него ещё другой плен – вон меня сколько не было! А они под оккупацией находились, и кто там живой остался – поди узнай. И на кой я ему – с амнистией! Разбираться ему некогда, за что попал. Все по одному делу попадают – за глупость. Был бы умный – как-нибудь уберёгся. Их-то из-за меня почему тягать должны? Это одно дело, а другое – он меня за живого-то уже не считал. В душе-то он со мной простился. Помню я, с соседом мы в пересылке встретились, на одной улице когда-то жили. «Батюшки,– он мне говорит,– да ты живой! А я тебя который год в усопших числю». Ведь за всех за нас по домам, по церквам свечки ставили, как же это мы теперь вернёмся? Кто нам, не подохшим, рад будет? Ведь они грех совершили – по живому свечка!

— Ну, а в другой какой район? — спрашивала тётя Стюра, стягивая плечи платком.— Не обязательно в Первомайский...

— Да в какой же ещё другой, Стюра? А я где живу? Я же в другом и живу!

Покачав головою, она уходила в кухоньку. Он провожал её загоревшимся взглядом, поворачиваясь с табуретом вместе. Там она гремела посудой, с грохотом лазила в подпол и возвращалась с тарелкой помидоров и грибов, переложенных смородиновыми листьями, а в середину стола ставила запотевшую бутылку. Потёртый зябко вздрагивал, уводил в сторону маслено заблестевшие глаза, а бутылка всё равно была центром притяжения, главной теперь вещью в комнате.

Эта мерзость, как уже знал Руслан, называлась ласково «водочкой», она же была «зараза проклятая, кто её только выдумал»,— и понять он не мог, нравится ли её пить Потёртому. По вечерам он к ней устремлялся всем сердцем, утрами — страдал и ненавидел её. Не в первый раз Руслан наблюдал, как эти двуногие делают то, что им не нравится, и вовсе не из-под палки,— чего ни один зверь не стал бы делать. И недаром же в иерархии Руслана вслед за хозяевами, всегда знавшими, что хорошо, а что плохо, сразу шли собаки, а лагерники — только потом. Хотя и двуногие, они всё-таки не совсем были люди. Никто из них, например, не смел приказывать собаке, а в то же время собака отчасти руководила их действиями,— да и что путного могли они приказать? Ведь они совсем были не умны; всё им казалось, что где-то за лесами, далеко от лагеря, есть какая-то лучшая жизнь,— уж этой-то глупости ни одна лагерная собака вообразить себе не могла! И чтобы убедиться в своей глупости, они месяцами где-то блуждали, подыхали с голоду, вместо того чтобы есть своё любимое кушанье — баланду, из-за миски которой они готовы были глотки друг другу порвать, а возвратясь с повинными головами, всё-таки замышляли новые побеги. Бедные, помрачённые разумом! Нигде, нигде они себя не чувствовали хорошо.

Вот и здесь — разве нашёл свою лучшую жизнь Потёртый? Уж что там его держало около тёти Стюры, об этом Руслан преотлично знал,— да то же, что и у него

самого бывало с «невестами». Право, это не самое скверное в жизни, но этим двоим не было друг от друга радости. Иначе зачем бы им тосковать, живя под одним кровом, зачем спорить столько, иной раз до крика? Потёртый и здесь оставался истым лагерником — делал не то, что хотелось бы ему делать, делала то же и его «невеста», и Руслан твёрдо знал: когда придёт время их разлучить и увести Потёртого туда, где только и может он обрести покой, то он, Руслан, не испытает ни жалости, ни сомнений.

Сев за стол, тётя Стюра приглашала обоих своих «жильцов» — один отказывался, не взглянув на поставленную около него миску, другому хотелось ещё поработать. Но вся его работа в том состояла, что он ещё разок прикладывал оставшиеся планки и, отложив их, сидел, курил, намеренно оттягивая блаженное свидание с бутылкой. Что-то уже изменилось в нём причудливо: на лице сияла беспричинная ленивая доброта, а в душе чувствовался нервозный позыв двигаться, говорить без конца.

— Так-то, Стюра дорогая, с финской, значит, войны... Н-да. Ну, то, правда, не война была, а «кампания». Точно, «кампания с белофиннами». Ах, тит его мать, гениальный всё ж был душегуб! Как он их по-боевому назвал — «белофинны». Кто их разберёт, захватчики они, не захватчики, а белофинны — это ясно: белые, значит, а белых не забыли ещё, так винтовка легко в руку идёт. А так-то — финны они, финляндцы. Н-да, ну победили мы их... Ну, как победили? Сами рады были, что они нам мир предложили. А они-то всё-таки умные, они ж понимали, что мы же все наши головы положим за правое дело и за отца любимого всех народов,— зачем это им? Лучше же миром людей сохранить, а территории всё равно мало будет, всем её мало. И в Отечественную они тоже умно поступили: своё оттяпали до бывшей границы, а дальше не пошли, сколько им Гитлер ни приказывал. Вот бывают же умные народы! Нам бы у них ума поднабраться, у белофиннов этих,— то есть я «финны» хотел сказать, «финляндцы».

— Вишь ты, куда тебя уносит,— говорила строго тётя Стюра.— Тебя не сажать, тебе язык обрезать — и ходи лалакай.

— А я, Стюра, не за ла-ла сидел. Я — шпион, я руки перед ненавистным врагом поднял. Так руки и секи, а язык при чём?

— Как это ты за народ судишь — кто умный, кто нет?

— А так и сужу, милая.— И в его голосе вскипали раздражение и злоба.— Тот человек неумный, кто хочет, чтоб все жили, как он живёт. И тот народ неумный. И счастья ему не видать никогда, хоть он с утра до вечера песни пой, как ему счастливо живётся.

Тётя Стюра, прикусив губу, кидала искоса пугливый взгляд на Руслана. И он отводил в сторону мерцающие глаза или закрывал их, притворяясь спящим.

— Счастья злым не бывает,— говорила она.— А нам-то за что? Мы кто, по-твоему, злые?

— И этого хватает, Стюра. Мы ж недаром народ суровый считаемся. Но то ещё полбеды. Есть и другие суровые, а хорошо живут. А ты вот себя возьми: и добрая вроде, но представь — какая-нибудь финтифля юбку задерёт повыше твоего понимания или же грудя выкатит на огневую позицию, ведь ты ж мимо не пройдёшь. Твоя бы сила — ты б её со свету сжила.

— Господи, да пускай хоть голая ходит! А только я на это смотреть не обязана.

— А вот ей так нравится!

— Мало ли чего ей нравится. Ещё другим должно нравиться. Люди ж не дураки, думали всё-таки — как прилично.

— Вот! — Он торжествующе поднимал палец.— Хоть всю политику на вас изучай, на бабах. Эх, Стюра! Всё же не зря я через это всё прошёл. Каких я людей повидал, ты не поверишь. Какого ума люди, образования, видели сколько! Я бы так серым валенком и остался, когда б не они. Вот, помню, два года у меня с немецким товарищем общая вагонка была. Он, значит, внизу, а я — наверху.

— Ну, знаю вагонку.

— Много он стран повидал и мне рассказывал. Он, конечно, коммунист-раскоммунист, но нацию-то не переделаешь, и вот что заметил я: обращает он внимание, что люди где-то не так живут, а по-особенному, что вот такие-то у них обычаи, так-то вот они дом украшают, так-то вот песни поют, свадьбы играют. А, поди-ка, наш

заведёт — где побывал да что видел, то главное у него выходит, что вот там-то комсомол организовали, а там-то вот революция без пяти минут на носу, а вот в другом месте — дела неважнец, марксистская учёба в самом зачатке, только лишь профсоюзная борьба ведётся. И не то ему по душе, что революция и комсомол, а то дело, что всё кругом по-нашему, ну как в родном Саратове. А спросишь, что же там ещё интересного,— зыркнет на тебя с таким это удивлением: «Простите, если это вам не интересно, что же вам вообще тогда интересно?» Видишь как!

Она слушала, подперев кулаком щеку, нахмурив белое большое лицо, и вдруг спохватывалась:

— Ну, ты сядешь? Или так всё будешь ла-ла?

Он придвигался к столу и тянулся быстрой рукой к бутылке. Заставляя себя не спешить, наливал тёте Стюре — до черты, которую она показывала пальцем, и почти полный стакан — себе.

— Много наливаешь,— говорила она,— для первого-то разу.

— А это смотря за что пить. За Большой Звонок первый глоточек. Я-то своего маленького звонка дождался, а Большой — он впереди ещё. Это когда все ворота откроются, и скажут всем: «Выходи, народ! Можно — без конвоя». Ну, прощай, Стюра.

Крупно вздрогнув, он опрокидывал весь стакан сразу, а потом дышал в потолок, моргая заслезившимися глазами, точно в темя ударенный. Отдышавшись, тыкал вилкой в тарелку, но тут же бросал вилку и торопился опять налить. Тётя Стюра накрывала свой стакан ладонью, но он говорил: «Пускай постоит»,— и она убирала ладонь.

Нетерпение его проходило, он делался расслабленно весел и лукав, и в их разговор вплеталась какая-то игра.

— Стюра! А, Стюра? — спрашивал он.— Это что ж за имечко у тебя такое? Никогда не слыхал.

— А вот женись,— отвечала она,— в загс меня своди — в тот же час и узнаешь. Всю меня полностью к тебе впишут*.

* Полностью впишут «Анастасия» либо «Настасья». Отсюда сибирская трансформация: Настя-Настюра-Стюра.

— Всю тебя полностью, Стюра, и в шкап не поместишь, такая ты у нас больша-ая!

Она притворно обижалась, фыркала, но скоро оказывалась у него на коленях, и продолжалась их игра уже с участием рук.

— Стюра, а этот-то, наш-то, гражданин начальничек, он как — ничего был мужчина?

— Дался тебе начальничек! Обыкновенный, как все.

— У, как все! Ты всех, что ли, тут привечала? Так знала бы, что все по-разному. Это вы все одинаковые.

— Тебе, во всяком случае, не уступит.

— Врёшь. Это ты врёшь. «Не уступит»! Он выдающаяся личность, скала-человек, орёл! Клещ, одним словом. Как вопьётся, так либо его с мясом отдерёшь, либо он тебе голову на память оставит. Я так думаю, хорошо он тебя пошабрил!

— Иди к чертям! Прямо уж, пошабрил... Одна видимость, что военный.

— А по сути — нестроевой? Ну, это ты приятное мне говоришь. За это ещё полагается по глоточку.

Руслан поднимался и, лбом распахнув дверь, выходил на двор.

День только успевал догореть, но Руслан уже знал наверняка, что до позднего утра подконвойный никуда не денется, эта «зараза проклятая» удержит его в доме надёжнее всякого караула. Привыкший ценить время, когда он бывал свободен, предоставлен себе, Руслан не мог нарадоваться его обилию. Покуда опять порозовеет небо и мир сделается цветным, можно и выспаться всласть, и поохотиться, и сбегать посмотреть, что делается на платформе, и навестить кое-кого из товарищей. Вот только б дожить до утра с пустым брюхом, в котором, казалось, гуляет ветер и плещется горячее озеро. Он знал, что в тепле его совсем развезёт, и нарочно охлаждал брюхо снегом, растягиваясь на улице перед воротами. Здесь был его всегдашний пост — и очень удобный. Отсюда он прозревал улицу в обе стороны, а сквозь проём калитки, никогда не закрывавшейся на ночь, мог видеть крыльцо. А в любимый час на покосившемся столбе загорался фонарь и бросал на весь пост и на Руслана конус жёлтого света. Этот свет согревал душу Руслана, он так живо ему напоминал зону, караульные бдения с хозяином,

когда они вдвоём обходили контрольную полосу или стояли на часах у склада; им было холодно и одиноко, обставшая их стеною тьма чернела непроницаемо и зловеще, и по эту сторону были свет, и правда, и взаимная любовь, а по ту — весь нехороший мир с его обманами, кознями и напастями.

Сюда, под конус, к нему выходил Трезорка и укладывался чуть поодаль, но с каждым днём всё ближе. Своих приятелей он уже, разумеется, оповестил насчёт Руслана, и на второй же вечер они явились знакомиться. Пришёл худющий Полкан — с ошпаренным боком и печатью недоумения на морде, с сединою в козлиной бороде, постоянно кивающий, точно всё время с кем-то соглашался. Пришёл мучительно умный Дружок, с загадочным прищуром, будто знающий какую-то тайну, а на самом деле весьма недалёкий и не помнящий родства, в других дворах отзывавшийся на Кабысдоха. Пришёл элегантный и нервный Бутон, ужасно гордый своими шароварами и таким же вовсю распушённым, в колечко закрученным хвостом. Знакомство вышло одностороннее — Руслан их не удостоил ни одним движением, ни взглядом, высясь над ними равнодушной каменной глыбой, но и это Трезорка себе обратил на пользу. Он лежал и помалкивал, приняв ту же позу, что и Руслан, и с таким же независимым выражением на морде. Приятели жестоко позавидовали и удалились в смятении.

А то прибегали совсем уже задрипанные сучонки — какие-то Милки, Чернухи, Ремзочки, одна так и вовсе без имени,— располагались полукругом и смотрели на Руслана с обожанием. В их порочных глазах так откровенно читалось: «Ах, какой красивый! Какой большой, длинноногий. Ну, обрати же внимание, военный!..» Со своими страстями они обращались не по адресу, в их плоские головки не приходило, что он находится на службе, и то, чего бы им хотелось с ним, он привык исполнять, как долгие поколения его предков: будет команда, возьмут на поводок, укажут — с кем. Когда их присутствие надоедало ему, он лишь привздёргивал чёрно-лиловые губы и обнажал клыки — всех их как ветром сдувало, а Трезорка тотчас же находил себе дело во дворе.

Никто из своих собак не приходил проведать Руслана, а новых знакомств он избегал, превыше всего ценя

одиночество. В эти часы, глядя в надвигающуюся ночь, он по давней лагерной привычке переживал ещё раз день прожитый и готовился к новому дню. Он тревожил и напрягал память — не перестал ли он помнить всё, чему его учили, не растерял ли все уроки, что достались ему жестоким опытом и за которые, в случае потери, мог он слишком дорого заплатить.

...Вот он опять приближается, Неизвестный в сером балахоне, воняющий бараком. Он подходит со стороны солнца, его длинная утренняя тень вкрадчиво ползёт к твоим лапам. Будь настороже и не тени бойся, а его руки, спрятанной в толстом рукаве. Рукав завернётся — и на ладони покажется отрава. Но вот она, его ладонь, перед твоим носом — она открыта и пуста. Он только хочет тебя погладить — нельзя же во всём подозревать одни каверзы! Тёплая человеческая ладонь ложится тебе на лоб, прикосновения ласковы и бережны, и сладкая истома растекается по всему твоему существу, и все подозрения уходят прочь. Ты вскидываешь голову — ответить высшим доверием: подержать эту руку в клыках, чуть-чуть её прихватив, совсем не больно. Но вдруг искажается смеющееся лицо, вспыхивает злобой, и от удивления ты не сразу чувствуешь боль, не понимаешь, откуда взялась она,— а рука убегает, вонзив в ухо иглу.

А ты и не видел её, спрятанную между пальцами. Учись видеть.

Вот опять — стоило хозяину отлучиться на минутку, и ты сразу же наделал глупостей. Какой стыд! И — какая боль! А самое скверное, что придётся признаться в своей глупости: вдруг выясняется, что от этой штуки тебе самому не избавиться — ни лапой стряхнуть, ни ухом потереться, что ни сделаешь, всё только больнее. Ухо уже просто пылает, и меркнет день от этого жжения, такой безоблачный, так начавшийся славно. Но вот и хозяин — ах, он всегда приходит вовремя и всё-всё понимает. Он тебя нисколечки не наказывает, хотя ты это несомненно заслужил. Он куда-то ведёт тебя, плачущего, ты и дороги не различаешь, и там быстро выдёргивается эта мерзкая штука, а к больному месту прикладывается мокрая ватка. Один твой последний взвизг — и всё кончено.

Хозяин уже и треплет тебя за это ушко, а ничуть не больно. Но будь же всё-таки умником, подумай: неужели и в следующий раз не постараешься рассмотреть, с чем к тебе тянутся чужие руки? А может быть, и не стоит труда присматриваться? Не лучше ли, как Джульбарс: никому не верь — и никто тебя не обманет?

Он недаром первенствовал на занятиях по недоверию — Джульбарс, покусавший собственного хозяина. Он не то что выказывал отличную злобу к посторонним, он просто сожрать их хотел, вместе с их балахонами. Несколько раз бывало, что он переставал понимать, что к чему,— и ему одному это сходило. Ничего не соображая, он впятеро, вдесятеро форсировал злобу, на нём чуть не дымилась шкура, и на всю площадку разило псиной. Вот что он отлично усвоил: перестараешься — сойдёт, хуже — недостараться.

— Всем вам учиться у него, учиться и ещё раз учиться,— говорил инструктор, обнимая Джульбарса за шею, и молодые собаки, посаженные в полукруг, роняли слюну от зависти.— Этому псу ещё б две извилины в башке — цены б ему не было!

Джульбарс, впрочем, считал, что ему и так нет цены. Но одна мысль ему не давала покоя: если он так и будет никого к себе не подпускать, так ведь он никого и не покусает! И однажды он усложнил номер, он сделал вид, что наконец-то его обманули, и позволил чужой руке лечь на его лоб. В следующий миг она оказалась в его пасти. Такого ужасного крика ещё не слышали на площадке. Несчастный лагерник рухнул на землю и стал отбиваться ногами, и даже хозяева кинулись его выручать: они и гладили, и хлестали Джульбарса поводками, и грозились его убить,— ничто не помогало, Джульбарс, по-видимому, решил умереть, но отгрызть эту руку напрочь. И тут с чего-то померещилось Грому, привязанному в дальнем углу, что это вовсе не лагерник вопит, а его собственный хозяин; Гром, разволнованный не на шутку, пролаял оттуда Джульбарсу, чтоб тот немедленно оставил его хозяина в покое. Но с Джульбарсом случился приступ самой настоящей мёртвой хватки, он уже при всём желании не мог разжать челюсти, он должен был сначала успокоиться. Так вот, пока он успокоился и отпустил наконец то, что было раньше рукою, лагерник

уже и встать не мог, хозяевам пришлось его прямо-таки утаскивать с площадки.

Своё подозрение Грому, к сожалению, не удалось проверить: с этого дня хозяин Грома навсегда исчез из его жизни. Ну, а Джульбарсу, конечно, и на этот раз всё сошло, только славы прибавилось. И то правда — у кого бы ещё учиться молодёжи! С ним в паре ставили доброватых и малозлобных, которые недопонимали, зачем бы им, к примеру, преследовать убегающего — ведь он уже не причинит им вреда — и какое тут, собственно, удовольствие. Джульбарс рассеивал все их сомнения; хрипло пролаяв: «Делай, как я!», он догонял бегущего, валил наземь и такую показывал вкусную трёпку, что и самые бестолковые прозревали, в чём смысл жизни.

Руслан этого смысла долго не мог постичь, его пришлось дразнить помногу и терпеливо: дёргать во время кормёжки за хвост, наступать на лапу, утаскивать из-под носа кормушку, а то ещё — посаженного на цепь, обливать водою и убегать после этого с диким хохотом.

Особенно же неприятные были занятия по воспитанию «небоязни выстрелов и ударов». Рождённый ровным счётом ничего не бояться, он с трудом переносил, когда серые балахоны палили ему в морду из большого пистолета и колошматили по спине бамбуковой тростью. Он, правда, быстро усвоил, что ничего ужасного этот дурацкий пистолет не причинит ему, и к бамбучине тоже притерпелся, но как раз терпеть-то и не следовало, а нужно было уклоняться, перехватывать руку, догонять, терзать — всё это он проделывал без охоты.

— Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тупость,— говорил с сожалением инструктор, и его слова обидно пощипывали Руслана в сердце.— А вы с ним чересчур понарошку. С ним надо серьёзнее, он вам не верит.

Инструктор сам брал бамбучину и, страшно оскалясь, делал ужасающий замах.

— А ну, куси меня! Куси как следует!

Но хватать инструктора за голую кисть ещё меньше хотелось Руслану, чем давиться ватой. Он старался взять легонько, чтоб даже не поцарапать. Инструктор ему нравился. Он на всех собак производил самое благоприятное впечатление,— одно его присутствие скрашивало все

тяготы учений. Всем так нравилась его кожаная курточка, так дивно от неё пахло каким-то зверьём, что хотелось её немедленно разорвать в клочки и унести их на память. Нравились его худоба и ловкость, его рыжий чубчик и востренькое личико, на которое можно было только в профиль смотреть,— и в этом профиле угадывалось что-то собачье. Быстрый и неутомимый, он носился по всей площадке и всюду поспевал, каждой собаке умел всё так толково объяснить, что она его тут же понимала — лучше, чем своего хозяина. Увлекаясь, он рычал и лаял, и собаки находили, что у него это очень неплохо получается; ещё немножко — и они поймут, *о чём он лает.* И тогда они бы простили ему, что у него нет такой же пушистой шкуры, как у них, из-за чего он вынужден носить чужую лысую кожу, и что он не насовсем оставил человеческую речь, отвратительно грубую и мало что выражающую, и предпочитает ещё ходить на двух ногах, когда гораздо удобнее на четырёх.

Но, впрочем, инструктор уже делал к этому попытки, и, признаться, не вовсе безуспешные. Один его фокус прямо-таки пленял собак — инструктор его применял не часто, но уж когда применял, то всё занятие было — праздник!

— Внимание! — командовал инструктор, и все собаки заранее умирали от восторга.— Показываю!

И, опустившись на четвереньки, он показывал, как уклониться от палки или от пистолета и перехватить руку с оружием. Правда, иной раз инструктору всё же попадало палкой по голове или по зубам, но он не выходил из игры. Он только на секундочку отрывал одну лапу от земли и проверял, нет ли каких повреждений, а затем командовал: «Не считается, показываю ещё раз!» — и с коротким лаем снова кидался в атаку — до тех пор, пока упражнение не удавалось ему вполне.

Иной раз собаки даже шли на хитрость: кто-нибудь притворялся непонимающим,— только б ещё разик насладиться работой инструктора, услышать его «Внимание, показываю!». А как резво бегал он по бревну,— куда лучше, чем на двоих! — каким делался при этом изящным, поджарым, как ходили под курточкой острые лопатки и топорщился рыженький загривок, как ловко он перемахивал через канаву или барьер или взбегал еди-

ным духом по лестнице, а будучи в ударе, так и всю полосу препятствий преодолевал без задержки, только лёгкая испарина выступала на лбу. В конце полосы кто-нибудь из хозяев уже держал наготове поощрение — инструктор брал вкуску зубами, не вставая с четырёх, и так смачно её съедал! Собаки сглатывали слюну и рвались повторить хоть весь комплекс упражнений сразу.

Они бы на край света за ним пошли, только позови он. Ему даже Джульбарс позволял то, чего бы и своему хозяину не позволил,— сделать лёгкую смазь или разъять пасть и пощупать прикус. Инструктор даже сам просил его, вставляя палец между страшными Джульбарсовыми зубами:

— Ну-ка, милый, кусни. Так, сильнее...

Хозяева не могли в это поверить, им казалось, что инструктор должен бы остаться без пальцев.

— Никогда! — он им отвечал.— Никогда собака не укусит того, кто её безумно любит. Поверьте мне, я старый собаковод, я потомственный, с вашего разрешения, кинолог, на такое извращение способен только человек.

А про Джульбарса он сказал:

— Он не зверюга. Он просто травмирован службой.

Инструктор любил собак всем сердцем — и, конечно, в каждой немножечко ошибался. Они ему все казались травмированными, раз им досталась такая тяжёлая служба. Но насчёт Джульбарса собаки были другого мнения. Ему небось и инструктора хотелось покусать, да он боялся, что его тут же порвут на мелкие клочочки.

А вот что инструктор сказал однажды Руслану — с глазу на глаз и тихо, с печалью в голосе:

— Этот случай мне знаком. В чём несчастье этого пса, я знаю. Он считает, что служба всегда права. Это нельзя, Руслан, пойми — если хочешь выжить. Ты слишком серьёзен. Смотри на всё как на игру.

Руслана инструктор тоже ценил высоко — хоть тот и не проявлял должной агрессивности, но кое-что умел получше Джульбарса, а одна вещь была такая, что и сам инструктор не мог бы показать, как она делается. И это коронный номер был у Руслана, в котором не имел он себе равных,— «выборка из толпы».

Эту работу — нелёгкую, но чистую, вдумчивую и не слишком шумную — Руслан больше всего полюбил. И на-

до же, чтоб так случилось, что не мог он теперь вспоминать о ней без чувства своей виноватости и греха, неясных для него — как неясным остался тот человек, с которого началось самое печальное. Этого человека Руслан по виду не выделил бы из толпы лагерников, а между тем хозяева чем-то его отличали — и может быть, тем, что как бы не обращали на него внимания. Уж слишком не обращали — это только собака и могла бы заметить, которую незаметно придерживают, когда тот или иной лагерник случайно вышагнет из колонны. Одного или двух натяжений поводка достаточно было Руслану, чтобы он привыкал таких людей считать особыми. А однажды, морозным утром, когда они с хозяином намёрзлись на лесоповале и забежали погреться в передвижную караулку, Руслан с удивлением увидел этого человека. Он сидел здесь, где обычный лагерник только стоять мог у порога, сняв шапку, он курил и беседовал — да с кем ещё! — с самим Главным хозяином. «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» был чем-то недоволен и выговаривал ему резко, а тот лишь твердил:

— Гражданин капитан, но вы же и в моё положение войдите. Понимаете? Вы войдите в моё положение.

Он сказал это несколько раз, прижав руку к груди, и Руслан решил, что так и зовут этого человека. «Войдите-В-Моё-Положение» ушёл тогда очень расстроенный, тревожно озираясь, а день или два спустя собак привели поглядеть на него — лежащего неподалёку от караулки с железным тросом на шее. Живой он отчего-то не запомнился Руслану, а врезался в память таким, как лежал: глядя в облака тусклыми выпученными глазами, с багрово-синим раздутым лицом, завернув одну руку за спину, а другую — откинув и вцепившись скрюченными пальцами в снег. Эта рука, и лицо, и снег вокруг головы были посыпаны махоркой.

Собаки одна за другой подходили и воротили морды, виновато помаргивая и скуля. Когда подвели Руслана, он уже понял, почему у них ничего не выходило. Они начинали с головы убитого, обнюхивали его страшную лиловую шею с витыми бороздками от троса и клочьями содранной кожи, нюхали усы троса, раскиданные в стороны, как разметавшийся шарф,— и нанюхивались одной махорки, после неё вся работа была уже бесполез-

на. Он начал – с рук. Осторожно приблизился к откинутой и вовремя отшатнулся, а затем поддел мордой окаменевшее тело, прося, чтоб убитого перевернули, и тогда спокойно обнюхал другую руку, сжатую так сильно, что ногти впились в ладонь. Но он увидел не только синюю кровь от ногтей, он увидел капельки смертного пота, выступившего по всей кисти. Они смёрзлись и стали мутными, как брызги извёстки, но если их чуть отогреть дыханием...

Закрыв глаза, он весь напрягся в неимоверном усилии. Хозяева в это время строили предположения, кто бы это мог сделать; у каждого были свои счёты с лагерниками и свои догадки, близко сходившиеся со счётами, а главное, что занимало их,– сколько же было участников? Трое? Четверо? И этим они сами себя путали, потому что начинать нужно всегда с одного. Они имели глаза, чтобы видеть, и разглядели махорку, которую для того и насыпали, чтоб её сразу увидели и почуяли, а не заметили, например, возле троса мелких чешуинок коры – Руслан их прежде всего увидел. Они вообще слишком много размышляли, он же не размышлял вовсе, не имел ни счётов, ни догадок, а просто увидел, как всё происходило,– как видится галлюцинация или связный цветной сон,– и услышал скрип снега под сапогами жертвы и неровное дыхание притаившегося убийцы.

«Войдите-В-Моё-Положение» шёл в синих сумерках из караулки,– да, именно оттуда, и там ему дали покурить хозяйских папирос,– и, проходя вот этой тропинкой, меж двух сосен, он не заметил троса, привязанного чуть повыше его головы. Другой конец этого силка убийца держал в руках. Он быстро опустил тяжёлый виток, расхоженный и смазанный тавотом, на плечи «Войдите-В-Моё-Положение» и повернулся – конец троса лёг на плечо убийце, он его держал обеими руками и, навалясь всем телом, сделал всего полшага. И петля затянулась; убийца почувствовал, как дёргается трос,– это руки жертвы пытались разжать петлю, со всей силой, вспыхнувшей в них от смертельного страха, от жажды глотнуть воздуха,– тогда, собрав все свои силы, весь свой страх и смертельную злобу к жертве, которая так долго не умирает, он лягнул её наугад под ноги и вышиб из-под них земную твердь. И ещё целую вечность он стоял, изне-

могая, будучи один и палачом, и виселицей, а «Войдите-В-Моё-Положение» хрипел и дёргался у него за спиной, всё хватаясь безнадёжно за трос. Но раз или два он схватился ненароком за одежду убийцы, за полу его бушлата – слабая, беспомощная хватка уже вспотевшей руки, убийца этого и не почувствовал. Но когда потом он отвязывал трос и тащил удавленника подальше от дерева, когда он сыпал махорку и считал, что всё сделано на редкость удачно и тихо, он не знал, что весь он со своим бушлатом остался в этом стиснутом кулаке, в смёрзшихся капельках: и тысячу раз утёртые этой полою лицо и руки, и ею же прикрываемые ноги, стынущие ночами под жиденьким одеялом,– и какая удача, что руку завернуло судорогой за спину и она оказалась внизу, под телом. Что ж, можно считать – концы найдены. Руслан быстро отошёл и ткнулся лбом в колени хозяину – это значило: «Я не обещаю, но я постараюсь. Веди меня скорей».

А выборка оказалась на удивление лёгкой. Любой, кто сдался в самом начале, выполнил бы её без напряжения – наберись он только нахальства попробовать. Руслан даже не успел приблизиться к толпе, согнанной на пустыре перед воротами. Завидев медленно подходивших хозяев и рвущую поводок собаку, вся толпа с гудением подалась назад – и оставила одного, в чёрном бушлате. Весь скорчась, спрятав руки под мышками, он сам упал вниз лицом, крича, как в истерике:

– Собаку не надо! И так всё скажу. Ну, не пускайте же зверя!..

И Руслан его не стал терзать, а лишь прихватил легонько полу бушлата – где хваталась рука убитого – и качнул хвостом, показывая, что выборка им исполнена. За это получил он невиданное поощрение – из рук самого Главного – и с этого дня стал признанным отличником по выборке из толпы.

Отсюда, от этого дня его торжества, пролегла в памяти Руслана прямая просека, по которой вели они с хозяином человека в бушлате. Ветер шумел в кронах огромных сосен, и, сталкиваясь, они роняли охапки снега, разлетавшиеся радужной осыпью. Была великая тишина, покой, и всю дорогу человек шёл спокойно и не спеша, нёс лопату на плече или волочил за собою, чертя

по снегу зигзаги, временами насвистывал. Сам завороженный этим покоем, он и у Руслана не вызывал предчувствий, что может вдруг прыгнуть в сторону и кинуться в побег, и так же молча они свернули с просеки и пришли тропинкой к чёрной, выжженной костром поляне. В середине её зияла яма — неглубокая, с рыжими стенками, хранившими полукруглые гладкие следы ломов и острые треугольнички от кайла. Вот тут он впервые заговорил, повернувшись к хозяину белым злым лицом с крохотными шрамчиками на щеке и на лбу. Ему не понравилась яма, он ступил в неё ногою, и там ему оказалось по колено, он даже сплюнул в неё от злости.

— Я один за всех на это дело пошёл,— сказал он хозяину,— могли бы и все одного уважить.

— Чем тебя не уважили? — спросил хозяин.

— Понимаешь, черви — они всем полагаются, ты тоже с ними в свой час познакомишься, но чтоб меня волки выкопали себе на харч, этого ж я не заслужил. Об этом и в приговоре не было — насчёт волков.

Хозяину очень хотелось покурить, он доставал портсигар и снова его прятал в карман белого своего полушубка — ещё больше ему хотелось, чтоб всё побыстрее кончилось.

— Значит, к своей же бригаде у тя претензии? — сказал хозяин.— Приговор-то чо обсуждать?

Человек опять сплюнул и вылез из ямы, воткнув лопату в комья насыпи.

— На! Потом хоть притопчешь как следует. Ни к кому у меня претензий нет, ради жмурика* и я б не уродовался. Бушлат мой — может, снесёшь им? Пускай разыграют. Снять — чтоб тебе не трудиться?

Хозяин, не отвечая ему, потянул автомат с плеча.

— Что же не отвечаешь? — спросил человек.— Или совсем уже я безгласный?

Всё длилось мучительно долго. Руслан весь дрожал и стискивал челюсти, чтоб не завыть. И что-то ещё случилось у хозяина с автоматом, он никак не мог дослать затвор, и человек этот так надеялся, что у него сегодня и не получится. Но хозяин сказал: «Ща исправим, не бойся»,— и вправду исправил. Он выбросил смятый патрон,

* Жмурик — покойник *(блатной жаргон)*.

затвор закрылся с лязгом, и случайно вылетела короткая очередь в небо. Тогда-то этот человек и приник к сапогам хозяина. Он добрался до них на четвереньках и прижался так сильно, что, когда оторвал лицо, на его лбу и на губах остались чёрные пятнышки. Он улыбался бледной заискивающей улыбкой и говорил совсем не так, как до этой минуты, когда прогрохотала страшная очередь и едко-приторно запахло пороховой синью. Он говорил, что выстрелы уже прозвучали и услышаны в зоне и теперь хозяин может его отпустить; он уползёт в леса и станет там жить, как змея или крыса, ни с кем из людей не видясь до конца дней своих, которых, наверное, немного уже и осталось, и только одного человека в мире — хозяина — он будет считать братом своим, молиться за него и вспоминать благодарно, будет любить его сильнее, чем мать и отца, чем жену и своих неродившихся детей. Не различая слов, Руслан слышал большее, чем слова,— страстное обещание любви, её последнюю истину, её слёзы и толчки крови в висках,— и чувствовал с ужасом, как его самого переполняет ответная любовь к этому человеку; он верил его лицу с запавшими горящими глазами; ничуть не помрачённый разум горел в них, не жаждал этот человек другой, лучшей жизни, которой нигде не было, а только той участи, которой довольно всему живому на свете.

— Ну, ты чо, маленький? Не слышишь, чо лепечешь? — уговаривал его хозяин. Он стоял спокойно, не опасаясь, что тот рванёт его за ноги или выхватит автомат, он знал, как слаб против него любой из лагерников и как быстро кидается Руслан на помощь. Если б знал он сейчас, что Руслан как будто окаменел и не смог бы даже пошевелиться! — Ты походишь и объявисси, а мне тогда с тобой на пару — стенка. Потому что куда тебе деться? Листиками будешь питаться, ящериц жрать, а после за людей примешься. Чо, не правду я говорю? Не ты ж первый... Так что считай — дело кончено. И давай вставай, себя же не мучай мечтами. Не бойсь, я тебе больно не сделаю, как другой кто-нибудь. Ну, вставай, не бойся, договорились же — больно не сделаю.

Он встал, этот человек, и крепко отёр лицо рукавом.

— Делай, как умеешь. Шакальей жизни — и то ты мне пожалел. Вспомнишь ещё не раз...

— Знаю,— сказал хозяин.— Всё, что ты скажешь, уже знаю. Не наговорился ещё?

Они не сделали больно тому человеку, но всю обратную дорогу Руслан не мог унять дрожи, скулил и рвался из ошейника, всё хотелось ему вернуться и разгрести лапой мёрзлые комья, задавившие белое успокоенное лицо. Никогда не вёл он себя так плохо, и хозяин был вынужден жестоко отхлестать его поводком. Может быть, с этого дня хозяин и невзлюбил его.

Те мёрзлые комья остались в душе Руслана, отягчив её страхом и чувством вины,— будто он предал хозяина, обманул его надежды, будто и себя выдал, что не истинно служит в конвое, а лишь притворяется,— а такую собаку можно без промедления отвести за проволоку, потому что она в любую минуту может подвести, сделает что-нибудь не так или откажется сделать. И сколько они потом ни водили других людей в лес, хозяин уже не верил до конца Руслану, за которого сам когда-то поручился. В молодости Руслан прошёл все науки, для которых и рождается собака; он прошёл общую дрессировку — всю эту нехитрую премудрость: «Сидеть», «Лежать», «Ко мне»,— блестяще себя показал в розыске и в караульной службе, но когда подвинулся к высшей ступени — конвоированию, инструктор засомневался, выдержит ли Руслан этот последний экзамен. И не на площадке его надлежало выдержать, где всегда тебя поправят, а в настоящем конвое, где на всё одна команда: «Охраняй!»,— а там как знаешь, сам шевели мозгами. И предмет охраны не склад, который никуда не убежит и особых чувств у тебя не вызывает, а ценность высшая и труднейшая — люди. За них всегда бойся и не чувствуй к ним жалости, а лучше даже и злобы, только здоровое недоверие. «Ничо,— сказал тогда хозяин.— Обвыкнется. Не сорвётся». А сколькие срывались! Скольких отбраковывали и увозили куда-то на грузовике, и то если собака была молода и могла пригодиться для другой службы. Познавшим службу конвоя — один был путь: за проволоку.

Всех обманул Ингус. Он казался таким способным, всё схватывал на лету. Он покорил инструктора в первое же своё появление на площадке. Инструктор только успел сказать:

— Так. Будем отрабатывать команду «Ко мне».

Ингус тотчас же встал и подошёл к нему. Инструктор пришёл в восторг, но попросил всё повторить сначала. Ингус вернулся на место и по команде опять подошёл.

— Чудненько! — сказал инструктор.— А как насчёт «Сидеть»?

Ингус сел, хотя ему даже не надавливали на спину.

— Встанем.

Ингус встал. А инструктор присел перед ним на корточки.

— Дай лапу.

Ингус её тотчас подал.

— Не ту, кто же левую подаёт?

Ингус извинился хвостом и переменил лапу. С тех пор он подавал только правую.

— Не может быть,— сказал инструктор.— Таких собак не бывает.

Он взял учётную карточку Ингуса, чтобы убедиться, что тот ещё не проходил дрессировки и знает только свою кличку и команду «Место!».

— Так я и думал,— сказал инструктор.— У него, конечно, исключительная анкета. На редкость удачная вязка! Какие производители! Я же помню Рема — редчайшего ума кобель. И матушка — Найда, ну как же, четырежды медалистка. Её воспитывал сам Акрам Юсупов, большой знаток, кого с кем повязать. А сынишку он, видно, для Карацупы готовил, отсюда и кличка*. И всё-таки я говорю: «Не может быть!»

Он созвал хозяев подивиться необыкновенным способностям Ингуса. Он спросил у них, видели ли они что-нибудь подобное. Хозяева ничего подобного не видели. Он спросил, не кажется ли им, что под собачьей шкурой скрывается человек. Хозяевам этого не показалось. Человек в любой шкуре от них бы не укрылся.

— Что я хочу сказать? — сказал инструктор.— Если б такая собака была на самом деле, я бы здесь уже не работал. Я бы с нею объездил весь мир. И все поразились

---

* Всех собак легендарного Карацупы, задержавшего около пятисот нарушителей границы, звали Ингус.

бы, каких успехов достигло наше, советское собаководство, наши гуманные, прогрессивные методы. Потому что такие собаки могут быть только в нашей стране!

Ингус внимательно слушал, склонив голову набок, как ему и полагалось по возрасту, но глаза были недетски серьёзны. И уже тогда, в первый день, заметили в этих янтарных глазах тоску.

Он рос, и росла его слава. С лёгкостью необычайной переходил он от одной ступени к другой — да не переходил, а перепрыгивал. Сухощавый, изящный и грациозный, он стрелою мчался по буму, играючи одолевал барьеры и лестницу, с первого раза прыгнул в «горящее окно» — стальную раму, политую бензином и подожжённую, в розыске показал отличное верхнее и нижнее чутьё*. Оправдал себя и в карауле, хотя хорошей злобности не выказал, а скорее какую-то неловкость и смущение за дураков в серых балахонах, пытавшихся стащить у него мешок с тряпками, порученный ему для охраны. В гробу он видел и этот мешок, и эти тряпки, но ни разу не отвлекли его, не смогли подойти незаметно или проползти на животе за кустами, чтобы напасть со спины. Он показывал, что видит все их проделки, и самим балахонам делалось неловко, когда с такой грустью смотрели на них эти янтарные глаза.

Джульбарс тогда обеспокоился не на шутку. Законный отличник по своим предметам — злобе и недоверию, он, однако, лез быть первым во всём, хотя чутьецо имел средненькое, а по части выборки был совершенная бестолочь: когда его подводили к задержанным, он до того переполнялся злобой, что запахов уже не различал, хватал того, кто поближе. Но он считал, что если собака не постоит за себя в драке, то все её способности ничего не стоят, и всем новичкам, входившим в моду, предлагал погрызться. Не избежал его вызова и Руслан — и испытал натиск этой широкой груди и бьющей, как бревно, башки. Дважды он побывал на земле, но покусать себя всё же не дал, а зато у Джульбарса ещё прибавилось отметин на морде, к чему он, впрочем, отнёсся добродушно, даже покачал хвостом, поощряя молодого бойца.

* «Верхнее чутьё» — способность улавливать запахи в воздухе, «нижнее» — читать следы на земле.

С Ингусом всё вышло иначе: он просто отвернулся, подставив для укуса тонкую шею, и при этом ещё улыбался насмешливо, показывая, что не видит смысла в этих солдатских забавах. Старый бандит, конечно, впился в него сглупа и уже было пустил кровь, да вовремя сообразил, что нарушает правило хорошей грызни: «Кусай, но не до смерти»,— и отступил, не дожидаясь трёпки от всех собак сразу.

Джульбарс, однако, скоро утешился. Он увидел — а другие собаки это и раньше видели,— что первенствовать Ингусу не дано. Не рождён он был отличником — во всём, что так легко делал. Не чувствовалось в нём настоящего рвения, жажды выдвинуться, зато видна была скука, неизъяснимая печаль в глазах, а голову что-то совсем постороннее занимало, ему одному ведомое. И скоро ещё заметили: он мог десять раз выполнить команду без заминки, и всё же хозяин Ингуса никогда не мог быть уверен, что он её выполнит в одиннадцатый. Он отказывался начисто, сколько ни кричали на него, сколько ни били, и отчего это с ним происходило, никто понять не мог. Вдруг точно столбняк на него нападал, он ничего не видел и не слышал, и только инструктору удавалось вывести его из этого состояния.

Инструктор подходил и садился перед ним на корточки.

— Что с тобой, милый?

Ингус закрывал глаза и отчего-то мелко дрожал и поскуливал.

— Не переутомляйте его,— говорил инструктор хозяевам.— Это редкий случай, но это бывает. Он всё это знал ещё до рождения, у мамаши в животе. Теперь ему просто скучно, он может даже умереть от тоски. Пусть отдохнёт. Гуляй, Ингус, гуляй.

И один Ингус разгуливал по площадке, когда все собаки тренировались до одури. К чему это приведёт, заранее можно было догадаться. Однажды он просто удрал с площадки. Удрал вовсе из зоны.

Он должен был пройти полосу препятствий вместе с хозяином, но без поводка. И вот они вдвоём пробежали по буму, перемахнули канаву и барьер, прорвались в «горящее окно», а напоследок им надо было проползти под рядами колючки, натянутой на колышки, но туда полез

только хозяин Ингуса, а сам Ингус помчался дальше, перепрыгнул каменный забор и понёсся широкими прыжками по пустынному плацу. Его не остановила даже проволока,— ну, под проволокой собаке нетрудно пролезть, но как преодолел он невидимое «Фу!», стоящее перед нею в десяти шагах и плотное, как стекло, о которое бьётся залетевшая в помещение птица? И куда смотрел пулемётчик на вышке, обязанный во всё живое стрелять, нарушающее Закон проволоки!

Когда сообразили погнаться за Ингусом, он уже пересёк поле и скрылся в лесу. Он мог бы и совсем уйти — бегал он быстрее всех, и ему не нужно было тащить на поводке хозяина, но проклятая мечтательность и тут его подвела. Что же он делал там, в лесу, когда его настигли? Устроил, видите ли, «повалясики» в траве, нюхал цветы, разглядывал какую-то козявку, ползущую вверх по стеблю, и, как завороженный, тоскующими глазами провожал её полёт. Он даже не заметил, как его окружили с криками и лаем, как защёлкнули карабин на ошейнике, и только когда хозяин начал его хлестать, очнулся наконец и поглядел на него — с удивлением и жалостью.

Когда пришло время допустить Ингуса к колонне, тут были большие сомнения. Инструктор не хотел отпускать его от себя, он говорил, что у Ингуса ещё не окрепли клыки и что лучше бы его оставить на площадке — показывать работу новичкам. Но Главный-то видел, что с ватным «Иван Иванычем» Ингус расправляется других не хуже, а насчёт показа, сказал Главный, так это инструктор и сам умеет, за это ему и жалованье идёт, а кормить внештатную единицу — на это фонды не отпущены. И сам Главный решил проэкзаменовать Ингуса. Все волновались, и больше всех инструктор, он очень гордился своим любимцем и всё же хотел, чтоб тот себя показал в полном блеске. И что-то с Ингусом сделалось — может быть, не хотелось ему огорчить инструктора, а может быть, снизошло великое вдохновение, оттого что все только на него и смотрели, но был он в тот день неповторим и прекрасен. Он конвоировал сразу троих задержанных; двое попытались бежать в разные стороны, и всех их он положил на землю, не дал даже головы поднять и не успокоился, пока не подоспе-

ла помощь и на всех троих защёлкнулись наручники. Целых пять минут он был хозяином положения, Главный сам следил по часам и сказал после этого инструктору:

— Вы ще в меня сомневаетесь! Работать ему пора, а не цветочки, понимаешь, нюхать.

Но когда допустили Ингуса к колонне, выяснилось, что работать он не хочет. Другим собакам приходилось работать за него. Колонна шла сама по себе, а он гарцевал себе поодаль, как на прогулке, не обращая внимания на явные нарушения. Лагерник мог на полшага высунуться из строя, мог убрать руки из-за спины и перемолвиться с соседом из другого ряда — как раз в эту минуту Ингуса что-нибудь отвлекало, и он отворачивался. Но ведь помнился хозяевам тот экзамен, похвала Главного! Оттого, наверно, и прощалось Ингусу такое, за что другой бы отведал хорошего поводка. И только собаки предчувствовали, что ему просто везёт отчаянно, а случись настоящее дело, настоящий побег — это последний день будет для Ингуса.

Так он и жил — с непонятной своей мечтой, или, как инструктор говорил, «поэзией безотчётных поступков», всякий день готовый отправиться к Рексу, а умер не за проволокой, а в лагере, у дверей барака, умер зачинщиком собачьего бунта.

В цепкой памяти Руслана был, однако, свой порядок событий, своё прихотливое течение, иногда и попятное. Всё лучшее — отодвигалось подальше, к детству; там, в хранилище его души, в прохладном сумраке, складывались впрок сладкие мозговые косточки, к которым он мог вернуться в тягостные минуты. Все же обиды и огорчения, всё скверное — он тащил на себе, как приставшие репьи, которые нет-нет да стрекнут ещё свежим ядом. И вот выходило по хронологии Руслана, что та счастливая выборка, тот день его отличия, торжества — остались чуть не на заре его жизни, и там же лежал «Войдите-В-Моё-Положение», удавленный тросом,— к несчастному собачьему бунту, как будто вчера случившемуся, он уж поэтому не мог иметь отношения. Но когда потекли воспоминания о бунте, когда наполнились запахами, звуками, цветом, «Войдите-В-Моё-Положение» вошёл в них ещё живой, он вошёл в тёплую караулку, дыша себе на руки,

и сообщил хозяевам что-то тревожное, от чего они тотчас побросали окурки и поднялись, разбирая автоматы и поводки.

Вскочили и собаки, разомлевшие в тепле, одуревшие от вони овчинных полушубков, и уже рвались с хрипом на двор, позабывши начисто, почему их в этот день не гоняли на службу. Боже, какой мороз схватил их за морды когтистой лапой! Он калёными иглами пронзил ноздри и вытек из глаз слепящей влагой; даже во лбу от него заломило, точно они в прорубь окунулись. И уж тут не помнилось, куда же он делся, «Войдите-В-Моё-Положение», тут хронология прощалась с ним навсегда,— то ли он остался в караулке, то ли это он, весь нахохленный, плечом отодвигал воротину и потом спрятался в будке у вахтёра, а может быть, он исчез возле самого барака, рассеялся в тумане, осыпался льдистыми искрами, и их замело позёмкой. Завидев барак, собаки опять стали рваться — там уж какая ни будет работа, а всё же тепло! — но Главный хозяин, который шёл впереди и тёр себе рукавицей багровое лицо, всех остановил у дверей. А сам, подкравшись, отворил их без скрипа и стал слушать, вздев одно ухо на ушанке.

Из тамбура потянуло теплом и привычным смрадом и послышался неясный гул — вот так собачник гудит, возмущённо и неразборчиво, когда запаздывает кормёжка. За тонкими вторыми дверьми что-то громадное ворочалось, стукалось глухо об пол или об стенки, исходило криками и причитаниями, быстрым запальчивым бормотанием. Похоже, происходила одна из тех свар, которые у людей невесть с чего начинаются, с полуслова, раздражённого спора, и неумолимо разрастаются в грызню, а потом так же быстро остывают, и все расходятся, но кто-нибудь, бывает, и остаётся лежать с прижатыми к животу руками, корчась в судороге, а то и вовсе не шевелясь.

Главный хозяин открыл и эти двери — пошире, точно в них должен был грузовик войти,— и стал на пороге, по пояс в морозном облаке.

— Сука, закрой, а то ушибу! — и вслед за этим хриплым воплем, долетевшим из тёмной глубины, что-то ещё прилетело тяжёлое и шмякнулось о косяк рядом с его ушанкой.

Главный хозяин спокойно выждал, когда утихнет.

— Так,— сказал он, покачиваясь, заложив руки за спину.— Так. Значит, судьбы родины обсуждаем?

Барак совсем замолк. Но тотчас же кто-то, поближе к дверям, отозвался с готовностью:

— Что вы, гражданин начальник. И думать себе не позволим! Мы только о том, что не возбраняется в свободное время.

— Ага... А то я иду мимо — шо-то, смотрю, в их жарко сегодня. Может, думаю, поработать надо дать людям. А то ж стомятся.

Барак опять отозвался — тем же голосом, с лёгким быстрым смешком:

— Работать — это мы всегда, с большой радостью. Только градусник, сука, ниже нормы упал.

— Вы вже поглядели. А я ще нет. Так мне сдаётся, шо вроде потеплело.

— Гражданин капитан! — Он был неистощим, этот голос, и столько в нём было приветливости, вкрадчивого умиления.— За что мы вас так уважаем? За хороший, здоровый юмор. Зайдите, будьте добреньки, а я дверь закрою.

И неясная тень приблизилась к облаку, вошла в него. Но Главный её отстранил рукою.

— Так я ж разве против шуток? Я и дебаты, если хотите, признаю, когда культурно, выдержанно. Но только ж работа страдает, это ж нехорошо.

В тёмном нутре барака опять возникло гудение. И другой голос — хриплый, таящий в себе надрёманное тепло и тоску расставания с ним,— спросил с унылой безнадёжностью:

— Стрелять будешь?

— Как это «стрелять»? — удивился Главный.— Шо в меня — восстание в зоне, шоб я стрелял? Нету ж восстания?

— Нету,— облегчённо, радостно выдохнул барак.— Нету!

— Видите? Так шо — зачем я буду стрелять? Лучше я каток вам тут залью.

— Какой каток?

— Обыкновенный. Вы шо, катка не видели? В кого коньки есть, тот покатается.

Робкая тень опять приблизилась, попыталась проскользнуть в двери и была отодвинута рукою Главного.

— Нет, это мне толку мало, шоб один вышел или десять. Мне — шоб все, дружно.

Барак только на миг затих, только чтоб успело прозвучать тоскливое, молящее:

— Братцы! Ну, выйдем. Сами ж виноваты...

И тотчас опять заворочалось громадное, забилось в корчах, разразилось воплями:

— Ложись ты, сука, убью!..

— Закон есть!..

— Ниже нормы градусник!.. Не выгонишь!

— Ложись все!..

— Закон!..

Они не видели, что катушка с пожарным рукавом уже покатилась от водокачки. Двое хозяев толкали её, наваливаясь на лом, продетый в середине, и, не докатив немного до дверей, повалили её на снег. К ним ещё двое кинулись сбрасывать оставшиеся витки, а те ни секунды не ждали, схватили жёлтый сияющий наконечник и с ним побежали к дверям. Главный хозяин отошёл со скорбным лицом, грустно выдохнул пар изо рта и кому-то вдаль махнул рукавицей. И оттуда, куда махнул он, потёк еле слышный шорох, сплющенный рукав стал оживать, круглиться, из жёлтого наконечника выплюнулось влажно-свистящее шипение, и те двое пошатнулись в тамбуре. Толстая голубая струя ударила под потолок барака, опустилась ниже, снесла лежавшего на верхних нарах вместе с его пожитками, несколько робких теней, ринувшихся навстречу, отшибла вглубь. Двое хозяев, упираясь сапогами в скользкий порог, с трудом удерживали тяжёлый наконечник, струя металась из стороны в сторону и раздавала удары, гулкие, как удары дубинки. Над их головами потекло из барака белое облако, и вместе с надышанным теплом вылился не крик, не вопль, а протяжный прерывистый вздох, какой издаёт человек перед тем, как надолго погрузиться в воду.

Этим вздохом забило уши Руслану, и он уже почти не слышал, как брызнули стёкла в окошках и затрещали рамы, не понял, что за серая дымящаяся пена поползла из окон на снег, понял лишь, когда она стала распадаться на отдельных людей, пытавшихся подняться, в то

время как сверху на них валились другие. Главный хозяин вытащил руку из-за спины и показал в их сторону,— струя, потрескивая, опустилась на них плавно изгибавшейся дугою, задержалась надолго и возвратилась в барак. Но те, выпавшие из окон, уже не пытались подняться, а только слабо шевелились на снегу, сами делаясь белыми прямо на глазах.

Руслан, не в силах устоять на месте, вертелся и взвизгивал, поджимая то одну, то другую лапу. Эти белые блёстки, покрывавшие их одежду кольчугой, он словно бы ощутил на своей шкуре, плотной и пушистой и всё же продуваемой ледяным ветром. И понемногу блёстки стали желтеть, что случалось с ним в минуты наивысшей злобы, и сквозь жёлтую пелену он только и видел отчётливо — толстый, шевелящийся на снегу рукав. Эта гадина подползала к его лапам, брызгаясь из своих мельчайших прорех, а в одном месте, переламываясь складкой, которую хозяева не успевали расправлять сапогами, приподнималась и зависала прямо перед носом у него, угрожая броситься, но сразу же опадая, как только Руслан подавался навстречу.

На его счастье, кто-то был моложе, нетерпеливее — и не выдержал первым. Руслан услышал его звенящее рычание, и по краю жёлтой пелены промелькнул он сам — тёмно-серый и тонкий, вытянутый в прыжке. Угрозу, предназначавшуюся Руслану, Ингус перехватил на лету, упал с закушенным рукавом и придавил лапами. Тот сразу стал вырываться, и это ещё придало Ингусу злости; он рвал своего врага с остервенелым урчанием, мотая головою, и из-под клыков его брызгало радужными искрами. Те двое хозяев, что держали наконечник, закричали и потащили рукав к себе, но вместе с Ингусом. А поводок тащил его назад, сдавливая тонкую шею, и у Ингуса помутились глаза, налились кровью, но он не отпустил взятое.

— Шо то с им? — спросил Главный хозяин. Он уже подходил не спеша, он надвигался — божество с голубыми страшными глазами, с гневным лицом, подпирая своей ушанкой голубой купол небес. А Ингус лишь покосился в его сторону, Ингусу было не до него.— Шо то с им, я спрашиваю? Сбесился?

— Холера его знает, тарщ ктан,— сказал хозяин Ингуса. Он был в отчаянии. Он пнул Ингуса в бок сапогом, Ингус жутко всхрипнул, но не разжал клыков.— Что с ним всегда. Вы ж знаете.

— А ну, дайте сюда.— Главный протянул руку, и один из хозяев кинулся подать ему лом. Главный досадливо поморщился.— Та не, я ж вам не то показываю.

Он протягивал руку к автомату. Хозяин Ингуса торопливо, суетясь, стащил через голову ремень. И с болью, угнездившейся навсегда в душе Руслана, он увидел наконец, как же это бывает, когда собаку уводят за проволоку. Дырчатый воронёный кожух опустился, закачался над головой Ингуса, как бы примериваясь вонзиться между буграми крутого лба и оттянутыми в ярости ушами, но не вонзился, а в нём самом, в кожухе, что-то быстро задвигалось, и вокруг скошенного чёрного рыльца вспыхнул яркий красно-оранжевый ореол, а из головы Ингуса... из чёрной рваной дыры плеснуло горячим, розовым, с белыми осколками. И, содрогнувшись, Ингус стал вытягиваться — головою к ногам Главного хозяина, точно тянулся ещё напоследок положить закушенный рукав на его сапоги.

Хозяин Ингуса хотел выдернуть рукав — и голова Ингуса запрокинулась; он ещё жил, ещё шевелился, но лишь челюстями, сжимавшимися в последней хватке. Хозяин Ингуса бросил рукав и выпрямился. Он смотрел, и смотрел Главный, и другие хозяева, как толстая серая гадина мечется и возит по снегу окровавленную голову Ингуса. Но зверь на это смотреть не может — и Руслан не стал смотреть, он упал рядом с Ингусом. Ещё и теперь, вспоминая, как всё случилось, он ощутил фанерную твёрдость рукава и льдистый холод, пронзивший его клыки. И всю безнадёжность перегрызть брезентовое горло он почувствовал сжавшимся сердцем,— только прокусить он мог, наделать ещё прорех, из которых били с шипением колючие струйки, а загривок, беззащитный загривок дыбом вставал от жгучей близости чёрного рыльца, из которого должна была, не могла же не грянуть расплата! Но, переживая не раз свой несчастный проступок, он всё же не мог до конца почувствовать себя виноватым. Ведь и хозяева делали то, чего никак не могли одни двуногие делать с другими двуногими, и разве только он, Руслан,

последовал за мёртвым Ингусом? Его единоличный грех длился только миг, и тотчас же его разделили другие. Что-то большое, сильное, серое перемахнуло через Руслана и, круто повернув, рухнуло всей тушей. Скосясь, он увидел Байкала, всегда такого спокойного и послушного, ещё через мгновение бросилась хитрая Альма, совсем близко от челюстей Руслана приладил мохнатые челюсти Дик — отличник по охране задержанных,— и вот уже вся стая полезла грызть ненавистный рукав. Они все, все вышли из повиновения, презрели долг и приказ, забыли о вечном страхе перед чёрным рыльцем, и хозяевам пришлось узнать, что своих зверей они тогда только могут подчинить себе, когда звери особенно не возражают. А сейчас они были глухи и к бешеным рывкам поводка, от которого чуть не ломалось горло, и к ударам сапогом под брюхо, и к тому, что Главный хозяин в гневе размахивал автоматом и кричал, чтоб все отошли и не мешали ему перестрелять этих тварей одной очередью: всё равно они порченые и нужно набрать новых! А такие вещи понимает собака, как ни груб и ничтожен человеческий язык. Но кто же из них сумел опомниться, кто отступил благоразумно? Иногда то один, то другой поднимал морду к бездонному холодному небу и выл, жалуясь не на боль, а на свой же собственный грех, на свой бедный разум, который не в силах справиться с безумием. Если бы кто-нибудь разгадал собачьи молитвы, он бы узнал, что это одна и та же извечная жалоба — на свою немощь проникнуть в таинственную душу двуногого и постичь его бессмертные замыслы. Да, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону Добра, и в сторону Зла, но не всюду его сможет сопровождать зверь, даже готовый умереть за него, не до любой вершины с ним дойдёт, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт.

И кто бы подумал, что всех выручит Джульбарс? Единственный, кто сохранил спокойствие, всеми забытый, он вдруг сошёл с места, потягиваясь со сладостью, как будто на драку выходил за своё первенство, когда уже все противники свели счёты. Никто не заметил, когда он успел перегрызть поводок — а он их постоянно грыз, когда нечего было грызть и некого кусать,— но все

увидели, как он идёт не спеша, с волочащимся по снегу обрывком. Он подошёл вплотную к Главному и стал против чёрного зрачка, загораживая остальных собак, а своими полутора глазками зорко следил, чтоб Главный не положил палец на спуск: маленькое незаметное движение, но отлично известное Джульбарсу,— столько раз его показывал на площадке инструктор,— и оно могло стать последним в жизни Главного хозяина. И Главный не решился положить палец, он-то знал, что за деятель этот Джульбарс, которого он подпустил слишком близко. Он немножко растерялся, а Джульбарс и это отлично понял, поэтому и позволил себе небольшую наглость — поддел своей раздвоенной медвежьей башкой чёрный ствол и чуть подбросил кверху. Главный от этой наглости оторопел, но всё же она ему понравилась, лицо у него смягчилось, и он сказал, утирая лоб варежкой:

— Ничо, пусть погрызут собачки. Воды хватит.

Тогда Джульбарс, всё так же спокойно, поворотился к нему задом и пошёл на место.

Их безумие скоро прошло, и все они поняли, с каким врагом схватились. Он наказал их, как они и не ждали,— Руслан об этом вспомнить не мог без дрожи. Так живо опять почувствовалось ему, как он захлёбывается упругой и обжигающей, бьющей из прорех водою, а шерсть на его животе, где она так нежна, так длинна и пушиста, примерзает к ледяному намытому бугру и рвётся с болью, и ему уже самому не встать. Во что превратились они все, укрытые всегда своими роскошными шубами, а теперь промокшие до последней шерстинки и враз отощавшие, жалкие, слёзно молящие о пощаде!

Этой же струёй хозяева потом вымывали их, примёрзших к наледи, и бегом утаскивали в караулку, а некоторых, кто даже стоять не мог, волоком тащили на полушубках. Там они все сползлись в один угол, вылизываясь и жалуясь друг другу на случившееся. Их растаскивали, а они сползались опять — их низкий закон повелевал им в несчастье ободрять друг друга, а в мороз греть и сушить.

А потом была полная ужасов ночь, когда их развели по кабинам и оставили каждого наедине со своим грехом. Конечно, они могли перелаиваться сквозь стенки, но это уже никого не грело, и больше им нечего было

передать друг другу, кроме взаимных упрёков и смертных предчувствий. Многим тогда приснился Рекс, они слышали его голос, хриплый от стужи и ветра,— Рекс плакался, как ему одиноко за проволокой, и звал всех к себе. А кто постарше, вспоминали какого-то Байрама, которого Руслан не застал, но который, оказывается, ещё до Рекса торил эту тропу, а для совсем старичков первой была знаменитая Леди, которую хозяева называли ещё «Леди Гамильтон»,— она-то и открывала всю злосчастную плеяду, а до неё история лагеря тонула во мраке.

Утром хозяева пришли в обычный час, принесли еду, но к собакам не прикасались. Они чистили кабины, трясли в коридоре подстилки и переговаривались злыми голосами, неодобрительно отзываясь о Главном хозяине, и одни говорили, что он «конечно, справедливый, но зверь», а другие им возражали, что он «всё ж таки зверь, хотя — справедливый». Потом пришёл сам Главный и велел пощупать у собак носы.

— В кого горячий, нехай отдыхають, а других — выводить. Та следить мне, шоб никаких таких эксцессов не було!

Зачем в такую же стужу вывели их на службу? Зачем заставили сидеть полукругом в оцеплении перед тем же бараком, теперь безмолвным, не вызывающим у собак ничего, кроме смутной тягости от вчерашнего? Неужели же охранять огромный этот ящик на колёсах, эту дощатую фуру, которую они всегда видели, когда в лагере бывали смерти? Две заплаканные лошадёнки, помахивая головами, похожими на молотки, уныло вкатывали её в лагерные ворота и тащили от барака к бараку, а потом, нагруженную, трясли по колдобинам к лесу, и собакам в голову не приходило, чтобы кто-нибудь посягнул на то, что в ней везли. Да эта фура себя охраняла сама лучше любого конвоя: зимой она жуть наводила шуршанием и костяным стуком об её высокие щелястые борта, а в летний зной, когда над нею густо роились мухи, бежать хотелось куда глаза глядят от её тошнотного смрада. Когда бы Руслан мог давать названия запахам, он сказал бы, что от этой фуры пахнет адом. Как все его собратья, не принимал он смерти-небытия, где вовсе ничего нет и пахнуть ничем не может,— и что такое собачий ад, он

всё же смутно представлял себе: это, наверное, большой полутёмный подвал, где всех их, байрамов и рексов, прикованных цепью к стене, день-деньской хлещут поводками и колют уши иглой, а есть дают одну сплошную горчицу. Картина человечьего ада представлялась ему загадочной, но, верно, и там весёлого было мало, уже и того довольно, что люди отправлялись туда совершенно голыми. Их одежду делили между собой живые, и Руслан ещё долго их путал с ушедшими или подозревал, что те где-то прячутся поблизости и вот-вот объявятся. На его памяти никто, однако, не объявился; в свой подвал они тоже уходили на долгий срок, и столько же было надежды их дождаться, как встретиться с живым Рексом. Но что объединяло эти два ада — непонятный, неутишимый страх и глухая тоска, с которыми не совладать, от которых не деться никуда, стоит тебе лишь коснуться этой жуткой тайны.

В тишине безветрия был слышен мороз: шелестел пар из лошадиных ноздрей, с треском лопались комки навоза, потрескивало, постанывало всё дерево фуры. Лошадёнки, с заиндевевшими гривами и хвостами, стояли не шелохнувшись, и понуро сутулился возница на козлах, никак не откликаясь на громкий стук за спиной, будто кидали ему из окна большие белые свежерасколотые поленья. Лишь раз он обернулся поглядеть, не перегрузят ли его сегодня, и опять укутался до бровей в свой чёрный тулуп.

Главный хозяин, который один похаживал внутри оцепления, нервничал напрасно. Он мог быть доволен, как всё спокойно происходило и как терпеливо несли свою службу собаки, хоть очень уж пристуживало зады на снегу и клыки плясали от судороги. Они чувствовали спинами, как из других бараков смотрят в продышанные зрачки чьи-то горящие глаза, иногда и сами не выдерживали и оборачивались,— да в такой мороз, когда все запахи глохнут, по их понятиям, произойти ничего не могло. Ничего и не произошло, только вдруг один из двоих, нагружавших фуру, высунулся и крикнул, грозя кулаком Главному: «Вы за это ответите!» — но другой ему тут же зажал рот рукавицей и оттащил подальше в сумрак. Главный в это время стоял спиной к окну и не обернулся.

Эту скорбную службу они высидели до конца, как хотелось Главному, и за то, наверно, и были все прощены. Пожалуй, останься с ними Ингус, и он бы её высидел, и тоже б его простили. Ужасно всех придавило, как всё нелепо вышло с Ингусом; даже Джульбарс, который к нему всегда ревновал, и тот в себя не мог прийти, считал, что это его недосмотр. Но больше всех поразило то, что случилось, инструктора. После собачьего бунта он ходил как оглушённый. Он стал путаться в собачьих кличках, говорил, например, Байкалу или Грому: «Ко мне, Ингус!» — и удивлялся, что они его не слушаются. Ему всюду мерещился Ингус, постоянно он его высматривал в стае, хотя собаки давно уже сообщили инструктору, что Ингус лежит за проволокой с куском брезента в пасти, который пришлось вырезать, потому что он так и не отдал его своими «неокрепшими» клыками, а хозяевам лень было дробить ему челюсти ломом.

Так и не дождавшись своего любимца, инструктор вот что придумал: стал сам изображать Ингуса. В самом деле, в нём появилось что-то ингусовское: та же мечтательность, задумчивость, безотчётность поступков; он даже и бегал теперь на четырёх, пританцовывая, как Ингус. И всё больше эта игра захватывала инструктора, всё чаще он говорил: «Внимание, показываю!», и показывал, как если б это делал Ингус, и всё лучше у него получалось,— а однажды он взял да и проделал это в караулке: о чем-то заспорив с хозяевами, вдруг опустился на четвереньки и залаял на Главного. Так, с лаем, он и вышел в дверь, открывши её лбом. Хозяев он рассмешил до слёз, но когда они отреготались и решили всё-таки поискать инструктора — где же они его нашли? Он забрался в Ингусову кабину и вызверился на них с порога, рыча и скаля зубы.

— Я Ингус, поняли? Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова.— Я не собаковод, не кинолог, я больше не человек. Я теперь — Ингус! Гав! Гав!

И тут-то собаки впервые поняли — *о чём он лает.* В него переселилась душа Ингуса, вечно куда-то рвавшаяся, а теперь поманившая их за собою.

— Уйдёмте отсюда! — лаял инструктор-Ингус.— Уйдёмте все! Нам здесь не жизнь!

Хозяева связали его поводками и оставили на ночь в той же кабине, и во всю ночь не мог он успокоиться и

будоражил собак своим неистовым зовом, всю ночь надрывал им души великой блазнью густых лесов, пронизанных брызжущим сквозь ветви солнцем, напоённых сладостной прохладой, обещал такие уголки, где трава им повыше темени и кончиков вздёрнутых ушей, и такие реки, где чиста вода, как слеза, и такой воздух, который не вдыхается, а пьётся, и самый громкий звук в этом воздухе — дремотное гудение шмеля; там, в заповедном этом краю, они будут жить, как вольные звери, одной неразлучной стаей, по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку! Собаки засыпали и просыпались в жгучем томлении, предчувствуя дальнее путешествие, в которое отправятся утром же под руководством инструктора,— уж тут само собою решилось, что он у них будет вожаком, и даже Джульбарс не возражал, согласившись быть вторым.

А утром в прогулочном дворике в последний раз они видели инструктора. Хозяева вынесли его, связанного, и посадили в легковой «газик», крепко прикрутив к сиденью. И так как он лаял беспрерывно, рот ему заткнули старой пилоткой. Собаки посидели перед ним, ожидая, что он им что-нибудь покажет — может быть, вытолкнет кляп или освободится от верёвок, но он ничего не показал, а только смотрел на них, и по его лицу катились слёзы. Да впору было и собакам забиться в рыданиях — не так переживали они, когда мутноглазыми несмышлёнышами их отрывали от матерей, как теперь, когда только-только поманила их новая жизнь и заново открыли они и полюбили инструктора,— и всё обрывалось, и возвращалась к ним прежняя, унылая и беспросветная, череда будней.

И впрямь осиротели они, опустела площадка. Она перестала быть местом праздника, она стала местом истязаний и тягостных склок. Приехавший вскоре другой инструктор уже ничего не показывал, а больше орудовал плёткой...

Ах, лучше не вспоминать! Шумно вздыхая, Руслан уходил из-под фонаря на тёмное крыльцо, долго устраивался там, кряхтя и скрипя половицами, и замирал наконец, чутко вслушиваясь в замирающий мир. Ночь

густела, наливаясь чернотою и холодом, и вызревали всё новые и новые звёзды, мерцающие, как глаза неведомых чудищ. Впрочем, живые эти светильники были ему всё-таки больше по душе, чем ненавистная луна, от которой даже и пахло покойником; он мог их наблюдать подолгу и знал за ними одно хорошее свойство — если задремлешь и опять откроешь глаза, то застанешь их уже переместившимися. Так судил он о течении времени — и всё отслуженное им не просто уходило зря, но отмерялось на этих небесных часах.

Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденеющие дали, на острия этих звёзд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерёг. Где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан — бессменный часовой на своём добровольном посту.

Он спал вполуха, вполглаза, не давая себе провалиться в бесчувствие. Голова его упадала на лапы, он встряхивался в испуге — и ещё прибавлялась морщинка на крутом его лбу. Только отпускали его воспоминания — как надвигались завтрашние заботы.

4

Иногда привычный их маршрут слегка нарушался. Дойдя до станции и перед тем как свернуть к своим дурацким вагонам, Потёртый вдруг останавливался, чесал себе щеку вынутой из варежки пятернёю и нерешительно говорил Руслану:

— А сходим, проведаем — может, не забыли про нас?

Руслан нехотя соглашался, и они сворачивали к станции — только не к главному её крыльцу, а к боковому, с двумя синими ящиками по обеим сторонам двери. У этого крыльца Потёртый старательно оттопывал снег с ботинок и косился — чисты ли у Руслана лапы. В первые

разы он ещё норовил оставить своего конвоира на улице и поручить ему охранять ящик с инструментами,— Руслан эти попытки пресёк. Он поднимался за Потёртым, входил и строго ждал его в помещении, брезгуя присесть на слякотный пол. Здесь стоял густой размаривающий зной — от круглой голубой печи, занимавшей весь угол и подпиравшей потолок,— а крохотная форточка забранного решёткой окна была закрыта наглухо, а две головы за барьером ещё и кутались в толстые серые платки. Эти удивительные головы стрекотали друг с другом беспрерывно и совершали зеркально-симметричные движения, подхватывая на лету семечки из подбрасываемых с пулемётной скоростью кулачков и в них же сбрасывая ползущую изо ртов лузгу.

Потёртый бочком подвигался к барьеру, доставал глубоко из-за пазухи мятую бумажку, разглаживал её, робким покашливанием прочищал горло для вопроса. Долго его не замечали, но наконец симметрия мучительно разрушалась — и одна голова, замерев на подхвате семечка, уставлялась на него неподвижным, неморгающим взглядом, другая же — застигнутая на сбросе лузги — утирала губы тылом ладошки и хмуро склонялась куда-то под барьер, почти сразу же начиная отрицающие движения из стороны в сторону.

— Пишут,— сам отвечал Потёртый извинительно и прятал свою бумажку опять глубоко за пазуху.

Впрочем, со временем они усвоили это слово и уже иной раз прямо на пороге пригвождали Потёртого, не давая повода шагнуть внутрь:

— Пишут вам, пишут!

Затем, собственно, он и приходил сюда, чтобы это услышать, и больше у него никаких тут не было дел, но он ещё долго переминался, разглядывал стены, читал, заложа руки за спину, всё, что попадалось глазу.

— Перевод телеграфный — слышь, казённый? — семь рублей стоит сотню, а по почте — только два. Ну, чо ж, правильно, время — оно деньги стоит. С Москвой поговорить — два шиисят минута. Жаль, у меня нету в Москве, с кем поговорить. У тебя тоже нету, Руслаша? А то б чего-нибудь на пять копеек нагавкали.

Особенно подолгу стоял он перед плакатом, с которого глядел мордастый румяный молодой человек с по-

бедно-язвительной улыбкой на губах, держа в одной руке серую книжицу, а другой рукой, большим её пальцем, указывая себе за спину на груду каких-то предметов; из них Руслан смутно распознавал легковой автомобиль и кровать.

— «Я рубль к рублю,— читал Потёртый,— в сберкассе коплю. И мне, и стране — доходно. Сумею скопить и смогу купить — всё, что душе угодно». Во как складно! А мы и не дотюпались. Мы чего копили? Мы дни копили, сколько там «не нашего» набежало, а для души-то надо — рубли-и! И годовых тебе пять процентов, тоже не баран чихал...

Руслан, уже головою к двери, остервенело скалился и крутил хвостом — время, время! Но выйти отсюда ещё не значило — на работу. После таких отклонений подконвойный заворачивал в буфет, вытягивал кружку жёлтопенной мерзости, в добавление к наканунешней, отчего несло из его рта совсем уж ураганно, и лишь если собеседника себе не находил, шёл наконец в рабочую зону. А иногда и не шёл. Иногда и вторую кружку вытягивал и возвращался восвояси, а тёте Стюре объяснял с виноватым удивлением:

— Вот, едрёна вошь, день какой недобычливый. Ничо сегодня не оприходовали, вот и Руслаша подтвердит. Ну, дак задел-то есть, пара досточек со вчерашнего осталась вроде.

— И хорошо,— соглашалась тётя Стюра, сама не большая любительница шевелиться.— Оно и лучше дома посидеть, чем незнамо где шакалить.

Эти вольности просто бесили Руслана. Он не терпел безответственности. Сам-то он был — весь забота, весь движение! Отхватить толику сна, раздобыть себе еды — хоть раз на дню, отконвоировать туда и обратно, да сбегать на платформу, разнюхать — кто был, что произошло за истекшие сутки, да собак по дворам проведать, узнать новости, разобраться — у кого какие предчувствия. Эти же двое — дрыхли, сколько хотели, еду себе устроились добывать из подпола да из курятника, а остальное их не трогало: и что поезда всё нет и нет, и что работа не движется, и что так нелепо, впустую катятся его, Руслановы, дни. Но что было делать — гнать, понукать Потёртого? Сказать по совести, это не входи-

ло в собачьи обязанности, темп задавали хозяева — и когда бежать колонне рысью, и когда посидеть на снегу; тут он боялся переступить дозволенное. И оставалось одно — самому шевелиться и ждать. Ждать, не теряя веры, не отчаиваясь, сохраняя силы для грядущих перемен.

А между тем снег уже грязнел понемногу и делался ноздреватым, и от него потягивало чем-то неизъяснимо чудесным, вселяющим надежду и волнение. Всё больше влажнел воздух, и солнечными днями всё бойчее капало с крыш. Потом и ночами стало капать, перебивая Руслану сон, и посреди улицы явились проталины, вылезли на свет измочаленные доски тротуаров. Лишь в канавах, в глубокой тени заборов, снег ещё сохранялся грудами, но день ото дня слёживался, тощал, истекая лужицами, даже и не холодный на вид.

И пришла девятая весна жизни Руслана — не похожая ни на одну из его вёсен.

Ему предстояло узнать, что, когда сходят снега и лес наполняется клейкой молодой зеленью и делается непроглядным, в нём прибавляется живой еды. Мыши Руслану уже не попадались — кое-чему их научил трагический зимний опыт, а может быть, у него самого недостало опыта, как этих мерзавок нашаривать в палой листве, пружинившей под его лапами. Зато привлекли его внимание птицы, дуреющие от своих же песен, и чем крупнее была птица, тем неосторожней. Позже, когда у них с песнями пошло на спад, стали попадаться — низко в кустах или вовсе на земле — их гнёзда с продолговатыми, округлыми камушками, белыми или бледно-розовыми или голубоватыми в крапинку. В них что-то теплилось живое, и он сообразил, что это тоже можно есть, хотя оно не бегает и не прыгает. Он забирал их в пасть все сразу и, хрумкая скорлупою, всасывал тёплую клейкую влагу. Хозяйка этих камушков обычно старалась ему досадить, порхая над самым его носом, но её возмущённые крики не производили на него впечатления — насчёт отвлекающих манёвров он кое-что знал. И всё же простой грабёж ему претил; жестокий боец, он жаждал борьбы, состязания, не исключая и обоюдной крови. Вот даже и с барсуком можно было померяться хитростью — тут сразу понял Руслан, что этого увальня нахрапом не

возьмёшь, тут надобно шевелить мозгами, а главное — не спешить, когда он вылезает в первый раз, и даже во второй — это он разведывает и может вернуться в свою нору мгновенно, а нужно дать ему насладиться тишиной и безопасностью, тем сильнее его растерянность и отчаяние, когда ты закроешь ему пути к отступлению. Никто никогда не учил этому Руслана, и многого он не знал о себе, а вот теперь открывал — к своему удивлению и радости: во-первых, сколь прельстительно добывать себе пищу клыком, не дожидаясь, что тебе её принесут в кормушке, а во-вторых, что он, оказывается, всё это умеет — подкрадываться, пластаться в траве и в папоротниках, долго таиться и нападать молниеносно, без промаха.

Ошалев от своих удач, он однажды и лосёнка рискнул завалить, ещё и за секунду на это не решаясь,— и не в том был риск, чтоб перегрызть ему слабые шейные хрящики, не получив самому копыта в бок, а в том, что мать-лосиха шла впереди по тропе, в двух каких-нибудь шагах, и застигла его на месте преступления. Сгоряча он и на лосиху кинулся — и было на волосок от того, чтоб нам здесь и закончить жизнеописание Руслана,— но спасительный голос свыше внушил ему, что он встретился с такой силой, перед которой благоразумнее отступить. Он бежал в преувеличенной панике, не забывая, однако, делать круги и не слишком отдаляясь от добычи. Ждать ему пришлось долго, и он знал, что безбожно опаздывает на службу, но тут было что-то сильнее его, сильнее долга и раскаяния. И всё-таки он дождался, когда лосиха покинула своё бездыханное дитя,— не затем дождался, чтобы сожрать, на это уже не хватало времени, а чтобы удостовериться, что он оказался терпеливее безутешной матери.

Виделся он и с хозяевами леса, о существовании которых смутно подозревал, они оказались похожими на него, но до чего же убогими! Он был куда крупнее и сразу прикинул, что с одним или даже двумя волками справится вполне, а от стаи сумеет удрать. Да и волки с ним поладили мирно — сделали вид, что не заметили.

Однако мысль они заронили в нём: он мог бы стать таким же вольным зверем, как они, и — добычливым зверем. Но не знал Руслан — и мы, грамотные, не все-

гда ведь знаем,— что лучше всего хранит нас от погибели наше собственное дело, для которого оказались мы приспособлены и которому хорошо научились. И то ведь шла уже вторая половина его жизни, а всю первую привык он не обходиться без людей, им подчиняться, служить им и любить. Вот главное — любить, ведь не живёт без любви никто в этом мире: ни те же волки, ни коршун в небе, ни даже болотная змея. Он был навсегда отравлен своей любовью, своим согласием с миром людей — тем сладчайшим ядом, который и убивает алкоголика, и вернее, чем самый алкоголь,— и никакое блаженство охоты уже не заменило б ему другого блаженства: повиновения любимому, счастья от самой малой его похвалы. И на свой промысел, на который ведь никто не посылал его и не хвалил за удачу, он и смотрел как на промысел, помогающий выжить и сохранить силы. Бил часовой механизм, спрятанный в его мозгу,— а вернее, по наклону солнечного луча, пробившегося сквозь кроны, необъяснимо чувствовал Руслан, что как раз его подконвойный уже продирает очи,— и возвращался, покорный долгу, прервав охоту на самом интересном.

А только доставив Потёртого до дому и давши ему с тётей Стюрой добраться до бутылки, он уже и минуты не ждал, убегал на станцию. Только он один ещё продолжал сюда являться, его одного видели путейцы сидящим на пустой платформе или обегающим подъездные пути. Мог он дотемна сидеть у дальнего семафора, прислушиваясь к пению рельсов, встречая товарняки и экспрессы, пахнущие дымом и пылью далёких городов. Поезда проносились мимо или причаливали к другим платформам,— он проникался к ним неприязнью и отворачивался, недовольно жмурясь, потом бежал через всю станцию к другому семафору и там опять сидел, встречая другие поезда, привозившие с собою едва уловимый, но такой возбуждающий запах океана.

Иногда, в полудремоте, эти запахи — неведомых городов и никогда не виденного океана — начинали его томить, он мучился искушением отправиться наугад вдоль рельсов, за тот или за другой семафор, и бежать, сколько сил хватит, покуда он не увидит, что же его манило. Но он не знал, сколько придётся бежать — це-

лый день или целое лето, а в это время мог прийти тот единственный поезд, которого он ждёт.

С высокой платформы он видел крыши посёлка, громоздившиеся пёстрой коростой, и колокольню с крестом, на который всякий раз напарывалось закатное солнце. В эти часы, необъяснимо тревожные и печальные, Руслана охватывало беспокойство, он принимался без причины скулить, к чему-то судорожно принюхиваться, а стоило ему закрыть глаза и положить голову на лапы, как его обступали видения. Странные это были видения. Во все его лагерные годы они являлись к нему в тёмную его кабину — и вовсе не были сном, сны не так часто повторяются и не так хорошо помнятся.

Иногда он видел себя посреди широкой горной долины, по брюхо в густой траве, обегающим овечье стадо. Розово-синие горы понемногу уплывают во тьму, от них веет влажным ветром и какой-то напастью, и овцы жмутся друг к другу, а он успокаивает их — низким и хриплым лаем. Обежав огромный круг, он подходит к костру, садится рядом с пастухами, как равный, и подолгу смотрит в огонь, не в силах оторваться от его изменчивой таинственной игры. И пастухи обращаются к нему, как они говорят друг с другом: «А вот и Руслан...», «Отдохни, Руслан, набегался...», «Поешь, Руслан, там осталось на твою долю...» И он принимает их уважение как должное, потому что они ведь не обойдутся без него. Он первым почует волка и встретит его, как подобает овчарке,— не лаем, только бы показать свою старательность, а клыками и грудью, чувствуя за собою тепло костра и людей, которые всегда придут на помощь...

...В знойный полдень он сбегал к реке вместе с босоногими ребятишками; они бросили в воду палку, и он плывёт за нею, разбрызгивая вязкую неподвижную воду, а потом лежит, вытянувшись, как мёртвый, смежив глаза от солнца, и они ложатся рядом с ним мокрыми животами на песок, треплют ему шерсть, вычёсывают клеща, впившегося в горячее набрякшее ухо. Накупавшись до синевы, они поднимаются лениво по косогору, и он идёт поодаль, довольный и гордый тем, что, пока он с ними, их не коснётся никакое зло — ни змея, ни бодливая корова, ни бешеный пёс.

...Синим морозным утром в тайге, утопая в сугробе, он бросался на помощь хозяину, которому пришлось туго, вцеплялся в зад медведю и держал насмерть, а когда ему самому приходилось туго, хозяин выручал его, добивая зверя ножом и прикладом. И первый кусок, сочащийся тёплой кровью, доставался ему, и они возвращались с тяжёлой добычей, кое-где пораненные, кое-как залеченные и полные взаимной любви...

Во всём непременно была любовь — то к пастухам в чёрных косматых шапках, то к ребятишкам, то к этому узкоглазому плосколицему охотнику.

Но где же он видел их, откуда брались эти видения? Во всей его жизни, вот до этой весны, никогда не было ни гор, ни овец, ни реки, затенённой плакучими берёзами, ни зверей крупнее кошки. Всё, что он знал отроду,— ровные ряды бараков, колючая проволока в два кола, пулемёты на вышках, левый сапог хозяина. Может быть, эти видения, невесть откуда взявшиеся в глухих тайниках его памяти, достались ему от предков — степных волкодавов, зверовых лаек, лохматых овчарок горных долин, которые в конце концов породили его и вместе с ростом, силою и отвагой передали и то, что каждому из них пришлось изведать? Но зачем это ему — чтоб мучился он и искушался непрожитыми жизнями? Или он был всего лишь звеном в бесконечной цепи, и эти мучительно сладостные видения вовсе не ему предназначались, а тем щенкам, что родились от него и ещё родятся?

Но в этих видениях и ему была радость, он бережно их покоил в душе, боясь потревожить их течение, среди трудного своего дня предвкушал минуту, когда останется наедине со своими живыми картинками. И порою ему казалось: всё это происходило с ним до лагеря, до питомника, до того, как он стал себя помнить,— и он об этом мечтал как о прошлом, которым стоит гордиться. Но часто и как о будущем мечтал, которое непременно наступит,— и нехитрые эти мечтания озаряли ему жизнь, наполняя её высоким смыслом. Из-за них не сбесился он, не зачах с тоски, не уморил себя голодом и только однажды сунулся под пули хозяев,— а ведь это сто раз могло случиться с ним, внуком овчарки, которому выпало на роду пасти двуногих овец.

Хозяин, который хорошо знал Руслана, знал его нрав и способности, всё же не разгадал его главной загадки, не проник никогда в тайное тайных, которое Руслан ни за что б ему не высказал, если бы и сумел высказать. Инструктор, сказавший, что служба не всегда права и надо на всё смотреть как на игру, стоял хоть и поближе к истине, но только на полдороге. А вся истина и вся отгадка Руслана была не в том, что Служба для него хоть в чём-нибудь могла быть неправой, а в том, что не считал он своих овец виноватыми, как считали Ефрейтор и другие хозяева.

Да, говорила ему наука, что люди, отделённые от него проволокой,— злые, чужие, нехорошие; а ещё он слышал, что они «суки», «сволочи», «курвы» и «фашисты»,— от одного свиста, шипения и рыка этих слов загривок у него дыбился и в горле вскипало рычание. Да, помнил он хорошо, как они ему, подпёску, давали отведать горчицы, и кололи ухо иглой, и палили в морду из большого дурацкого пистолета, и колотили по спине бамбучиной. Детство они ему крепко попортили, он только и ждал, когда вырастет и ужо до них доберётся. Но когда взрос он и мог бы свалить любого из них, он как-то не обнаружил своих обидчиков среди всей оравы,— а хотелось именно тех найти, кого он запомнил. Похожие на них вызывали злобу всё-таки меньшую, да и к тем кретинам она понемногу начала остывать: как ни горячил он себя воспоминаниями, а чувствовал всё больше удивление — до чего же глупыми, жалкими казались теперь их пакости, просто недостойными двуногих. Один тебя дёргает за хвост, а другой из-под носа тащит еду — зачем, спрашивается? Чтоб самому её съесть? Если бы так, он бы их понял... Но он уже начал догадываться, что не всё у них ладно в том месте, которым они думают, даром ли хозяева не считали их за людей. И право, чего же ещё было ждать от них — бедных, помрачённых разумом! И можно ли таких ненавидеть? Скорее он мог презирать их — за вечные их дрязги и друг перед другом страх, за то, что никогда ничем они не были довольны и, однако, стерпливали нестерпимое, за то, что и на краю могилы не впивались они в горло своему палачу. Но хоть жалел он их в такие минуты, когда так покорно давали они себя мучить или убивать? Об этом спросите овчарку,

которой случается видеть, как режут столь ею бережно охраняемых овец. Зрелище это, верно, тоскливо для неё, но не перестанет же она из-за этого любить хозяина. Да ведь и овцы против этого не возражают — так мудро-обречённо, так изнеможённо-нежно, со светлой печалью в глазах откидывают они голову, подставляя горло под нож.

И что же — все собаки были тут заодно с Русланом? Этого не знал он; когда вся стая служит ревностно общему делу, особенной откровенности не бывает. Но по крайней мере Джульбарс — он-то, свирепейший, дай только волю, наверняка бы загрыз какого-нибудь лагерника насмерть? И это — как знать. После собачьего бунта его из всех выделили, стали водить на цепи — и большей славой не могли наградить Джульбарса! Теперь по всякому поводу этот кандальник тряс башкою и устраивал переливчатый звон, напоминая об особой своей участи. Но странно — то ли подобрел он вдруг, достигши наконец неоспоримого отличия, то ли обалдел от зазнайства, а только уж как-то не выказывал своей знаменитой злобы. И верно, к чему выматываться, когда за тебя говорят вериги!

А всё же бывали минуты, когда они яро ненавидели своё стадо и страшились его панически, до обморока. Это когда распахивались по утрам главные ворота и лагерная вахта передавала колонну в руки конвоя. Собак уже заранее била дрожь, они впадали в истерику, захлёбывались лаем. Ведь крохотная горстка против огромной толпы, которой что стоило разбежаться — в открытом поле, на лесной просеке. «Бежать, бежать!» — так и слышалось в их дробной поступи, разило от их штанов и подмышек, грозовым облаком реяло над головами; и каждая шерстинка на Руслане насыщалась электричеством, готовая растрещаться искрами. Вот сейчас это случится, сейчас они кинутся врассыпную — и он оплошает, сделает что-нибудь не так. Но понемногу передавалось ему спокойствие хозяев — они-то, высшие существа, хоть и обделённые нюхом, знали всё наперёд: ничего не случится, ничего такого уж страшного. И точно, запах бегства выветривался скоро, а сквозь него уже пробивался другой, всё густеющий, набирающий едкости, чесночный запах страха. Им тянуло откуда-то снизу, от ног, кото-

рые уже спотыкались, отказывались бежать, отказывались нести ослабшее, повязанное нерешительностью тело. И у него отлегало от сердца, и вот уже собаки весело переглядывались, развесив длиннющие языки, не скрывая жаркой одышки,— пронесло!.. Просто этим больным опять что-нибудь померещилось, всё та же ими придуманная лучшая жизнь; скоро это пройдёт у них — вот даже вечером, после работы, о бегстве и мысли не будет, только бы до тепла добраться. Но сколько же с ними муки, сколько хлопот они доставляли своим терпеливым санитарам с автоматами и их четверолапым помощникам!

Только редкие выздоравливали,— и Руслану случалось видеть, какими их выпускали из этого санатория: тихими, излучавшими ровный свет. Свою злобу они оставляли у ворот и говорили вахтёру со слабой улыбкой, всегда одинаково, как пароль:

— Дай бог, не встретимся.

— Бывай! — звучал отзыв, отрывистый и чёткий, как команда. В нём слышалась уверенность, что болезнь не повторится.— Поправляйсь, доходяга!

Но вот, когда уже несколько случаев накопилось исцелений и когда явились надежды, что эти люди забудут и своё буйство, и драки, и свои глупые мечты и станут все сплошь тихими и просветлёнными, они вдруг взяли и убежали разом. Об их вероломстве он думал теперь беззлобно, жалел, что они так неразумно поступили, не поняли, где им по-настоящему хорошо. Сам он о лагере вспоминал только хорошее — и разве не было его там? Пожив на воле, он мог уже кое-что и сравнить. Там не были люди равнодушны друг к другу, там следили за каждым в оба глаза, и считался человек величайшей ценностью, какой и сам себе не казался. И эту его ценность от него же приходилось оберегать, его же самого наказывать, ранить и бить, когда он её пытался растратить в побегах. Всё-таки есть она, есть — жестокость спасения! Ведь рубят же мачты у корабля, когда хотят его спасти. Ведь кромсает наше тело хирург, когда надеется вылечить. Жестокая служба любви — подчас и кровавая — досталась Руслану, и нёс он её долгие годы изо дня в день без отдыха,— но тем слаще она теперь казалась.

А поезда всё обманывали его — и самая сильная вера когда-нибудь же перегорает! Соотнесём наши бледные, размытые годы с кратким собачьим веком, куда плотнее набитым событиями, и выйдет, что не одну зиму и весну прождал Руслан возвращения Службы, а может быть, четыре или пять наших зим и вёсен. И всё больше вживался он в свою охоту — со страстью, с яростью, доходившей до безумия. В сумрачном лесу, с его голосами и запахами, он становился другим, сам себя не узнавал,— и кто знает, догадайся Потёртый однажды взять ружьё и пойди он тропою Руслана, может быть, всё и повернулось бы по-другому меж конвоиром и подконвойным; там, где такой нелепой кажется наша неумелая суета, называемая жизнью, сбросили бы они эти обличья и стали бы просто Человеком и Собакой, в чём-то ведь и равными друг другу. Но Потёртый не догадывался или не имел ружья, он всё строил свой нескончаемый шкап и отношений с конвоиром менять не собирался. В эти же дни тоска по иному, чем он, существу, хоть той же, что и он, крови, охватила Руслана с неожиданной, давно не испытываемой силой,— он разыскал Альму и поманил её на свой промысел. Альма с ним добежала до опушки леса, а там постояла и вернулась — у неё свои были заботы, щенки от белоглазого. А не окажись у неё никаких привязанностей в этом чужом для них посёлке — может быть, поглотили бы их обоих леса и уже бы не выпустили?

Обо всём этом мы можем только гадать. Но, встретив Руслана возвращающимся из лесу, бегущим по середине улицы мерной размашистой рысью, мы б его увидели поистине преображённым, во всём его матёром совершенстве, в зверином великолепии. И чувствовалось по жёлтому мерцанию его глаз, что он сам понимает, как он хорош, сам с гордостью ощущает и налитую тяжесть своих лап, и свой лоснящийся пушистый панцирь, и как плотно теперь сидит на нём ошейник. Вбегая во двор — вкрадчиво-пружинистый, пахнущий лесом, землёю, кровью живой добычи,— он своим жарким дыханием нагонял страх на Трезорку, и тот опрометью кидался под крыльцо, всерьёз опасаясь, что охота будет продолжена во дворе. Он зря опасался: при всех различиях Руслан всё же принимал Трезорку за подобного

себе, и от природы было ему запретно заниматься охотою на себе подобных — этим любимейшим занятием двуногих, гордых тем, что покорили природу. Сказать же ещё точнее, так в поле зрения Руслана, в мире его ответственного служения и гордой независимости, просто не было места Трезорке с его никчемными заботами. Руслан себе и не представлял, что хоть чем-нибудь осложняет Трезоркину жизнь, покуда сам Трезорка об этом не напомнил.

Тётя Стюра задала корм своим курам и ушла в дом, оставив дверцу курятника открытой. Руслан услыхал квохтанье, тёплый, разнеженный ропот и двинулся туда не спеша. Никакие соображения греха его душу не омрачали, а добыча была отменно хороша, уж это он проверил на опыте с глухарями и тетёрками. Неожиданно, неслышно что-то оказалось на его пути, он споткнулся и поглядел с удивлением на странное, нелепое существо, которое ему сказало «Ррр» и оскалило мелкие зубки,— а одновременно виляло ему хвостиком и крупно дрожало, сотрясаясь в смертельном страхе. Трезорка и плакал, и уговаривал его не двигаться дальше, и угрожал — чем же? Что придётся сперва его сожрать на этом пороге? Ну, это, впрочем, было необязательно, Руслан бы его попросту отшвырнул лапой, однако он помедлил, склонив в раздумье тяжёлую голову, и — вернулся на место. Может быть, он задумался о существе долга, ведь он когда-то сам бывал часовым и мог понять другого на таком же посту, хоть был этот другой ничтожен с виду.

Трезорка едва перенёс такое переживание, он пал на брюхо, закрыв глаза, и долго отдышивался, как после изнурительного бега. А Руслан с этой минуты только и пригляделся к нему и был поражён — каких же трудов стоила Трезорке жизнь, сколько же хитрости, сноровки да и мужества она от него требовала. Трезорка жил в краю, где любовь к сущему выражается иной раз с помощью камня или палки или пинка ногою и где он имел столько же шансов выжить несломленным, сколько насчитывал сантиметров роста. А всё же не стал он ничтожеством, торопящимся лизнуть побившую руку, ни разу не встретил брошенный в него предмет вилянием хвоста, но с яростным лаем «прогонял» обидчика до угла, хоть и не смея приблизиться и напасть. А подумать, так

по иным статьям он бы не сильно и проиграл прежним товарищам Руслана, а может статься, и превзошёл бы их.

Руслан всё реже с ними встречался, но чтобы знать — и необязательно встречаться, собачья газета пишется в воздухе, она печатается на заборах и столбиках — и сколько же заурядной чепухи, сучьих сплетен он мог из неё вычитать! Дик опять попался на воровстве, бит шкворнем от навозной тачки, ослепшая Аза уже не стыдясь побирается у булочной, Байкал недурно устроился — в гастрономе, при мясном отделе, но попробуй сунься, своего порвёт, и т. д. и т. п. Поначалу их дрязги бесили Руслана, повергали в отчаяние, но потом он перестал на них и откликаться. Всё было естественно, всё по-собачьи понятно. Сколько б они ни кичились, сколько бы ни хвастались новыми хозяевами, а ведь служили-то они скверно. Не такие же они дураки, чтоб не понимать этого. Нынешние хозяева держали их за грозный вид, за металл в голосе, за кристальную ясность взгляда и готовность напасть на кого прикажут,— да только на всё-то им нужен был приказ, а хриплоголосый никудышный Трезорка сам разбирался, что к чему. Они, например, признавали одного хозяина — мужчину, чада же его и домочадцы уже не могли к ним приблизиться, Трезорка же за хозяина держал тётю Стюру, но и Потёртому был не прочь послужить, пока тот имел здесь влияние. Имевших влияние прежде, ещё до Потёртого, деликатно не замечал; лучше, чем сама тётя Стюра, различал верных её приятельниц и тайных врагинь — каждой своё полагалось приветствие или не полагалось вовсе; видел разницу между уклончивыми должниками и настырными кредиторами — первых следовало шутливо обтявкать и заманить во двор, вторым — не показываться на глаза. А ведь никто этого не объяснял Трезорке, просто он был на своём месте. Все «казённые» давили цыплят без совести, а после битья уразумели, что это грех, и уж на курятник не глядели. А Трезорка приглядывал и сам не давал цыплёнка в обиду, потому что знал: в первую голову подумают на него. Он понимал, как выгодно быть честным, но и как мало одной твоей честности,— нужно ещё исключить возможность подозрений. Он понимал, что если тебя нежданно пустили в комнаты, так же нежданно и погонят, а потому не залёживайся и не чешись

при гостях, а если невтерпёж — залейся лаем и беги на двор, как будто учуял подозрительное. И не нужно делать вид, будто тебе нипочём, если щёлкают по носу, наоборот — рычи и кидайся, безобидных любят, но пуще любят их щёлкать. Трезорку учила жизнь, она его колошматила и ошпаривала, до обмороков пугала консервными банками, привязанными к хвосту, опыт был суров и порою ужасен, но зато — собственный опыт, зато Трезорка ни у кого не занимал ума, не заморочил себя наукой, которую преподают двуногие к своей только выгоде, а потому сохранил и уважение к себе, и здравый смысл, и незлобивый нрав, и неподдельное сочувствие к таким же трезоркам, полканам и кабысдохам. Сплетник он был и хвастун — каких поискать, но не допустил бы никогда — знать, что где-то можно подхарчиться, и никому о том не сообщить. А вот ведь Руслан никого, кроме Альмы, не позвал на свою охоту. Они привыкли, что еды было вдоволь, и никогда не приходилось им есть вдвоём из одной миски — это нервирует, но и приучает к солидарности.

Неисповедимы пути наших братьев, и не исключается, что, поживи здесь Руслан ещё лето, узнал бы он много такого, о чём и не подозревал в своей служебной гордыне, и, проснувшись однажды, почувствовал бы себя вполне своим — и этому двору, и посёлку, и Потёртому с тётей Стюрою. А она, продолжи свои попытки накормить его тёплым супом с костями, могла бы, наверное, добиться успеха. Не вечно же ему было выказывать своё недоверие, и мог бы он заметить, что вот ведь Трезорке её варево нисколько не повреждает.

Да неисповедимы и наши пути. Однажды те две стрекотухи, что говорили Потёртому: «Пишут вам, пишут», вдруг этого не сказали, а выбросили ему на барьер грязно-белый захватанный треугольничек. Потёртый взял его обеими руками осторожно, с опаскою, будто в нём что-то могло взорваться и хорошенько фукнуть в глаза,— о, с этими штуками Руслан имел дела на занятиях по недоверию к несъедобным предметам. На улице треугольничек развернулся в лоскут, страшного в нём не оказалось, но поражающее действие он возымел на Потёртого — тот как-то странно обмяк и опустился на крыльцо.

— Вот эт-то номер! — сказал он Руслану. И Руслан мог увидеть, что глаза ему всё же слегка обожгло.— Такой, брат, номер, ты не представляешь...

Пойми-ка их, помрачённых, отчего они вдруг преображаются? Сколько на них ни ори и ни лай — ведь не расшевелятся, но может быть, надо каждому раздать по бумажке с лилово-серыми закорючками — и они будут смеяться и всхлипывать, кусать губы и ударять себя по коленкам, а потом ощутят прилив невиданной энергии. По всем правилам — а для Руслана всё становилось правилом, что повторилось хоть дважды,— от этого крылечка полагалось бы подконвойному устремиться в буфет и там до икоты налакаться жёлтого, а он пошагал в рабочую зону, да как ещё резво! И какие там показывал чудеса сознательности — планки так и вспархивали под его руками, все перекуры — на ходу, а домой он просто скакал по шпалам с изрядной связкой на плече и пел уже что-то новенькое, бодрое, с выдохом на прыжке:

Я рубль
к рублю
в сберкассе коплю!
И мне,
и стране
доходно!

О таком подконвойном только мечтать было, с таким подконвойным — жить да радоваться! Но, к сожалению, их походам уже наступал конец. Ещё раза два они сходили и принесли немалые охапки, а потом Потёртый накрепко засел в доме и занялся там неизвестно чем, сунуться не стало возможности: такая оттуда потекла вонища — приторно-пьяная, выедающая глаза и горло. Тётя Стюра открыла настежь все окна, и вонь растеклась по двору. Трезорка чихал и плакал, убегал отдышиваться в чужие дворы, а Руслан предпочёл отнести свой пост на другую сторону улицы. Тут были, конечно, непросматриваемые зоны, и под завесою своей вони подконвойный вполне мог уйти через забор, но, к счастью, он себя непрестанно выдавал голосом. С утра, оставшись в доме один, он там блеял, кряхтел и рычал, сам себе задавал грозные вопросы: «Это кто делал? Я спрашиваю — вот это кто грунтовал? Не сознаёсси, падло? Руки б

тебе пообрывать!» — а то, напротив, очень довольный, пел дребезжащим, на редкость противным тенорком: «У ва-ас, поди, двуно-огая жена-а!..» Когда же возвращалась тётя Стюра — из какой-то своей рабочей зоны,— немедленно у них начинался ор:

— Сколько ты ложишь? Ты уж десятый, не то пятнадцатый слой ложишь! Кончай это дело, ну тя в болото, продыхнуть нечем!..

— Зато ты увидишь, Стюра! — кричал он торжествующе.— Ты увидишь: от нас с тобой следа не останется, сгниём вчистую, но за такую вот политурку — косточкам моим не будет стыдно!

По вечерам же у них наступала необычная тишина, они полюбили подолгу стоять на крыльце рядом, облокотясь на перила, изредка перекидываясь словами, отрывистыми и утопающими в шёпоте, точно у заговорщиков. Эти двое что-то замыслили — и Руслан терялся в догадках.

Но вот явилась возможность подступиться к ним. Великая деятельность подконвойного прошла обвалом, и сам он сидел живым обломком этого обвала — расслабленно-добрый, с бледным осунувшимся лицом, медленно разминая папироску слипающимися пальцами; в растерзанном вороте белой рубахи, заляпанной чем-то красно-коричневым, виднелись потные выпуклые ключицы. Тётя Стюра, утвердив руку на его плече, высилась над ним — величественная, но несколько грустная, с влажным таинственным блеском в глазах. На ней было нарядное голубое платье, которого Руслан ещё не видел, с короткими рукавчиками и кружевом на груди. Платье ей жало, то и дело она его оттягивала книзу и поводила плечом. От тёти Стюры терпко, убойно пахло цветами.

— Руслаша, жив ещё? — спросил Потёртый. Будто Руслан никак не должен был выжить от его едкой гадости.— Расставаться нам с тобой пора, хочешь не хочешь. На поезде завтра — ту-ту!.. А то, может, вместе? Поди-ка, на тебя и билета не спросят. А дорожка — тебе незнакомая, долгая, за трое суток насмотришься, сколько за всю жизнь не повидал. Как ты на это дело?

Но сам-то Потёртый, говоря это, не видел сейчас ни этого поезда, ни дороги, и поэтому не увидел их Рус-

лан, для него речи подконвойного остались пустым набором невнятных звуков.

— Ещё задумал! — сказала тётя Стюра.— Пса с собой везти. Неизвестно какого.

— Почему ж неизвестно? Казённого. Вроде трофея. Другие с войны шмотьё везли, аккордеоны, надо ж и зэку* трофей какой привезти. Так соглашайся, а? — Какая-то лукавая мысль вползала в его голову, ещё, впрочем, не отуманенную.— Приедем — народ повеселим. Покажем, как мы с тобой ходили, с чем их, наши срока, лопали. Там этого отродясь не видели, расскажешь в бане — шайками закидают, не поверят. Только ты меня по всей строгости веди: шаг вправо, шаг влево — рычи, не давай поблажки. А то так — за ногу, это мы стерпим.

А вот эту их прогулку Потёртый себе представил ясно, и представил её Руслан, понявший наконец, чем же так тяготится его подконвойный. И тётя Стюра увидела картину, которую и не чаяла когда-нибудь увидеть,— Руслан, склонив голову, качнув хвостом, приблизился к Потёртому и ткнулся лбом в его колено. Он приник к этой истрёпанной штанине, как приникал к шинели хозяина, когда хотел напомнить, что вот он рядом и всегда готов прийти на помощь, но тут ещё были признание и просьба, с которыми как будто и немыслимо караульному псу обратиться к кому бы то ни было, кроме хозяина: «Я тоже устал этого ждать, но — потерпи. Потерпи!»

— Смотри, привыкать начал! — сказала, изумясь, тётя Стюра.

— Что же он — не живой? Ему, думаешь, так просто расставаться? А ведь тоже, поди, чего-то соображает! Башка-то здоровая, что-то ж в ней есть. Ты не гони его,

* Обидно думать, что слово «зэк» может войти в мировой словарь необъяснённым. Между тем объяснение есть. Вдохновенный созидатель Беломорканала именовался официально — «заключённый каналоармеец», сокращённо — з/к, множественно — з/к з/к. Отсюда зэки дружно понесли своё прозвище на другие работы и стройки, где и каналов никаких не было, и тупая машина десятилетиями так их называла во всех документах, — должно быть, и сама позабыв, при каких обстоятельствах из неё выкатилось это зубчатое «зэ-ка». Истинно, бессмертен тыняновский подпоручик Киже!

он пёсик с мечтой, ещё перекуётся. А я приеду — увидишь, как он меня встретит.

Рука его легла на прижмуренные глаза Руслана. Приторной гадостью так от неё разило, что голова кружилась. Ну, и была это уже вольность, непозволимая даже примерному лагернику. Высвободясь, Руслан ушёл за ворота и лёг там на тротуар. Всё же он думал о подконвойном растроганно и язвясь упрёком себе — за нелепые свои подозрения. Так долго стёрег он эту отбившуюся овцу, а она-то спала и видела, как бы ей возвратиться в стадо!

И на весь следующий день был снят бессменный караул. Ревностный конвоир дал, наконец, и себе полную свободу. Он вдосталь наохотился, набегался по лесам, всласть належался на солнышке — изредка лениво, с чувством собственника, поглядывая с вершины холма на раскинувшийся посёлок: где-то там, в одном из этих симпатичных домиков, сама себя стерегла его главная добыча, бесценное его сокровище. Но часовой механизм, скрытый в его мозгу, лишь казался выключенным; он отсчитывал время свободы, но с прежней неумолимостью, и в предзакатный тревожный час подал Руслану слабый сигнал, чуть слышный толчок в сердце. Что-то было не так. Слишком всё хорошо. Так хорошо, что этого просто быть не может.

Спускаясь с холма, он пытался вспомнить, что же его могло насторожить. Невиданной голубизны платье тёти Стюры? Грустный прощальный блеск в её глазах? Пожалуй, вот этот блеск, только не прощальный он, а обманный! Всегда отчего-то грустят двуногие накануне своего предательства. Если вспомнить получше — по-особенному печальны глаза лагерника, за которым завтра помчишься по тревоге в погоню. Грустные ласковые предатели, они усыпили его!

Ему не пришлось сворачивать с главной улицы — их следы выходили из переулка и удалялись к станции. И совсем недавно они здесь прошли — ещё не развеялись его приторная дрянь и её цветочная терпкость. Запах своего бегства они заглушили этим букетом — и неплохо придумали, это покрепче махорки! Но одну ошибку они всё же совершили, и она не даст им далеко уйти: тётя Стюра надела новые туфли — и тоже тесные, шла

она в них весьма тяжело, а Потёртый как ни нервничал, но приноравливал к ней свой шаг.

Он разыскал их в дальнем конце перрона – и пыл погони слегка поугас. Он ждал застать их в смятении, пугливо озирающимися, они же сидели на скамье согбенные и почти недвижные. Его, примчавшегося с жарким дыханием, они вовсе не заметили. Скрытый фонарным столбом, он прошёл вдоль сетчатой оградки, крашенной в серебрянку, и лёг позади скамьи. Отсюда видны были только их ноги – Потёртый сжимал ими солдатский мешок, туго набитый, тётя Стюра высвободилась из тесных своих туфель и шевелила пальцами. Зато слышал он каждый их вздох и лёгкую хрипотцу в голосе – и вот что уловил скоро: они не собирались бежать вместе.

– На телеграммы не траться,– говорила она.– Ну их в болото, я эти телеграммы на дух не переношу. А напиши поподробней. Ну, уж заставь себя.

– Сразу, как приеду,– напишу.

– Да сразу-то – зачем? Обсмотрись сперва, найди их. Ещё, может, и не найдёшь – всякое ж могло быть. А найдёшь – тем более не до меня будет. Но хоть через месяц вспомни, а то ж я буду думать – под трамвай попал.

– Я напишу, напишу,– повторял он тупо.– Ты не скучай, ладно?

– Да постараюсь. Особо и некогда будет скучать. Я тебе говорила или нет? – уже объявили нам: всю контору туда переводют, где твой лагерь был. Большие дела намечаются. Со следующего месяца обещают автобус пустить. Туда да обратно, да во дворе немножко управиться – смотришь, время и заполнено. Так что, если вернёшься, меня случаем не застанешь – знай, где искать.

Он слушал, чертя по асфальту ботинком, на который, наверно, смотрел.

– Стюра,– перебил он её,– знаешь, я набрехал тогда, что сон видел.

– Ну? Какой сон?

– Будто приснилось мне, что все мои живы и ждут меня. Ничего не сон. А я письмо получил.

Она перестала шевелить пальцами.

– Я тебе про соседа, помнишь, рассказывал? С которым в пересылке встретились. Вместе и сюда ехали, в

одном вагоне. И тут вместе, почти до звонка, он на шесть месяцев раньше освободился, по инвалидности сактировали. Ну, тут не знаю, кому больше повезло. Специальность у него хреновая — формовщик по фасонному литью. А где его тут возьмёшь, литьё, да ещё тебе фасонное! Так всю дорогу — на общих, из лесу не вылезал, килу* оттуда принёс. А я всё же — по хорошему дереву, иногда мебелишку начальнику сообразишь, я же и драпировщиком тоже могу,— ну, так и вытянул, не загнулся. Но настоящей работы никому не делал. Хрена вот вам, паскуды!

— Ты не вспоминай. Тебе жить надо, а не вспоминать. Так что — сосед?

— Так вот, от него я письмо получил.

— Какой ты! — сказала она с обидой.— Разве я враг тебе? Ну, и сказал бы сразу, что письмо. Это же лучше — что письмо. Зато ж ты теперь точно знаешь, что не зря вся поездка.

— Этого не знаю. Я не просил его говорить, что я живой. А просто чтоб намекнул — мол, всякие случаи бывают, иногда и возвращаются. Н-да. Заохали. Забеспокоились.

— Ну, естественно! Обрадовались.

— Нет, этого не пишет, что обрадовались. А пишет — учти, твоя старшая в институте учится.

— Такая уже большая?.. Ну, поздравить можно. Чего ж тут плохого?

— А вот про анкету, чего она там написала, это ему не удалось узнать. Не говорят.

— Да теперь не так их и спрашивают. С нами даже беседу проводили в конторе. Смотрят, но не строго. Ты не волнуйся. Ты скажи — его-то как встретили?

— Про себя-то он больше всего и пишет. Да всё — по-лагерному, при дамах даже не повторишь.

— Сволочи! Ну какие ж сволочи!

Он вздохнул протяжно.

— Тоже я их понимаю. Сами неизвестно как с жизнью справляются, а тут он ещё прикатил — с килой своей да с освобождением, не знаешь, чего хуже. Вот я что

* Грыжа. Так говорят о тяжёлой её форме.

думаю — не покажусь я им сразу. Издаля, по-тихому присмотрюсь. Опять же, соседа вызову, посовещаемся.

— Много он тебе насоветует! Я же всё-таки умная, я же не зря спросила — его как встретили. Нарочно он тебя стращает, за компанию. А у него — своё, ты к себе не примеряй.

— Не-ет, это раньше так было: у каждого своё. А сейчас у нас с ним одно, а у них у всех — другое.

Из того, что говорилось, Руслан выловил, что Потёртый уже раскаивается в своём бегстве, уже бы и вернулся, пожалуй, когда б она его не подначивала,— и как же он сам был прав, как осмотрителен, что не соблазнился её супами! Но ей что-то плохо удавались её подначки, или она не слишком хотела, чтоб удались,— с каждой минутой Потёртый всё больше чувствовал привычный ослабляющий страх, этот беспокойный ботинок выдавал его всего.

— Если бы раньше, Стюра. Если бы раньше!.. Вот не поверишь: получил — обрадовался, а потом все силы куда-то девались. На шкап этот ушли?

— Да при чём шкап? Да пропади он...

— Да, не то говорю. Ещё бы раньше.

— Раньше — когда освободился? Ну, это уже я виновата. Было б мне, только ты явился: «Хозяюшка, нет ли какой работки?» — сразу тебе и врезать: «Иди отваливай! Нá тебе на билет, сколько не хватает; пропьёшь — не заявляйся, убью кочергой!»

— Драпануть надо было с полсрока, вот когда «раньше». Неужели же обязательно — чтоб догнали?

— Ты-то бы наверняка попался.

— Да не страшно — попасться, а что — не дойдёшь. Сгинешь напрасно, как тварь лесная, ползучая. Ведь до дому не дошлёпаешь, чтоб где-то не пересидеть, а мне только домой и хотелось, больше никуда. Своих бы только увидеть глазами. Письма посылаю — нет ответа. Вишь ты, тит его мать, улицу переименовали: то была Овражная, теперь она — маршала Чойболсана. И номер другой, там половина домов сгорела в оккупацию. Так я и говорю — своих увидеть, а там — берите, мотайте ваши срока, да хоть вышку! Но знать бы, где пересидеть, кто бы пожрать дал, на дорожку бы ссудил малость, я б ему отработал. Не ко всякому же постучишься — и чтоб

живая душа оказалась! Знал бы я, что ты тут рядом, под боком, можно сказать, жила...

— Ты опять не то говоришь,— сказала она с тем вскипающим раздражением, с которого начинались их ссоры, доходившие до крика.— Теперь уж совсем не то. Хочешь, я скажу? Жила — только с кем? Нет, это ты не сомневайся — пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — к оперу, сообщить, вот тут они, на станции, день и ночь дежурили.

— Так бы и побежала?

— А как думаешь? Люди все свои, советские, какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо.

— Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?

— Не спрашивай меня. Я тебе не отвечу. Сказала — и хватит. Сказала — чтоб ты знал,— ничего бы у тебя тут раньше не вышло. Успокоила тебя? Ну вот, теперь езжай смело.

Поезд уже показался в вечереющей дали. Немногие отъезжающие потянулись к краю платформы. На станции ударил колокол.

Тётя Стюра поднялась первая и крепко потопала своими туфлями. Потёртый вставал медленно, как бы отклеиваясь от скамьи, с той неохотой в ногах, с какой поднимается от костра угревшийся лагерник на работу в мороз. Да он точно бы и вправду мёрз — в зимней своей шапке и пальто, наглухо замотанный шарфом. Она ему помогла с мешком и торопливо обцеловала лицо. Он её обнял судорожно, уронив мешок с плеча на локоть. И едва он влез на подножку, как вдоль состава загрохотала сцепка и дёрнуло вагон. Потёртый обернулся — испуганный до бледности, до пота на висках, до безумных глаз.

— Стюра!..

— Ничего, ничего.— Она пошла рядом с вагоном.— Я Стюра. Держись давай крепче.

Руслан, вывалив от духоты язык, скосился им вслед. В своей венценосной спеси мы если и зовём их братьями, так только меньшими, младшими,— но любой из нас, из больших, из старших, что бы сделал, окажись он в Руслановой шкуре и на его посту? Он бы кинулся следом? Он бы догнал и стащил подконвойного за полу?

Распластал бы его на асфальте, свирепо рыча? Уже та подножка, где стоял Потёртый, поравнялась со станцией, уже тётя Стюра устала идти за поездом и повернула обратно,— чёрная и плоская, как мишень, неся на плече багровый закатный шар,— а Руслан всё лежал и ждал чего-то, не чувствуя Потёртого отъехавшим, потерянным для себя. Когда полетел и шлёпнулся мешок, он уже мог и отвернуться, мог дальше не смотреть, как она подошла к Потёртому и, чертыхаясь, помогла ему подняться на ноги и как они опять обнялись на опустевшем перроне, точно бы встретясь после разлуки.

Она подвела его к скамье и усадила, а сама стояла перед ним, качая головой и досадливо хмурясь. Потом сняла с него шапку и расстегнула пальто.

— Ну, посиди, посиди. Вот бестолковый — сдали бы раньше билет. Ладно, будем считать — съездил, вернулся. Теперь отдохни.

— Нет,— сказал он, дыша прерывисто, как загнанный.— Будем считать — и не собирался. Куда? На кой? Ты ж пойми меня...

— Я понимаю,— сказала она.

Домой они возвращались долго, присаживаясь чуть не на каждой лавочке у чьих-нибудь ворот. Потёртый нёс свою шапку в руках, она несла туфли. Руслан шёл далеко позади, всё ещё не замеченный ими, не так уж и радуясь этому возвращению. Знали б они, сколько прибавили ему заботы! Что-то же надо было делать с Потёртым, он извёлся, устал верить и ждать, вот и уйти пытался — да понял, что это бесполезно. А там, куда Руслан хотел бы его поселить, где только и мог подконвойный обрести покой, там неизвестно что делалось. Ведь с того дня, как он почуял след хозяина в конце главной улицы, он не переступал этой черты, даже и не задумался, что же там делается, в старой зоне. Карауля одного лагерника, он упустил что-то более важное — и таинственными путями, тончайшими нитями это важное почему-то привязывалось к тёте Стюре, к её речам на перроне. Почему-то же он вспомнил о лагере именно тогда, лёжа позади скамьи.

До поздней ночи, слушая, как они шумят около своей бутылки и как Потёртый всё что-то доказывает слёзно и не может успокоиться, он продолжал вспоминать и

разбираться. Сколько раз он видел, как закатывались в тупик нагруженные платформы, кран поднимал поддоны с кирпичами, длинные серые балки и панели, огромные ящики с чёрными надписями; всё это грузилось на машины и куда-то везлось по знакомой ему дороге. Он для порядка облаивал эти грузовики,— никто ему не командовал: «Голос!», но ведь он служил сам по себе и, значит, сам себе временно мог командовать,— иногда провожал их до того места, о котором так не хотелось теперь вспоминать, и ни разу не догадался промчаться за ними до самого конца! Если б мог он покраснеть, так сделался бы пунцовым от носа до кончика хвоста. Он задымился бы от стыда!

Утро застало его в дороге. С той поры она сильно изменилась, она расширилась и от самого посёлка была устлана мелким светлым щебнем. И где раньше изгибалась по краю оврага, там теперь этот изгиб был выровнен высоченной насыпью, на склоне которой урчал накренившийся бульдозер. В лесу она текла рекою, широко раздвинувшей зелёные берега,— одно бы удовольствие по ней бежать, если б не так было колко лапам. Но в сторонке, среди деревьев, ветвились чудесные тропинки, временами то убегая в чащу, а то опять сходясь к дороге, так что она не надолго терялась из виду. Да он бы и не потерял её, от неё так шибко разило извёсткой и машинным угаром.

Но лагерь его совсем ошеломил, заставил тут же сесть и вывалить язык от страшного волнения. Ничего подобного он не предполагал увидеть. По всему полю, выйдя далеко за старую зону, раскинулись одноэтажные серые корпуса — одни уже с застеклёнными высокими окнами, другие ещё с пустыми проёмами, только лишь подведённые под кровлю, третьи — едва поднимавшиеся над землёй неровными зубцами. Он принялся считать — насчитал шесть, а дальше сбился. Руслан только до шести умел считать, потому что в колонну по пять строили — если подзатёсывался шестой, говорили: «Много!» — и прогоняли его в следующий ряд. Да, пожалуй, лучше было считать, что корпусов много. Но странно: бараков почти не осталось — ну, разве два или три, и те с выбитыми стёклами. Осталась хозяйская казарма, склады и гараж, а вот собачника он не увидел.

Он кинулся искать – ни следа, ни запаха. Люди, которые здесь похаживали и весело его окликали, так всё испакостили своими кострами, пролитым цементным раствором, кислой окалиной, что и приблизительно не определишь, где была кухня, где прогулочный дворик, а где площадка для занятий. Ему даже показалось, что это вовсе не лагерь, а нечто другое, а лагерь куда-то перенесли. Ведь такое дважды случалось на его веку. Леса постепенно редели, и всё дальше приходилось гонять колонны, а жилая зона переполнялась новыми партиями, прибывающими на лечение, и в конце концов происходило великое переселение. Всё начиналось на новом месте буквально с одного забитого кола, но когда всё утрясалось, приходило в порядок, то получалось, что новый лагерь даже просторнее и, например, собакам в нём гораздо лучше живётся – в чистых кабинах, с хорошей тёплой караульной, даже с грелками в каждой постовой будке,– да и лагерники не могли б пожаловаться на крепкие бетонные карцеры, в которых гораздо больше их помещалось, чем в какой-нибудь бревенчатой загородке без крыши. Но в последнее лето всем опять жилось ужасно тесно. Все из-за этого изнервничались, а у лагерников прорезались громкие злобные голоса; они всё чаще собирались толпами и подолгу не желали расходиться. Да даже собаки понимали: переселение – просто назревшая необходимость, иначе что-то да произойдёт. Вот и произошло – до сих пор никого найти не могут.

Нет, это был всё-таки лагерь, а не что-то другое. Ведь всегда на том месте, откуда уходили, ничего не оставалось, одни погасшие головешки да заровненные смердящие ямы. Признаться, Руслану больше понравилось, что на этот раз решили не переселяться, а здесь же и устроиться попросторнее. Ему только показалось, что корпуса подступили к лесу опасно близко, а некоторые даже углубились в него,– пулемётчик на вышке, если и заметит беглеца, не успеет прицелиться, как тот уже скрылся в чаще. Да, впрочем, и вышек не было! И не было нигде проволоки – проволоки, с которой и начиналось-то всё, для неё-то и забивался первый же кол!

Он решил, что её потом натянут, когда всё будет закончено, всё разместится как следует. Может быть, ещё

много придётся вырубить леса, чтоб был хороший обзор. Но где же она всё-таки пройдёт, двойная колючая изгородь? — у него что-то с нею никак не получалось. Лагерь, в его воображении, пошёл разрастаться во все стороны, и проволоку приходилось отодвигать всё дальше, обносить вокруг леса, и вокруг посёлка и станции, и вокруг всего, что довелось Руслану увидеть. Прямо дух захватывало — ведь тогда и луна проклятая окажется в огнестрельной зоне, и хозяева смогут её сшибить или упрятать в карцер! Это было бы славно, вполне хватит фонарей. От них меньше беспокойства и тёмных углов.

Что же ещё не устраивало его, не укладывалось в мозгу? Он знал, что мир велик,— в какую сторону ни побеги, а он всё будет вставать тебе навстречу. Помнилось, как из питомника вёз его хозяин в кабине грузовика и давал смотреть в окошко — как же долго они ехали и как много было всего! Так если мир такой большой, сколько же это кольев надо забить, сколько размотать тяжеленных бухт? А может быть... может быть, настало время жить вовсе без проволоки — одной всеобщей счастливой зоной?

Нет уж, решил он не без грусти, так не получится. Это каждый пойдёт, куда ему вздумается, и ни за кем не уследишь. Невозможно же к каждому приставить по собаке. Людей много, а собака всё-таки редкость. Он, конечно, не имел в виду дворняжек — этих-то больше чем достаточно,— а настоящих собак, служебных, которых нужно отобрать, вырастить, обучить всем наукам. Только после этого собака сможет чему-то научить людей, которые растут безо всякого отбора и ничему не учатся. А кроме того, как это ни печально, некоторых собак, переставших понимать, что к чему, и совсем безнадёжных лагерников нужно же куда-то уводить, в жилой зоне стрелять не полагается, а куда же их выведешь, если всюду зона? Так и так выходило — без проволоки не обойдёшься. А где ж она будет? А где надо, там и будет!

И всё отлично устроилось. Он возвращался, довольный всем увиденным, хоть и слишком припозднился — и поохотиться не успел, и где-то на середине пути ждала его луна, которую пока ещё никто не подстрелил. Да, видно, она не пожелала сегодня выползти, а между тем

что-то светило ему, он хорошо различал и тропинку, и кусты, и деревья. Задержавшись по небольшому делу, он поднял глаза к небу и увидел звёзды. Вон что, решили они ему сегодня светить — ну, прекрасно, пусть светят. Он побежал дальше — и они побежали вместе с ним. Он остановился — и они остановились тоже, терпеливо ждали его. Этот фокус он и раньше знал, но всегда приходил от него в восторг. Он поглядел на звёзды благодарно, хотел что-то дружеское им пролаять — и вдруг понял отчётливо, что поезд, которого так долго ждут они с Потёртым, скоро уже должен прийти.

Яркая вспышка озарила его мозг и высветила видение — самое сладостное из его видений. Никогда не видел он моря, но соль праматери нашей была же растворена и в его крови, и хорошо помнил он, как грозно ревел океан, накатывая бесконечные валы на серую галечную отмель, и взлетали фонтанами всклокоченные дымящиеся гребни, а в тёмном небе носились белые птицы, накликая беду. Посох и белый плащ хозяина лежали на берегу, лежали его верёвочные сандалии и котомка с хлебом и вином, а сам он плавал за полосой прибоя. Он выбился из сил, не мог одолеть ревущий откат волны, он звал на помощь, и Руслан, пролаяв ему: «Я сейчас, продержись немножко!» — бросался в толщу воды, вставшую перед ним стеною. Он пробивал её мордой, ослепший, полуоглохший, слыша только стеклянный скрежет камней, и когда уже воздух рвался из пасти, выныривал и отфыркивался,— а потом плыл к хозяину, полный счастья и гордости, высоко подлетая на гребнях и скатываясь вниз по склону, всё ближе к хозяину, то теряя его из виду, а то вновь отыскивая его голову среди осатаневшей стихии.

Очнувшись, он побежал дальше. Его жгли, подгоняли новые заботы — надо усилить наблюдение за платформой, надо оповестить всех собак. И грызло сомнение — поверят ли они ему, уже давно вызывающему у них одно раздражение? Сами погрязнув в грехе, они рады и за ним заподозрить греховное: уже поймал он слушок, пущенный ими, будто он *служит Потёртому*. Гнусней не могли придумать! Но если взглянуть спокойно, так он действительно подраспустился: подконвойному ткнулся в колено лбом — какой позор! И он уже спохватывал-

ся в испуге: перед Службой, накануне её возвращения, не может ли и он себя кое в чём уличить? Служил ли кому-нибудь, кроме неё? Нет, нет и нет. Ни от кого подачки не взял, ничьей команды не выполнил, никому не повилял. С чужаками — не знался, связей, порочащих служебную собаку, не имел. Минуточку, а что такое было у него с Альмой? Вот именно, с Альмой — без команды, без поводка, без хозяев, которые должны при этом присутствовать. Господи правый, да ничего же у него не было с Альмой! Был трепетный порыв, безотчётное движение души, она с ним бежала рядом, как пристёгнутая, они касались друг друга плечами,— но в голове-то она всё время держала своих щенков, а щенки — это уже её грех, неизвестно, как она из него выкрутится. Право, он жалел Альму, но сам-то он — чист.

Господа! Хозяева жизни! Мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жёсткие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают. Когда бы кто-нибудь взялся заполнить Русланову анкету,— а раньше, поди, и была такая, но канула, вместе с архивом, в подвалы «вечного хранения»,— она бы оказалась радужно сияющим листом, с одними лишь прочерками, сплошными, душе нашей любезными «НЕ». Он — не был. Не имел. Не состоял. Не участвовал. Не привлекался. Не подвергался. Не колебался. По всей справедливости небес, великая Служба должна бы это учесть и первым из первых позвать его, мчащегося к ней под звёздами, страшась опоздать.

И Служба ещё раз позвала Руслана.

5

Он ждал — и дождался. Кто так неистово ждёт, всегда дождётся. И не какой-то счастливец принёс ему эту весть — он сам оказался в то утро на платформе, когда загорелся красный фонарь и чумазый охрипший паровозик, тендером наперёд, закатил в тупик серо-зелёные пассажирские вагоны.

Ещё стучало на стыках, ещё только засипело внизу, под вагонами, а с подножек уже сыпалось, рушилось нечто невиданное, неслыханное — с криками, гомоном, смехом, топотом сапог и бутсов, шлёпаньем тапочек, стуком чемоданов, баулов, рюкзаков. Его оглушило, ослепило, хлынуло ему в ноздри волною одуряющих запахов; он вскочил и помчался, захлёбываясь лаем, в другой конец состава — чего не случалось с ним никогда. Ну, да никогда и не приходилось ему встречать такую огромную партию, и такую странную, голосистую, безалаберную, да ещё наполовину из женщин,— этих-то зачем столько привезли!

Но Служба пришла — и он был готов к ней; уже через минуту он преобразился, сделался упругим, подобранным, пронзительно-желтоглазым; шерсть на загривке вздулась воротником, а уши и живот и кончик хвоста вздрагивали от низкого металлического рыка. И тут же он опять повёл себя неприлично, но уже от радости: схватил и потащил чей-то рюкзак, который у него с весёлым рёготом вырвали за лямки, едва не с клыками вместе, а он не обиделся и стал кидаться на грудь парням, лизать их солёные лица, пока ему не сунули в пасть угол колючего солдатского одеяла,— и на это он не обиделся, хотя долго не мог отфыркаться. Ведь они все вернулись! И притом — вернулись добровольно! Они убедились, что нет никакой лучшей жизни там, за лесами, вдали от лагеря,— что и было известно всем хозяевам и собакам,— и сами радовались своему прозрению.

Однако и про свои обязанности он не забывал — проследить, чтоб все вышли из вагонов, остались бы только проводники в фуражках, и чтоб отошли на два шага и ждали, не сходя с платформы, пока не прибудут хозяева.

Ах, как безбожно они запаздывали, а то ведь уже заранее стояли цепочкой — каждый со своей собакой против своей двери. Здесь, на этой бетонной плите, поездной конвой передавал новую партию лагерному; вновь прибывших сажали друг другу в затылок, и руки они держали на затылках, а между рядами ходили хозяева — выкликали, пересчитывали, ощупывали вещи; лишнее — отбиралось и складывалось на грузовик; если кому-нибудь это не нравилось, в дело без команды вмешивались собаки.

Нынче же всё как-то выходило не по правилам: никто не сел, вещи не положил рядышком, а с ними вместе все куда-то повалили гурьбой,— этим они ему рвали сердце. Но он успокоился, когда увидел, что они и не думают разбегаться, с платформы не спрыгивают, а пошли знакомым путём — по ступеням к скверику. Ему только надо было побеспокоиться, чтоб не больно растягивались, а кого и подтолкнуть лапами и мордой. Эта привычка — подталкивать отстающих — откуда у него взялась? Кто первый придумал? Ингус, наверное, в чью бы ещё башку пришла такая несуразица? Потому что тем, кого он подталкивал, это вовсе не нравилось, он-то их толкал — побыстрей в тепло, а они шарахались и вскрикивали в испуге — будто другой радости нет у собаки, как только покусать, ей бы самой поскорей до тепла добраться. Ну, потом это перенял Джульбарс — и, конечно, всё испортил по своему сволочному обыкновению. Но ведь то — Джульбарс!

На площади, у ограды скверика, все опять сгрудились в толпу, вещи положили на землю и повернулись лицом к станции. Там на крыльце стояли уже два невысоких человечка в одинаковых серых костюмах, с чем-то малиновым под горлом, один потолще, другой похудее. Толстенький лишь улыбался, заложив руки за спину, тощий же водрузил очки на нос, развернул бумажку и стал ей говорить что-то длинное-длинное, иногда выбрасывая руку в воздух, как будто кидал апорт, и повторял после пауз — разика два или три: «И вот вы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Потом он сложил бумажку, и как раз в это время толстенький достал руки из-за спины и похлопал в ладоши. Тогда и все стали хлопать и кричать «Рра-а!», а самые задние кричали «Вау!» и были этим очень довольны. Потом на крыльцо взошёл один из приезжих, поставил чемодан у ног и тоже развернул бумажку. Своей бумажке он говорил уже чуть покороче и повторял немножко по-другому: «И вот *мы*, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Диковинные слова щекотали слух Руслану — как те, что любил выкрикивать Потёртый, набравшись из своей бутылки: «сандал», «палисандра», «белофинны»... «А кстати,— подумал Руслан,— хорошо бы и его сюда. Может, сбегать?»

Но сбегать-то у него уже не было времени — вот они наговорились, намахались, накурились, подобрали вещи с земли — которых так никто и не проверил! — и начали выстраиваться в колонну. Вот это уже была новость — и из приятных: они сами построились в колонну! Уже сколько правил было нарушено, но самое главное из них — идти не вразброд, а колонною — они помнили и соблюли. И очень довольный, гордый тем, что один конвоирует такую большую партию и знает, куда вести её, он так же привычно, как они, занял своё место — с правой стороны, ближе к голове строя.

Колонна вышла на главную улицу. Она неторопливо текла по её отверделым колдобинам, топча подорожник, пыля тысячью ног, и светлая глинистая пыль оседала на редких тополях и остроколых заборах палисадников. Где-то в глубине рядов тренькнула гитара, скрежетнули гармошки, и тотчас с готовностью выбежала вперёд девица в мужских штанах, коротко стриженная, как мальчишка, и пошла лицом к строю, мелко-мелко выплясывая в пыли и выпевая крикливым надорванным голосом:

Эх, дорожка торна, торна,
Ты дорожка торная!
Милый ждал мово покору,
А я — ни-па-корная!..

Это было неслыханное нарушение, но его совершила женщина, и Руслан потерялся — как с нею поступить. В его колоннах эти существа были диковинной редкостью, и с ними никаких морок не бывало, разве что они чаще отставали, и приходилось их подталкивать. Но зато о побегах они и не помышляли, и в конце концов он к ним проникся безразличием. Он и эту решил не трогать, тем более что от её выбега строй не разрушился. Гармошки меж тем заскрежетали во всю мочь; девица перевернулась вокруг своей оси и опять пошла спиною вперёд, улыбаясь во всё скуластое, обожжённое загаром лицо. Она ещё что-то пропела, но уже совсем беззвучно, потому что мужские голоса густо заревели своё: «Рупь за сено, два за воз, д'полтора за перевоз, ах, чечевика с викою, д'вика с чечевикою», а в других рядах — про «дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону»,

а ещё подалее — что «на заборе сидит кот, поглощает кислород, оттого-то у народа не хватает кислорода».

А в домах приоткрывались слепенькие окошки, и из них выглядывали — кто обалдело, а кто с приклеившейся удивлённой улыбкой; в палисадниках и на огородах женщины с подоткнутыми юбками разгибали спины и вглядывались, прикрывая глаза ладонью от солнца. Белоголовый старик в солдатской залатанной гимнастёрке подошёл к низкому штакетнику и молча, бесстрастно смотрел голубыми выцветшими глазами. Руки его, сжимавшие черенок лопаты, были в крупных венах и так же темны, как этот черенок, и таким же тёмным, в глубоких морщинах, было его лицо, а локти и открытая шея — тонкие и белые, с голубыми прожилками. Старик долго шевелил губами, потом погладил себя по голове и спросил:

— Вы, такие, откуда сгреблись-то? Московские либо? Ай не московские?

— Всякие, папаша! — отвечали ему.— И московские, и брянские, и смоленские. Не видал таких?

— Видал,— сказал старик.— Тут всякие проходили. И брянские, и смоленские. Не пели, однако.

Он улыбнулся щербатым ртом и побрёл к своим грядам.

Так она шла, эта колонна,— горланя, смеясь, перекрикиваясь с посторонними, и от этого счастье Руслана было неполно. Ему не нравились эти новые правила, нарушавшие молчаливое торжество Службы. Но он знал, что должен набраться терпения, эти их крикливость, нервозность, дурашливость пройдут очень скоро, и станут они тихими, большелобыми и большеглазыми, как бы изнутри светящимися. И жалел он только, что не может им сообщить, о чём они даже не подозревают,— какой там для их просветления приготовлен просторный лагерь, какие большие, просто чудесные бараки, где они, пожалуй, все-все поместятся, ну разве что некоторых придётся втолкнуть, а что нет ещё проволоки — то не беда, они же её и натянут. Свою проволоку, которую не прейдут они потом, даже подойти не посмеют, они всегда натягивали сами.

Вдруг он увидел — отовсюду к колонне сбегаются собаки. Они бегут из переулков, из дворов, перемахивают

через заборы, все так похожие друг на друга — с чёрными гладкими спинами и жёлтыми пушистыми животами, с одинаковым — бестолково-радостным — оскалом; даже и языки у них, кажется, на одну сторону вывалены; все ему некогда свои — Джульбарс, Енисей, Байкал, неразлучницы Эра и Гильза, Курок и Затвор, Дик и Цезарь, Серый, Смелый, Седой, Альма со своим белоглазым,— ну, этому-то шпаку что тут за интерес? Да, впрочем, шпак не один прибежал, выкатилась целая орава дворняжек, все эти трезорки, бутоны, кабысдохи, милки и ремзочки, и та, что вовсе без имени. Последним явился Люкс, которого, впрочем, хозяева иначе как Люксиком не называли,— существо Руслану крайне неприятное, сукоподобное по виду, а душой растленное. В драках этот Люксик сразу валился на спину или жаловался Джульбарсу, который ему покровительствовал. А заслужил Люксик это покровительство тем, что выкусывал у него блох, которых у Джульбарса и не было, но Люксик это так изображал, что все их как будто видели. Вот он чем и держался в стае — подхалимствовал и потешал. Теперь он повалялся в пыли, а потом подпрыгнул и клацнул зубами, как бы ловя улетающую блоху,— для этого-то номера он и припозднился. И собаки его приветствовали за это улыбками и хвостами, тогда как Руслана они как будто и не заметили. Ну, да не он первый сталкивался с этим странным обыкновением толпы, которая обожает шута и тайно ненавидит героя.

Пробегая к своему месту, Джульбарс куснул его дружески в плечо. Руслан отвернулся и заворчал, он не забыл той поленницы и хиляка в безрукавке. Он не был завистлив, но сейчас остро и злобно позавидовал Джульбарсу — всегда эта сволочь ходила первой в колонне, а он, Руслан, только вторым, и теперь ему тоже приходилось попятиться. И вышло ему идти у бедра какого-то малого в новых ботинках на толстой резине — вот ещё и резину эту нюхать! И всё же не мог он не почувствовать влажной теплоты у глаз, не мог не признать, что бывшие его товарищи, несмотря на своё отступничество, явились по первому зову Службы. Приплелась даже ослепшая Аза и безошибочно заняла своё место — она ходила четвёртой слева. Всё было сделано, как надо, без суеты, молча. Лаяли одни дворняжки, но те-то свой лай

вели издалека, а как выкатились, то сразу и поостыли — зрелище было им привычное, хотя и слегка позабытое.

Оттого, что всё вышло так просто, спокойно, никто из приезжих не напугался, не стал шарахаться от собак, пристроившихся по обеим сторонам колонны. Кое-кто отважился их погладить — не сказать, чтобы это нравилось собакам, но сносили, чуть только ворча. То ли обленились они, то ли подобрели.

— Мишка, а Мишк! — вдруг заорал этот, на резине, тонкий и с пухлым ещё ртом, совсем мальчишка.— Ты чувствуешь, какой сервис? Какой эскорт!

— От поселкома прислали,— откликался Мишка.— Или непосредственно от дирекции комбината.

— Я и говорю — забота о живом человеке. Интересное кино! Слушай, а может, они и шмотки понесут?

— Это мысль!

Мальчишка и впрямь положил на спину Руслану свой рюкзак. И Руслан, опять потерявшись, тащил этот рюкзак, к общему их веселью, пока мальчишке это не наскучило.

— Мерси,— сказал он, приподняв кепку.— Будем по очереди.

Его соседка потянулась трепать Руслану загривок. Он отворачивался, сдерживая рычание, и думал о том, как мало они поумнели, эти помрачённые, за своё долгое отсутствие. Если так хочется им доставить радость собаке, и непременно руками, лучше бы убрали их за спину.

Те, кто видел колонну со стороны, кто наблюдал это странное шествие людей и собак, стоя на дощатых тротуарах, или из окон, или поверх заборов, те почему-то уже не улыбались, а смотрели молча и хмуро. Понемногу и в колонне перестали смеяться и раздражать собак прикосновениями и кричать без толку, и наступила наконец тишина, в которой слышались только дробная поступь людей и жаркое собачье дыхание. В первый миг тишина показалась Руслану зловещей, пробудила недоброе предчувствие — они о чём-то догадались! Но о чём же, когда и так всё знали наперёд? Может быть, пожалели, что вернулись, раздумали идти, куда их ведут, и сейчас кинутся в побег? Он оглянулся, увидел плутоватую морду Дика, с не зажившей ещё после битья ссадиной, за ним, держа интервал, шёл вперевалку спокойный рос-

лый Байкал, дальше, мелко подёргивая лопатками, трусила Эра; все были заняты делом, для которого родились и выучились, никто не терзался предчувствиями, и он тоже успокоился и посмотрел вперёд — где кончалась улица и взбегала на холм пустынная дорога к лагерю. Он понял — они вернулись! Они по-настоящему вернулись! И то была величайшая минута жизни Руслана, звёздная его минута. Ради неё, этой минуты, жил он голодным и бездомным, грелся на кучах шлака и вымокал под весенними дождями, и ничего не принял из чужих рук — ни еды, ни даже крова; ради неё сторожил Потёртого и презрел хозяина, оказавшегося предателем. В эту минуту был он счастлив и полон любви к людям, которых сопровождал. Он их провожал в светлую обитель добра и покоя, где стройный порядок излечит их от всяческих недугов,— так брат милосердия провожает в палату больного, чей разум пошатнулся от чрезмерной заботы ближних. И эта любовь, и гордость так ясно читались в широкой, от уха до уха, ослепительной улыбке Руслана.

Ещё с этой улыбкой он оборачивался, поражённый мгновенной слабостью, услышав глухое рычание и жуткий, точно предсмертный, человеческий вопль. Ещё он улыбался, когда уже чувствовал себя самым несчастным из псов, всё поняв сразу. Случилось то, чего не могло не случиться, потому что на главной улице посёлка находились все его магазины, торговые палатки и ларьки, и никто не напомнил вернувшимся, что им ни в коем случае нельзя выходить из строя. С самого начала не было хозяев, чтобы прочесть им такую понятную инструкцию — не долдоня в бумажку: «Комбинат... целлюлоза... и вот вы... и вот мы...», а коротко и вразумительно: «Шаг вправо... шаг влево... конвой стреляет без...» А ведь её приходилось читать этим помрачённым каждый день, при каждом построении, потому что к следующему построению они могли и забыть.

Мимо него, прочищая глотку, не спеша протрусил Джульбарс. Он взял с собой Дика. Руслана они оставляли стеречь ещё не потревоженные ряды. А там — уже всё смешалось: злобный лай, вопли укушенных и только ещё от страха, глухие удары — с хрипом, с натужным придыханием,— так бывает, когда бьют под брюхо. В каком-то

оцепенении наблюдал он свалку в пыли, мельканье оскаленных пастей, падающих тел, кулаков и ног, вещей, которыми люди старались отбиться от разъяренных собак. На миг он ощутил прилив азарта, радостно-злобного, всё окрашивающего в жёлтый цвет, но тут же прилив отхлынул, осталась сосущая тоска — оттого, что всё получилось так нелепо. Он вспомнил по рычанию, кто всё начал: ретивая Гильза, любительница крайних мер; она сразу валит и — к горлу. Ну, и тут же, конечно, кидается Эра. Не предупредят, не затолкают обратно в строй — плечом или лбом, не возьмут хоть за коленку для начала... Ох, да мало ли способов заставить человека подчиниться, не беря его за горло!

Он следил за свалкой почти безучастно, озабоченный лишь тем, чтобы никто не вышел из его рядов. Никто поначалу не выходил, и вдруг с криком выскочила девица — соседка того мальчишки на резиновом ходу. Руслан не успел её задержать — да, впрочем, и не увидел в том опасности. Но она вернулась, схватила за локоть своего спутника, совсем как будто остолбеневшего, потащила из строя. Руслан кинулся между ними и прихватил ей коленку. Она отскочила с визгом, немало его удивившим. Даже и молниеносно, когда церемониться некогда, он умел так сомкнуть челюсти, чтобы и кожи не поцарапать. Зато её спутнику, высунувшемуся на полшага, не понадобилось и такого внушения. Руслан лишь привздёрнул дрожащие губы, и мальчик уже стоял где надо, обиженный донельзя, но и напуганный до той же меры. Руслан к нему проникся чувством чуть большим, чем доверие,— хороший мальчик, сразу усвоил, что к чему.

Но тут же он увидел нечто поразившее его: Джульбарса, выбегающего из схватки,— с кровавой пастью, с розовостью в кабаньих глазках, но — уходящего, когда там ещё никакого порядка не было. Поодаль прихрамывал всплакивающий Люксик. Пожалуй, он преувеличивал свои страдания, боевых следов на нём не замечалось, зато на Джульбарсе их было не счесть, и он на них не то что не обращал внимания, он хрипел от восторга!

Мотнув башкою, он позвал Руслана за собой. Они все вместе добежали до угла переулка, но здесь Руслан остановился. Остановился и Джульбарс. Теперь стало видно,

что не от одного восторга он хрипит, но скорей от усталости, что его тушу едва держат дрожащие лапы и так хочется ему прилечь! Теперь, не при хозяевах, он мог это показать. Руслан его понимал — и всё же требовал вернуться. Он знал: собаки будут биться, пока бьётся Джульбарс; пусть он устал, остарел, обленивел, но пусть хоть слышится его командный рык — никто не посмеет уйти. Джульбарс едва выдерживал его взгляд — не выдержал Люксик: забыв про свою хромоту, подскочил к Руслану и с ярой злостью укусил в шею. Джульбарс, освирепев, двинулся покарать Люксика, а тот уже отскакивал, жалуясь, что и так наказан, прихватил невзначай колечко на ошейнике.

Ещё раз они встретились глазами; Джульбарс — даже с какой-то жалостью. Не любил он этого неистового, но тут уже они перестали и понимать друг друга. Ну, накусались вволю — и по домам, дальше — не наше собачье дело, когда хозяева давно отступились. Да наконец, по праву старейшины он освобождал Руслана с его поста. Всё напрасно — неистовый уже возвращался. Джульбарс глядел ему вслед и горестно тряс башкой. Потом, рыкнув на Люксика, чтоб сгинул, пошёл по переулку. Он уходил в свою старость царственной львиной побежкой, роняя каплями свою и чужую кровь, радуясь и тоскуя, что это — в последний раз.

Руслану же предстояло ещё удивиться: он застал свои ряды такими же, как и покинул. Непостижимо и нам, грамотным, но давняя, древняя наша привычка к строю оставила голову колонны почти не разрушенной. Ведь никто не приказал разойтись! Он побежал вдоль рядов, предупредительно рыча, выравнивая, заглаживая строй.

Всё побоище разыгралось у пивного ларька, но теперь оно перекинулось на другую сторону улицы; там почти всей сворой бились собаки, нападая и увёртываясь, иногда отскакивая на дощатый тротуар дух перевести, а хвост колонны всё наползал, топча и давя упавших. Здесь, на его стороне, был как будто порядок. В спокойных позах, спинами опершись на прилавок, стояли трое, держа каждый в одной руке по кружке с жёлтеньким, а в другой по рыбке с завёрнутой шкуркой. Они были из местных и для Руслана интереса не представляли; к тому же они вежливо убрали ноги, давая ему пройти.

Странно, он не увидел ни Эры, ни Гильзы,– хотя где же им ещё надлежало быть? Закон простой – пока одни бьются, другие держат всё остальное стадо. Но он их не слышал и среди бившихся сейчас в смертельной злобе. Зато увидел пролом в штакетнике, куда уходил их след. Когда отсюда выдирали жердинки – побить неразлучниц, так этим лишь облегчили их бегство; какими жердинками их побьёшь – оглобли нужны! Но вот, значит, как – самые ретивые, которые всё и начали, первыми и ушли. А чуть подальше пролома он смог увидеть их работу. Сам ли сюда приполз этот человек, одолев канаву, или притащили его и посадили к штакетнику, но обработан он был на совесть. Обеими руками он держался за горло, сквозь пальцы на белую разодранную рубаху сочилась кровь, глаза были мутны, голубая бледность проступала даже сквозь загар. Это они ещё поспешили, а то бы он не сидел.

Зверь и человек встретились взглядами. Человек сначала силился понять, не в бреду ли он видит клыкастое чудовище, от которого его отделяла лишь канава, потом в глазах появились отчаяние и мольба, по лицу поползли крупные капли пота. Зверь же смотрел с угрюмым укором: ты всё забыл, какой лагерный пёс кинется на лежачего без команды? Он пряднул ушами, что было признаком мира, и отвернулся. И тотчас проскочила женщина – в чём-то цветастом, с белым в руках. Она торопилась к раненому и не заметила Руслана. Но памятью бокового зрения, чуть запоздало, вспомнила его и оглянулась. Появившийся так неслышно и такой спокойный, он испугал её сильнее, чем если бы рычал и кидался. Медленно попятясь, с расширенными ужасом глазами, что-то бормоча, она прислонилась спиной к боковой стенке ларька, а руками машинально сворачивала свою белую тряпку в жгут. Этим-то жгутиком она надеялась отбиться!

Он уже хотел пройти, когда жестокий, дыхание отбивающий удар сшиб его с лап, отбрасывая к той же стенке. Он удержался лишь тем, что привалился боком к коленям цветастой. Дико завизжав, она принялась хлестать его своим жгутиком – от этого он только уверился мгновенно, что её-то ему опасаться нечего.

Кто же из троих, надвигавшихся с искажёнными лицами и увесистыми своими пожитками в руках, ударил его под брюхо? Да, впрочем, это было и не важно. Просто пришло его время вступить. Всех их он оценил одним коротким взглядом. Один был раненый, с прокушенной рукою, только что он лежал, заваленный Байкалом, теперь бредёт, ничего ещё толком не соображая. Другой — невысокий, коренастый, с непроницаемым круглым лицом, на котором почти не видно запухших глазок,— был опасен по-настоящему, таких нелегко завалить, и думают они медленно, поэтому отступать не торопятся. А третий — был его мальчик, его обиженный пухлогубый мальчик с рюкзаком, на резиновых подошвах. Один раз ему простили нарушение, зачем же он снова ввязался? Зачем нападали они втроём, если только один чего-то стоил?

Вот зачем! Они переговаривались со своей цветастой, ободряли её, они шли её выручать. Самое нелепое, что он ей никакого зла не желал, она ему была безразлична. Просто она оказалась между ним и канавой, которую не догадывалась перепрыгнуть или не решалась — ей бы тогда пришлось повернуться к нему спиной. Как же всё глупо сложилось!

Он пошёл на них, оскалясь, слегка припадая на задние лапы. Они отступили — вот уж нападения они не ждали,— но отступили не все. Коренастый остался. Но так ведь Руслан и рассчитывал и для того припадал, чтобы прыгнуть.

Он всё же повалил коренастого, но тот успел выставить круглое плечо, твёрдое, как дерево. Было ошибкой терзать это плечо, но Руслан уже начал стервенеть,— если б тот хоть закричал! Коренастый же молча, не торопясь, высвободил обе руки и взял его за шею. Вот отчего мир делается тусклым и всё внутри обжигает холодом. Бессильно царапая грудь коренастого когтями, он рвался и что было сил напруживал шею, даже не слыша ударов по спине, точно она одеревенела. Услышал лишь, когда обрушилось на голову тяжёлое и плотное и остpым рассекло надглазье. Но, верно, тем же добрым станковым рюкзаком досталось по пальцам и коренастому, хватка его ослабла, и Руслан, рванувшись, высвободился, глотнул воздуха, отскочил к стене ларька. Цветастой там уже не было.

Колонна разваливалась, она превращалась в сущее безобразие, в кошмарную горланящую толпу, которая вся собиралась на той стороне улицы. Оттуда ещё слышались голоса трёх или четырёх собак. Да, всего лишь трёх-четырёх, во главе с Байкалом. Он хороший боец, Байкал, спокойный, храбрый и сильный, он не суетится и долго не устаёт и умеет других заразить своим спокойствием,— но если б то был Джульбарс! Да все бы они легли, но укротили стадо.

Однако ж те трое, с которыми он вовсе не выиграл схватку, опять подступали. Коренастый встал спокойно и молча, даже не держась за своё плечо,— Руслан понял, что дело серьёзно.

Их всех опередил четвёртый, появившийся откуда-то сбоку. Он был в солдатской гимнастёрке и галифе, в солдатских же сапогах, с короткой, соломенного цвета, чёлкой. И по тому, как он подходил, широко расставляя руки, чтобы схватить за ошейник, как говорил, подсвистывая, властно и ласково: «Ко мне, мой хороший, поди ко мне», Руслан догадался, что ему приходилось обращаться с собаками. Прежний Руслан, пожалуй, и послушался бы солдата, но не нынешний, принявший отраву из рук предателя. Солдат из породы хозяев, который был с помрачёнными заодно, был враг ещё хуже, чем они, много хуже!

И вот что видел он краем зрения — Дика, вылезшего из-за чьих-то ног, ковыляющего через всю улицу к подворотне. Переднюю лапу, окровавленную, он держал на весу. А сзади шли двое лагерников и колотили его по спине жердинами. Разъярясь, он оборачивался и кидался, но всякий раз забывая про свою лапу, и с воем валился наземь. Колотили слепую Азу, беспомощно тыкавшуюся в забор,— неужели и она сражалась? И всё это видел солдат — и после этого: «Ко мне, мой хороший»?!

Солдат лишь в последний миг оставил свои попытки, заслонился локтем, и Руслан, впившись в него, вместе с солдатом повалился в пыль. Солдат извивался под ним и стонал, слабо отпихиваясь другой рукой; пожалуй, он сдался, но вокруг собирались его сообщники, они били носками под ребро, хватали за хвост и за уши. Руслан выдержал это и не отпустил локоть. Да всё это было ни к чему, он понял, что не устрашит их, даже

если перегрызёт солдату кость, следующего нужно брать за горло. И едва они замешкались, отскочил рывком — отдышаться, оглядеться.

В совершенном отчаянии увидел он Альму, уходившую в пролом,— право, её белоглазый уходил достойнее, сумел даже тяпнуть хорошенько лагерника, наседавшего с палкой; ему бы ещё выучку, белоглазому, кто ж за ногу берёт, когда палка в руке! — увидел сквозь проредь толпы Байкала, загнанного уже в переулок, нападавшего оттуда — на две жердины, которые ему с рёготом совали в пасть... Это было всё, он, Руслан, оставался один. Один — чтобы согнать в колонну всё разбредшееся, орущее, вышедшее из повиновения стадо! — и хоть не до лагеря довести, на это он уже не надеялся, но удержать здесь до подхода хозяев — должны же они были когда-нибудь появиться!

Сзади его прикрывала стена ларька. Тех троих у прилавка можно было не опасаться — за всё время они, кажется, не переменили поз и смотрели на происходящее с похмельным изумлением,— не опасаться и той женщины, что стоит за забором, опершись на лопату и скорбно сморщив лицо, коричневое от солнца. Опасней всех был солдат, уже севший в пыли, прижав к животу прокушенный локоть,— этот-то кое-что знал о Службе и мог их всех, подлый предатель, подговорить, научить,— но, кажется, он слишком занят своей раной. И ещё оставался низкий забор, через который можно перемахнуть при случае, обхитрить погоню, забежать с другой стороны. Вот вся была его опора. А толпа надвигалась уже на него одного, сходилась полукругом, со злобными лицами, с палками и тяжёлыми своими пожитками в руках.

Он зарычал — грозно, яростно, исступлённо, показывая, что не шутки он с ними будет шутить, но убивать их, и сам готов умереть,— и пошёл на них, оскаливая дрожащие клыки. Они остановились, но не отпрянули. Нет, он не устрашил их. Напрасно он кидался — то на одного, то на другого,— они увёртывались или выставляли вперёд рюкзаки, заходили со стороны и пыряли жердинами в бока, или нарочно открывались, дразня своей досягаемостью, чтоб сунуть ему в пасть брезентовую куртку или плащ. Он понял — они его нарочно вы-

матывают, пока другие, за их спинами, разбегаются кто куда.

Хоть одного из них нужно было взять по-настоящему. Так его учили хозяева, учил инструктор и серые балахоны: лучше взять одного по-настоящему, чем кое-как пятерых. Но он видел мир уже сильно жёлтым — жёлтыми траву и пыль, жёлтым синее небо полудня, жёлтыми их лица и свою же кровь, сочащуюся из рассеченного надглазья,— а в таком состоянии не было ему врага опаснее, чем он сам. Он выбрал мальчика, который отчего-то больше всех его злил, хотя держался поодаль и только смотрел,— но, может быть, потому и выбрал, что это бы всех поразило сильнее и удержало б надольше. И когда двое к нему кинулись, он их обхитрил, проскочил между, кинулся к своей жертве.

Длинное тело Руслана вытянулось в прыжке, неся впереди оскаленную, окровавленную морду с прижатыми ушами. Но ещё в прыжке он почувствовал, что промахнётся. Он видел теперь одним глазом, другой ему залила кровь, и он не рассчитал расстояния, прыгнул слишком рано. Мальчик вскрикнул дико, совсем по-звериному, и звериный, мгновенно в нём проснувшийся инстинкт согнул его тело почти вдвое. Руслан, проехав по нему животом, перевернулся через голову и покатился в пыли. Тотчас же, не давая встать, упали ему на спину две жердины, и кто-то, невесть откуда взявшийся, с размаху, со всей силой, обрушил на спину тяжёлый, окованный по углам баул.

После такого удара — какая же сила поднимет зверя с земли? Страх перед новым ударом? Но больше они его не били, и он почувствовал: останься он лежать, его уже не тронут. Страх за детёнышей — поднимет, но их не было в жизни Руслана, и не знал он этого чувства. Зато другое он знал, нами подсунутое,— долг, который мы в него вложили, сами-то едва ли зная, что это такое,— и этот-то долг его понуждал подняться.

В пасть ему набилось пыли — задыхаясь ею, откашливаясь, он неимоверным усилием выпрямил передние лапы и сел. Но большего не смог — и не этим ужаснулся, а что они сейчас догадаются. Они сошлись совсем близко, он мог бы их достать, но не делал этого, а только вертел головой, скалясь и хрипло рыча.

— Хрен с ним, ребята, не надо дразнить,— сказал солдат. Он всё сидел в пыли, раздирая рукав и заматывая локоть.— Он служит.

— Никто не дразнит,— сказал мальчик. И возмутился: — Так это он, оказывается, служит? Какая сволочь!

— Да никакая,— сказал солдат.— Учили его, вот он и служит. Дай бог каждому. Нам бы с тобой так научиться.— Он усмехнулся, кривясь от боли.— А я, между прочим, себе бы такого взял.

— Так он же и вас как будто...

— Вот за это бы и взял. Не суйся! Не хозяин!

Солдат стал затягивать зубами узелок на рукаве. Мальчик подошёл к нему.

— Вам помочь? Там уже машину вызвали. Человек двадцать раненых!

— Ну, раз машину,— сказал солдат,— значит, без тебя и помогут. А о потерях, друг мой, всем так громко не сообщают. Просто говорят: «Есть потери».

Руслан сидел, изо всех сил упираясь лапами и опустив голову. Изредка он ещё рычал — напомнить, что он не сдался,— но не понимал, почему они медлят. Или не догадываются, что встать он не может?

Таким его и увидел Потёртый — сидящим в крови, жалким и страшным. Бока его вздымались и опадали, дымясь. А задние лапы были откинуты в сторону так нелепо, с такой странной гибкостью в спине, которая заставляла думать, что в позвоночнике появился сустав. Но то была ошибка Потёртого, роковая для Руслана.

— Хребтину-то зачем было ломать? — спросил Потёртый.— Это ж не обязательно. Эх, молодость! Любите вы драться, ребята. И — насмерть! И — насмерть!

— Да, погорячились,— сказал солдат.

— Вы ещё говорите! — опять возмутился мальчик.— Тут такое было! Вы же не знаете.

— Какое тут было,— сказал Потёртый,— это уж я знаю, тебе не пришлось.

— Оба знаем,— сказал солдат.

Потёртый подошёл к Руслану, хотел его погладить. И страшная эта голова поднялась, привздёрнулись дрожащие губы, и обнажились клыки. Обычно бывало достаточно такого предупреждения, чтоб человек всё понял и стал на место. Потёртому, впрочем, чуть больше можно было отпустить времени — чтоб свыкнуться с мыс-

лью, что никогда, ни одной минуты, не был он хозяином Руслану.

Потёртому этого времени не понадобилось. Он отшагнул в строй быстро, как только мог,— или на то место, которое прежде было строем.

— А ты её не забыл,— сказал солдат, усмехаясь,— службу-то помнишь! Только ещё — руки назад.

Потёртый ему не ответил.

Должно быть, и мальчик что-то понял, он смотрел грустно и задумчиво.

— Да, но что же с ним делать? — спросил он, глядя на всех растерянно.— Так же нельзя. Надо к ветеринару...

— Ты смеёшься,— сказал Потёртый,— какой ветеринар ему хребет свинтит!

— А это мы сейчас штангиста попросим,— сказал солдат.— Ты, штангист! — Это он окликал коренастого.— У тебя зуб на него ещё не прошёл? Бери лопату и шуруй. Надо, понимаешь? Родина велит.

Коренастый лишь коротко взглянул на Руслана запухшими глазками и пошёл к забору. Женщина сразу послушно отдала ему лопату и отошла. Но ей всё было видно сквозь большие щели в штакетнике.

Коренастый повертел лопату так и этак. Она казалась совсем игрушечной в его могучих вздутых руках. Но, должно быть, ему никогда не приходилось убивать, и он не знал, как это делается, да и не хотел этого.

— Зачем же так? — спросил мальчик.— Неужели тут ружья ни у кого не найдётся?

— Нету,— сказал Потёртый.— Тут ружья никто не держал. Не разрешали.

Все расступились перед коренастым. Руслан перестал рычать и опустил опять голову. Он увидел, как ноги в пыльных сапогах расставились пошире, мелькнула тень от взнесённой лопаты, и внезапно его охватила ярость — уже своя, нами не внушённая. Уже он понял, что никого ему не удержать, они его победили,— но за свою жизнь зверь сражается до конца, зверь не лижет сапоги убийцам,— и он, вскинув голову, рванулся навстречу лопате и схватил клыками железо.

Как ни было это больно, но зато он увидел побледневшее лицо коренастого, растерянность в его запухших глазках.

— Ну, силён! — сказал коренастый, вырвав лопату и усмехаясь виновато, как усмехался, наверное, когда его упражнения не давались ему с первой попытки.— Ну, чего с ним делать?

— А чего делаешь, то и делай,— сказал Потёртый.— Надо ж добить. Не жилец он. Некуда ему жить.

Коренастый, быстро багровея, снова занёс лопату. Он зашёл сбоку, где Руслан не мог его видеть, и опустил её с хриплым выдохом, наискось. Руслан, обернувшийся на этот выхрип, ещё успел увидеть, как она блеснула — тускло и холодно, как вылизанное донце алюминиевой миски...

Потом они вдвоём, коренастый и мальчик, взяли его за передние лапы и поволокли к канаве, оставляя прерывистую красную дорожку, спекавшуюся пыльными шариками. Но, поскольку владельцы домов активно возражали, чтобы против их окон оставляли падаль, им пришлось тащить его далеко за крайний дом и там сбросить с насыпи, нарытой бульдозером.

Туда же швырнули лопату, испачканную слюной и кровью.

6

Слепая Аза вылизала ему раны на боках и спине и страшную глубокую рану около уха, повыла над ним, судорожно вздымая к солнцу безглазую морду, и ушла — не надеясь, что Руслан вернётся из своего забытья.

Однако он вернулся. Покажется невероятным, что с контуженной спиной, опираясь на передние лапы, а задними лишь едва подгребая, он одолел и щебёночную насыпь, и весь обратный путь до станции. Но так покажется, если не знать, как упорно, устремлённо и безошибочно уползает любая тварь, застигнутая несчастьем, туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Пожалуй, будь Руслан в сознании, он не стал бы этого делать. Но сознание его померкло, и лишь одно в нём держалось — тот закуток у каменной оградки, между уборной и мусорным ящиком, где перемог он тогда отраву.

Послеполуденный зной загнал людей под сень ставень, в прохладу комнат с обрызганными водой полами,

на улице ни души не было. Ополоумевшие от жары дворняги дремали в будках и под крылечками и не подавали голоса, когда Руслан проползал мимо их дворов по деревянным мосткам. Но ближе к сумеркам, выдрыхавшись, они проявили к нему интерес. Они-то его и привели в чувство. Ко всему случившемуся, ему предстояло подвергнуться ещё и этому страданию, самому унизительному,— его ещё должны были потрепать эти милки и чернухи, эти бутоны и кабысдохи, которыми некогда он пренебрёг. Не знал он, как уязвил их самолюбие. Не учёл и подлейшего собачьего свойства,— да, впрочем, наверно, и объяснимого для этих маленьких существ, не способных себя защитить и часто унижаемых человеком,— нападать скопом на поверженного, обессиленного, и чем крупнее он, тем с большим азартом и наслаждением.

Но странно, зачастую атаки их кончались ничем или оказывались слабее, чем он страшился, слыша их клокочущие яростью голоса. Что-то не давало им разделаться с ним вполне. Кто-то могучий, шедший рядом с ним со стороны его ослепшего глаза,— может быть, Альма или Байкал, он не мог теперь узнать по голосу,— всякий раз отбивал их атаки или же частью принимал на себя, а остальной пар эти шавки стравливали, кусая друг друга. Потом их отогнал сердобольный прохожий. Они удалились охотно и очень довольные: в конце концов им и надо-то было куснуть по разику — потом ведь можно похвастаться, что и не по разику!

Немного позднее, одолевая площадь, он увидел своего защитника — и тогда подумал, что, наверно, лучше б было остаться под насыпью. От оравы разъяренных шавок его защищал Трезорка — тот Трезорка, низкорослый и с раздутым животом, от которого помощь принять считал бы он ещё вчера за унижение.

Трезорка с ним был до конца этого пути. И когда не заворачивались в закуток задние лапы Руслана, Трезорка же оказал ему и эту услугу. Теперь с трёх сторон Руслан был ограждён, с четвёртой — надеялся защититься. Трезорка мог уйти. Но он ещё сидел, отдыхая, изредка крупно вздрагивая и всхныкивая — от непрошедших испугов и многих покусов. Что-то ему хотелось узнать напоследок, о чём-то он спрашивал грустными и уко-

ряющими глазами,— пожалуй, вот о чём: «Зачем ты это сделал, брат?»

Руслан попрощался с ним, взмахнув головою — страшной для Трезорки головою, с залитым кровью глазом,— и тот понял, что спрашивать не к чему, нет ответа и самому Руслану. И понял, что надо уйти немедля,— то, что будет сейчас происходить с Русланом, всего страшнее и важнее всего, о чём хотелось бы знать, и этого не должен видеть никто. Он ушёл пятясь, взъерошенный от страха, а завернув за ящик, побежал с воем, которого сдержать не мог.

Иногда видишь, как бежит в надвигающейся темноте по середине улицы собачонка, подвывая судорожно и глухо, будто сквозь сомкнутые челюсти, и будто от кого-то спасаясь, хотя никто за ней не гонится. И покажется, что спасается она от себя самой — за край такой бездны она заглянула неосторожно или по любопытству, куда не надо заглядывать живому, и такой тайны коснулась, от которой зазнобит её в самом тёплом логове. Трезорка унёс с собой лишь начало тайны и уже был приговорён — не согреться, не притронуться к еде, не откликнуться на зов хозяйки, а забиться в самую тёмную и глухую щель, носом уткнувшись в угол и зажмурясь. Но и там не порвётся нить, связавшая его с Русланом, и там не схоронится он и будет коченеть от страха, слыша своё разросшееся, громко стучащее сердце и не зная, что его удары совпадают с ударами другого сердца,— и так будет, покуда то, другое, не остановится; тогда лишь порвётся связь и даст ему, обессилевшему, измученному, забыться сном.

Трезоркин затихающий вопль был не последним звуком, обеспокоившим Руслана. Ещё долго он слышал приближавшиеся шаги и голоса, грохала над самым ухом крышка ящика, шуршало и брякало опоражниваемое ведро,— всякий раз он замирал, затаивал дыхание, но, милостью судьбы, его не замечали. Да и заметив, приняли бы за серую груду тряпья или мусора.

Он ждал ночи, а с нею тишины и безлюдья,— что-то ему необходимо было вспомнить, поймать ускользающее. Обречённый не знать, что с ним произойдет ещё до утра,

он, однако, к чему-то готовился, куда-то ему предстояло вернуться — не туда ли, в чёрное небытие, из которого он явился однажды? И время Руслана потихоньку тронулось вспять.

Замелькали его дни — почти одинаковые, как опорные колья проволоки, как барачные ряды,— его караулы, его колонны, погони и схватки; они так и помнились ему — окрашенные злобной желтизной, и всюду был он узник — на поводке ли, без поводка,— всегда не свободен, не волен. А ему хотелось сейчас вернуться к первой отраде зверя — к воле, которую никогда он не забывает и с потерей ее никогда не смирится; он спешил дальше, дальше и наконец достиг, пробился к ней, увидел себя в просторной вольере питомника, увидел розовые с коричневыми крапинами сосцы матери, заслуженной суки-медалистки, и пятерых своих братьев и сестёр, борющихся, валяющих друг друга на мягкой подстилке. Сквозь сетку, занимавшую целиком стену, видны были яркая зелень, жёлтый песок и пронзительная синева,— а саму сетку они не замечали, не задумывались, зачем она. Но вот к ней подошли с той стороны, отворили сетчатую же дверь, и вошёл он — хозяин. Он вошёл с другим человеком, уже знакомым, который до этого часто приходил с кормушкой для матери и подметал в вольере своей нестрашной метлой. Это впервые Руслан увидел хозяина — молодого, сильного, статного, в красивой одежде хозяев и с прекрасным, божественным его лицом, с грозно пылающими глазами, налитыми, как плошки, мутной голубой водой,— и впервые почувствовал безотчётный страх, от которого не спасала и близость матери.

— Выбирай,— сказал человек с метлой.

Хозяин, присев на корточки, долго смотрел, а потом протянул руку. И вдруг пятеро братьев и сестёр Руслана поползли к этой простёртой руке, покорные, жалобно скулящие, дрожа от страха и нетерпения. Мать, повеселевшая, гордая за них, подталкивала их носом. И только он, Руслан, взъерошился и зарычал, отползая в тёмный угол вольеры. Это он впервые в жизни зарычал — убоявшись руки хозяина, её коротких пальцев, поросших редкими рыжими волосками. А рука миновала всех, потянулась к нему одному и, взяв за загривок, вынесла к свету. Грозное лицо приблизилось — то лицо, которое

будет он обожать, а потом возненавидит,— оно ухмылялось, а он рычал и выворачивался, вздёргивая всеми лапками и хвостиком, полный злобы и страха.

В этом положении ему предстояло узнать своё имя — не то, каким его звала мать, отличая от других своих детей,— для неё он был чем-то вроде «Ырм».

— Как ты его записал? — спросил хозяин.

Человек с метлой подошёл поближе, вгляделся.

— Руслан.

— Чо это — Руслан? Так охотничьих кличут. Я б его Джериком назвал. Хотя есть уже один Джерри. Хрен с ним, пущай Руслан. Слыхал — хто ты есть? Чо крутисси — не доверяешь дяде?

Двумя пальцами раздвинул он щенку пасть и посмотрел нёбо.

— Трусоват вроде,— заметил человек с метлой.

— Много ты понимаешь! — сказал хозяин.— Недоверчивый, падло. Вот кто будет служить. У, злой какой! Аж обоссалси.— И, засмеявшись, щёлкнув больно по голому ещё пузику, положил Руслана в тот же угол, отдельно от всех.— Вот этого пусть покормит ещё маленько. А этих — топи. Лизуны, говно.

И мать, уже не глядя на них, подгребла к себе одного Руслана. Пятерых, отвергнутых ею, положили в ведро и унесли, принесли чужих — оголтело жадных, которые должны были её измучить уже прорезавшимися зубами,— всех она приняла и облизала, преданно глядя в лицо хозяину.

Отчего не кинулась, не загрызла? Увидев себя прежним, беспомощным, он опять не мог понять её ясности, ненаморщенного её чела. Опять, объятый ужасом, рвался спасти своих добрых братьев и сестёр — и падал, придавленный её тяжёлой лапой. Какой же сговор был между нею и хозяином, какую же зловещую тайну она знала, что так покорно отдавала смерти своих детей? — ведь для звериной матери все отнятые у неё детёныши уходят в смерть, и никуда больше!

Та зловещая правда сегодня ему открылась, когда, сбитый ударом, увидел он троих, надвигавшихся с искажёнными лицами, и когда обрушился рюкзак, и когда взлетела лопата, и Потёртый сказал: «Добей». Никогда, никогда в этих помрачённых не смирялась ненависть,

они только часа ждут обрушить её на тебя — за то лишь, что ты исполняешь свой долг. Правы были хозяева — в каждом, кто не из их числа, таится враг. Но и в их числе — разве были ему друзья? Один лишь инструктор, ставший потом собакой, и был по-настоящему другом, но что же он лаял тогда, в морозную ночь, под вой метели? «Уйдёмте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного — враги!» Так всё, что случилось сегодня, провидела она, мудрая сука, обречённая за свою похлёбку рожать и вскармливать для Службы злобных и недоверчивых? Так потому и не терзалась, что знала — те пятеро, уплывавшие от неё в жестяном ведре, удостаивались не худшей участи?

...Всякая тварь, застигнутая несчастьем, уползает туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Но Руслан приполз сюда не за этим, и его не могли бы спасти ни целительная слюна Азы, ни горькие травы и цветы, запах которых он всегда слышал, когда ему случалось приболеть или пораниться. Раненый зверь живёт, пока он хочет жить,— но вот он почувствовал, что там, куда он уже проваливается временами, не будет никакого подвала, не будет ни битья поводком, ни уколов иглою, ни горчицы, ничего не будет, ни звука, ни запаха, никаких тревог, а только покой и тьма,— и впервые он захотел этого. Возвращаться ему было не к чему. Убогая, уродливая его любовь к человеку умерла, а другой любви он не знал, к другой жизни не прибился. Лёжа в своём зловонном углу и всхлипывая от боли, он слышал далёкие гудки, стуки приближающихся составов, но больше ничего от них не ждал. И прежние, ещё вспыхивавшие в нём видения — некогда сладостные, озарявшие жизнь,— теперь только мучили его, как дурной, постыдный при пробуждении сон. Достаточно он узнал наяву о мире двуногих, пропахшем жестокостью и предательством.

Нам время оставить Руслана, да это теперь и его единственное желание — чтоб все мы, виновные перед ним, оставили его наконец и никогда бы не возвращались. Всё остальное, что мог бы ещё породить его разрубленный и начавший воспаляться мозг, едва ли дос-

тупно нашему пониманию — и не нужно нам ждать просвета.

Но — так суждено было Руслану, что и в последний свой час не мог он быть оставлен Службою. Она и отсюда его позвала, уже с переправы к другому берегу,— чтоб он хотя бы откликнулся. В этот час, когда её предавали вернейшие из верных, клявшиеся жизнь ей отдать без остатка, когда отрекались и отшатывались министры и генералы, судьи и палачи, осведомители платные и бескорыстные, и сами знаменосцы швыряли в грязь её оплёванные знамёна, в этот час искала она опоры, взывала хоть к чьей-нибудь неиссякшей верности,— и умирающий солдат услышал призыв боевой трубы.

Ему почудилось, что вернулся хозяин — нет, не прежний его Ефрейтор, кто-то другой, совсем без запаха и в новых сапогах, к которым ещё придётся привыкать. Но рука его, лёгшая на лоб Руслану, была твёрдой и властной.

...Звякнул карабин, отпуская ошейник. Хозяин, протягивая руку вдаль, указывал, где враг. И Руслан, сорвавшись, помчался туда — длинными прыжками, земли не касаясь,— могучий, не знающий ни боли, ни страха, ни к кому любви. А следом летело Русланово слово, единственная ему награда — за все муки его и верность:

— Фас, Руслан!.. Фас!

1963-1965, 1974

Андрею Дмитриевичу
САХАРОВУ

✦

ШЕСТОЙ СОЛДАТ

Комедия
в двух действиях,
восьми картинах,
с эпилогом

✦

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Солдат.
Анджела, любовь Солдата.
Жених Анджелы.
Отец Анджелы.
Надежда, подруга Анджелы.
Капитан — в патруле.
Парикмахер.
Цыганка.
Крестьянин.
Дежурный в красной фуражке.
Афина Паллада, любимая дочь Зевса.
Арес, нелюбимый его сын.
Офицеры, солдаты, патрульные, публика на вокзале, продавцы и покупатели, друзья Жениха, гости на свадьбе.

Действие происходит в наши дни в городе Энске.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Суббота

Картина первая

Платформа вокзала. Только что пришла электричка, и через сцену проходит разнообразная публика. На лавке, подложив под голову чемодан, спит Крестьянин.
Продавцы в ларьках и киосках зазывают.

Мороженщица. Есть эскимо в шоколаде, кто забыл купить, пломбиры фруктовые и сливочные.

Табачник. Лотерейные билетики, ваше счастье стоит тридцать копеек. Мой сосед выиграл «Волгу», не проходите мимо этого факта.

Инвалид с костылём *(у книжного лотка).* Новая книга о шпионаже, массовый тираж в красивой обложке. Капитан Ёлочкин разоблачает матёрого агента. Всего за пятнадцать копеек.

Продавец непонятного товара. Эсс свэжжи гарячшш! Эсс свэжжи гарячшш!

Против толпы, юбкой подметая платформу, идёт Цыганка.

Цыганка. Кому погадаю, судьбу расскажу? *(Стройной девушке.)* Красивая, руками не махай, сына носишь. А брюнета, между прочим, денежное известие ожидает.

Публика, однако, не задерживается. Идёт величественный Дежурный в красной фуражке.

Крестьянин *(вскочил).* Эй, Красная Шапочка, стой-ка! Ну, погоди, гражданин дежурный. Электричка — откудова, не с Мышакова?

Д е ж у р н ы й. Ну, предположим.

К р е с т ь я н и н. Так... А куда ж теперь пойдёт? Обратно до Мышакова?

Д е ж у р н ы й. Отправление в одиннадцать сорок две, до Мышакова без остановки, далее везде.

К р е с т ь я н и н. Далее-то мне куда ж, далее мне не надо. Слышь-ка, а следующая когда будет?

Д е ж у р н ы й. Расписание — висит. Ты что, неграмотный? Второй день меня пытаешь. Что ж вчера не уехал?

К р е с т ь я н и н. Так это... куда оно — торопиться? Всё одно ж я далее не поеду, а в Мышакове так и так буду. Слышь-ка, я тогда ещё покемарю, ладно?

Дежурный уходит. Появляется С о л д а т в тёмных очках, с пустым вещмешком на плече, с фотоаппаратом на другом. Он несколько неуклюж и движется нерешительно.

М о р о ж е н щ и ц а. В шоколаде или сливочный?

С о л д а т. Какой повкуснее...

М о р о ж е н щ и ц а. Шоколадный, ясное дело! Ну, и сливочный тоже хвалют. Бери уж сразу два. Вот молодец солдатик, кто ж нас всегда выручит! Мне бы на пляж поспеть, солнышко не упустить.

С о л д а т. Вы бы и торговали на пляже.

М о р о ж е н щ и ц а. То ж не моя точка, то моя мечта! Ящик раскидала — и загорай. А может, ещё парочку? Я тебе с лёдом заверну, лёду у меня навалом. *(Солдат подставил мешок.)* Ну, видно же сразу покупателя, хорошего человека! Дембель у тебя скоро, домой поедешь. Соскучился, небось?

С о л д а т. В меру.

М о р о ж е н щ и ц а. Есть эскимо, пломбиры, кто забыл купить...

Т а б а ч н и к. С фильтром последние остались, новую партию — не знаю, когда привезут.

С о л д а т *(подставил мешок).* Сыпьте все.

Т а б а ч н и к. На батальон берём? Билетики лотерейные не желаете? Мой сосед «Волгу» выиграл. А другой сосед, металлург,— пианино.

С о л д а т. А вам пока не везёт?

Т а б а ч н и к. Прошлый год — два одеяла канёвых. По пять с полтиной.

С о л д а т. Накройтесь потеплее.

П р о д а в е ц н е п о н я т н о г о т о в а р а. Эсс свэжжи гарячшш!

С о л д а т. Что у вас?

П р о д а в е ц н е п о н я т н о г о т о в а р а. Свэжжи! Гарячшш!

С о л д а т ушёл к лотку с книгами.

И н в а л и д *(сипло)*. Захватывающе интересно, я в два запоя прочёл. До последней страницы неясно, кто такой Ситников.

С о л д а т. Вот это и есть искусство — чтоб до последней страницы неясно было. А кто же он всё-таки, Ситников?

И н в а л и д. Ладно, тебе по секрету. Там такой будет — Боб Джексон, он же — Макс Нидермайер. Так ни то, ни другое, а — Ситников, белоэмигрант. Всё, молчу. Но Ёлочкин тут — просто гений!

С о л д а т. Про Ёлочкина я вроде читал.

И н в а л и д. Так это ж новые похождения! Там, где ты читал, было насчёт кладбища?

С о л д а т. Что-то не припомню.

И н в а л и д. Ну, я ж вижу — не читал! Ты можешь представить? В могиле! В могиле у их тайник был и рация, а крест — заместо антенны. Что ты на это скажешь?

С о л д а т. По-видимому, направленный диполь. Он, значит, поворачивался?

И н в а л и д. Именно что поворачивался! Ну, ты-то специалист, видать, а если — неподготовленный человек? Старушка одна, во время ихнего сеанса, матушку пришла проведать, так как увидела это дело — враз к матушке и отошла. Что ты! Контрразведка с ног сбилась. И если б не Ёлочкин!..

С о л д а т. Беру Ёлочкина, беру! А вот это что у вас, синенькое? «Легенды и мифы Древней Греции». Всю жизнь мечтал, да всё руки не доходят... «Не любит Зевс бога войны, неистового Ареса. Часто говорит он своему сыну, что он самый ненавистный ему среди богов Олимпа... Свиреп, кровожаден, грозен Арес, но победа не всегда сопутствует ему...»

И н в а л и д. Не всегда! Вот я и говорю. Тогда как Ёлочкин...

С о л д а т. Погоди. «Часто приходится Аресу уступать на поле битвы воинственной дочери Зевса, Афине Палладе...» Смотри-ка, любопытно: «Нередко и смертные герои одерживают верх над Аресом — особенно если им помогает вечноюная светлоокая Афина...» Почему ж дочке такое предпочтение? Тоже — воинственная...

И н в а л и д. Ну, это как в семье поведётся.

С о л д а т. Вы так думаете?

И н в а л и д. Читал я эти байки. Нет, стиль, конечно, художественный, всё ж таки древние писали, а вот содержание — спорное. Про что повествование? Из жизни богов, так? Но какие ж это боги, ты меня извини! Громилы первый сорт, сволочь на сволочи сидит, всю дорогу один другому козьки строют. Хуже людей!

С о л д а т. Но похоже, правда?

И н в а л и д. А толку-то? Ты мне изобрази, чего я в жизни не вижу. Завтрашнего человека мне раскрой!

С о л д а т. Так на это у нас — Ёлочкин.

И н в а л и д. Ну, тут двух сомнений быть не может! Где он пройдёт, там трём Штирлицам делать нечего.

С о л д а т. Всё-таки мифы тоже возьму.

И н в а л и д. Валяй, засоряй извилины... *(Кричит.)* Новые похождения капитана Ёлочкина! Контрразведка разоблачает матёрого агента цэрэу! Всего за пятнадцать копеек!

Солдат встретился с Ц ы г а н к о й.

Ц ы г а н к а. Красивый, но в очках, погадаю, судьбу расскажу? Вся она — у тебя на ладони. Положи сюда рупь юбилейный.

С о л д а т. Не знаю, найдётся ли...

Ц ы г а н к а. Два тогда положи. Не жмись, гадание у меня научное. Я и по руке, и в карты смотрю, а зеркальце мои ошибки исправляет. Что ты в него видишь?

С о л д а т. Себя вроде...

Ц ы г а н к а. Ошибаешься, красивый, но в очках, себя видеть никто не может. А теперь сюда посмотри. Человек ты доверчивый, вот линия твоей доверчивости, и через неё ты терпишь огорчения и хлопоты. И упирается она — в бугорок. Это значит, ты должен переменить свой характер, и тебя ожидают удачи и успех в избранном деле. Положи ещё рупь, скажу про марьяжное.

С о л д а т. Одни полтинники остались.

Ц ы г а н к а. Два положи. Ну, один положи, мне самой интересно. Есть у тебя дама со значением, каждый день она новое платье меряет, но ты про неё больше ничего не знаешь, даже какая у ней масть.

С о л д а т. Блондинка, между прочим...

Ц ы г а н к а *(с торжеством)*. Крашеная! Свой волос у ней — тёмный. И ожидает тебя удар от этой дамы и большое разочарование. Познакомишься ты с ней сегодня и свой интерес получишь, но сердце твоё не успокоится. Выпадает направо от твоей дамы король червовый и, хоть не на сердце у неё лежит, но имеет большое влияние. И много он крови тебе испортит, и через него печаль твоя перейдёт на даму. Зато от другой дамы, треф, выйдет тебе удивление.

С о л д а т. Насчёт другой не надо, мне главное — про короля.

Ц ы г а н к а. Что главное, что не главное — знать никто не может. Теперь — куда твоя дорога лежит? А лежит она — в казённый дом.

С о л д а т. Вот удивила, я в нём второй год живу.

Ц ы г а н к а. Казённые дома бывают разные. И такие тоже есть. *(Сложила пальцы решёткой.)* Ещё день не кончится, как ты в него попадёшь, и будет тебя допрашивать воинский начальник с большими усами, и кругом ты перед ним будешь виноват...

По просцениуму идёт п а т р у л ь — смешанный, как обычно в приморских городах. Во главе — пожилой К а п и т а н, с пышными усами, которые он время от времени разглаживает щёточкой, извлекаемой из нагрудного кармана. За ним — импозантный, рослый М а т р о с с карабином. Замыкает шествие — низкорослый и косолапый, подозрительно оглядывающийся П о г р а н и ч н и к с автоматом.

К а п и т а н. Гражданка Червонная! Ещё раз увижу, как вы мне военнослужащих охмуряете...

Ц ы г а н к а. Гонишь меня, а там насчёт тебя совещаются начальники — не пора ли тебе майора присвоить.

К а п и т а н. Пройдите, гражданка Червонная.

Ц ы г а н к а. Большие у начальников сомнения, кто говорит — тебе и капитана много. Иду, иду, сердитый, иду, некрасивый. А дочка твоя — с молодым человеком сейчас. Горячее у них свидание!

П р о д а в е ц н е п о н я т н о г о т о в а р а *(рефлекторно)*. Эсс свэжжи гарячшш!..

К а п и т а н. Рядовой, подойдите. Увольнительную вашу попрошу. Не стыдно суевериями заниматься?

С о л д а т. Виноват, товарищ капитан. Так точно, стыдно.

К а п и т а н. Аппарат в вас — что? Увлекаетесь?

С о л д а т. Есть немного.

К а п и т а н. Мостами, вокзалами, кораблями на рейде и другими объектами, вам разъяснёнными, не увлекаться.

М а т р о с. Между прочим, робу можно оправить. И протезы по швам, с офицером говоришь. Пехота!

С о л д а т. Я — не пехота.

М а т р о с. Ну, технарь. Та же пехота, хоть и реактивная. Образ мыслей пехотный.

К а п и т а н *(воодушевляясь)*. Почему такой неаккуратный солдат? Я такого солдата не понимаю. Не понимаю я такого солдата. Войска в вас — особенные, и в каких условиях воевать придётся — тоже знаете.

С о л д а т *(вытягиваясь)*. В условиях глобальности, быстротечности и истребительности!

Между тем собирается п у б л и к а, жалеющая Солдата.

С т а р у х а с к о р з и н о й. Господи, твоя суббота, а всё солдатику отдыху нету, всё ему службу читают...

М а т р о с. Увы, покой нам только снится.

П о г р а н и ч н и к. Родину, мамаша, обороняем.

Н е к т о в к о м б и н е з о н е. Когда надо — обороним, а ты-то при обозе устроишься, я таких видал.

М а т р о с. Прошу продвинуться на один интервал. И вас попрошу, мамаша.

К а п и т а н *(возвращая увольнительную)*. Как в вас там — всё спокойно?

С о л д а т *(мягко)*. Я ведь не там, я — здесь.

К а п и т а н. А вот насколько мне известно, в вас там — карантин. Странно, что вам дают увольнительную. Это мне, понимаете, странно.

С о л д а т. Мне тоже, товарищ капитан.

К а п и т а н. И как вы объясняете?

С о л д а т. До сих пор – никак. Но если вы настаиваете... По-видимому, начальство решило, что, если на свете исчезнет всё странное, есть опасность умереть от скуки. А вы как думаете?

К а п и т а н. Вы мне, рядовой, не философствуйте. Вам увольнение дадено для отдыха, культурных развлечений и для приведения в порядок личных дел. А философии мне не надо. Можете идти.

П о г р а н и ч н и к. И говорит странно... Мешок бы у него проверить. Пощупаешь как следует – много про человека можно узнать.

К а п и т а н. Задержать, Евсюков, это наше прямое право. А – на каком основании? Основания в нас – какие?

М а т р о с. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Саша Блок, поэма номер двенадцать.

К а п и т а н. А кроме поэмы, товарищ Абордажный, в нас ещё устав имеется караульной, понимаете, службы. И мы его будем сполнять, как положено.

Патруль продолжает своё движение. Матрос задержался около Цыганки.

М а т р о с. Вопрос к вам, гражданка Червонная. Не в порядке гадания, а так, любопытства ради. Когда вы совершаете ваши прогнозы, вы учитываете поправочку на вмешательство высших сил?

Ц ы г а н к а. Это мне не требуется. Мне бы сразу характер клиента распознать, а что с ним в нашем городе может случиться, то уж наперёд известно.

М а т р о с. Допускаю. Относительно штатских. Но вот – солдат. Он себе не принадлежит. Путь солдата запрограммирован свыше. Вы и про него всё знаете?

Ц ы г а н к а. В мирное время – вперёд на сутки. Я так скажу, красивый и во всём красивом: страшнее взводного у солдата начальства нету, и раз он ему увольнение выписал, то всё дальнейшее только от меня зависит.

М а т р о с. Прелестно, прелестно...

Патруль уходит.

Ц ы г а н к а. Солдатик, что же ты ушёл? Ручку позолотил – и ушёл. Я ж тебе не всё сказала.

С о л д а т *(вернулся)*. Не многовато для первого разу? Научила бы лучше, как мне казённый дом обойти.

Ц ы г а н к а. Это — никак. Загаданного не минуешь. Но и ты, красивый, в долгу не останешься — сваришь своим врагам щи из топора.

С о л д а т. Слышал, но не представляю — это как же они варятся?

Ц ы г а н к а. Злой будешь — догадаешься.

С о л д а т. Но нужно же как минимум иметь топор.

Ц ы г а н к а *(уходя)*. Эх! Солдат, а не знаешь, где у тебя чего. Может, он в мешке у тебя, ты пошарь, пошарь...

М о р о ж е н щ и ц а. Есть эскимо, пломбиры, кто забыл купить...

Т а б а ч н и к. Сигареты с фильтром, камни для зажигалок, лотерейные билетики. Не проходите мимо вашего счастья!

И н в а л и д. Новые похождения контрразведки! Разоблачают матёрого агента!

П р о д а в е ц н е п о н я т н о г о т о в а р а. Эсс свэжжи гарячшш!..

Картина вторая

Витринный зал в Доме моделей. В витрине стоят манекены — одетые и неодетые, за ними видна пустая улица. Н а д е ж д а перед зеркалом конструирует на А н д ж е л е подвенечное платье, закалывая его булавками. Фата свисает с прилавка.

Н а д е ж д а и А н д ж е л а *(поют)*.

Узнай же ты, что в нашем тихом крае
Жизнь не стоит, она идёт вперёд,
Что без тебя известный Колька-фрайер
Мне вот уж год проходу не даёт.

Кто-то стучится в не видимую нам дверь.

А н д ж е л а. Ну кого ещё там черти!.. Табличка же висит, а — лезут.

Н а д е ж д а *(кричит)*. Перерыв у нас, обедаем!

А н д ж е л а. Сколько там набежало?

Н а д е ж д а *(смотрит на часы)*. Без пятнадцати не нашего.

А н д ж е л а. Скоро ж это день кончится? Тянется как не смазанный...

Н а д е ж д а. Бога не гневи, Анджелка, ведь на себя работаешь.

А н д ж е л а. На себя тоже выматываться ни к чему. *(Смотрится в зеркало.)* Поглядеть страшно, кошка драная, под глазами круги. Ох, в наше время не красят женщину переживания!

Поют — согласно, тоскливо.

...А за окном кудрявую рябину
Отец срубил по пьянке на дрова-а.

В витрине появляется С о л д а т, прижимается лицом к стеклу, делает какие-то знаки.

А н д ж е л а. О, явился, не припылился!

Н а д е ж д а. А я-то думаю — суббота у нас или пятница? Оказывается — суббота. Только он припозднился чего-то. Ты говорила — по нему часы проверять.

А н д ж е л а. Патруль небось задержал. У них же всё по струнке. *(Вне связи с предыдущим.)* Сегодня мне ещё укладку делать...

Н а д е ж д а. А он симпатичный... Только почему в очках?

А н д ж е л а. Наверно, нестроевой.

Н а д е ж д а. И смотрит так жалобно. Впустим? Может, у него увольнительная кончается...

А н д ж е л а. Завтра. В двадцать три ноль-ноль.

Н а д е ж д а. А у тебя и с солдатом, поди, роман был?

А н д ж е л а. Не было у меня солдата.

Н а д е ж д а. А вот у меня — был.

А н д ж е л а. Я тебя умоляю!

Н а д е ж д а. Нет, ну что значит «был»? Просто он со мной переписывался. По вторникам. Такой, значит, лейтмотив: «Опять вы мне снились». Руку и сердце предлагал, как демобилизуется.

А н д ж е л а. Но потом как-то забыл, верно? Тогда это несущественно.

Н а д е ж д а. Нет, я этого не вынесу. Пойду открою.

А н д ж е л а. Валяй, повеселимся...

Надежда пошла открывать. Анджела подходит к витрине. Она и Солдат смотрят друг на друга в упор. Медленно изогнувшись, положив руку на бедро, она принимает соблазнительную позу. Потом делает знак Солдату, чтоб шёл к двери, и возвращается к зеркалу.

Н а д е ж д а *(привела Солдата)*. Просто я вас не узнала сразу. А мне Анджелка говорит: «Кто к нам пришёл! Такой знакомый силуэт!»

А н д ж е л а. Я тебя умоляю! Больше мне делать нечего...

С о л д а т. Её зовут — Анджела? Не знал...

А н д ж е л а. Ну, вот узнали. Дальше что? Зачем пожаловали? Что-нибудь к свадьбе заказать? Для себя? Для невесты? У нас большой выбор.

С о л д а т *(сильно смущаясь)*. Ну, если такой большой, я бы выбрал — невесту. Нехорошо я пошутил?

А н д ж е л а. Нет, ничего. Оригинально. Нравится вам невеста?

С о л д а т. Просто... чёрт знает как!

А н д ж е л а. И вы, значит, пришли...

С о л д а т. Хоть посмотреть на вас.

А н д ж е л а *(смягчившись)*. Но ведь это же можно и в рабочее время, не обязательно в перерыв. Сидите себе и поглядывайте, раз у меня такая работа. Для вас я даже могу в профиль повернуться или в три четверти.

С о л д а т. Эту стадию мы прошли.

А н д ж е л а. Что вы говорите! Я как-то вас не замечала. Теперь вы меня в кино пригласите?

С о л д а т. Лучше — в цирк.

А н д ж е л а. Вам, наверно, циркачки нравятся. Фигурки ничего бывают.

С о л д а т. Но вы же знаете — у вас куда лучше.

А н д ж е л а. Лично я на себя критически смотрю. А что ж вам тогда интересно в цирке?

С о л д а т. Зверушек посмотрим. Вдруг они, на наше счастье, укротителя съедят. А то он всё по ним плёткой...

А н д ж е л а. Он же их за это мясом кормит... А вы правда из-за меня так далеко ездите?

С о л д а т. Почему вы знаете, что далеко?

А н д ж е л а. Вот у вас мешок.

С о л д а т. А... Это я на весь взвод покупки делаю, по списку. Никого не пускали, ну, а я уж очень просился...

А н д ж е л а. Очень просились? Надин, ты чего там ищешь?

Н а д е ж д а. Ножницы где-то посеяла.

А н д ж е л а. А это что? *(Подняла с пола.)*

Н а д е ж д а. Тупые. Схожу там поищу. *(Вышла.)*

А н д ж е л а. Ну сходи. *(Солдату.)* Я что хотела спросить у вас. Я вам, наверно, снилась?

С о л д а т. Нет...

А н д ж е л а. Ну, так у нас ничего не получится. Я думала, что снилась. И вы уже с каким-то отношением ко мне пришли. А вы... Просто даже странно.

С о л д а т. Но это, наверно, следующая стадия?

А н д ж е л а. Ну да, а фактор времени вы учли? Знаете, я чего завтра делаю? Вот вы думаете, это платье я для показа примеряю? О нет, мой друг, для себя.

С о л д а т. Но ведь это же — завтра.

А н д ж е л а. Чудной ты, я тебе скажу!

С о л д а т. Вот видишь, мы уже на «ты».

А н д ж е л а. Да? Ну, это случайно вышло. Ну, фиг с ним, давай на «ты». А имя у тебя есть? Или ты просто — солдат?

С о л д а т. Солдат Миша.

А н д ж е л а. Так вот, солдат Миша, у меня жених есть.

С о л д а т. Какое это имеет значение?

А н д ж е л а. Я тебя умоляю! Жених, по-твоему, так себе? От него и погулять можно? А если я его люблю?

С о л д а т. Если б любила, ты б сказала: «парень», «возлюбленный». На худой конец — «милёнок». А то — «жених». Это как чин какой-то. А на самом деле — пустое место. А ты вечером что делаешь? Какие планы?

А н д ж е л а. Надька, ты куда там исчезла?

Н а д е ж д а *(из другой залы)*. Ищу-у!

А н д ж е л а. В шкафу там, в нижнем ящике. *(Солдату.)* Совсем странный вопрос. Что вечером делают перед свадьбой? В парикмахерскую, например, сходить. А то совсем старухой буду выглядеть.

С о л д а т. Этого нельзя допустить! Но ты к себе очень плохо относишься, правда. Говоришь не то, что думаешь. Делаешь не то. Любишь — не тех, кого хочется. Так можно в два года состариться. Вот я всё время

наблюдал — какая же ты на самом деле. Ты неужели меня не видела?

А н д ж е л а. И какая же я на самом деле?

С о л д а т. А чёрт тебя знает... Наверно, очень добрая, милая, умная. Только ужасно усталая.

А н д ж е л а. Вот это правда. Тут всё-таки вредное производство.

С о л д а т. Для других, может быть, и не так, а для тебя — гибель. Ты не заметишь, как у тебя маска сделается, а не лицо. Это так жалко!

А н д ж е л а. А вообще-то я — ничего, да?

С о л д а т. Просто нет слов. Я такой не видел ни разу.

А н д ж е л а *(смеётся)*. Ну ладно... Хватит врать. А приятно с тобой беседовать. Умный ты, начитанный.

С о л д а т. Больше, чем нужно.

А н д ж е л а. Что ж в институт не пошёл?

С о л д а т. В какой?

А н д ж е л а. Господи, в любой!

С о л д а т. В любой — не хотел. А пока раздумывал, тут меня и призвали.

А н д ж е л а. Ну, ты не огорчайся, ещё наверстаешь. Вот у меня жених, он постарше тебя, в педагогический поступил заочно. Без отрыва науку грызёт, представляешь? Для меня такие люди — я не знаю, просто на пьедестале!

С о л д а т *(подхватил её, усадил на прилавок)*. Вот так, да?

А н д ж е л а. Я тебя умоляю! Ты себе отдаёшь отчёт? Я же вся рассыплюсь!..

С о л д а т. Так как насчёт вечера, Анджела?

А н д ж е л а. Ты психованный какой-то, всё у тебя всерьёз! Ну, не могу я сегодня!

С о л д а т. Завтра же будет поздно.

А н д ж е л а. А что же раньше не приходил?

С о л д а т. Я приходил. Только не осмеливался.

А н д ж е л а. А! Ясное дело, засватанная девка всем мила. Теперь осмелился, да поздно. Нужно быть мужчиной!

С о л д а т. Вот! Теперь ты говоришь то, что думаешь. Я там буду ждать, напротив.

А н д ж е л а. Надька, ты скоро там? *(Солдату.)* Жди... Да всё это, мой милый, ни к чему.

С о л д а т у. Раз ты сказала: «Жди, мой милый...»

А н д ж е л а. Я отдельно сказала «жди», а отдельно — «милый».

С о л д а т. Мне послышалось вместе.

А н д ж е л а. Вот именно, послышалось. Мы же с тобой люди реальные, правда?

С о л д а т. Как хорошо ты сказала: «Мы с тобой»!

А н д ж е л а. Иди к чертям! *(Соскочила на пол — в его объятия.)*

Н а д е ж д а *(входит)*. Понравилась Анджелка? Она — не просто так, её любить нужно. Только она уже невеста. Это ничего?

А н д ж е л а. Мы уже тут всё выяснили, пока ты ходила. Это не имеет никакого значения. Главное — всегда делать, что хочется.

В дверь, не видимую нам, стучат.

Ну вот, повеселились, отдохнули душой. Иди открывай...

Надежда выходит.

А тебе — зачем уходить? Надин тебя в зал проведёт, посмотришь. Что у нас сегодня по плану? Моды на курортный сезон... тот самый случай! Пляжный ансамбль, девиз — «Подкопаемся под Диора». Между прочим, есть у меня такой жестик один, я выучила. Вот так голову наклоняю и сбрасываю накидку, как будто под ней — ничего. Такой полустриптиз по-нашенски. Мужики — усидеть не могут, так и ёрзают. У других не получается, а весь секрет, что я в это время так себе и представляю, что на мне — ничего.

С о л д а т. Полустриптиз — не буду смотреть.

А н д ж е л а. А напрасно. Учти, когда модель специально приглашает, это ценится очень.

С о л д а т. Всё равно — не буду.

А н д ж е л а. Слушай... Ну, я не знаю, что делать. Честно тебе говорю — не знаю, как нам с тобой быть. Лучше б ты не приходил.

Через залу потянулись п о с е т и т е л и, с интересом разглядывая эту странную пару.

С о л д а т. Я буду тебя ждать, Анджела. Хоть три часа, хоть четыре, хоть до завтрашнего вечера. Ещё не поздно, Анджела! *(Идёт, раздвигая толпу, и оборачивается.)* Анджела!..

А н д ж е л а *(спиною к нему)*. Анджела тебе всё сказала.

Солдат уходит. Публика тоже прошла. Входит Н а д е ж д а.

Надин, помоги мне это снять. А то ведь я всё порву невароком. Я же себя знаю...

Картина третья

Комната в одноэтажном домике. Из окон видна зелень в палисаднике, освещённая закатным солнцем. В продолжение сцены постепенно темнеет, пока не включается люстра. Это такой дом, где стол накрыт тяжёлой скатертью с бахромой, на стенах журнальные иллюстрации, в серванте высится горка посуды, а телевизор накрыт салфеткой. С о л д а т обнимает А н д ж е л у.

А н д ж е л а. Так я укладку и не сделала... На каком свете мы живём? Вчера ещё я тебя не знала. Что я, утром ещё не знала!

С о л д а т. Я тебя давно знал. Всю жизнь.

А н д ж е л а. А не приходил. Ну что б тебе было раньше осмелиться! На неделю бы раньше.

С о л д а т. О чём нам теперь жалеть, скажи на милость?

А н д ж е л а. Тебе — ни о чём, ещё б не хватало, чтоб ты тревожился. Я уж одна буду ответ держать. Ведь он тоже не заслужил, чтоб его обманывали. Так что я за троих теперь должна думать. Ладно, плевать... Слушай, ты есть, наверно, хочешь? Миленький, что же ты молчишь?

С о л д а т. Ничего я не хочу. Иди сюда.

А н д ж е л а. Да уж, куда денусь... Ох, такая я реальная, просто сил нет, всё знаю, как с вашим братом похитрее обойтись, а с тобой — куда только разум девался!.. Мы никому не скажем, да? Всё между нами, правда?

С о л д а т. А если спросят?

А н д ж е л а. Кто посмеет? Да ничего у нас уже не отнимут!.. А ты, когда постучался, знал, что так будет?

С о л д а т. Нет.

А н д ж е л а. Врёшь ведь, вы всегда всё знаете.

С о л д а т. Вру.

А н д ж е л а. Ну, господи, какой хороший! Взял и сознался. А как ты это знал?

С о л д а т. Цыганка нагадала.

А н д ж е л а. Правда? Фу, чепуха какая! Откуда ей что известно, она же меня не видела? А хотя... знаешь, я тоже как-то предчувствовала — в последний день, перед свадьбой, что-то да произойдёт.

С о л д а т. Анджела...

А н д ж е л а. Так ты меня по имени любишь называть, я заметила. А может, всё-таки поешь? Ну что мне для тебя сделать?

С о л д а т. Ничего. Не мелькай. Я тебя из виду не хочу терять.

А н д ж е л а. Милый, но ведь жизнь опять начинается, мельканье. Нельзя же всё время — глаза в глаза.

С о л д а т. Ну, хоть минуту ещё...

Обнялись судорожно, как перед разлукой.

А н д ж е л а (*отстранилась*). Подожди.

За окнами слышны голоса, шаги, шелест ветвей.

По мою душу идут. Отец со смены. И этот... жених. Ну да, жених у меня. Вот уж не думала, что и он сегодня... Пойду встречу. Ты только не спеши, ладно? Я что-нибудь придумаю. Иначе ты меня предашь. Не предавай меня.

С о л д а т. Я знаю, что делать.

Анджела вышла. Солдат быстро надел ремень, застегнул ворот.

А н д ж е л а (*появляется*). Я скажу — ты Надькин знакомый.

С о л д а т. Думаешь, так лучше?

А н д ж е л а. Ой, ну не знаю я, как лучше, как хуже! А быстро ты маскировку наводишь.

Опять исчезла и появилась. С нею — О т е ц, маленький, лысоватый, в железнодорожной помятой тужурке, и Ж е н и х, розовощёкий здоровяк, в голубой паре и туфлях под цвет. Оба навеселе. Жених при виде Солдата вытягивается и козыряет.

Ж е н и х. Здравия желаю!

С о л д а т. Я вас также приветствую.

Ж е н и х. А почему честь не отдаём?

А н д ж е л а. Тёпленькие уже, успели.

О т е ц. Дочка, святая же суббота! *(Жениху.)* А ты службы не знаешь, к пустой башке прикладываешь, без головного убора. Э!

Ж е н и х. Забываются навыки, утрачиваются в процессе жизни. Зато помню: «вперёд до пряжки, назад — до отказа». А почему — в темноте, таинственно так? *(Включил свет.)* За те же деньги можно и поглядеть на человека. *(Протянул руку.)* Жека. В смысле — Евгений.

С о л д а т. Михаил.

Ж е н и х. Вопрос к вам, папаня, отец дорогой для меня женщины. Как можно на уголок не сбегать — ради знакомства?

С о л д а т. Я присоединяюсь.

Ж е н и х. Спрячьте ваши гвардейские, с гостя у нас — ни-ни.

О т е ц. Анжелина, а где-то сливянка у нас к завтрему приготовлена. Скучает, поди, без нас?

А н д ж е л а. Ещё ж не перебродила.

О т е ц. Так это её и завтра нельзя. А мы её — непереброженную! Ну, в кредит, Анжелина.

А н д ж е л а *(взяла фонарь, Солдату)*. Пойдёмте, посветите мне в погребе.

Ж е н и х. Что же ты гостя затрудняешь? Давай уж я...

А н д ж е л а. Туфельки мне твои жалко. Завтра нашими будут.

Солдат и Анджела ушли.

О т е ц. Надькин, значит, знакомый? Дай-то бог нашему теляти... Ишь, какого зачалила. А — тихая!

Ж е н и х. Что ж завидовать, вы тоже не туфту приобретаете.

О т е ц *(добродушно)*. Туфту. Костюмчик на тебе дорогой, а под костюмчиком — туфты восемьдесят шесть кило.

Ж е н и х. Полюбил я вас, папаня, за откровенность. Ценное у людей качество. Но — смотря с кем. Чужие вас не поймут. В прошлую субботу вы тут старичка одного по матушке соотнесли. А он — не простой старичок. Пенсионер-общественник. Народный мститель!

О т е ц. Из ума он десятый год выжимши, мститель.

Ж е н и х. Неправильно формулируете. Достигли наши люди известного благополучия, а всё ж элемент зависти до конца не искоренён. Вот я вчера на улице Анджелку дожидаю и что вижу — этот Алексей Макарыч на ваш дом засматривается и в блокнотике отмечает. Что, думаю, человеку надо для полного, как говорится, счастья? «А вот, говорит, интересно — откуда люди средства изыскивают. Хозяин сто пятьдесят имеет, да дочка не более, а гляди, гараж пристраивают. Значит, машинка ожидается?»

О т е ц. И гнал бы ты его по шеям!

Ж е н и х. Обратно неверно. Вот вы увидите — как я в этот дом войду полноправно, я тут всех старичков налажу. Но — не такими же методами. Надо, чтоб они нам друзьями стали, от них много чего узнать можно. А так, как вы хотите действовать — они вас в три кнута возьмут, и чем я вам помогу?

О т е ц. Ладно, Жека, не серчай.

Ж е н и х. Да что вы, это же всё равно как на себя обижаться.

Вернулись А н д ж е л а и С о л д а т с большой оплетённой бутылью.

О т е ц *(вскрывая бутыль)*. И где ж не перебродила? Как тебя только замуж берут, Анжелина!

А н д ж е л а *(достала стопки)*. Вы руки хоть сполоснули? И учтите, без закуски я не позволю.

О т е ц. Под наливку — и закусь? Немыслимо! *(Ушёл.)*

А н д ж е л а. Полотенце не то возьмёт... *(Ушла за ним.)*

Ж е н и х. А вы, значит, Наденьку ждёте? Анджелку только сегодня увидели?

С о л д а т. Нет. Раньше ещё.

Ж е н и х. Ну да, они ж в одном заведении. Нравится Анджелка?

С о л д а т. Я вас поздравляю.

Ж е н и х. Это она ещё не в ударе! Работа же их не красит. Эхма... А думаешь, не сознаю, какой хомут надеваю? На то ж мы и мужики — лезем, где погорячее. Ведь жить ни хрена не умеют — и она дитё, и папаня дитё. Работают, работают, а что они видят от своей работы? Не-э, тут надо всё в руки брать, в таком примерно разрезе. *(Сжал кулак.)* Вот отсюда голова торчит, отсюда ноги. А мне ещё образование завершать, расти же надо! Но уж больно хороша девка, все планы пришлось пересмотреть. И главное — моральная, это в наше-то время, а? Меня же не только внешние данные привлекают — внутреннее содержание. Из неё ещё такую аристократочку можно слепить!.. А у тебя насчёт Надьки намерения серьёзные?

С о л д а т. Насчёт Надьки?

Ж е н и х. Ну да, не разобрался ещё. Но я тебе так скажу, солдат. С Надькой — тоже не прогадаешь. Ежели так — пошуршать и отвалить — можешь смело. Она себе цену знает, жаловаться к тебе в часть не побежит. А женишься — тоже с ней лафа: следить за ней не надо, сама за собой последит, а ежели ты там и налево сбегаешь — не заметит. Даже и стукнет кто, дак не поверит. Ты это учти.

С о л д а т. Я подумаю.

Ж е н и х. Но это между нами. Иногда я и лишнее говорю. Но — я выпил. И потом, я вижу — ты свой.

Вернулись А н д ж е л а и О т е ц.

А ты вроде не из местного гарнизона? Вещмешок я заметил в сенях. Из Приморского, по всей видимости?

С о л д а т. В общем, из тех краёв.

Ж е н и х. Э, так ты на базе трубишь! А слух-то ты слышал? По всему городу носится. Будто бы появился на большой недосягаемой высоте интересный самолёт. Второй день высматривает, где у нас чего. Шарахнули по нему ракетой — не долетела, в море упала. Очень уж высоко летает, чуть не в космосе.

О т е ц. Мало ли слухов носится. Что ты специалисту голову морочишь?

Ж е н и х. В прошлый раз тоже слух был, а потом в газете писали. Не припомню, в какой.

О т е ц *(налил Солдату)*. Отведайте своей.

С о л д а т. Спасибо. Анджела с нами не выпьет?

Ж е н и х. Воздержится. А я вот какой вопрос задам. Вот ты очки носишь, да? Как же тебе кнопку доверяют? Тут время нажимать, а они у тебя — свалились!

О т е ц. С чего это вдруг? У тебя вон штаны не сваливаются?

Ж е н и х. Люблю я, папаня, ваш всенародный юмор. Но дело-то — ответственное. Такое от человека зависит — подумать страшно. А в человеке, как наш великий Чехов говорил, всё должно быть на месте: и лицо, и форма одежды, и внутренняя боеготовность.

С о л д а т. Не беспокойтесь, я кнопку не нажимаю. Я по расчёту — шестой.

Ж е н и х. А кто ж её там жмёт? Первый, значит? А твоя работа? Если, конечно, не секрет.

С о л д а т. Не секрет. Смотрю на прибор и в нужный момент говорю: «Импульс — есть!»

О т е ц. А что ж это — «импульс»? То есть он, то нет его.

С о л д а т. Как бы вам объяснить...

Ж е н и х *(строго)*. Не надо объяснять.

О т е ц. Но без тебя она не полетит?

С о л д а т. Без меня — почему? Вот без импульса — хуже.

Ж е н и х. А вот, предположим, у первого — рука задрожала.

О т е ц. С чего это?

Ж е н и х. Мало ли! Не опохмелился человек. Известие мрачное получил из дому...

С о л д а т. Это его личное дело.

Ж е н и х. Да, а Бельгии — нету! Как в том анекдоте: «Иванов, ты чо там?» — «Да почесался».— «Почесался, а Бельгия куда делась?» *(Смеётся.)*

С о л д а т *(вежливо)*. Очень смешной анекдот.

О т е ц. И что ты человеку голову дуришь?

Ж е н и х *(задушевно)*. Эх, папаня, мы ж все этой болью исходим. Будем мы воевать, или же мир на вечные времена. На той войне сколько народу потеряли, а почему, если так вдуматься? По нашей же дурости, неподготовленности. Оборону крепить надо, чтоб боялись! Оборона — вся наша надёжа!.. Меня б туда допустили, до кнопки,— пальчик бы не задрожал, не-ет!

О т е ц *(Солдату)*. Ты похлопочи там, чтоб допустили Жеку.

С о л д а т. Я постараюсь.

О т е ц. Ну, за порядок в танковых войсках!

Выпили. Жених опять всем налил.

Ж е н и х. И в ракетных, папаня, тем более должен быть порядок.

А н д ж е л а *(забрала бутыль).* За авиацию вы уж под столиком встретитесь. *(Отцу.)* Хоть бы переоделся к обеду, пьёшь уже в чём пришёл. *(Жениху.)* А ты мне его зачем спаиваешь? И вообще — чего явился, спрашивается?

Ж е н и х. Вот те на, Анжелина!

А н д ж е л а *(сдерживаясь).* Знать надо, товарищ жених: не полагается к невесте приходить перед свадьбой. *(Ушла с Отцом.)*

Ж е н и х *(весело).* А чего — полагается? Говорят, приданое жениху полагается. Неужели ж за старое будем держаться? Верно говорю?

С о л д а т. Верно, Жека. Вот что... У меня разговор к тебе.

Ж е н и х. А всегда пожалста. Ещё по одной?

С о л д а т. Может, выйдем, покурим?

Ж е н и х. Что за стеснение, дыми здесь. После проветрим.

С о л д а т. Тогда налей... Дело в том, что я — не Надькин знакомый.

Ж е н и х. Не Надькин? А чей же? Бог ты мой, Миша, да мне-то не один ли хрен? В гостях оказался — выпивай, закусывай. Завтра на свадьбу ко мне валяй — заместо генерала. Ракетный солдат — он не меньше значит. Но — ты даёшь! Не Надькин? А я тебе про неё ла-ла, лала. Слушай, так я ж тебя познакомлю!

С о л д а т. Не надо, Жека. Есть одна женщина...

Ж е н и х. А вторая — помешает? Ну всё, есть женщина...

С о л д а т. Ты её знаешь...

Ж е н и х, подняв палец, прикрывает дверь, садится напротив Солдата.

Она, эта женщина, выходит замуж. В скором времени. Парень он... плохого говорить не стану. Вообще, тут не мне судить.

Ж е н и х. Правильно, Миша.

С о л д а т. Но... не любит она его. Это я точно знаю.

Ж е н и х. Почему ж она за него выходит, Миша?

С о л д а т. Ну... вот так, как я сказал. Я у неё появился слишком поздно. Всё неожиданно вышло.

Ж е н и х. Что значит — ты у ней появился, Миша? Ты с ней, с этой женщиной, в близких отношениях жил или нет ещё?

С о л д а т. Какое имеет значение?

Ж е н и х. Очень большое значение, Миша. Дак жил всё-таки или нет?

С о л д а т. Ну — нет.

Ж е н и х. Так... А ты её любишь здорово? Да что ж это я спрашиваю, по глазам видно. Плохое твоё дело, Миша. Я тебе сочувствую, конечно... И кто ж эта женщина такая? Вроде я многих в городе знаю.

С о л д а т. Так вот... если с ним поговорить по-человечески... Что тут двое. Всё у них только началось. И он тут — лишний. Рано или поздно она убежит от него, ему же тогда будет тяжелее. А у этих двоих тоже всё будет испорчено, весь праздник. Зачем ему брать чужое? Двум счастливым переходить дорогу?.. Вот если так ему сказать, он — поймёт?

Ж е н и х. Он это поймёт, Миша. Это понять не тяжело... А что, Миша, ежели он тебе за твою похабель возьмёт и врежет? Так врежет, что ты и не поглядишь другой раз на чужую невесту. Думать забоишься, любит она жениха своего или не любит.

С о л д а т. А я — что буду делать?

Ж е н и х. В смысле?

С о л д а т. У меня чем руки будут заняты, когда он мне врежет?

Ж е н и х. Ты мне чего скажи, Миша. Ты очки в серьёзных делах снимаешь или как?

С о л д а т. Вот уж это — значения не имеет.

Ж е н и х. Разбиться могут. Глаз поранится. Это не надо.

С о л д а т. Я — сказал.

Ж е н и х. Ну, порядок. Только вот чего, Миша. В доме он тебя метелить не станет, всё же ты гость. А тут, в конце улицы, где яр начинается, удобное есть местечко. Свидетелей — никого, кругом заборы. Зато фонарь есть. Тусклый, правда.

С о л д а т. Это не беда, мы другой засветим.

Ж е н и х. Грубый ты, Миша. Как Сталин. *(Встал.)* Но — хватит уже языком трепать.

С о л д а т. Может, пропустим? Перед.

Ж е н и х. Не советую, Миша. Лучше — после.

Уходят, обнявшись. Вышел О т е ц — уже переодевшийся, в благостном предвкушении. Вышла А н д ж е л а, начинает накрывать на стол.

О т е ц *(выглянул в окно)*. И в палисаде нету. Испарились.

А н д ж е л а. Не знаете, где искать? Должны же они всю программу выполнить.

О т е ц. Быстренько подружились. А он, служивый твой, со смыслом. Но уж кроме тебя — света не видит, плывёт.

А н д ж е л а. Прямо вы в точку попали. С какой это стати он — мой?

О т е ц. А все они твои, только зовутся — «Надькины». Я б на Жекином месте не потерпел.

А н д ж е л а. Придётся ему кое-чего терпеть. Ладно вам, буду я покорная жена, дайте мне сегодня о чём другом подумать.

О т е ц. Да об чём хочешь, дочка. К завтрему — всё готово?

А н д ж е л а. Надька придёт, поможет. Не управимся — отложим.

О т е ц. Куда же откладывать, столько наприглашали.

А н д ж е л а. Для приглашённых я, что ли, замуж иду? Будут ещё воскресенья... А вам бы только сбыть меня. Или нет, не сбыть — покрепче запрячь: двоих теперь обихаживать. Стирать, закусь подавать, утром — опохмеляться. Долг женщины, скажете? Откуда на мне долгов столько? Когда накопилось?

О т е ц. Дочка, да что это с тобой? Как будто и не под венец идёшь...

А н д ж е л а. Папа, милый... Вы же не совсем ещё пьяный, подумайте и вы со мною. Ведь не поздно ещё. Ну, хоть заболейте, какой тут позор?

О т е ц. Да почему, Анжелина, почему?

А н д ж е л а. Не знаю. Знала бы — вас, наверно, не спрашивала.

О т е ц. Этот тебе понравился? Смутил?

А н д ж е л а. Да при чём этот!..

О т е ц. Дочка! Тоже ведь и меня мучит — не прогадать бы. Около тебя их столько крутилось, а Жека один — всерьёз. И человек надёжный, он жизнь понимает, куда она идёт. А хоть этого возьми — не знаю, чего там у вас,— он же себе не свой, он временный...

А н д ж е л а. И это вот — всё, что вы придумали сказать мне? Больше ничего?

О т е ц *(плаксиво)*. Я сам чего-то расстроенный. Мать-покойницу вспомнил...

А н д ж е л а. Вспомнили, как на её поминках запили и так до моей свадьбы не просыхали?..

О т е ц. А вот уж теперь воздержусь, в руки себя возьму. Раз у тебя жизнь меняется, то и у меня.

А н д ж е л а *(с ненавистью)*. Помолчите вы. Иначе я сорвусь. Я вам наговорю. Вы же меня пропили этому Жеке, разве не так? Сколько он вам подносил — только вы из депо. Не знаю, за кем он больше ухаживал.

О т е ц. Дочка, не надо бы нам сегодня...

А н д ж е л а *(усадила его, обняла за голову)*. Не буду. Вы посидите, вам сегодня ещё поднесут. Сегодня я всё разрешаю... Господи, уеду я на край земли, расплююсь со всеми!

О т е ц. А я как же? Бросишь меня?

А н д ж е л а *(ласково)*. Дождусь уже, когда вы умрёте, папа.

Распахивается дверь, п а т р у л ь вводит С о л д а т а. Рукав у него разорван, Солдат его придерживает другой рукой. Следом входит Ж е н и х, прикладывая к глазу платок.

К а п и т а н. Прошу извинить. Вещи его — где? В него мешок был, я знаю.

Ж е н и х. Есть мешок! *(Выскочил.)*

А н д ж е л а *(Солдату)*. Всё-таки ты меня предал!

Ж е н и х *(вернулся с мешком)*. Развязать, товарищ капитан?

К а п и т а н. Патруль сам всё развяжет. *(Анджеле.)* Как это понимать — предал?

С о л д а т. Вам это понимать не надо.

Ж е н и х. Ты, вражина, патрулю нашему не указывай. Ещё разобраться надо — может, ты родину предал, апологет завербованный!

О т е ц. Жека, ты чего это? Окстись!

Ж е н и х. В режимном городе живём, папаня. Тройной глаз нужен. Думаете, они с рогами ходят?

П о г р а н и ч н и к. Они — это кто? Он?

К а п и т а н. Есть в вас подозрения?

Ж е н и х. А с чего же это он мне — по глазу? Зверским причём приёмом.

М а т р о с. Между прочим, ты его первый за грудки схватил. У меня, знаешь, морская наблюдательность.

Ж е н и х. Правильно! А почему схватил? Заметил ты, как он вас увидал — и в сторонку? Чего боится человек?

К а п и т а н. Оружие в него есть? Есть в вас оружие?

С о л д а т. Обыщите.

К а п и т а н. А приказываю тут я. Я тут приказываю.

Патрульные охлопывают Солдата по карманам. Прислушались — кто-то вошёл в дом. Входит Н а д е ж д а — очень нарядная, на шпильках и в плиссированной юбке.

Н а д е ж д а *(растерянно щурится)*. Ой, сколько гостей у вас!

К а п и т а н. Гость в нас пока что один. Вы этого человека знаете?

Н а д е ж д а. Господи, ну конечно знаю.

К а п и т а н. Вас тоже попрошу со мной.

Ж е н и х. А нам, товарищ капитан, зачем? Мы вроде свой долг выполнили?

К а п и т а н. А спрашивать буду я. Я буду спрашивать.

Картина четвёртая

Сцена поделена на две части. В одной — комната для задержанных, с нарами и решёткой на окне; она сейчас затемнена. В другой — дежурное помещение: стол с телефонами, на стенах плакаты и схемы — устройства защиты от радиации, пистолет Макарова в разрезе и т. п. К а п и т а н сидит за столом, перед ним на стуле — С о л д а т, в дверях — М а т р о с и П о г р а н и ч н и к. На диване, за спиной Солдата,— А н д ж е л а, Н а д е ж д а, Ж е н и х и О т е ц.

С о л д а т. Покурить бы... С вашего разрешения.

К а п и т а н. Курить — потерпите. Потерпите курить. Рановато в вас нервы сдают.

Ж е н и х. Дал бы я тебе прикурить, вражина!

Капитан. А вы мне там воздержитесь от восклицаний. Почём вы знаете, может, он — иностранец. Он сам расскажет спокойно — откуда забросили, где парашют спрятан.

Солдат. Что вы, я высоты боюсь неизлечимо. Меня от прыжков освободили.

Капитан. Значит, прибыли морем? Акваланг — зарыли в песок?

Солдат. Я лучше помолчу.

Жених. А разговорчивый был, собака! Про импульсы нам секретные заливал. Без которых наши ракеты не летают.

Капитан. Насчёт секретов... Враг этим приёмом пользуется — для чего? Показать себя осведомлённым, получить тем самым новую информацию. Это вы правильно обратили внимание, товарищ...

Жених. Кондаков. Я первым делом очки отметил.

Капитан. Очки — это не существенно. Это не главное, очки. Но вы мне всё-таки от восклицаний воздержитесь. Что это — «собака»? Он вам ещё не собака, а только подозреваемый.

Жених. Прошу, товарищ капитан, извинить. У нас, советских людей, тоже иногда нервы сдают.

Капитан. Надо себя соблюдать. Впредь я такие выкрики пресекать буду беспощадно. А вы — чем занимаетесь, товарищ Кулаков?

Жених. Вообще-то? Артелью инвалидов ворочаю.

Капитан. Вы в торговой сети работаете?

Жених. Боже упаси, производственник. Коренной производственник. Пошивочный комбинат на мне, семьдесят гавриков — у того руки нет, у того — ноги, а третий — без памяти. А я — бегай за всеми, высуня язык.

Матрос. Так это ты и есть Жека Инвалид?

Жених. Называет кой-кто. Слыхал про меня, братишка?

Матрос. Девчата рассказывали. Приятно познакомиться.

Жених. Демобилизуешься — ко мне в комбинат приходи, такой мы тебе костюмчик справим!

Капитан. Подождите, товарищ Кулаков. Вы мне тут со своими костюмчиками, а в нас ещё вопросы есть невыясненные.

Жених. Так мне, значит, сперва про очки запало...

К а п и т а н. Вы совсем подождите. Про очки мы всё выяснили, что они — не главное. А вот кто хозяин дома?

О т е ц *(вскочил)*. Так я, стало быть. Кто по специальности? Башмачник я, в депо работаю. Это, стало быть, тормозные колодки проверяю, по-нашему — башмаки.

К а п и т а н. Про башмаки — не надо. Не надо про башмаки. А вот как он в вас дома очутился?

О т е ц. Так это... А дочка привела, Анджела. Я, значит, со смены, и тут как раз он меня встречает, дочерин то есть жених. Ну, выпили мы с ним... Правду скажу, не так чтоб много.

Ж е н и х. Вы, папаня, Анджелу не приплетайте. И товарища капитана не интересует, сколько мы с вами выпили. А он как нам представился, помните? Я, говорит, Надькин знакомый. Анджела тут — при чём?

О т е ц. Дак я, правду сказать, худого за ним не заметил. Вот и оружия при нём не нашли.

Ж е н и х. Вы наивный человек, папаня. Методы у них тоже на месте не стоят. Мы с вами кино по телеку видели — там один такой из авторучки бзикал, особой конструкции. А человек с копыт долой. А то и безоружные ходят. Зачем ему пистолет, когда он пятьсот приёмов знает? И любым приёмом он нас с вами, папаня, в могилку положит.

О т е ц. Суровый ты человек, Жека!

Ж е н и х. Зато я, учтите, родину люблю. И мы должны быть суровыми. Потому что время такое, напряжённое. Но наш народ никаким приёмом не сломишь!.. Извините, товарищ капитан, просто из души вырвалось.

К а п и т а н. Я... я вас понимаю, товарищ Кулаков. *(Отцу.)* Вот вы сказали — Анджела его привела. А что Анджела скажет?

Ж е н и х. Да она тут сбоку припёка.

К а п и т а н. Если б я вас спрашивал. А то я Анджелу спрашиваю.

А н д ж е л а. А что меня спрашивать? Я его полчаса-то и видела.

К а п и т а н. О чём же в вас шла беседа? Вы ж о чём-то полчаса беседовали.

А н д ж е л а. «Здрасьте, я домом не ошибся? Мне ваша подружка встречу тут назначила. Можно я подо-

жду?» — «Сделайте одолжение. Журнальчик вот полистайте». И вся беседа.

К а п и т а н. А вот вы при мне сказали — он вас предал. Это как?

А н д ж е л а. Я сказала? А, ну это я — отцу. Он мне слово дал, что сегодня пить не будет.

К а п и т а н. Как-то не гладко всё... Значит, к вам этот человек отношения не имеет?

А н д ж е л а. Я вас умоляю! Какие отношения!

К а п и т а н. Тогда я подругу вашу спрошу. Кто вы ему и он вам кто?

Н а д е ж д а *(встала)*. Я кто? Я — его девушка.

Некоторое ошеломление.

Ну, должна же быть у солдата — девушка. Вот я и есть.

К а п и т а н. И давно в вас... дружба?

Н а д е ж д а. Сейчас вам скажу... Три года.

А н д ж е л а. Ты, Надька, думай, чего говоришь.

Н а д е ж д а. Правильно! Не три, а четыре.

А н д ж е л а. Вот именно, час у неё за год считается. Утром познакомились.

Н а д е ж д а. Я вам сейчас всё, всё по порядку. Ну, первый год мы только переглядывались. Мы в разных школах учились.

С о л д а т. Отсюда неподалёку, в Воронеже.

Н а д е ж д а. Ну да, мы ведь оба из Воронежа, разве я не сказала? На одной улице жили — окошко против окошка. Но он такой застенчивый был, а я ещё хуже застенчивая, в школу он по одной стороне идёт, а я по другой, и только переглянемся. А потом я в техникум поступила, а он в институт собрался, какие же тут встречи! И вдруг он мне письмо присылает. На шестнадцати страницах. «Милая девушка, пишет, я, конечно, не могу надеяться, но почему бы нам не встретиться? Только сразу не говорите «нет», я этого не переживу». Ну, я, конечно, не отреагировала, неужели — первое письмо, и сразу на свидание бежать, правда?

К а п и т а н. Вы... продолжайте показания.

Н а д е ж д а. Какие показания, я правду говорю. Месяц я прямо неживая: вдруг он от меня отвернётся совсем? Ведь обидно, если девушка не отвечает взаим-

но? И вдруг — бац! — он мне второе письмо. «Что ж, говорит, не желаете встречи со мною — значит, так лучше. Была у меня мечта в авиацию пойти, но вот зрение стало портиться. А другая мечта — это вы, и тоже она не сбудется». Господи, думаю, и так ему в жизни не повезло, а тут я ещё мучаю. Но — на всякий случай — сначала стихи ему послала:

Ты в наш город приехал недавно...

Ну, на самом-то деле он не приехал, а родился тут, но всё по теме очень подходит:

Ты в наш город приехал недавно,
Но уже разнеслася молва,
Что характером ты своенравный
И что бедовая ты голова.

Говорят, что натерпится муки
Та, что станет твоею женой.
Как же сердце отдать в твои руки,
Сбережёшь ли подарок такой?

К а п и т а н. Евтушенко — не надо. Не надо Евтушенко.

Н а д е ж д а. Что вы, Евтушенке это не написать. Там ещё такой конец был, я его специально не дописала, оставила на продолжение:

Ты на это ответить мне можешь,
Что умеешь подарки хранить.
Но с другими подарками тоже
Сердце девичье трудно сравнить.

Нужно с ним обращаться нежнее,
И поэтому помни и знай:
Починить ты его не сумеешь,
Если вдруг разобьёшь невзначай.

Вот. Послала ему и жду — что он мне ответит? А он не ответил, а прямо в техникум ко мне пришёл, к концу занятий. Ну, этим всё сказано, сами понимаете, слова тут бессильны! Мы сначала в кино пошли, итальянская была картина, а после в парке бродили до ночи, и как раз дождик закапал, а я плаща не взяла, так он свой пиджак

снял и на меня накинул... А утром — представляете? — опять от него письмо. Надо же!

К а п и т а н. Эти письма — где они? Есть эти письма?

Н а д е ж д а. Господи, я их родной матери не показывала, неужели же вам покажу?

К а п и т а н. Да мне их читать не надо. Только зачем он вам присылал, когда вы и так имели встречи?

Н а д е ж д а. Ой, вы скажете! Разве одними встречами сыт будешь?

К а п и т а н. И непонятно мне, как вы тут вместе очутились, когда вы в Воронеже были...

Н а д е ж д а. Я же сказала — всё по порядку. Вот лето наше пролетело, мы даже не заметили, а осенью он меня встречает: «Надюша, говорит, мне повестка в армию. Будешь меня ждать или сейчас наши отношения оформим?» Ну, я себя пересилила: «Зачем сейчас, говорю, у тебя за три года столько перемен может произойти, другую девушку встретишь и полюбишь... Я тебя и так буду ждать, но не хочу, чтоб ты себя чувствовал связанным. А позовёшь меня — я тут же к тебе прилечу». Так мы с ним условились, но только я не выдержала, сюда перевелась, к нему поближе. Он про это даже не знал, писал мне туда, в Воронеж, а мне подруга пересылала. И вдруг сегодня — такая встреча! Мы оба просто слов лишились...

К а п и т а н. Если всё так, как вы нам тут расписали, чего ж они тогда дрались?

Ж е н и х. Объясни товарищу капитану, за что мы фингал имеем.

Н а д е ж д а. Чья бы корова мычала! Жалко, он тебе второй не поставил, для равновесия. Будешь ему про меня советы подавать!..

Ж е н и х. Ты что, за километр слышишь?

Н а д е ж д а. Зачем мне слышать? Я тебя не знаю, что ли?

К а п и т а н. Имеете что прибавить? Учли все последствия?

А н д ж е л а. Ни фига она не учла. Спрашиваете — с малахольной.

Н а д е ж д а. Ты, Мишенька, не расстраивайся, всё выяснится. Я тебя на улице подожду.

К а п и т а н. Это вам долго придётся его ждать. Идите все отдыхайте.

Ж е н и х. Завтра на свадьбу прошу, товарищ капитан. Дом — знаете.

К а п и т а н. Спасибо, но не могу, дежурство. Вам с женой будущей — счастливо.

Н а д е ж д а. Мишенька, я тебя завтра тогда навещу...

Ж е н и х. Иди, иди, малахольная.

Анджела, Надежда, Отец и Жених уходят.

К а п и т а н. Не гладко получается в вашей девушки. Мне точно известно, что она местная и в этом ателье работает пятый год модельером. Супруга моя в неё брючный костюм пошила.

С о л д а т. Сразу всего не учтёшь.

К а п и т а н. Видите! Так что я правильно вас задерживаю.

С о л д а т. Всё верно, товарищ капитан. Теперь позвоним?

К а п и т а н. Так. Вот вы говорите — позвоним в часть. Спросим: «Люди в вас есть в увольнении?» А что нам с вами ответят? «Рядовой Петров в увольнении».— «А приметы в него какие, в вашего Петрова?» — «Обыкновенный, в очках». Так с этого мне толку мало. А посмотрим на это не через очки, а как это может быть. Получает Петров увольнительную. Садится он с ней в поезд, весёлый и потому небдительный. Выходит, предположим, в тамбур покурить. А тут вы его — по голове. И — с насыпи. Надеваете его обмундирование, вещи его берёте, очки. И начинаете проникать везде. Что вы так, голову в плечи? Мне тоже его жалко, Петрова. Хотя он проявил небдительность. *(Достал связку ключей.)* А устроиться вы можете неплохо. Папаша тут сидел, тормоза проверяет. Вот вы его завербовали — он их не проверил. Буксы горят, пробка, вся магистраль стратегическая парализована. Или — пошивочный комбинат. Очень удобно. Любую форму можно сшить для ваших агентов. Танкиста, артиллериста, связиста. Погон нацепил — и майор.

С о л д а т. Лучше — полковник.

К а п и т а н. Не надо. Майор — оно поскромнее. Полковник — он больше на виду. Так что перспективы в вас имеются. *(Отпер дверь в арестантскую.)* Ну, так. Прошу сюда. Сутки вы мне отсидите.

С о л д а т. Не понял, товарищ капитан. Наш я человек или не наш?

К а п и т а н. Драку я вчинил или вы вчинили? Какая причина была, что вы дрались?

С о л д а т. Причина уже отпала.

К а п и т а н. Но фингал у гражданина штатского — не отпал? Так что — сутки.

Солдат зажёг свет в арестантской, сел на нары. Капитан запер его на ключ.

П о г р а н и ч н и к. Думаете, промашка, товарищ капитан? А вдруг нет?

К а п и т а н. Это всё мечты, Евсюков. Посидеть он посидит, конечно, тем более — где ж ему спать? А в нас с вами задача — город прочесать. Идите отдыхайте, через час разбужу.

П о г р а н и ч н и к. А вот если, товарищ капитан, настоящий нам повстречается — как мы его почувствуем?

К а п и т а н. А в нас, Евсюков, как бы сердце дрогнет.

П о г р а н и ч н и к. А вы, товарищ капитан, настоящего — видели?

К а п и т а н. Не ошибёмся, Евсюков, не ошибёмся!

М а т р о с *(зевая)*. А пока — пошли придавим, пехота. Сначала правое ухо, потом левое. Доказано одним профессором, что от сна умирают не раньше девяноста лет.

Матрос и Пограничник ушли.

К а п и т а н. Арестованный!

С о л д а т. Слушаю, товарищ капитан.

К а п и т а н. Я вам насчёт этой невесты... Как её там, Анджела? Я вам не завидую. Я вам насчёт другой завидую.

С о л д а т. Принял к размышлению...

К а п и т а н. Книжки ваши я вам в мешок положил, читать арестованному не положено. Мифами увлекаетесь?

С о л д а т. Есть немного. А вы?

К а п и т а н. Я вам скажу — в такое время мы живём, что и никаких мифов не надо. Вот представьте,—

вы там у кнопки сидите,— явится какой-нибудь псих. Ударит ему, что он, понимаете, Юлий Цезарь.

С о л д а т. Двое, товарищ капитан.

К а п и т а н. Как вы сказали?

С о л д а т. Нужны как минимум два психа. Притом они должны работать на параллельных пультах, далеко друг от друга, и производить строго согласованные действия. Без этого — старт не состоится. Ну, сами понимаете, два Цезаря никогда не столкуются.

К а п и т а н. Это вы меня сильно обрадовали, арестованный. Подумать, на чём Земля держится!

С о л д а т. Я и сам этому радуюсь. Как вспомню, так на душе легко-легко. Единственная гарантия, что два психа никогда...

К а п и т а н. Арестованный!

С о л д а т. Да, товарищ капитан?

К а п и т а н. Спать!

Обе комнаты погружаются в темноту. Некоторое время спустя лунный свет сквозь решётку озаряет арестантскую. Солдат, приподнявшись на нарах, видит перед собою А р е с а и А ф и н у П а л л а д у — впрочем, не совсем идентичных традиционным изображениям. Так, у Ареса багровая мантия прикрывает капитанский мундир, и время от времени бог войны разглаживает усы щёточкой. У Афины Паллады нет в руках статуэтки Ники, зато на плече сидит сова, и вся вечноюная сильно напоминает Н а д е ж д у.

А р е с. Вольно. Как тебе сидится? Хорошо сидится?

С о л д а т. Жалоб нет.

А р е с. Ещё б тебе жаловаться! Спишь, а служба идёт. И даже не знаешь, какая там без тебя ожидается заваруха.

С о л д а т. Не могу знать.

А р е с. И кто мы такие, тоже не знаешь?

С о л д а т. Постойте... как же вас называли греки?

А р е с. С твоего разрешения — Арес. Но ты же этого не вспомнишь. Так уж зови — Марс, оно привычней. А мы тут прогуливаемся, прелестная ночь. Заглянем, говорю я Афиночке, на гауптвахту, наверняка застанем кого-нибудь, языки почешем. А то мы всё на пару, уже и говорить не о чем.

С о л д а т. У вас же была Афродита.

А р е с *(присел на нары)*. Пройденный этап, старик. В солдатке запас верности, прямо скажем, ограничен, а когда муж постоянно в боях и походах, а баба изнывает от любовной тоски, ты знаешь, чем это кончается. Непременно подвернётся какой-нибудь шпак. То Аполлон с гитарой, то этот глухарь Гефест. Всё стучит, стучит молотком, нашёл себе занятие для мужика. Поневоле примиришься с этой боевой лошадью... Пардон, мадам, не представил вас. Афина Паллада, любимая дочка Зевса. Сестричка моя единокровная.

А ф и н а. Ты разболтался. Скажи ему, зачем мы здесь.

А р е с. Очень не любит, когда я её зову «мадам». Считается — девственница. И то правда, у кого энергии хватит вскрыть эту глубоко эшелонированную оборону!

А ф и н а. Юмор у тебя — ефрейтора из обоза.

А р е с. Ах, я вже — «обозник». Скажи ещё — «интендант», «штабная крыса».

А ф и н а. Скажу — петух, возомнивший себя воином.

А р е с *(вставая)*. Я попрошу выбирать выражения!

А ф и н а. Забияка с комплексом неполноценности. Корчишь из себя мужчину...

Арес в ярости мечет в неё дротик. Афина его перехватывает на лету и посылает обратно. Дротик вонзается в грудь Аресу. Арес вопит.

С о л д а т *(в ужасе)*. Э, ребята, вы всегда так или только по субботам?

А р е с *(Афине)*. Заживи рану! Заживи немедленно! Кому говорю?

А ф и н а. Ах, как мы боимся боли! Минуты не потерпим. Что же говорить о смертных, когда санитары их волокут под огнём и трясут в повозках, и они часами дожидаются, когда им дадут морфий?

А р е с. Дура, ты же не знаешь, куда попала. Здесь у меня шрам — от Ватерлоо.

А ф и н а. При Ватерлоо тебе заехало осколком пониже спины.

А р е с. Всякая рана почётна!

А ф и н а. Я только уточняю.

А р е с. Вспомнил... Аустерлиц!

А ф и н а. Вот это вернее.

А р е с. Но я всё равно изнемогаю!

Афина протягивает копьё, касается груди Ареса. Арес выдёргивает дротик и с облегчением потирает грудь.

Всё собачимся, нет чтобы мирно подискутировать. Или нам уже не столковаться? А сложим-ка тогда все наши полномочия — на него? Пускай сами всё и решают. Я ему отдам свой меч, а ты — подкинешь своей мудрости. Пресловутой. На, держи!

Арес протягивает свой меч Солдату. Солдат поначалу тянется готовно к мечу — и отдёргивает руку.

А, не нравится! Зачем ему эта головная боль!

А ф и н а. Зачем ему твой меч, когда всюду эти проклятые кнопки. Для них не нужно — ни доблести, ни ума. Эта война у тебя — последняя.

А р е с. Когда я сподобил Максима изобрести пулемёт, тоже говорили — последняя. Ты ж помнишь, какие были дебаты на Олимпе, сколько визгу! «Как же теперь воевать, если один идиот может перестрелять всю центурию разом?» А я говорил: «Нужно их научить окапываться. У каждого должна быть лопатка — и пусть окапывается без приказа. И всё будет о'кей». Куда там, и слушать не хотели. А как славно повоевали! Какие две прекрасных войны в одном только веке. И третью переживём, нужно только немножко приспособиться.

А ф и н а *(стучит копьём)*. Глобальность! Быстротечность! Истребительность! К этому смертные не приспособятся. И я, Афина, отказываюсь их учить выживанию.

А р е с. Ну, мы-то с тобой знаем — этому их учить не нужно. Кто-нибудь останется на расплод. И всё можно будет начать по новой.

А ф и н а. Где? В чёрной пыли?

А р е с. Э, не скажи. Наша старая планета не столь податлива. Останется вполне симпатичный пейзаж. *(Голосом радиокомментатора.)* «Вокруг нас расстилается очаровательная фиолетовая пустыня. Вы слышите мелодичное погромыхивание термоядерных бомб». Ещё не самое страшное... *(Солдату.)* Как думаешь?.. Облегчаю вопрос. Если этот самолёт, с боекомплектом, пересечёт границу, ты как — нажмёшь?

С о л д а т. Я ведь не нажимаю. Я по расчёту — шестой.

А р е с. Ну, кто там у вас первым номером? Иванов? Он — нажмёт?

С о л д а т. Иванов-то? Комсорг наш? Пожалуй что и...

А р е с. Не слышу металла в голосе!

С о л д а т. Так точно, нажмёт!

А ф и н а *(гладит сову).* Так вот — он не пересечёт границу. Он сделает вираж и вернётся.

А р е с. Афиночка, лапонька, для чего же он летает, тратит горючее? Мы же допустили, чтоб он взлетел...

А ф и н а. Пусть испытывает приборы. Для этого не обязательно нарушать границу.

А р е с. Ну, хоть заденет крылышком! *(Солдату.)* Если крылышком, то как — нажмёт?

С о л д а т. Иванов-то? Пожалуй что... Никак нет, воздержится.

А р е с. А фюзеляжем? Другое крыло останется в нейтральной зоне.

С о л д а т. Фюзеляж — ведь это почти весь самолёт.

А ф и н а *(гладит сову).* Он не пересечёт фюзеляжем. Я ему сделаю вираж покруче.

А р е с. Ну, половинкой фюзеляжа. Половинка здесь, половинка — там. Мы же фактически не отвечаем, решают — они. Клянусь доспехами, ограничатся решительным протестом.

А ф и н а. Треть фюзеляжа.

А р е с. Какой же спор, если треть? *(Солдату.)* Вот так и торгуемся. Забрала себе шефство над авиацией, причём — самовольно, так за лётчика, видишь ли, беспокоится. Да приземлю я его благополучно!

А ф и н а. Там, кроме пилота, есть бомба.

А р е с. Не сработает взрыватель. На какие уступки иду!

А ф и н а *(гладит сову).* Половина фюзеляжа. Но не больше.

А р е с. Ни на йоту. Лапонька моя!..

А ф и н а. Убери руки, контуженный. И поспешим, он приближается к границе.

А р е с *(Солдату).* Есть пожелания личного порядка? В тебя там неприятности... с девушкой.

С о л д а т. А что вы тут можете? Вы могли бы мне так отшибить память, чтоб остались утро и день, а вечера — не было? Или сделать так, чтоб она этих слов не сказала — что я ей никто?

А р е с *(кряхтит)*. Старик, это же надо прошлое переигрывать. В этом деле мы не спецы, тут вы обскакали богов! Поищи другой вариант. Эх, была бы тут моя Афродитка, для неё ж это — семечки.

А ф и н а. Что болтать безответственно? Она была бы тут, если б имела хоть какую-то идею.

А р е с. Но не уйдём же мы просто так. Солдат сидит на «губе» — за что? За драку! Бедный Арес, в него тут, под шлемом, шарики за кубики заходят. Солдат обязан драться! Нет, я определённо вмешаюсь. *(Достал карманные часы.)* Выйдешь отсюда в семь тридцать, устраивает? В дивизион опоздаешь на три часа, но причина будет уважительная. Времени — вагон. Всё, больше не могу, и спасибо за компанию. Н-да... с мечом — это я погорячился, не прими всерьёз. А насчёт бабы не огорчайся, все они на одну колодку, вертихвостки и предательницы...

А ф и н а *(исчезая)*. Ты скоро там, трепло старое?

А р е с. Лечу, лечу... Ах, мегатонны мои, мегатонны!

Картина пятая,

продолжающая сон Солдата и которая называется «Солдат спит — служба идёт»

Нары выдвигаются на просцениум и оказываются в операторском зале стартового комплекса. Перед О ф и ц е р о м, как оркестранты перед дирижёром, сидят полукругом за двенадцатью пультами с о л д а т ы - о п е р а т о р ы в мерцающих бледно-голубых униформах, все сплошь очкарики. Кресло у пульта № 6 пустует. В глубине зала, на сером щите, красная кнопка — величиною со стиральный таз. Это Кнопка Войны, и её охраняют особо д в о е ч а с о в ы х, держа у ноги карабины с примкнутыми штыками.

В широких окнах — пустынное поле, залитое светом прожекторов; на нём стоймя белые корпуса ракет, с красными рылами и опереньем. В динамиках — рёв самолёта.

О ф и ц е р *(в ручной микрофон)*. Пост наблюдения один, доложите.

Г о л о с и з д и н а м и к а. Пост номер один, докладываю. Самолёт без опознавательных знаков, не-

известного типа, с предполагаемым боекомплектом на борту, перешёл из квадрата А-восемь в квадрат Борис-девять. Скорость — два с половиною звука, высота — за двадцать.

Офицер. Точней, точней высоту.

Голос. Секундочку... Двадцать одна тысяча над океаном.

Рёв самолёта усиливается.

Офицер *(переключил тумблер)*. Звено перехвата, доложите.

Другой голос. Командир звена майор Величко. Самолёт на предупредительные сигналы не реагирует. Следуем параллельным курсом.

Офицер. Что наблюдаете визуально?

Голос Величко. Цель вижу в подробности. Бомбовой груз — на внешней подвеске, две дуры что-нибудь по двадцать мегатонн. Если, конечно, не бутафория.

Офицер. Продолжайте преследование на пересекающем курсе.

Голос Величко. Вас понял. Хлопцы, повнимательней. Делай, как я.

Офицер *(переключил тумблер)*. Пост наблюдения два, доложите.

Ещё чей-то голос. Пост номер два, докладываю. Самолёт курса не изменил, движется в направлении государственной границы. Переходит в квадрат В-десять.

Офицер. Бэ или Вэ?

Тот же голос. Виктор, Виктор. Поле наблюдения у меня кончается. Передаю третьему.

Другой голос. Пост номер три, докладываю. Цель появилась в поле экрана, курса не меняет. При этих условиях нарушение госграницы ожидается через четыре минуты.

Офицер *(солдатам)*. Ракету класса «земля—воздух» к пуску изготовить. Пуск — в левом срезе квадрата Д-шесть.

1-й солдат. Ракета — на старте!

Офицер. Локатор?

2-й солдат. Включён!

Офицер. Система наведения?

3-й с о л д а т. Задействована!

О ф и ц е р. Питание — на борт!

4-й с о л д а т. Питание — на борту!

О ф и ц е р. Ключ — на дренаж! Протяжка!

5-й с о л д а т. Есть протяжка!

О ф и ц е р. Импульс?

Солдат на нарах спохватывается, поднимает голову.

Шестой, импульс?!

6-й с о л д а т. Щас, минуточку... (*Падает.*)

7-й с о л д а т. Шестой-в-увольнении-седьмой-за-шестого-импульс-есть!

О ф и ц е р. Ключ — на пуск!

8-й с о л д а т. Ключ — готов!

О ф и ц е р. Внимание, боеготовность номер один! Ожидайте моей команды «пуск». Только моей команды.

Включён метроном. Рёв самолёта перешёл в натужное завывание. Офицер, облокотясь на пульт, смотрит в окно, на ракеты.

Шестой — почему в увольнении?

7-й с о л д а т. По сердечным обстоятельствам.

8-й с о л д а т. Шерше ля фам.

9-й с о л д а т. Да, бабец нынче пошёл чижолый.

10-й с о л д а т *(мечтательно)*. Человеку и в космосе понадобится веточка сирени.

О ф и ц е р. Разговорчики!

На щите прерывисто вспыхивает красная лампочка, ревёт зуммер. Офицер взял микрофон.

Главный оператор Полуянов. Слушаю.

Н а ч а л ь с т в е н н ы й г о л о с. Козырев говорит. Готовь — «земля—земля».

О ф и ц е р *(секундная заминка)*. Вас не понял... Игнатий Терентьич, ракета класса «земля—воздух» к пуску изготовлена. Ожидаю цель в квадрате Дмитрий-шесть, левый срез.

Г о л о с К о з ы р е в а. Понимать так, как я сказал. Готовь «земля—земля». Цель восемь, мыс Пенелопа, откуда он взлетел. Самолёт снимут без тебя. Как понял, Дмитрий Сергеич?

О ф и ц е р. Игнатий Терентьич... Я, наверно, гово-

рю глупости... Послать ещё одно, последнее предупреждение...

Голос Козырева. Было, Дмитрий Сергеич, было. Предпоследних с полста да пяток самых наипоследних. Ты газеты читаешь? Как они там, в Европе, бесчинствуют. А нам, понимаешь, всё божья роса. Хватит, хватит миндальничать. Не предупреждать надо, а бить. Как понял?

Офицер. Понял, что это — война.

Голос Козырева. Понял правильно.

Офицер. Когда же пуск?

Голос Козырева. Как только пересечёт границу фюзеляжем.

Солдаты замерли у своих пультов. Офицер протирает очки платком, затем говорит ровным спокойным голосом.

Офицер. Термоядерную, класса «земля—земля», к пуску изготовить. Цель восемь, мыс Пенелопа.

1-й солдат. Ракета — на старте.

Офицер. Локатор?

2-й солдат. Включён.

Офицер. Система наведения?

3-й солдат. Задействована.

Офицер. Питание — на борт.

4-й солдат. Питание — на борту.

Офицер. Ключ — на дренаж. Протяжка.

5-й солдат. Есть протяжка.

Офицер. Импульс?

6-й солдат *(на нарах)*. Не вижу... Импульса нет.

Офицер *(подходит к нему)*. Вам приказано спать. И благодарите кривое ваше счастье, что не приходится это делать наяву... Как же всё-таки насчёт импульса?

7-й солдат. Седьмой за шестого. Импульс — есть.

Офицер. Благодарю. Ключ — на пуск.

8-й солдат. Ключ — готов.

Офицер. Первому — стать у кнопки.

1-й солдат покинул свой пульт и твёрдым шагом идёт к Кнопке. Всходит к ней по ступеням. Часовые преграждают ему путь.

Часовые. Пароль?

Офицер. Калуга. Отзыв?

Часовые. Курок.

Отодвинулись. 1-й солдат стоит против Кнопки, заложив руки за спину.

О ф и ц е р. Ты, Иванов, и сам вроде калужский?

1-й с о л д а т. Точно, Дмитрий Сергеич, калужский я.

О ф и ц е р. Повезло тебе несказанно... Значит, нажмёшь по моей команде, калужский. Только по моей.

1-й с о л д а т. Понял, Дмитрий Сергеич, благодарю за доверие.

О ф и ц е р. Родина в тебе не сомневается, калужский. Внимание! Боевая готовность — номер один. Включаю все посты наблюдения и корректирования.

Стучит метроном. Рёв самолёта опять врывается в зал.

Г о л о с и з д и н а м и к а. Пост наблюдения четыре, докладываю. Цель — в квадрате Григорий-одиннадцать, курса не меняет.

10-й с о л д а т. Мыс Пенелопа...

11-й с о л д а т. Одно название чего стоит.

12-й с о л д а т. Название — останется.

О ф и ц е р. Все разговоры отставить. Прошу собраться. Внимание, даю отсчёт. Десять!

Г о л о с и з д и н а м и к а. Операторская? Пост пятый, докладываю. Наблюдается смещение курса влево...

О ф и ц е р. Девять!

Г о л о с В е л и ч к о. Командир звена перехвата Величко говорит. Закладывает, чёртов сын, вираж. На мои сигналы — ноль внимания.

О ф и ц е р. Восемь!

Г о л о с В е л и ч к о. Движется на вираже влево, приближается к госгранице. Открываю предупредительный!

О ф и ц е р. Семь!

Г о л о с В е л и ч к о. Не реагирует, паразит!.. Видит же мою трассу — и не реагирует. Хлопцы, повнимательней!

О ф и ц е р. Шесть!

Е щ ё г о л о с. Операторская? Самолёт правой плоскостью нарушил государственную границу!

О ф и ц е р. Пять!

Голос Величко. Сел ему на хвост, паразиту... Вираж закладывает, глубокий вираж...

Офицер. Четыре!

Ещё голос. Пост наземного ориентирования, докладываю. Самолёт прошёл надо мною. Пересекает границу правым бортом фюзеляжа!

Офицер. Три!

Голос Величко. Так, хлопчики-перехватчики, приготовились! Щас ему дырки будем сверлить!

Офицер. Два!

Ещё голос. Пост номер восемь, докладываю. Самолёт с боекомплектом проходит надо мною. Ось фюзеляжа совпадает с государственной границей!

Офицер. Один!

Голос Величко. Вираж у него покруче стал, покруче... Это Величко говорит. Ну что, милый, отваливать будем или дырки сверлить?

Стучит метроном. Рёв самолёта достиг наивысшей ноты.

Ещё голос. Пост наблюдения девятый. Вижу ясно. Самолёт фюзеляжем выходит в нейтральную зону!

Офицер. Отставить пуск!

1-й солдат стоит неподвижно против Кнопки.

Иванов! Слышишь меня, Иванов? Шаг назад!

В зал врывается Жених, бежит к Кнопке.

Жених. Разрешите мне, товарищ полковник! От души нажму. Этот — разве сумеет?

Офицер. Что это? Кто пустил?

6-й солдат *(привстав на нарах).* Держите, держите Жеку Инвалида! У него рука не дрогнет!

Офицер. Я сказал — отставить пуск! Что за самодеятельность?

Часовые борются с Женихом.

Жених. Чо это — «отставить»? Они, понимаешь, распоясались, ни фигушки уже нас не боятся, а мы с ними — чикаться? Врежем, чтоб неповадно...

Офицер. Убрать!

Часовые и 1-й солдат осилили Жениха, скрутили ему руки.

Ж е н и х. И лопух же ты, полковник! Сроду в генералы не выйдешь, весь век до пенсии в полкашах прокантуешься. Такой шанс упустил!

О ф и ц е р *(хватаясь за кобуру)*. Уберите его — или я за себя не ручаюсь...

Ж е н и х. Нерьвный? Сходи полечись. Дамский салон тут развели, у всех нерьвы. А кто нашу жизнь прекрасную оборонит? От всех, понимаешь, посягательств! Свободу нашу! Кто, я спрашиваю?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Воскресенье

Картина шестая

Парикмахерская. А н д ж е л а, в подвенечном платье, сидит под феном. На спинке стула висит фата. П а р и к м а х е р, изящный седой мужчина, наводит порядок на столике, меняет салфетки, раскладывает инструменты и т. п.

П а р и к м а х е р. В наше время, дама, мужчина перестаёт быть хозяином положения. На первом плане — женщина, её интересы, духовный потенциал. Каково же, в сущности, предназначение мужчины? Обратимся к временам рыцарства. Преклоняться перед женщиной, украшать её, способствовать её расцвету. Вы — не сопротивляетесь этой идее?

А н д ж е л а. Я-то нет. Они, бывает, сопротивляются. Мужики.

П а р и к м а х е р. Переворот в сознании людей происходит не сразу, мы всё-таки с вами марксисты. Вы, конечно, видели павлина?

А н д ж е л а. И что — павлин?

П а р и к м а х е р. Хвост! Неописуемой красоты хвост. В то же время оперение самки более чем скромно. Теперь обратимся к каким-нибудь мушкетёрам — Атос, Портос, Арамис, перья, ботфорты, пелерины. Это отчётливо видно в кинематографе. А вы знаете, сколько материала шло на их костюмы? Я где-то читал — двадцать метров шёлка и бархата плюс килограмм железа. Но ведь столько же шло и на костюм женщины — минус железо, конечно. В сущности, их одеяния похожи. Идентичны, как говорят в науке. А что мы имеем сейчас? Возьмём брачный наряд. Жених — обязательно в чёрном, невеста — в белом. Это уже совсем иная ступень развития. Ведь чёрный, как известно из физики, это

отсутствие всякого цвета. А белый? Это присутствие всех цветов радуги. Скрытое, конечно... *(Пробует рукой фен.)* Не горячо?

А н д ж е л а. Терпимо.

П а р и к м а х е р. Зачем же терпеть? Вот здесь имеется регулятор. Неизвестный изобретатель потратил усилия, чтоб дама сидела совершенно спокойно. А в дальнейшем, как я предвижу, вся промышленность будет работать исключительно на женщину. Учитывать малейшие её прихоти. Я где-то читал — затраты растут в такой прогрессии, что скоро превзойдут военные расходы. Из чего напрашивается вывод, что женщина, в конце концов, сделает войну невозможной.

А н д ж е л а. Я вас умоляю!

П а р и к м а х е р. Конечно, дама, конечно! Придётся столько ухлопать на ваши наряды и украшения, что на ракеты и танки средств практически не останется. Не воевать же топорами и дубинами! Ну-с? Что у нас получилось?

Приподнимает фен, показывает Анджеле её затылок в ручном зеркале.

А н д ж е л а. До вечера не рассыпется?

П а р и к м а х е р. Дама, я вхожу в сильнейшую десятку по области. Но если есть сомнения, посидим ещё. На чём мы остановились?

А н д ж е л а. Говорите вы так, что даже сердце тает. А на самом деле — какие у женщины радости? Ну, свадьба...

П а р и к м а х е р. Но это лишь ступенька в мир, так сказать, блаженства. А цель, как нам известно, бесконечна — любовь, любовь!

А н д ж е л а. Ой, что вы, для кого это сейчас главное? Слишком хлопотно. До нас уже всё перелюбили, нам вот столечки не оставили.

П а р и к м а х е р. Дама, у вас ещё кто-то есть, кроме вашего жениха? Или был недавно? Я профессионал, это умрёт вместе со мною.

А н д ж е л а. Ну, если и был?..

П а р и к м а х е р. Конечно! У вас должна быть биография! У всякой красивой женщины в ваши годы есть биография. Кто он, если не секрет?

А н д ж е л а. Какие секреты, солдат.

П а р и к м а х е р. Дама, это прекрасно! Это подтверждает мою теорию. Вам хочется, наконец, видеть рыцаря. Хотя бы внешне. А солдат молод, выглядит воинственно. Он говорит «да» — и это действительно да. Он говорит «нет» — и это таки нет. Пусть он даже глуп, но зато ему всё подвластно!

А н д ж е л а. Что ему такое подвластно? Он, если хотите знать, даже кнопку не нажимает. И вообще, он чёрт-те кем оказался. Чуть не агентом, представляете?

П а р и к м а х е р. Одной иностранной державы?

А н д ж е л а. Может, и двух.

П а р и к м а х е р *(пробует фен)*. Ещё минутку посидим. Но... он вас любил? Или вы были только средством — для каких-то его целей? Что вам подсказывало сердце?

А н д ж е л а. Оно уж мне ничего не подсказывало. Оно прямо в пятки ушло, как я про это услышала.

П а р и к м а х е р. Бедная дама! Повсюду читаешь — современные отношения так осложнились, никто ни в чём не может разобраться. Даже контрразведка иногда ошибается. Тем более — мы с вами, маленькие люди, мастера своего скромного дела. Мы можем, конечно, прислушаться к голосу сердца... Но вы же говорите — оно ушло в пятки. Дама, я умолкаю.

Вошла Н а д е ж д а.

Мы ещё заняты.

Н а д е ж д а. Да я не к вам совсем.

А н д ж е л а. Что новенького?

Н а д е ж д а. Погода хорошая. Ты замуж выходишь.

А н д ж е л а. Не всё, значит, трудовые будни. Выпадают и праздники. Что ж жених не едет?

Н а д е ж д а. Карету, наверно, не подали. Говорят, четырнадцать свадеб на сегодняшний день, а «Чаек» и «ЗИЛов» шесть всего. Думаешь, твой Жека — самый главный в городе? Пока ещё нет. *(Примерила фату.)*

П а р и к м а х е р *(бросился к ней)*. Что вы, это невозможно, ужасная примета!

А н д ж е л а. Ты, Надька, думай, чего делаешь.

Н а д е ж д а. Что, мужа себе не найду? А может, я — нарочно.

П а р и к м а х е р. Мы выйдем из положения так.

Я здесь надрежу, а вы оторвёте себе на память, когда начнётся церемония.

Н а д е ж д а. Мерси, постараюсь не забыть. А кого я, Анджелка, видела...

А н д ж е л а. Где?

Н а д е ж д а. На пляже, возле порта.

А н д ж е л а. Что он там делает?

Н а д е ж д а. Сидит, камешки в море кидает. Без майки.

А н д ж е л а. Ты уж успела! Черти тебя именно на этот пляж занесли. О чём же вы переговорили?

Н а д е ж д а. Я в бухточку пошла, куда мы с тобой ходили. Виновата я, что он тоже это место знает?

А н д ж е л а. Говорили — о чём?

Н а д е ж д а. Солнышко грело, мы позагорали, он книжку какую-то листал. Да, спросил: «Не знаете, как варят щи из топора?» Не знаю, говорю, не приходилось. Всё я тебе доложила.

А н д ж е л а. Мура какая-то. Обо мне — спрашивал?

Н а д е ж д а. Ты знаешь — ни слова.

А н д ж е л а. Опытный мужчина! Зачем, раз он на тебя перекинулся...

Н а д е ж д а. Анджелка, а ведь не поздно ещё. Больше он не придёт — на тебя через витрину смотреть.

А н д ж е л а. Ну да, значит, я теперь должна к нему на пляж сломя голову бежать, через весь город. В платье подвенечном, с укладкой. Фату надеть или не надо?

Н а д е ж д а. С фатой — это шикарно! Тут же его кондрашка хватит.

А н д ж е л а. Я тебе серьёзно. Если б что было настоящее, он бы сейчас камешки не кидал. Я всё утро дома была — что-то не явился.

Н а д е ж д а. С ума ты сошла. Как же он явится — после всего?

А н д ж е л а. После чего, подружка? Надо мне было тоже про какие-нибудь похождения наплести?.. Он моей просьбы — одной! — и то не выполнил. Не посчитался. Значит, не поняли друг друга. Значит, не судьба.

Н а д е ж д а. Он тебе совсем, совсем не нужен?

А н д ж е л а. А ты подобрать хочешь? Валяй... если получится. Только мне не сообщай, поняла? Вот, хочешь моей подругой остаться — чтоб я слова про него не слышала! Имени его не упоминай. Вот так. Всё правильно. Праздник у меня, и пусть всё катится.

Слышно, как под окном остановилась машина. Анджела встала.

Всё, готова девица. Хоть под венец, хоть под поезд.

Н а д е ж д а. Не задержался. Ну, в нашем городе не бывало ещё, чтоб задерживались женихи.

Ж е н и х вошёл с друзьями, которых он зовёт В и т ю ш к о й и В е н ю ш к о й. Так и мы станем их называть.

Ж е н и х. Анжелина!

А н д ж е л а. Действительно, не задержался. Что тебе, дорогой?

Ж е н и х. Как что? Ехать самое время. Оркестр в сборе, конь вороной стучит копытом. *(Выглянул в окно.)* Шеф, посигналь-ка! *(Звучит сигнал.)* Слабовато рычишь, гранд-приз не заработаешь. «Чайка» ты или не «Чайка»?

Сигнал звучит трубно, торжествующе.

А н д ж е л а. Всё, как надо, дорогой. Цветы не забыл?

В и т ю ш к а. Пять корзин в багажнике. Мало — ещё обеспечим.

А н д ж е л а. Куда столько?

Ж е н и х. Да неужели ж чего пожалеем для птицы белой! Ну-к, Венюшка, давай показывай, чем мы её окольцуем.

Венюшка поднёс футляр.

А н д ж е л а. Толстые какие!

Ж е н и х. Скажем так — массивные. Золотой фонд зрелого социализма. Симке-ювелиру заказывали, но — жаль героя, попал под облаву. Однако дело своё успел передать другому. Не скажу кому, скажу только — не сотрётся до нашей золотой свадьбы.

А н д ж е л а *(целует его)*. Всё как надо. Едем, дорогой.

Венюшка взял одеколон со столика, льёт себе на грудь.

П а р и к м а х е р *(страдая)*. Зачем же так, есть прибор!

Ж е н и х. Венюшка, шалишь! Мне за тебя перед мастером неудобно.

П а р и к м а х е р. Ничего, пожалуйста.

В е н ю ш к а. Я не шалю, я мастеров уважаю...

Ж е н и х. Головка у нас — слабенькая, мы ещё полуфабрикаты. Товарищ мастер, пудры не найдётся — боевые шрамы присыпать? *(Останавливает его руку.)* «Макс Фактор»?

П а р и к м а х е р. Увы. И даже не «Елена Рубинштейн». Приятно видеть знатока.

Ж е н и х. А мне, дорогой мастер, неприятно, что ты так работаешь — без «Макс Фактора». Ты извини, что я на «ты».

П а р и к м а х е р. Ничего, пожалуйста.

Ж е н и х. Ведь уже зримые черты коммунизма наблюдаем, а нашим подругам, женщинам-труженицам, пчёлкам нашим, красоту навести нечем! А чем они хуже, предположим, той же Дребезжит Бардо? Вот, Венюшка, за твоё поведение обеспечишь мастеру фирменной пудры — и чтоб не изнурительно дорого, усёк?

П а р и к м а х е р *(припудривая Жениху синяк)*. Очень вам признателен. Но должен сказать, в моём деле редко приходится прибегать к косметике — хотя я и косметолог по совместительству. Главное — раскрыть структуру лица, а для этого — вкус. Остальное — делают руки.

Ж е н и х. Руки мастера, что и говорить!

П а р и к м а х е р. А вот если б удалось достать фен германского производства...

Ж е н и х. Это, по-русски сказать, «сушуар»?

П а р и к м а х е р. Я предпочитаю говорить «фен». Наши, вы знаете, не совсем удобны, спинка не регулируется, неудачно продуманы контакты. Дама садится в кресло и замыкает их, так сказать, своим корпусом. Она, естественно, опасается удара током, сидит неспокойно...

Ж е н и х. Да, это ни к чему. Отечественная техника, скажем так, не уступает. Не уступает лучшим заграничным образцам. Но бывает — подводит. Я тебя понимаю. Только по технике у нас — Витюшка. Вот этот, чёрненький. Слышь, Витюшка, чтоб был бы мастеру фен. Имей в виду, я с тебя не слезу.

В и т ю ш к а. Сделаем. Чуть погодя.

П а р и к м а х е р. Не знаю, как буду вам признателен!

Ж е н и х. Обожди благодарить, мастер. Ну, хотя Жека зря не обещает. Это ж разве не про него сказано: «Он к товарищу милел людскою лаской, он к врагу вста-

вал — железа твёрже!» *(Разглядывает свой глаз.)* Ох, вражина, попался б ты мне снова, ты б живой не ушёл!

Н а д е ж д а. Можешь с ним встретиться, если хочешь.

Ж е н и х. Где, в трибунале? Или его уже на поруки выпустили? Ох, довыпускаемся! Орём, орём: «Бдительность!» — а нет же её ни хрена, вот что мне больно, потом себе локти будем кусать.

А н д ж е л а. Всё, Евгений, покончили с этим.

Ж е н и х *(усмехаясь)*. Реабилитировали, значит? Промашка вышла? Хе, чёрт!.. Но я вот так анализирую — ведь не зря ж на него подумалось? Всё-таки тёмный он, с червоточиной, гнилушка. Ну, есть в нём что-то такое... не наше. Мне за тебя страшно сделалось, что могла ты на удочку такому человеку попасться.

А н д ж е л а. Нет никакого человека, едем.

Ж е н и х. Легко живём, вот наша беда! Я, Анжелина, за тобой не подозреваю. Знаю — доверчивая ты, чистая, как стёклышко хрустальное. Но — нельзя так. Не имеем мы права. Я это тебе перед шагом ответственным должен сказать, тем более — тут все свои. С тем человеком...

А н д ж е л а *(грозно)*. Нет никакого человека!

Ж е н и х *(Надежде)*. Ты с нами, что ли, едешь? Свидетельницей?

Н а д е ж д а. Да как-то не собиралась...

А н д ж е л а. И правда, чего там интересного, на свадьбе уже увидимся, ладно?

Н а д е ж д а. Приду. Как приберусь.

Ж е н и х. Во, прибери её, мастер. А то чего она у нас выдрой ходит. Вот я тебе за всё про всё оставляю — из свадебного фонда. По машинам! Витюшка, Венюшка!

А н д ж е л а. Я догоню.

Жених уходит с друзьями.

Ничего, всё к лучшему *(Обняла Надежду.)* Надька, будь хоть ты счастливая, так мне за тебя тревожно!.. Скажи ему, если увидишь,— я за двоих подумала. Ничего б у нас всё равно не вышло. Он не знает, а я-то знаю. Пусть так оно и останется, как случилось.

Н а д е ж д а *(целует её)*. Счастья тебе, Анджелка.

За окном сигналят, зовут Анджелу.

А н д ж е л а. Мы-то с тобой — не разлучимся?

Н а д е ж д а. Мы — ни за что. Иди же, зовут. До вечера...

Анджела ушла.

П а р и к м а х е р. Прошу вас, дама. А всё же какой очаровательный мерзавец! Хозяин жизни, всегда на коне. Вы думаете, он мне достанет фен?

Н а д е ж д а. Можете не сомневаться. Ему только ногой топнуть — нефтяной фонтан забьёт.

П а р и к м а х е р. Но вы согласны — море обаяния в нём?

Н а д е ж д а. Утопилась бы я в этом море.

П а р и к м а х е р. Топиться не надо. Надо извлечь всё возможное из того, что нам отпустила природа. Волос у вас мягкий, послушный. Лобик мы слева закрываем или справа?

Н а д е ж д а. Всё равно.

П а р и к м а х е р. Кто вас причёсывает, дама?

Н а д е ж д а. Сама.

П а р и к м а х е р. Нет, это немыслимо! Разве может дама сама причёсываться?! Я бы хотел вас видеть своей постоянной клиенткой. О чём мы с вами поговорим? Не затронуть ли нам тему доверия к человеку?

Н а д е ж д а. А может, не надо?

П а р и к м а х е р. Так... Вопрос профессиональный — вы идёте на свидание или на свадьбу вашей подруги?

Н а д е ж д а. Вам сказали — чтоб я не ходила выдрой. Вот и действуйте.

Картина седьмая

Та же комната в доме Анджелы, что и в картине 3-й. Столы сдвинуты, сидят г о с т и, О т е ц, Ж е н и х, р о д и т е л и Ж е н и х а. Включён телевизор, на который никто не смотрит, на полную мощность ревёт проигрыватель. Н а д е ж д а, в переднике, обходит с подносом гостей, ставит новые закуски, убирает посуду и т. п. А н д ж е л а с одним из гостей танцует твист.

А н д ж е л а. Надька, не возись там, иди выручай.

Н а д е ж д а. Падаешь уже?

Ж е н и х. Анжелина, не позорь семейство, держись! Он щас завалится, я его знаю.

А н д ж е л а. Всё, померла...

Повалилась на стул. Кавалер танцует один.

Вот те и «завалится»! И где вы такого жеребчика нашли? Надька, должна же ты меня выручить. Брось всё к чертям, я хочу, чтоб весело было. Посуду потом сама уберу.

Надежда оставила поднос, пошла танцевать.

Я ж говорю — Надька меня где хочешь заменит!..

Ж е н и х. В сердце у меня — никто никогда, Анжелина!

А н д ж е л а. Ты закусывай, закусывай получше.

В и т ю ш к а. А я вот — и не могу закусывать, в рот не лезет. Всё же горькое. Сёмужки поешь — горько, осетринки попробуешь — то же самое.

Г о с т ь я. Капустка маринованная — ну полынь, полынь!

В с е. Горько! Горько!

Танец прервался. Жених, с двумя рюмками, идёт к Анджеле.

Т а м а д а *(во главе стола)*. Разрешите поднять этот маленький бокал с большим чувством за то...

В и т ю ш к а. Горько!

Т а м а д а. Слушай, кто тамада? Я тамада или ты тамада?

В с е. Горько! Горько!

Т а м а д а. Ну хорошо, я подчиняюсь, я не иду против общества, я временно оставляю трибуну. Мне тоже не сладко, понимаешь...

Ж е н и х. Анжелина, уважим общество?

А н д ж е л а. А то нет! *(Отдала свою стопку Надежде.)* Ещё одну налей.

Г о с т ь я. Ну уж нет, это так не полагается, это вся любовь на сторону уйдёт.

А н д ж е л а. А я вот так задумала!

Ж е н и х *(наливает ещё стопку)*. Вот какая досталась! Сам себе не позавидуешь.

А н д ж е л а. Но всё-таки досталась! Ну вот, мы сначала общество уважим. *(Поцеловала Жениха.)* А теперь я слово скажу.

В с е. Горько! Всё равно горько!

А н д ж е л а. Ну кому ж я слово буду говорить, когда вы все кричите?

В с е. Горько!

Т а м а д а. Слушайте, где регламент? Я уже вернулся, я уже опять взял полномочия. Невеста тоже имеет равноправие, да?

О т е ц. Она и не имеет, дак возьмёт. Вся упрямая, как матерь её, покойница. Вот, помню я...

А н д ж е л а. Ну что вы, папа, не нужно сегодня грустное вспоминать, день же у меня — праздничный. Ой, что же это я хотела? Голова уже пьяная. А если я сейчас не скажу, то когда же успею? Вы же нас только до свадьбы и слушаете, а там жизнь начинается — подай, унеси. И вовсе она не упрямая была, вы всё, папа, забыли, и я такая же. Я свою жизнь всю наперёд вижу. Ну, раз я согласие дала Евгению, то значит, подумала, что делаю. Только я хочу, чтоб и он знал — может, я чем-то пожертвовала. Может, у меня свои надежды были...

М а т ь Ж е н и х а. Господи, это что ж за новости такие?

Ж е н и х. А это не новости, маманя, это всегда так невесте кажется.

А н д ж е л а. Конечно, свекровь дорогая! Или я вас теперь мамой должна звать? Вот здорово... А свекровь — это что? «Своя кровь» значит? Чего-то я совсем запуталась, вы же мне досказать не даёте.

В и т ю ш к а. И до чего ж горько мне — как будто хрену попробовал!

В с е *(на мотив «Белым снегом»)*:

Белым хреном, белым хреном,
Белым хреном поросёнка поливай.
Поросёнок с белым хре-еном
Очень даже имитировает рай!

А н д ж е л а *(Надежде)*. Видишь, как это бывает. Думаешь, у тебя по-другому будет? Придут, налижутся — и забудут даже, чей это праздник. Вон у того спроси, у этого — кто тут невеста,— неужели на меня покажут, если я белое сниму?

Н а д е ж д а. Анджелка, всё равно я тебе завидую.

Т а м а д а. Я замечаю у наших дам печальное выражение.

М а т ь Ж е н и х а. Что ж такого, не грех и поплакать на радостях.

Т а м а д а. Извините, не разделяю. Веселиться будем по моей программе. Разрешите поднять этот маленький бокал...

В е н ю ш к а. С ба-алшим чувством...

Т а м а д а. Ты уже образованный, да? Ну, продолжай, пожалуйста.

В е н ю ш к а. За украшение нашего стола. За прекрасных дам.

Т а м а д а. И совсем не то хотел. За это тоже хотел, но не сразу. Никогда ты кавказскую мысль не угадаешь. С предков надо начинать. Если бы ваши бабушки и дедушки не были бы русские, то вы тоже не были бы русские. Если бы мои бабушки и дедушки не были бы грузины, то я тоже не был бы грузин и главный технолог пошивочного комбината. Так, во-первых, выпьем за тех, кто умел смотреть в будущее, как мы смотрим в этот бокал!

Ж е н и х. Тамаз, дай мне сказать.

Т а м а д а. Пока ещё не дам, дорогой. Уходя от нас, наши бабушки и дедушки завещали своим детям: когда они будут присутствовать на свадьбе своих детей, обязательно целоваться!

Отец Анджелы целуется с родителями Жениха. Общее ликование.

Ж е н и х. Тамаз, ты мне дашь?

Т а м а д а. Теперь возьми, дорогой.

В е н ю ш к а *(очень набравшийся)*. А мы всё выпили? Всё-всё?

Ж е н и х. Сиди, кой-чего осталось... Я за что хочу? Я лично за родителей хочу. За то, что они меня жизни научили. Тамаз не даст соврать — производство у нас тяжёлое, семьдесят гавриков — у того руки нет, у того ноги, а у кого — памяти. А ничего, вкалываем, план даём. Или вот я экзамены сдаю в педагогическом, без образования же тоже как без рук, так пока я сочинение намаракал про четвёртый сон Веры Павловны, семь потов сошло. Трудненько после армии. А в армии — как мы с тобой, Витюшка, трубили? В белых перчаточках кнопочки не нажимали, на брюхе с полной выкладкой ползали,

старшину роты, как отца родного, чтили. Не то что теперешние, лобастенькие-очкастенькие, с Феллини-Антониони по корешам,— им всё готовое подай, да чтоб всё полегче, у них установка — банк сорвать. А нас — к чему с детства готовили? Что жизнь — она не праздник. Она — вещь сволочная. Помнишь, маманя, я мальцом прибегал — пожаловаться на Саньку, рыжего? Проходу мне не давал, обормот,— то по шеям съездит, то общую смазь сделает. А ты мне чего в ответ? «И слушать не желаю. Пока ты этого Саньку не выпорешь, я в тебе сына не узнаю».

М а т ь Ж е н и х а. И когда ж это я говорила?

Ж е н и х. Было, маманя. И крепко мне запало тогда, что должен я его именно выпороть. И главное — справился! Ребят подговорил, в каменоломню мы его заманили... Больше не лез.

В и т ю ш к а. Это Кубышкин, что ли?

Ж е н и х. Он самый. Но это всё — детство. А когда он инвалидом сделался, под всеми заборами лежал, то кто ж его подобрал, к жизни пристроил? Да тот же я. Про тебя вспоминаю, папаня,— как я мороженого просил, а ты — не купил. Сам пивко прихлёбывал, а мне говорил: «Всего сам добьёшься — и мороженое будет послаще, и пиво — похолоднее».

О т е ц Ж е н и х а. Ты бы чего хорошего вспомнил, стервец.

Ж е н и х. А я разве — плохое? Благодаря кого же я на ногах стою твёрдо, положение имею, другого ещё могу вытащить? Слыхали — проблема есть новомодная: отцы и дети? Так это не про нас. Потому и государство на таких, как мы, опереться может, как на каменную стену. Но, дорогие граждане, если мы свои обязанности чётко знаем, то и права? Предположим, заявится он ко мне... ну, из этих, про которых я говорил. «Отдай мне, скажет, самое дорогое». А что у меня самого дорогого? Невеста моя? «Вот, скажет, уступи мне её». Это почему — уступи? «А я, грит, влюблён в неё с первого взгляда». У него ж это просто. И все ж ему обязаны. А знает он, сколько моей души сюда вложено? Думает он за неё, как она будет жить, когда у него эта блажь схлынет? Нет, он это в голове не держит. Так имею я право врагом его считать смертельным? В порошок стереть — любым способом?

Т а м а д а. Хорошо говоришь, дорогой, но долго-долго. Тост у тебя слишком кавказский.

В е н ю ш к а. Зато наш Жека вчера шпиона поймал!

Ж е н и х. Замяли, Венюшка, замяли.

Т а м а д а. Он скромный. Он хочет сказать: «Просто повезло мне. Так на моём месте поступил бы каждый».

В е н ю ш к а *(пытаясь встать)*. А вот у меня случай. Подходит ко мне в ресторане. Он мне по-американски — и я ему по-американски. Он мне по-немецки — и я ему по-немецки. Он мне по-французски...

Т а м а д а. А ты ему по-грузински.

В е н ю ш к а. А я ему — по-нашему: «Русского человека, сука, за доляры не купишь!»

Т а м а д а. Так выпьем же за то, чтоб в нашем пошивочном комбинате враг бы себе не нашёл никакой лазейки.

Общее веселье, пытаются спеть «Белым хреном», но выходит уже далеко не стройно.

Ж е н и х. Что же ты мне тост испортил, Тамаз?

Т а м а д а. Я испортил? Я его логически завершил. Объявляю танцы!

Кавалеры разбирают дам. Жених ведёт Анджелу на середину. Долго никто не замечает вошедшего С о л д а т а. Затем Отец Анджелы пробирается к нему со стопкой в руке.

О т е ц. Пожалуйте к нам гостем. *(Узнал.)* Освободили? Пустое всё оказалось? На-ко вот, хлопни с порога. Чтоб все обиды за дверью остались.

С о л д а т *(поднял стопку)*. За дочку вашу. За невесту.

А н д ж е л а. Это кто же там про меня вспомнил?

Ж е н и х. Бог ты мой! Миша, друг желанный! *(Идёт к Солдату, раскрыв объятия.)* Ну, всё утряслось? Я ж говорил... Тоже хреновину затеяли — защитника отечества подозревать. Всегда вот мы любим палку перегнуть, ну не можем без этого, с детства так воспитаны. К столу проходи, не стесняйся.

О т е ц. Окаянный ты, Жека. Ты бы повинился перед человеком, а к столу я и сам приглашу.

Ж е н и х *(улыбаясь, Солдату).* Я сейчас. *(Ведёт Отца к столу.)* Демагог вы, папаня. Нехорошо. Это вы, значит, тут хозяин, а я чтоб своё место знал?

О т е ц. Дал бы я те по шеям, зятёк ненаглядный!

Ж е н и х. Тестюшка, дорогой, вы ж на ногах не держитесь. Дайте-ка я вас усажу, вот ваше место законное.

В и т ю ш к а. Давно я мечтаю, папаша, с вами выпить. Претворим наши мечтания в жизнь?

Ж е н и х *(возвратясь к Солдату).* Да пригласи ж невесту, солдат. Кондакова, прояви инициативу, а то заробел парень.

А н д ж е л а. Как скажешь, дорогой. Только ему, наверно, с Надькой интереснее.

Ж е н и х. Знаем, с кем ему интересней. Сейчас я вам соответствующее поставлю.

Ставит на проигрывателе «Как тебе служится, с кем тебе дружится, мой молчаливый солдат?». Пары постепенно расходятся, остаются Солдат и Анджела.

А н д ж е л а. Держи меня крепче, уронишь. Вчера такой смелый был, не дай бог.

С о л д а т. Напугать успели. Весело тебе? Счастливо?

А н д ж е л а. Разве ж только для веселья женятся люди? Не всё хиханьки-хаханьки, ответственность должна быть.

С о л д а т. Я всячески за тебя рад.

А н д ж е л а. В гости ко мне будешь приходить? Учти, хочу тебя видеть.

С о л д а т. На это ещё у мужа придётся разрешения спрашивать. Пожалуй, оно лишнее.

А н д ж е л а. А я вот настаиваю... Вот же ты явился, никого не спросил.

С о л д а т. Времени у меня час. И надо же поставить точку.

А н д ж е л а. Интересно, как это ты её ставить собираешься? Посуду побьёшь? Ты же смешной будешь. Я первая над тобой насмеюсь.

С о л д а т. Это мне уже не страшно.

А н д ж е л а. Ну, не глупи, не надо. *(Приникла к нему.)* Чёрт с ними со всеми, пускай чего хотят думают. А ты успокой свои нервы.

В и т ю ш к а. Жека, я чего замечаю или мне кажется...

Ж е н и х. Такой танец, Витюшка.

М а т ь Ж е н и х а. Танец-то танец, а приличия тоже имеются.

Ж е н и х. Маманя, я твой сын или чей? Значит, я порядок всегда наведу, будь уверена.

О т е ц Ж е н и х а. Откуда человек? Она его давно знает?

Ж е н и х. Друг детства, старая платоника. Я же говорю — такой танец.

Н а д е ж д а. Кому чего положить? Салата никто не попробовал.

Ж е н и х. Отдохни, голуба, запарилась.

Н а д е ж д а. И правда, я с вами выпить собиралась. Кто мне нальёт?

А н д ж е л а. Надька наша неприкаянная, правда? Никто по ней с ума не сойдёт.

С о л д а т. Всему своё время.

А н д ж е л а. Что ты, ей знаешь сколько? Она меня на целых два года старше.

С о л д а т. Какое имеет значение — для богини? Она же — вечноюная!

А н д ж е л а. Я тебя умоляю! Богиня! Для этого нужно ноги иметь. И верхний этаж. Не считая рожи.

С о л д а т. А вот ей — не обязательно.

А н д ж е л а. Ты со мной танцуешь или с кем? И что ты мне в мой день всё поперёк говоришь? Я вот возьму и сама начну посуду бить!

Ж е н и х *(подходит)*. Что, не заладилось у вас? Может, чего другое поставить? Твистик или чарльстон?

С о л д а т. Да мне уже идти скоро...

А н д ж е л а. И пускай, пускай уходит.

Ж е н и х. Шутишь, я его так не отпущу. Я с ним на брудершафт хочу. Выпьем на брудершафт?

С о л д а т. Так мы же со вчерашнего на «ты».

Ж е н и х. Ничего не значит. Знакомство у нас по новой начинается. А кто старое помянёт, тому, как ты знаешь, глаз вон.

С о л д а т. Нет уж, в глаз больше не надо. Грубо слишком.

Ж е н и х. Шутник ты. За то мы тебя и любим. *(Ведёт к столу.)* Рекомендую нового моего друга. Водяры

ему! Салатик прошу фирменный. Салатик — «Ив Монтан», не пробовал?

В и т ю ш к а *(наливая).* Это вот он и есть — шпион?

Ж е н и х. Витюшка, уши нарву, вести себя не умеешь.

С о л д а т *(улыбаясь).* Это я и есть — шпион. Только — тихо.

Т а м а д а. За кого ты нас принимаешь? Мы конспирации не знаем, да?

С о л д а т *(поставил стопку).* Жека, можно на пару слов?

Ж е н и х. Всегда пожалуйста. Так раньше выпьем?

С о л д а т. Это не уйдёт. *(Отходит с ним.)* Значит, так... К тебе придут два человека. Это — мои ребята.

Ж е н и х. Так. Твои ребята. Уже они мне — друзья. Как зовут?

С о л д а т. А они не назовутся. Они спросят: «Есть коверкот синий на костюм?» Ты ответишь: «Нет коверкота, есть бостон».

В е н ю ш к а. Вы ч-чего это там шепчетесь... таинственно?..

Ж е н и х. Сиди, не скучай. *(Солдату.)* Зачем же, Миша, я это буду говорить, когда у меня и коверкот есть, и габардин, и драп-велюр, если хочешь.

С о л д а т. Так надо. Это пароль и отзыв. Рубишь?

Ж е н и х. Рублю, Миша. Хотя — с трудом.

С о л д а т. Этих людей надо устроить. Они тут поживут некоторое время, в городе.

Ж е н и х. Могу у себя поселить на квартире. Если ненадолго.

С о л д а т. У себя — не нужно. Не нужно у себя. Требуется надёжное, укромное место. Потом будем их внедрять на базу.

Ж е н и х. На какую базу, Миша? На продуктовую?

С о л д а т. Дурак, ты всё ещё не понял, кто я такой? Другим объяснил, а сам не понял? Миша, Миша... Какой я тебе Миша? Ситников Николай. Впрочем, для них — пусть будет Миша.

Ж е н и х. Так кто ж ты на самом деле?

С о л д а т. Что у вас с памятью, Кондаков? Вам же даны были все инструкции. Роберт Джонсон, с вашего разрешения. Слышали про такого? Он же — Макс Нидермайер. Но это — не для широкого круга.

Ж е н и х. Миша, я нервный, у меня свадьба. Ты грубо шутишь, Миша.

С о л д а т. А почему эти люди — в курсе? Раскрылся, подонок! Разболтал! Знаешь, что за это полагается?

Ж е н и х *(отступая).* Алё, тут все мои друзья. У меня от них секретов нету.

С о л д а т. Значит, это наши люди?

Ж е н и х. Нет, Миша, это наши люди.

С о л д а т. Прекрасно. Значит, сообщники? В таком случае — я всех вербую!.. Никто не встаёт, пока мы не договоримся. Лазерный пистолет смонтирован здесь, в оправе. Одно движение бровью — и от вас кучка пепла. Не слыхали про такую новинку?

Т а м а д а. Какие успехи делает кибернетика!

Ж е н и х. Миша, они же и вправду чего подумают...

С о л д а т *(треплет его по щеке).* Нервничаешь, мальчик. Понимаю, в режимном городе работать непросто. Но ты хорошо натурализовался. Женишься? Жену зовут Анджела? Прелестное имя. И вообще — одобряю ваш выбор, Кондаков. Центр приносит поздравления. Но надо работать, друзья. До сих пор мы вас не тревожили.

О т е ц Ж е н и х а. Что это, Евгений? Как это понять?

Ж е н и х. Шутит он. Исключительно шутит, папаня.

С о л д а т. Что вы волнуетесь, Кондаков-старший? Ваш сын у нас на хорошем счету, шеф им доволен. Он вам не говорил, сколько мы ему платим, поросёнку этакому? Это-то он скрывает. Пятьсот фунтов чистоганом.

В и т ю ш к а. В месяц?

С о л д а т. В неделю! И столько же премиальных ему набежало. В золотых рублях — две тысячи.

Т а м а д а. Слушай, а сертификатами? Сертификатами сколько?

С о л д а т. Это ты сам подсчитаешь, кацо. Но учтите, мы столько платим не каждому, кто на нас работает. Талант! Мы головы ломали, где установить рацию, а он, представьте, придумал — на кладбище, в могиле. Крест — в качестве антенны. Это же додуматься! Нет, он далеко пойдёт. Мы уже подумываем, не перевести ли его в Пентагон.

Г о с т ь я. Батюшки, с какими ж это я вурдалаками сижу! И кто меня сюда пригласил? Сама напросилась...

С о л д а т. Кто сказал «вурдалак»? Это же кодовое название поста. Болтаешь, мальчик! Не-ет, Пентагон тебе не светит.

В е н ю ш к а *(проснулся)*. Чего, Жека у нас на повышение идёт?

Ж е н и х. Миша, я по-хорошему прошу, кончай это дело!

С о л д а т. Чего орёшь, болван! Деньги получал, а работать не хочешь? А если вынырнет подпись некоего Кондакова на одном любопытном документе? Не поздоровится пресловутому Кондакову! Ты уже пытался вчера от меня отделаться... Не вышло!

Т а м а д а. Слушай, ты только бровями не шевели, не меняй выражение, пожалуйста. Он будет, будет работать!

Ж е н и х. Миша, я ж потом не отмоюсь!..

В и т ю ш к а *(полез из-за стола)*. Не, тут дело тёмное. Я ни при чём...

С о л д а т. Сиди там, чернявый! Для тебя тоже работа найдётся. Шифровальную службу — освоишь?

В и т ю ш к а. Я неспособный! У меня справка есть!

С о л д а т. Справки управдому показывай. А у нас только так: не умеешь — научим, не хочешь — заставим.

Ж е н и х. Ну что, перед тобой на колени стать?

С о л д а т. Между прочим, я не стоял, когда ты меня хотел заложить. Ничего, мальчик, я всё простил. Я же понимаю — устал, нервы. В последнее время столько было работы. Четыре поджога, крушение, две катастрофы авиационные... Это всё учтено. Шеф обещает отдых на Лазурном побережье. Каждому — вилла. И по два «мерседеса». Но надо взять себя в руки, усилиться. Надо ещё поработать, други мои! Напрячь все силы! Сегодня ещё кого-нибудь ждёте?

Н а д е ж д а *(у окна)*. Никого. Всё спокойно.

Г о с т ь я. И девка у них — при деле!..

С о л д а т. Как зовут? Ах да, я слышал — Надежда. Женщины у нас тоже работают, Надежда. И некоторые очень даже котируются высоко. Так, слушать всем! Даю вводные. На нашу диверсионную группу... Кстати, как называется наша группа? Никто не знает? Прошу запомнить — «Афина Паллада». А кодовое название Центра? Тоже не знаете? Прискорбно, друзья! Запоминайте — «Арес». Для тех, кто не знает греческого, пусть будет — «Марс».

В е н ю ш к а. Бох войны!..

С о л д а т. Протрезвится — будет отличный агент. Так вот, на нашу группу «Арес», он же «Марс», возлагает задачу исключительной важности. Не скрою — глобального значения. Все знают слово «глобальный»? Речь идёт ни больше ни меньше как о выводе из строя всего стратегического...

Ж е н и х. Мишка, друг! Ну, извини, понял... Ну, виноват я. Но, Миша, поимей же совесть, ты же умный человек. Тебе всё шуточки, а мне с ними со всеми жить. Они же на меня завтра побегут куда надо...

С о л д а т. Эх, жлоб! *(Замахнулся.)* Я тебе за твоих же друзей... *(Увидел Анджелу, осёкся.)* Ладно, подбери слюни. Больше не буду.

А н д ж е л а. Кончился порох? Я думала — тебя надольше хватит.

С о л д а т. Надоело. Хотел вам сварить щи из топора... Немного пересолил. Да и что толку?.. *(Жениху.)* Теперь — выпьем на брудершафт?

Ж е н и х. Пошёл ты знаешь куда!..

Т а м а д а. Слушай, он же пошутил, он же признался. Веселье тебе на свадьбе обеспечил, настроение взвинтил! Нет, я не тамада. Я недостоин. Он тамада. *(Солдату.)* Ты тамада!

Ж е н и х. Такое веселье знаешь чем ещё может кончиться...

М а т ь Ж е н и х а. Действительно! Я прямо в себя не приду.

С о л д а т. Постарайтесь прийти. *(Взял мешок у дверей. Надежде.)* Проводишь меня? Ну, как хочешь... Желаю всем счастья.

Вышел. Надежда идёт за ним.

А н д ж е л а. Ты куда это намылилась? Останься, прошу.

Н а д е ж д а. Он же позвал... Счастливо тебе, Анджелка. Ты прости. *(Ушла.)*

В и т ю ш к а *(полез из-за стола)*. Тоже и я намылюсь. Шутки шутками, а лучше дома пересидеть, чем где-нибудь.

О т е ц. Вона, как вас кибернетик-то растряс — и завтра, поди, не опомнитесь. Ну, молодец солдат!

Ж е н и х. Бросьте весёленького разыгрывать. Не смешно.

О т е ц. А тебе — плакать надо. Ты же какой грех

совершил — солдата обидел! Кто ж это может в России солдата обижать? Который за тебя первый кровь прольёт, в землю ляжет. Да ещё у меня в дому обидел. Во, окаянный!

Ж е н и х. Бросьте демагогию, я ведь слов-то не боюсь, я их сам говорить умею. И опять вы за своё — ваш дом! Посчитали бы сперва, сколько тут — не вашего. Хоть с крыши начать, с черепицы нержавеющей. Где она, нержавейка фондированная, валяется? Может, где продаётся?

А н д ж е л а *(затыкает уши)*. Замолчи! Вот теперь уже — замолчи!

Ж е н и х. И так далее, папаня, и тому подобное. Если к вам сюда пенсионеры заявятся, народные мстители, пощупать, откуда чего, вы же от них никаким поллитром не отделаетесь!

О т е ц. Ты что же это? Тебе же дочка моя любимая сказала: «Замолчи!»

О т е ц Ж е н и х а. Нет, есть какие-то, в конце концов, границы определённые. Сидеть в таком обществе...

О т е ц. А не сиди, бобёр! Катись! Бобриху свою прихвати! Порядки тут будут устанавливать. Да я вас всех тут налажу. Ещё лизаться полез, бобёр!

В е н ю ш к а *(лезет на стол)*. Граждане! Обождите, граждане дорогие! Я ж понимаю, отчего всё. Потому что — горько, сил нет!

Т а м а д а. Слушайте, замечательно! Блестяще! Вот кто всё понял. Конечно — горько!

В с е. Горько! Горько!

Картина восьмая

Та же платформа, что и в картине 1-й. Свечерело, зажигаются фонари. Публика редкой цепочкой тянется к поездам. На лавке по-прежнему спит К р е с т ь я н и н.

Идут С о л д а т и Н а д е ж д а.

С о л д а т *(Мороженщице)*. На девятичасовой посадку не объявляли?

М о р о ж е н щ и ц а. Вроде не слыхала. *(Показывает на Крестьянина.)* Вон дядечка ждёт, на каждое объ-

явление вскакивает. Что-то уже давно не вскакивал. Мороженое не желаете?

С о л д а т. Не жарко...

М о р о ж е н щ и ц а. Может, девушка желает?

Н а д е ж д а. Ой, нет, спасибо. *(Солдату.)* Видишь, успели. Хочешь, я сбегаю узнаю, почему не объявляют?

С о л д а т. Не нужно, дождёмся команды... И зачем я тебя потащил?

Н а д е ж д а. Что ты, я с удовольствием проехалась.

М о р о ж е н щ и ц а *(коллеге)*. Верка, сворачивай торговлю. Если солдат мороженое не берёт, то уж никто не купит.

Подняли свои лотки на плечо, пошли. Идёт Ц ы г а н к а.

Ц ы г а н к а. Красивый, но в очках, всё по моему гаданию выходит?

С о л д а т. Ладно, ты мне скажи, что дальше ожидается?

Ц ы г а н к а. Не могу. Ещё прежнее не всё сбылось, как же по новой гадать? Ничего мне карты не скажут.

С о л д а т. Что же ещё осталось?

Ц ы г а н к а. Красивый, но без памяти, сказала же я тебе – перемени свой характер. Ну ни один клиент на это внимания не обращает!

Н а д е ж д а. А мне – можете погадать?

Ц ы г а н к а *(достала карты)*. Не сходится, симпатичная... Хотелось бы приятное тебе сказать, но – долг не велит. Стоишь, за рукав его держишься, сердце твоё к его сердцу стремится, а радости – не будет. Ты ему не суженая... Кончился мой день. Пойти шамовки купить, пока гастроном не закрыли...

Н а д е ж д а. Сколько я вам должна?

Ц ы г а н к а. А нисколько, симпатичная. Я, когда хороший товар продаю, заранее цену назначаю. *(Уходит.)*

Н а д е ж д а. Глупости какие-то... При чём тут – «сердце стремится»? Разве я Анджелке враг?

С о л д а т. И что ты всё о ней беспокоишься, у тебя своей жизни нет? *(Притянул её.)* Сама бы любовь с кем-нибудь закрутила.

Н а д е ж д а. Чудак, а то у меня её нет? Я же при тебе рассказывала. Ну, правда, это не совсем так проис-

ходило, и не в Воронеже, просто я действие туда перенесла. Но был мальчик. Ещё как был!

С о л д а т. Куда же делся?

Н а д е ж д а. Отслужил уже давно. На Севере. Там и остался.

С о л д а т. И не пишет?

Н а д е ж д а. Ты знаешь, это даже к лучшему. Мне бы пришлось ему многое про себя рассказать... с кем я за это время была. Сначала с модельером одним... Элегантный был мужчина! Очень ему шло, когда он мне плакался на своё одиночество. Хотя я со стороны знала — две жены в разных городах, одна — с ребёнком. Я понимаю, жалость хотел вызвать, но всё же — зачем было врать, что никого на всём свете нет? Ведь он же мне ничего не обещал, неужели б я с ним порвала, если б он правду сказал?

С о л д а т. И чем же кончилось?

Н а д е ж д а. Хочешь спросить, кто кого бросил? В общем-то он меня, хотя я только и ждала, когда же он меня бросит. Сама не могла, жалко. Но не этим кончилось, а тем, что я сама себе стала врать. Другие, что потом были,— просто от нечего делать, от скуки, а я себя уверяла, что это я тому, первому, хочу отомстить. За что, спрашивается?

С о л д а т. Да... Вечер признаний!

Н а д е ж д а. Это я — чтоб ты понял. Так здорово было на вас смотреть, как вы с Анджелкой встретились. Всюду вранья хватает, а вы как-то без этого сумели... Я её такую ещё не видела. *(Солдат её обнял.)* Ну вот... новости. Это зачем?

По платформе идёт п а т р у л ь.

К а п и т а н. Рядовой, подойдите!

Н а д е ж д а. Здрасьте, мы вас так ждали! Никуда он не подойдёт, я не пущу. Стоит человек, невесту обнимает, фонарей не бьёт...

М а т р о с. Те самые. Пусть обжимаются.

К а п и т а н. Можете продолжать, рядовой. *(Патрульным.)* А я вот, когда солдат был и на свиданку бегал в самоволку... к одной Тамарочке, так я один раз специально фонарь побил, чтоб меня патруль не попутал.

М а т р о с. Молодой ещё, необученный.

Патруль идёт дальше, уходит.

Н а д е ж д а. Пусти... Тебе же потом будет неловко.

С о л д а т. Знаешь, я солдат. Третий десяток слегка разменял. Ты тоже как будто не старуха.

Н а д е ж д а. Всё так. Но я ведь знаю, о чём ты сейчас думаешь. Сказать?

С о л д а т. Интересно, послушаю.

Н а д е ж д а. Ты думаешь: «Почему мы не любим тех, кто нас не мучает, не обманывает, не предаёт?» Брось, никогда так не думай. А только — есть любовь или нет её. Ведь её не заслуживают, не зарабатывают, она непонятно откуда берётся. Но зато — если всё кончится, сгниёт, весь мир развалится, она последней умрёт. Понимаешь, о чём я хочу?.. Вот есть, которых любят — просто так, ни за что,— а это самое ценное, только мы с тобой этого не понимаем. И не пересиливай себя. Ведь ты сейчас с нею хотел бы здесь быть...

С о л д а т. Нет.

Н а д е ж д а. Говоришь «нет», а я слышу — «да». *(Высвободилась.)* Может, я сбегаю всё-таки — насчёт посадки?

С о л д а т. Торопишься распрощаться?

Н а д е ж д а. Нет, что ты. *(Смеётся.)* Однако и я тебе — хоть чуть-чуть, а понадобилась!..

Идёт А н д ж е л а — в пальто, накинутом на белое платье. Среди публики оживление: «Невеста, невеста сбежала!», «Наоборот, жених сбежал, она за ним вдогонку», «И стоило за таким счастьем гоняться!»

А н д ж е л а. Ну-ка, Надька, отойди. Отойди совсем.

Н а д е ж д а. Дура, пальто застегни. *(Солдату.)* Счастливо!

П у б л и к а *(вслед ей)*. Увести хотела, вот бесстыжая!.. Рассчитывали удрать подальше, а поезд-то и задержись... Да уж, чужого не отнимешь — своего всю жизнь прождёшь!..

Н а д е ж д а. Раскаркались, вороны! *(Ушла.)*

С о л д а т *(Анджеле)*. Ты чего тут раскомандовалась?

А н д ж е л а. А ты, оказывается, злодей!

С о л д а т. Я — изменщик.

А н д ж е л а. Это само собой. Но — было бы с кем. Ведь не с кем же. А вот злодей — это точно. Пришёл, нахамил, натопал кошмарными своими сапожищами. Свадьбу мне расстроил. Судьбу мою — всю расстроил.

Как же я теперь жить должна с возлюбленным моим мужем?

С о л д а т. Глупо я пошутил. Ты прости.

А н д ж е л а. Пошутил — хорошо. Урок мне на всю жизнь. Но что же мне дальше-то делать? Зачем он мне, твой урок?

С о л д а т. Не знаю.

А н д ж е л а. А так был уверен — что всё про меня знаешь. Ведь я же — самая милая, самая лучшая, другой ты такой не встречал. Говорил ты мне? Или всё — тоже была шутка?

С о л д а т. Какое теперь имеет значение?

А н д ж е л а. Любимая твоя присказка! А сказка — не получилась, миленький. Ведь ты всё со мной мог бы сделать, верёвки из меня вить. Только бы не спешил, послушался бы меня, понял, чем я живу!.. А ты — как ты со мной обращаешься! Ну что вот я стою, как столб? Обними меня. Чтоб хоть видимость была, что я тебе не чужая.

С о л д а т. Ну, пожалуйста...

А н д ж е л а. Господи! Нужен ты мне, дурак несчастный!

Возвращается п а т р у л ь.

К а п и т а н. Вам, Евсюков, я вижу, не всё понятно.

П о г р а н и ч н и к. Как в воду глядите, товарищ капитан.

К а п и т а н. Вам же сказано — невесту обнимают. А невеста должна быть по всей форме. Значит, она сбегала, переоделась...

П о г р а н и ч н и к. Волосы перекрасила...

М а т р о с. Туфельки сменила... Вместе с ножками.

К а п и т а н. Так что пускай другая смена головы ломает. А мы службу несли как положено.

Патруль снимает нарукавные повязки. Откозыряв друг другу, расходятся в разные стороны.

А н д ж е л а. Правду ты мне говорил? Что я самая, самая...

С о л д а т. Да. Всё была правда. А потом ты сказала...

А н д ж е л а. Что потом было, я помню. Это мне вовек не простится. Никогда мне ничего не прощается. Но я уже как-то привыкла — за всё расплачиваться.

С о л д а т. Что было потом, ты не знаешь. Выпустили меня в семь тридцать. Целый день впереди. Ну, я решил — ты ещё спишь, воскресенье. Пошёл к морю.

А н д ж е л а. И там встретил Надин.

С о л д а т. Она рассказала?

А н д ж е л а. Да. Хотелось бы соврать, но — да.

С о л д а т. А в котором часу, ты не помнишь?

А н д ж е л а. Ну... в двенадцать.

С о л д а т. Ещё полдня впереди. На что может надеяться влюблённый дурак? Что женщина ради него от всего откажется. Всё забудет — праздник, цветы, белое платье, шумное общество, всё такое прочее. И это само по себе произойдёт, не нужно и вмешиваться. Вот главное — ничему не мешать, ждать, что будет. И вот он шляется по всему городу, не вспомнит, где ел, где сидел на лавочке — курил. Только б дождаться вечера. А там уж она всё решила, ждёт его, одно окошко светится. Или она бродит в сумерках у калитки, тоже возможный вариант. И вот он подходит к её дому. Все окна горят, музыка, там пьют, веселятся... Женщине — хорошо. Она ни от чего не отказалась!

А н д ж е л а. Я ведь не счёты пришла сводить. Если б ты только захотел...

С о л д а т. Всё несчастье — что я уже ничего не хочу! *(Оставил её, ушёл к ограде.)* Ты на такси приехала?

А н д ж е л а. Да... На такси.

С о л д а т. Понял он — куда ты едешь?

А н д ж е л а. Как тут не понять... И про вчерашнее — всё я ему сказала.

С о л д а т. Зачем?

А н д ж е л а *(застёгивает пальто)*. Я, пожалуй, поеду, милый. Спасибо тебе за всё.

С о л д а т. Ты прости.

А н д ж е л а. Что ты! Я спасибо тебе говорю.

С о л д а т. За что?

А н д ж е л а. Не понимаешь? За то, что ездил ко мне — из такого далека, смотрел на меня. За то, что робкий был. А потом — смелый. Всё — вовремя! Слова мне говорил, каких я ни от кого не слышала. И вот даже

сейчас признался, что всё правда была. А я тебе — худом отплатила.

Солдат. Я только хорошее буду помнить.

Анджела. Вот это я и хотела услышать. Затем и ехала сюда. Значит, я что-то для тебя сделала. А ты для меня — больше. Ну, прощай, не сердись. *(Уходит, кричит ему издалека.)* Спасибо, милый!

Солдат закурил, вскарабкался на оградку.

Крестьянин *(очнулся)*. Э, сломаешь вещь! Или же свалишься. Садись вот на ко́фер, коль те на лавке не сидится.

Солдат. Не продавлю?

Крестьянин. Продавишь — заплачем. Да не, кофер-то сильный, сам строил. Тоже тебе до Приморского ехать?

Солдат. Дальше ещё. Там попутку буду ловить. А то так пёхом...

Крестьянин. А тебе от станции — в левую сторону или в правую?

Солдат. В правую. Через лес.

Крестьянин. Ага... Ну, мне — в левую. До Мышакова.

Солдат. Спал, что ли, отец?

Крестьянин. Так... кемарил. Да не, не слышно было. Бу-бу-бу... Ну, представляю, об чём с невестой можно.

Солдат. Она — не моя невеста.

Крестьянин. Это я понял, что не твоя. Со своей бы ты сейчас в доме пьянствовал. Ну, смела́ королева! Ейному мужу не позавидую — ведь он её вожжой не приноровит.

Солдат. Это кажется, отец.

Крестьянин. Хорош «кажется»! Через весь город из-под венца к тебе сиганула. Хуже, чем нагишом. Значит, любит тебя, прощелыгу. Ты не обидься, а кто ты есть — солдат. Это для государства ты первый человек, а для бабы ты — последний. Тебя ещё жди, покамест ты из этой хаки вылупишься. Не-ет, великая девка!.. Ну, однако, я вижу — тебя этот разговор колет. А до Мышакова теперь автобусы, наверно, идут? Дорогу-то заасфальтировали аль нет?

Солдат. При мне там всегда асфальт был.

К р е с т ь я н и н. А при мне — не было. Я в этих местах три года не появлялся. А родные мне места.

С о л д а т. Ты откуда едешь, отец?

К р е с т ь я н и н. Я-то? Так ведь, это... из России в Россию.

С о л д а т. Счастья на стороне искал?

К р е с т ь я н и н. Э, какой ты молодой! Разве оно на стороне валяется? Его в своём дворе поищи, а нету — так и нигде нету.

С о л д а т. Значит, не по своей воле странствовал?

К р е с т ь я н и н. Ну, как считать... Своя вина во всём сыщется. Значит, не уберёгся.

С о л д а т. За что же это тебя — на три года?

К р е с т ь я н и н. Да я ж говорю — не уберёгся. А на горячем месте сидел — в совхозе материально ответственным лицом. По-русски сказать — кладовщик. Вина-то моя ещё раньше была — как меня на это место сагитировали, а я согласие дал. Ну, дак по моим годам возвышения хочется, не всё ж навоз вывозить. Тут я его и увидел, возвышение! Мне уж потом следователь всю картинку нарисовал... Хороший он, грамотный человек. Вишь, говорит, как они тебя заморочили. В солидарность вовлекли, да тем и запугали, а сами-то из этой солидарности как-то выпали.

С о л д а т. Ты теперь с этими людьми встретишься. И что сделаешь?

К р е с т ь я н и н. А кепочку сниму, поздороваюсь. А ты б чего сделал?

С о л д а т. Не знаю. Убил бы.

К р е с т ь я н и н. Тоже и мне хотелось. По первому году. А после поостыл. Ведь они ж не со зла, интересу такого ни у кого не было — под монастырь меня подвести. Интерес у них другой был...

С о л д а т. Вот за это и надо убивать.

К р е с т ь я н и н. Ну, однако, не будем про это. Что болячку-то ковырять... А дай-ка я у тебя спрошу. Видел я, как ваши сполохи попыхивают. Как раз где наши поля кончались. Страшная сила, а? Страшней нету?

С о л д а т. Как тебе сказать... Холера — не страшно? Или — чума?

К р е с т ь я н и н. Холера-то, видишь, ей люди не управляют. Страшная, да не злая. Али я не то сказал?

С о л д а т. То самое.

К р е с т ь я н и н. Они ошибиться могут сгоряча. А назад-то её не загонишь, как начнёт всех убивать.

С о л д а т. Ужас не в том, что она убивает. А что она не разбирает, кого убить.

К р е с т ь я н и н. Убить... Ну, а ты людей-то, через свои очки, видишь?

С о л д а т. Иногда — нет. Сплошное серое что-то...

К р е с т ь я н и н. Вот они какие — разбираться будут... Молодой ещё, а — злопамятный!..

С о л д а т. Если наш мир всё-таки не погибнет — его спасут злопамятные люди. Которые не прощают зла.

К р е с т ь я н и н. Может, и так... Ну, однако, поживёшь с моё — переменишься. Слышь-ка? У тебя настроение, у меня настроение. Это я к чему веду?

С о л д а т. Буфет не закрыт ещё.

К р е с т ь я н и н. Так, взаимопонимание. Но видишь, какая проблема: четвертинку взять — это мы не расчувствуем, а бутылку — многовато на двоих...

С о л д а т. Что тут думать, третьего найдём.

К р е с т ь я н и н. Ты скажешь! «Думать не надо»! Это проблема главнейшая — третьего найти. Ведь это — чтоб свой человек оказался. А то ещё не родной попадётся, при нём не побеседуешь. *(Смотрит на проходящих.)* Этого, что ли? Озабоченный слишком. У нас и своих забот навалом. Этот спешит — куда, и сам не знает. Торопливых не надо нам, верно? А этот вроде бы подошёл, но — с бабой. Разве ж она позволит? А может, этого? Взгляд какой-то непрямой, сглазит он нам это дело... Да и посадку, поди, сейчас объявят.

Идёт Д е ж у р н ы й в красной фуражке.

Эй, Красная Шапочка! Ты когда же нам состав подашь девятичасовой?

Д е ж у р н ы й. Не пойдёт девятичасовой. За Лихоборами путя перекладывают.

С о л д а т. Сколько ж это займёт — перекладка?

Д е ж у р н ы й. Как закончат — так сообщат.

С о л д а т. Худо дело, это я в часть опаздываю, как пить.

Д е ж у р н ы й. Значит, опаздываешь. Сочувствую.

К р е с т ь я н и н. Слышь-ка, а ведь дорога у тебя — двухколейная.

Д е ж у р н ы й. Ну?

К р е с т ь я н и н. Ну так Лихоборы — где они? Рукой подать. А встречный — только ещё от Приморского отошёл. Неужто наш не проскочит?

Д е ж у р н ы й. Внеси предложение. В трёх экземплярах. Обсудим, решим. Может, я тогда под свою ответственность и крушение смогу взять. *(Идёт дальше.)*

С о л д а т *(вскочил)*. Постой, друг. Заверь-ка мне увольнительную. Напиши, что опаздывает поезд.

К р е с т ь я н и н. Да уж, выручи солдатика.

Д е ж у р н ы й. Это — с дорогой душой. Где? Вот тут?

С о л д а т. Ну, пониже...

Дежурный надел очки, достал авторучку. Крестьянин подставил спину.

Д е ж у р н ы й *(помахал пером)*. Я лучше на обороте напишу.

С о л д а т. Валяй на обороте.

Д е ж у р н ы й *(помахал пером)*. Чего бы твёрдого подложить...

К р е с т ь я н и н. Спина мужицкая — твёрже нету. Ну, на́ тебе ко́фер. *(Подставил чемодан.)*

Д е ж у р н ы й *(Солдату)*. А ты это кому предъявишь?

С о л д а т. Начальству своему. Взводному.

Д е ж у р н ы й. Взводному — это ещё ничего. Дальше взводного не пойдёт?

С о л д а т. Да не пойдёт.

Д е ж у р н ы й *(помахал пером)*. А взводный твой — возьми да и позвони сюда? А меня в это время у аппарата не будет...

С о л д а т. Зачем это он звонить станет? Когда можно — не звонить.

Д е ж у р н ы й. Вот это — резонно. Зачем, когда можно и не... *(Помахал пером.)* Слушай, так это же он не по моей вине задерживается. Как же я отправление дам — при наличии встречного?

С о л д а т. Да напиши — пути перекладывали.

Д е ж у р н ы й. А почём я знаю — может, ни хрена они там не перекладывают. Шпалы не подвезли... Костылей не хватило... То, сё, пятое-десятое...

С о л д а т. Ну чего хочешь, но — напиши!

Д е ж у р н ы й *(Крестьянину)*. Слышь, чего говорит? Чего хочешь, говорит, то и напиши. Это же додуматься надо! Нет, ты послушай, вникни. Чего хочешь, то и напиши!.. А?

К р е с т ь я н и н. Да уж... оно это... как-то оно...

Д е ж у р н ы й. Вот и я говорю. Молодость. Безответственность. *(Почесал за ухом.)* Напишу так: задерживается по независящим обстоятельствам.

С о л д а т. По не зависящим — от кого?

Д е ж у р н ы й. А вот это уж я не знаю — от кого!

С о л д а т. Да от тебя не зависящим!

Д е ж у р н ы й. Почему это — от меня? Я-то тут при чём?

С о л д а т. Ну так же грамотней!

К р е с т ь я н и н. Пиши, пиши. По независящим обстоятельствам. *(Солдату.)* А ты помалкивай. Он знает, как грамотней!

Дежурный пишет, расписывается.

Ишь, как расписался красиво!

С о л д а т. Прямо — министр!

К р е с т ь я н и н. Ага, так тебе сразу министр и распишется. Что же у него, семьи нету?

Д е ж у р н ы й. Печать в диспетчерской поставишь. У Маши. Скажешь — Усик Иван Григорьич распорядился.

К р е с т ь я н и н. Усик Иван Григорьич? Это нам вроде подходит.

Д е ж у р н ы й. В каком смысле — подходит?

К р е с т ь я н и н *(Солдату)*. Дак вот же он — третий! *(Дежурному.)* На третьего мы тебя выдвигаем. Ты как? Отводу не будет?

Д е ж у р н ы й. Можно, если по-тихому. Время не лимитирует.

К р е с т ь я н и н. Ну, самый определённый третий! Наш человек, родной человек, великий человек!

С о л д а т. Все у тебя великие...

К р е с т ь я н и н. А как же! Кто страх знает, да победил его, тот уже и великий.

С о л д а т. Как же это я могу тогда... как это я посмею! — поллитру с ним распивать, с великим? Я же перед ним на коленях должен стоять, во прахе лежать. А как же! Если не соврал, не предал, хоть на что-то махонькое замахнулся — это же подвиг! А когда же мы людьми будем? Просто людьми... Эх... *(Сел на чемодан, замотал головой.)*

Д е ж у р н ы й. Чего это он? Обидел я его? Солдат, обиделся? Ну, давай напишу, давай... так и быть, ладно! — путя перекладывали! По не зависящим — от меня!

К р е с т ь я н и н. Погоди, Иван Григорьич, тут не в твоих путях проблема. Ну, встанем, солдат. Пойдём, сообразим, всё обсудим как следует. Вот и побеседовать есть об чём. А под это дело у нас это дело отлично пойдёт!

ЭПИЛОГ

Бескрайняя русская равнина. Ветер колышет маки, васильки, ромашки, слышна песня жаворонка. У края дороги, в тени молодой берёзы, стоит невысокий белый обелиск, обнесённый оградкой из арматурных прутьев, крашенных в серебрянку. Перед оградкой — скамья.
Идут А ф и н а и А р е с — усталые и запылённые. Арес прихрамывает.

А р е с. Придержи шаг, сестра. У меня в сандалиях полно песку.

Афина подошла к обелиску, Арес присел на скамью.

А ф и н а *(читает надпись)*. «Имя не установлено. Погиб двенадцатого июля тысяча девятьсот сорок третьего года». И кто же он?

А р е с *(занят своими сандалиями)*. Четыреста пятнадцатого отдельного стрелкового полка младший сержант Чурилкин Павел. Рождения двадцать третьего года, из Полтавы. Как сейчас помню — грандиозная заваруха под Прохоровкой. Ты была тогда на Волховском направлении. Хотя я говорил тебе: самое интересное сейчас — Курская дуга и прилегающие фронты. В этот день, с утра,— механизированная атака германцев. Идут «королевские тигры» — их можно пробить только подкалиберным, кумулятивного действия. Идут «фердинанды»... О, «фердинанд» — это прелестно! Это такое... на гусеницах, как танк, но башня не вращается. Зато орудие — локтей тридцать в длину.

А ф и н а. Короче!

А р е с. Ну, может быть, двадцать восемь.

А ф и н а. Сократи речи свои.

А р е с. Но я не могу протокольно, во мне снова всё закипает!.. Такой огонь — никто головы поднять не может. Взвод противотанковых ружей молчит, бездейству-

ет. Кончились патроны. И что делает этот Чурилкин — он поднимается над окопом со связкой гранат. Он безумец! Связку нужно бросить наверняка. Не добросил — смерть!

А ф и н а. И ты ему не дал добросить!

А р е с *(погрустнел)*. Видишь ли... Он был так прекрасен в эту минуту, что я подумал — ему всё удастся. Отчасти он сам виноват. Поспешил. Нужно было подпустить поближе. Ну, и я не подсказал ему. А мне, думаешь, легко пришлось? Череп — из сорокапятки — насквозь! Это что, шуточки? Просто мы бессмертные... Но разве я не уделил ему от своего бессмертия? Вот ему пионеры посадили берёзку, ухаживают за могилой, роются в архивах, чтоб узнать его имя. Совсем не плохие почести...

А ф и н а. Ещё неизвестно, кем бы он стал — если б исполнил своё предназначение.

А р е с *(встаёт в волнении)*. Упрёк — отвергаю! Я уберёг Бонапарта, позволил ему пройти под пулями весь Аркольский мост — у этого корсиканца было на вершок меньше роста, чем его бы устроило, и круглый подбородок с ямочкой — это обещает хорошие войны. Сервантесу Мигелю де Сааведра я сохранил руку — меня трогали его стишата и у него в заначке был недурной роман о странствующем рыцаре,— жаль, он его испортил насмешечками над воинской доблестью. От графа Толстого Льва я отвёл осколки гранаты — граф обожал военную тематику, и самая знаменитая его героиня бросается под поезд от любви к офицеру. Но младший сержант Чурилкин Павел... Простите, мадам, но это и было его предназначение — пасть в контратаке, увлекая за собою оробевший взвод!

А ф и н а *(стучит копьём)*. Ты превышаешь свои полномочия. Тебе не дано знать о будущем. Это не дано и нашему отцу, Громовержцу.

А р е с. А цыганкам — дано? А вшивым политикам? А вот набираются нахальства и предсказывают. Иногда сходится, чаще всего — нет. Однако никто с них потом не спрашивает.

А ф и н а *(печально)*. Что делается у тебя под медной каской! Сплошной мрак, довольно фанаберии — и ни одной конструктивной мысли. Скоро три грации

превзойдут тебя интеллектуально. А у них, как ты знаешь, ума от одной курицы на троих.

А р е с *(хватаясь за дротик)*. Я попрошу, мадам...

А ф и н а. Не гложет тебя, что ещё ни одна из твоих побед, самых блистательных, никого не осчастливила? Но только моря слёз затопляют былые траншеи. Но только проклятия и проклятия на твою шлемоблещущую голову.

А р е с. Мы сейчас доберёмся до сути, любимая дочка Зевса. Ну, ясное дело, все клянут Ареса. На него можно всё списать. Арес не дал расцвести талантам, прервал великие жизни, растоптал трепетные любови... Какая чепуха! Чушь собачья! Я только всех расставляю по своим местам. Да если б не я и не мой меч — откуда знать твоим смертным сёстрам, каких мужчин им любить? Они же повыскакивают за распоследних хлюпиков,— можно себе представить, какое будет потомство! А мужчинам — как отличить истинную любовь от игры дешёвых комедианток? Не моя вина, что смертные так устроены, но если им ничто не угрожает — жизнь для них теряет цену. Утрачиваются критерии, мужчины перестают быть мужчинами, женщины — женщинами. И не потому ли они так несчастны? Они клянут жизнь, стонут от её тяжести и сами на себе завязывают узлы, из которых не знают как выпутаться. А в войну они чувствуют локоть соседа, они видят врага и цель и если умирают — то с верой, что дело того стоило. И все узлы развязываются так! *(Взмахивает мечом.)*

А ф и н а. Постой... С чего ты взял, что они все несчастны?

А р е с. Мы проходили через этот город... Я только и слышал — жалобы. Такое унылое население! Его бы выкосить наполовину, а лучше на две трети — город только повеселеет.

А ф и н а. Что ты мог слышать — когда уши забиты вечным грохотом? Хочешь — я покажу тебе их всех. Порази любого, кого сочтёшь несчастным.

А р е с. Покажи мне жениха, не ставшего мужем! Покажи несостоявшегося тестя!

Афина гладит сову. Появляются Ж е н и х и О т е ц Анджелы.

Ж е н и х. Я вам так этого не оставлю. Я в это дело столько души вложил, а ваша Анджелка меня на весь

город ославила. Могу я это перенесть? Не-ет, я на вас определённо «народных мстителей» напущу!

Отец. В тюрягу меня упечёшь — за твои же махинации?

Жених. А это ещё доказать нужно. Ничего, пусть вам Анджелка передачки поносит.

Отец. Да ведь я помру в тюряге, я ж старик.

Арес над ними заносит меч.

Жених. А что делать, папаня? Морально она меня убила. Должен я как-то эту занозу вынуть?

Отец. Э! И пускай помру. Зато уж насмеюсь — как тебя кибернетик разыграл. За дочку порадуюсь — тебе, упырю, не досталась!

Жених. Вон как заговорили! Так я вам на это — и хорошо, что я с вашей Анджелкой не спутался. Нашли дурака — объедки чужие подбирать! А она ещё пожалеет, я в Париже консулом буду, в Рио-де-Жанейре — послом...

Арес *(опуская меч)*. Будет...

Жених. Я ещё сам не знаю, в какие большие люди выйду. Но ваш кибернетик ещё у меня на ковре настоится! У меня звезда счастливая!

Арес. Убери!

Афина гладит сову. Отец, напевая, уходит в одну сторону, Жених, насвистывая, в другую.

Афина. Ещё хочешь?

Арес. Ещё!

Появляются Крестьянин и Дежурный в красной фуражке.

Крестьянин. Об чём запечалился, Ваня?

Дежурный. Эх, Проша! Ведь он, солдат, правильно линию гнёт. Я и сам замечаю — всё больше робеть стал. Ведь мог я вполне до Приморского состав пропустить.

Крестьянин. Ну да, а если б крушение?

Дежурный. Откуда оно? Риску не было ни малейшего. Так кто я теперь? Перестраховщик. Кто виноват, что график нарушился? Раньше говорили — стрелоч-

ник виноват, а теперь автоматика — значит, диспетчеру будут хвоста рубать. Несчастный я человек!

Арес поднимает меч.

К р е с т ь я н и н. Ну, ты, однако, утешься, Ваня. Солдату службу ты облегчил. Тебе и на том свете зачтётся.

Д е ж у р н ы й. Вот тоже. Сделаешь другому облегчение, а он тебе же свинью подложит. А у меня этих выговоров в приказе — что у тебя волосьев на голове.

К р е с т ь я н и н. А у меня их и нету, Проша. *(Снял картуз.)* Чисто!

Д е ж у р н ы й. Где ж ты красоту растерял, Проша?

К р е с т ь я н и н. Э, рассказывать — это надо ещё две поллитры брать.

Д е ж у р н ы й. Тоже тебе свинью подложили?

К р е с т ь я н и н. Как это ты угадал? Точно, свинину. Другие стрямкали, а меня под закон подвели. Ну, искупил, а теперь-то чего? Радоваться надо — могли же и больше дать.

Д е ж у р н ы й. Проша! Вот честно говорю — я тебя уважаю!

А р е с *(опустил меч)*. Убери.

Крестьянин и Дежурный уходят, обнявшись, поют на мотив «Камышей»:

Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят...

Идёт П а р и к м а х е р, держа в одной руке стул, в другой — фен. Навстречу, тасуя карты, Ц ы г а н к а.

Ц ы г а н к а. Красивый, но седой, дай судьбу погадаю.

П а р и к м а х е р. Дама, это прекрасно, что вы мне встретились! Фен германского производства! Из всей этой истории я извлёк самую большую ценность. Прошу обновить, дама. Вы будете сидеть совершенно спокойно.

Ц ы г а н к а. Лучше не надо. Я сглазить могу, клиентки к тебе не пойдут.

П а р и к м а х е р. Дама, я профессионал, я теперь войду в сильнейшую пятёрку по области.

Ц ы г а н к а. А то я не профессионалка! В позапрошлую субботу солдатику одному нагадала – все кончики сошлись. Сама удивилась!

П а р и к м а х е р. Скажите, а как вы повышаете свою квалификацию?

Цыганка поманила его. О чём-то шепчутся.

А ф и н а. Подойди, цыганка. Ты вправду считаешь – всё вышло по-твоему?

Ц ы г а н к а. А то нет? Характер же он не переменит, а у неё – тоже самолюбие. Теперь их только бог сведёт. Тем более у него манёвры начались, где ему про любовь думать!

А ф и н а. Ступай, цыганка.

А р е с. И не болтай про манёвры.

П а р и к м а х е р *(Афине)*. Простите, дама, это у вас парик или шиньон?

А ф и н а *(сняла шлем, тряхнула головой)*. Это у меня от бога, цирюльник.

П а р и к м а х е р. Просто не верится! И какой современный стиль! Дама, умоляю вас – берегите такое сокровище. Никаких щипцов, ни бигудей, только массаж на ночь и по утрам щёткой.

А ф и н а. Знаю. Ступай, цирюльник.

П а р и к м а х е р *(вернулся)*. А самое зло – это краска «Гамма». И лондатон!

А ф и н а. Ступай, ступай...

Парикмахер и Цыганка уходят.

А р е с. Кого ты мне показываешь?

А ф и н а. Гадалку и цирюльника. Самые жалкие из смертных. Кого бы ты ещё хотел увидеть? Эту дурочку, что отчасти похожа на меня?

А р е с. Не видал я блаженных! Они перманентно счастливы.

А ф и н а. Или, может быть, капитана, имеющего некоторое сходство с тобой? Ему так хотелось отличиться!

А р е с. С твоего разрешения, он уже – майор. Вчера подписан приказ.

А ф и н а. Я от души его поздравляю.

А р е с. Но главных ты от меня утаиваешь! Где этот солдат? Где его ненадёжная возлюбленная? Скажешь — и они счастливы?

А ф и н а. О нет! Они же — в разлуке.

А р е с. Мне тебя жаль, сестра. Ты когда-то была воительница. Воздух битвы был для тебя самым чистым. Кто дышит этим воздухом, тот не прощает, чего простить нельзя!

А ф и н а. Как ты — не простил Афродите тридцать тысяч её измен.

А р е с. Неужели столько? Я как-то себе не представлял... Э, у нас другое. Мы не давали клятвы верности. С самого начала договорились: у меня своя политика, у неё — своя. Короче — ты не рискнёшь их свести?

А ф и н а. Солдат сейчас — в твоей власти.

А р е с. Ах, да, манёвры! Как это я мог забыть?.. Будет сделано. Пусть только выйдут на рубеж атаки.

Слышится крик «ура». Пробегает атакующая цепь. Солдат, с синей повязкой на рукаве, вбегает с ручным пулемётом, ложится, устанавливает пулемёт на сошки, стволом в зрительный зал, и, лязгнув затвором, замирает. Идёт офицер с белой повязкой — Посредник.

П о с р е д н и к. Так, позицию выбрали правильно, обзор хороший. Но почему не окопались? Вы — убиты. Дайте вашу повязку.

С о л д а т. Товарищ майор!..

П о с р е д н и к. С посредником не пререкаются. Вы же знаете — в армии окапываются без приказа. Это значит — как только залегли. А вы даже лопатку не расчехлили. Да, это вам не кнопочки нажимать, тут думать надо.

С о л д а т. Но, может быть, я только ранен?

П о с р е д н и к. Простому стрелку я бы засчитал ранение. Но вы же пулемётчик, вас подавляют в первую очередь. Я вас считаю убитым.

С о л д а т. Что ж теперь делать?

П о с р е д н и к. Что делают убитые... Можете покурить.

Уходит. Солдат закурил, перевернулся лицом к небу. Крик «ура» затихает вдали. Арес обходит Солдата со всех сторон, оценивая его позицию.

А р е с. Нет, ты посмотри на него! Он находит массу приятного в том, что выбыл из боя. *(Заносит меч.)*

А ф и н а. Лежачего?

А р е с. Но как он посмел не окопаться! Я столько ратовал, чтоб они, мерзавцы, окапывались немедленно.

А ф и н а. Опусти, маразматик. Это у них — учения, это ещё не война.

А р е с *(трёт лоб)*. Вылетело. Что-то со мной в последнем веке... Склероз, наверно. Но где же — она?

А ф и н а. Её ведёт сердце — и она не опоздает.

По полю идёт А н д ж е л а, собирает цветы. Солдат поднимается ей навстречу. Она положила цветы к обелиску и проходит мимо Солдата, как будто не замечая его. Так они молча прохаживаются друг мимо друга.

А р е с. Что-то не очень у них контачит.

А ф и н а. Это не так просто. Похоже, что им придётся знакомиться заново.

А р е с. И он не знает, как это делается? И способ номер один забыл?

С о л д а т *(спохватясь)*. Девушка! Не скажете, который час?

А н д ж е л а. А вон часы на башенке, не видите? Во-он на горушке. Отсюда, правда, плохо видно, всё же три тысячи километров. И к тому же вы — слепой. Половина первого.

С о л д а т. Спасибо, девушка.

А н д ж е л а. Не за что.

С о л д а т. Интересная башенка! Это, наверное, какая-нибудь ваша достопримечательность? Остатки замка?

А н д ж е л а. Я вас умоляю! Каланча пожарная. Столько раз ездили мимо — и не рассмотрели?

С о л д а т. Никогда не ездил. Я в вашем городе не бывал ни разу. Один мой друг туда ездил каждую субботу, но ему некогда было по сторонам глядеть. Там его возлюбленная жила, все мысли были заняты ею... Манекенщица из Дома моделей — может, знаете?

А н д ж е л а. Кто ж её не знает. Блондинка такая.

С о л д а т. Он, кажется, говорил — крашеная.

А н д ж е л а. Но она же себя считает блондинкой. Значит — блондинка. Так себе возлюбленная. Ничего особенного.

С о л д а т. Не скажите, он был от неё в большом восторге. Очень красочно её описывал — такое лицо,

такая фигура божественная, такие длинные-длинные ноги!

А н д ж е л а. Преувеличивал ваш друг. Обычное стриптизное тело. Мордочка, правда, ничего. А в общем, с такими данными ей вашего друга удержать не удалось. Недолго у них музыка играла.

С о л д а т. И как у неё дальше судьба сложилась, не знаете?

А н д ж е л а. Она ему всё про себя написала. Штук двадцать писем, если не ошибаюсь. Но что ж писать — если ответа нет?

С о л д а т. Но он их не получал!

А н д ж е л а. Правильно. Она их и не отсылала. Он же ей адреса не оставил. Если вашему другу ещё интересно — пусть заедет, возьмёт. Она их у подруги оставила.

С о л д а т. А если он её саму захочет увидеть?

А н д ж е л а. А вот это — не удастся. Она из этого города уехала. Наверно, навсегда. Не вынесла, понимаете? Никто больше не приходил — смотреть на неё через витрину, а она уже без этого не могла.

С о л д а т. Но ему скажут, где она? Он её разыщет!

А н д ж е л а. Ой, стоит ли? Этот ваш друг, я вам скажу, сам человек несчастный и другим одни несчастья приносит. Её-то уж точно несчастной сделал на всю жизнь!

Меч Ареса взлетает над ними.

С о л д а т. Девушка, но в чём же его вина?

А н д ж е л а. Я вас умоляю! Выяснять отношения?

С о л д а т *(взял её за плечи)*. Но, может быть, если двум несчастным вдруг повезёт и они встретятся, то это уже не будет — несчастье? Как-нибудь по-другому это будет называться?

А н д ж е л а. Так это — если повезёт!

С о л д а т *(целует её)*. Он всё для этого сделает!

А н д ж е л а. А что она может сделать? Что от неё зависит? Вы передайте вашему другу, пусть он скорее её найдёт, потому что я... я вам скажу — у неё уже все силы кончились, ей жизнь больше не мила, солнце потускнело!..

А р е с *(опускает меч)*. Ну и так далее... Пусть идут с богом.

Солдат взял пулемёт, несёт его в одной руке, другой — обнимая Анджелу.

С о л д а т. Я ещё хотел про неё спросить...

А н д ж е л а. Спрашивайте! Ради Бога, спрашивайте, пожалуйста! Я так рада вам отвечать... Я столько про неё знаю...

Уходят. Арес, опершись на меч, глядит им вслед.

А р е с. А всё же хорошая война пошла бы им всем на пользу. Вспомнили бы меру всех вещей, истинную цену каждому. Вот этого парня, к примеру,— он мне, пожалуй, симпатичен,— я сподоблю совершить подвиг и похороню по высшей категории!

А ф и н а. А я берусь покровительствовать — ей. Покуда вся жизнь её в этом парне, она сестра моя. Дашь ли ты ей повод для слёз?

А р е с *(устало)*. Я вас умоляю... Вы так надоели мне, мадам, с вашим абстрактным гуманизмом. Ах, если б вы показали мне фокус! Вы когда-то умели растаивать в воздухе.

А ф и н а. Я оставлю тебя — когда найдём хоть клочок на этой планете, ещё не политый кровью. Здесь — всё полито. Пойдём.

Они удаляются в глубь равнины.

1970, 1981

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Владимов Георгий Николаевич родился 19 февраля 1931 года в Харькове, в семье учителей русского языка и литературы. Отец в 1941 году на строительстве оборонных сооружений был захвачен немцами, угнан в Германию, погиб в концлагере близ города Шнайдемюль (ныне — г. Пила, Польша). Мать в 1952 году по статье 58.10 («антисоветская агитация и пропаганда») подверглась аресту и заключению в лагерь, откуда вышла инвалидом.

В 1948 году окончил Ленинградское суворовское военное училище, в 1953 году — юридический факультет Ленинградского университета. Работал литсотрудником сельской районной газеты, редактором отдела прозы в журнале «Новый мир» при К. Симонове и А. Твардовском, в отделе критики «Литературной газеты».

Выступает в печати с 1954 года. Вначале — с литературно-критическими статьями в журналах «Театр» и «Новый мир» и в «Литгазете», с 1960 года — как прозаик. В 1961 году в «Новом мире» появилась повесть «Большая руда», там же в 1969 году — роман «Три минуты молчания». Печатались также рассказы в журнале «Смена» и в «Неделе» «Известий», по его сценариям «Большая руда» и «Туннель» поставлены фильмы. Другие произведения — повесть «Верный Руслан», рассказ «Не обращайте вниманья, маэстро», пьеса «Шестой солдат» — впервые публиковались на Западе.

В 1977 году вышел из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения своих коллег (В. Войновича, Л. Копелева, В. Корнилова, Л. Чуковской) и против молчаливого отказа тогдашнего руководства Московской писательской организации оформить ему поездку на Франкфуртскую книжную ярмарку по приглашению норвежского издательства «Гюльдендаль». Участвовал в правозащитном движении, в течение шести лет был председателем Московской группы «Международной Амнистии», подвергался разнообразным преследованиям

КГБ, принуждавшим его к эмиграции. В мае 1983 года выехал в Германию на год по приглашению Кёльнского университета для чтения лекций о русской советской прозе. Указ Президиума ВС СССР от 1 июля 1983 года, за подписью Ю. В. Андропова, о лишении советского гражданства и конфискация квартиры в Москве закрыли ему возвращение на родину.

В 1984-86 годах редактировал журнал «Грани», вынужден был уйти из-за конфликта с НТС («Народно-Трудовой Союз российских солидаристов»).

В эмиграции выступал как публицист и критик в русскоязычной прессе и по радио «Свобода», с 1980 года — в советских и российских изданиях, работал над романом «Генерал и его армия». В 1995 году роман (в журнальном варианте) был удостоен премии Букера.

Живет в небольшом городке Нидернхаузене, близ Висбадена.

Адрес для писем:

G. Vladimov
Lendzhahner wer 38
66527 Niedernhausen
D. R. Deutschland.

ПРИМЕЧАНИЯ

БОЛЬШАЯ РУДА

Первая публикация – в журнале «Новый мир», 1961, № 7. Отд. изд.– М., Советская Россия, 1962; М., Современник, 1971; Франкфурт-на-Майне, Посев, 1984. Повесть переведена на языки народов СССР, на основные европейские и японский. Осуществлены радио- и телепостановки, театральный спектакль, экранизация («Мосфильм», 1964), постановка Василия Ордынского, оператор Герман Лавров, в главной роли Евгений Урбанский). В советской критике – около 120 статей и рецензий.

Повесть принесла автору широкую известность и общественное признание. Через два месяца после публикации автор был принят в Союз писателей прямо на секретариате Московской писательской организации, минуя приемную комиссию; в истории ССП это был третий случай: первые два – Юрий Крымов с повестью «Танкер “Дербент”» и Константин Симонов с поэмой «Генерал» о Матэ Залке. Четвёртым через полтора года стал Александр Солженицын с «Одним днем Ивана Денисовича».

ВСЕ МЫ ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕГО

Рассказ является первым опытом автора в прозе, удостоившимся публикации. Он отражает настроения автора в зимние месяцы 1959/60 г., когда тот ушёл из штата «Литературной газеты» и поселился в её дачном поселке на станции Шереметьево по Савеловской ж.д., чтобы попробовать стать писателем, «делать свою игру». Рассказ, собственно, и был началом этой «своей игры». Редакции «Литгазеты» и «Нового мира» его отклонили, предложил напечатать журнал «Смена», где он и появился в июльском, 13-м, номере 1960 г.

Единственный отклик в критике — отрицательный — прозвучал в обзорной статье автора журнала «Октябрь» Ленины Ивановой. Единственный перевод, насколько известно автору, был на чешский язык в 1964 г.

МЫ КАПИТАНЫ, БРАТЬЯ, КАПИТАНЫ...

Рассказ представлял собою первый подступ к роману «Три минуты молчания», вернее даже главу, не вошедшую в корпус романа. Судьба рассказа сложилась, как и у предыдущего: после отклонения его «Литгазетой» и «Новым миром» предложила напечатать известинская «Неделя». Вышедший в № 37 за 1963 г., он участвовал в конкурсе «Известий» на лучший рассказ, получил третью премию. В критике ни разу не упомянут. Переведен на польский, чешский и румынский языки.

НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНЬЯ, МАЭСТРО

Рассказ, написанный под свежим впечатлением от первого обыска 1982 года и кажущийся местами явлением сюрреализма, содержит тем не менее описание подлинных деталей — и ещё далеко не всех! — той осады, которой автор подвергался с 1977 года вплоть до изгона в эмиграцию.

Посвящение Генриху Бёллю возникло отчасти из недоразумения. Лев Копелев, дозвонившийся из Кёльна, попросил написать что-нибудь в юбилейный сборник, который друзья Бёлля готовили к его 65-летию; требовалось не более трёх-четырёх страниц, чего автор из-за плохой слышимости недопонял и написал их 55. Для сборника рассказ не подошёл по размеру, но пометку «Рассказ для Генриха Бёлля» автор счёл уместным оставить как посвящение — не только из уважения к таланту замечательного писателя, но и в знак личной признательности за его неоднократное заступничество, когда над друзьями автора и над ним самим нависала угроза ареста. Другое значение этой пометки — «Для сведения Генриха Бёлля» — также не лишено смысла. Как известно, этот великий добрый человек, защитник преследуемых за убеждения, был склонен не только оправдывать террористов левого толка, но и сильно преуменьшать опасность для Запада тоталитарной советской системы. Гостеприимный крестьянский дом Бёлля оказался первым немецким домом, где довелось автору побывать в первые дни на чужбине. Там, при участии Копелева и его жены Р. Д. Орловой, продолжился спор насчёт последст-

вий возможного тогда советского вторжения в Европу, обе стороны, западная и восточная, прониклись друг к другу еще большим уважением — и ещё укрепились в своих мнениях.

Первая публикация — в журнале «Грани», 1982, № 125. Отд. изд.— Франкфурт-на-Майне, Посев, 1983. Публикации в журналах «Сельская молодежь», 1989, № 6—7 и «Стрелец», 1991, № 3. Премия журнала «Сельская молодежь» — медаль «Золотое перо». Переводы на английский, французский, голландский, шведский, венгерский.

Рассказ читался неоднократно по радио «Свобода» и был поставлен на Лондонском телевидении при участии автора в качестве исполнителя главной роли.

ВЕРНЫЙ РУСЛАН

Первая публикация — журнал «Грани», 1975, № 96. Издания на русском языке изд.— «Посев», 1975, 1976, 1978, 1981; журнал «Знамя», 1989, № 2; издательства «Юридическая литература», М., 1989, «Молодая гвардия» в антологии «Рукописи не горят» — М., 1990, «Гротеск» — в антологии «Верный Руслан. Три повести о собаках» — Красноярск, 1994 г. Переводы почти на все европейские языки и на иврит. Повесть много раз читалась радиостанциями «Свобода», «Немецкая волна», Би-Би-Си. В 1991 г. на Киевской киностудии поставлен одноимённый фильм; сценарий и постановка Владимира Хмельницкого, в ролях Леонид Яновский, Евгений Никитин, Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Погожин, текст от автора читает Алексей Баталов. В заглавной роли — овчарка Байкал.

ШЕСТОЙ СОЛДАТ

Пьеса была написана в 1970 г. по заказу Центрального театра Советской Армии, одобрена его художественным советом и творческим коллективом, однако Главное Политуправление Советской Армии и ВМФ не разрешило ее к постановке как произведение идейно порочное, пацифистское. Запрет ГлавПУ имел силу не только для всех театров Союза, но и для печатных органов. В 1981 г. автор переслал пьесу на Запад, в новой редакции и с посвящением А. Д. Сахарову, к его 60-летию. Пьеса была напечатана в журн. «Грани», № 121, в том же 1981 г. Стихотворный отклик Сахарова, находившегося тогда в горьковской ссылке, был у автора изъят при обыске 5 февраля 1982 г. и не возвращен при выезде в Германию.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Аннинский. Рок, судьба и участь Георгия Владимова 5

БОЛЬШАЯ РУДА. Повесть 49
Послесловие автора к изданию 1984 года 158

РАССКАЗЫ

ВСЕ МЫ ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕГО 165
МЫ КАПИТАНЫ, БРАТЬ , КАПИТАНЫ... 178
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНЬ , МАЭСТРО. *Рассказ для Генриха Бёлля* 193

ВЕРНЫЙ РУСЛАН. *История караульной собаки.* Повесть ... 235

ШЕСТОЙ СОЛДАТ. Комедия в двух действиях, восьми картинах, с эпилогом 371

Биографическая справка 456
Примечания 458

Владимов Г.

В 57 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1: Большая руда: Повесть; Рассказы; Верный Руслан: Повесть; Шестой солдат: Пьеса/ Вступ. ст. Л.Аннинского.—М.: АОЗТ «NFQ/2Print», 1998. 461 с.

ISBN 5-900041-02-6 (Т.1)
ISBN 5-900041-01-8

В первом томе Собрания сочинений Георгия Владимова помещены избранные произведения разных лет. Часть из них — повесть «Большая руда», рассказы «Все мы достойны большего», «Мы капитаны, братья, капитаны...» — печатались в советских журналах и принесли автору широкую известность, ввели в первый ряд писателей-«шестидесятников», другие — как повесть «Верный Руслан» или рассказ «Не обращайте вниманья, маэстро» — не найдя пристанища на родине, публиковались на Западе, звучали на волнах зарубежных радиостанций. Лишь в ходе перестройки они были возвращены российскому читателю — и оказались весьма актуальными, не потускневшими от времени. Сегодняшнему читателю подчас трудно провести границу между теми и другими, когда восстановилось не только единство русской литературы, но и единство писательской манеры автора, строго реалистической, предельно достоверной в деталях, отмеченной остро критическим восприятием действительности и философским её осмыслением.

Комедия «Шестой солдат», в своё время не пропущенная армейской цензурой, публикуется в России впервые.

ББК 84(2Рос=Рус)6

Георгий Николаевич
Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том первый

✦

Редактор *Е. Дворецкая*

Технический редактор *В. Кулагина*

Верстка *В. Андрейчикова*

Корректоры *Т. Томашевская, Г. Киселёва*

✦

Издат. лицензия ЛП № 050053 от 31 октября 1997 г.

Сдано в набор 17.03.98. Подписано к печати 16.04.98.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. Гарнитура «Миниатюр».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24, 36. Уч.-изд. л. 24, 84.
Тираж 10 000 экз. Заказ 3658.

АОЗТ «NFQ/2Print»
117303, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ППП «Типография “Наука”»
Академиздатцентр РАН
121099, Москва, Шубинский пер., 6